

КОНТИНЕНТ KONTINENS KONTYNTENT CONTINENT KONTINENT
 КАНТЫНЕНТ KONTINENTAS KONTINENTS MANDER КОНТИНЕНТ

Критика советского общества — едва ли не «самая разрешенная» тема советской печати. ...отчаянные



упреки обществу, которое равнодушно смотрит на массовые репрессии против невинных людей, звучали в подпольных изданиях внутри СССР еще с шестидесятых годов.

А. Грибанов

...Венгрия в течение двух десятилетий была страной, где постоянно обсуждались экономические реформы. ...Венгерские экономисты... требовали полностью освободить экономику от политической зависимости и установить настоящую рыночную экономику, включая рынок капиталов...



Иштван Кемени

Итак, снова был Корнель, классические складки. Была речь о женском праве, о равенстве и братстве — из модных азиатских речей на котурнах, вещаемых из транзистора в шатрах пустыни под жиканье натачиваемого ножика для жертвы, поникшей тут же. Какое парение в сих речугах, какая живость, схватчивость по-



нятий под раскалившимся древним небом! Ораторы накачивают права с пафосом и пылом, будто дорвались в этой самой пустыне до рычага водокачки, — дергают изо всех сил, аж приседают. Рычаг, правда, не подсоединен, но именно потому так хорошо на нем качаться.

Халит Гиора

Мы не располагаем письменным указанием Сталина о Павлике Морозове. Сталин часто высказывал мнение устно, и этого было достаточно. ...Есть косвенные доказательства, что вопросы, связанные с героем-доносчиком, великий вождь решал сам и возвращался к ним неоднократно.

Юрий Дружников

Да, эти рассказы доходят до нас черно-белыми глыбами, которые мы норовим отшвырнуть, увеличивая как-то дуго милли и лье между нами, но они и надраивают добель образ народа как если бы желания были пемзой а слова были бы абразивом.

Уильям Питт Рут



Главный редактор: Владимир Максимов
Зам. главного редактора: Наталья Горбаневская
Ответственный секретарь: Виолетта Иверни
Заведующий редакцией: Александр Ниссен

Редакционная коллегия:

Василий Аксенов · Ценко Барев · Ален Безансон
Николас Бетелл · Иосиф Бродский
Владимир Буковский · Армандо Вальядарес
Ежи Гедройц · Михаил Геллер · Александр Гинзбург
Густав Герлинг-Грудзинский · Корнелия Герстенмайер
Пауль Гома · Милован Джилас · Пьер Дэк
Ирина Иловайская-Альберти · Эжен Ионеско
Оливье Клеман · Роберт Конквест
Наум Коржавин · Эдуард Кузнецов
Николаус Лобковиц · Эрнст Неизвестный
Амос Oz · Ярослав Пеленский · Норман Подгорец
Андрей Сахаров · Андрей Седых · Виктор Спарре
Странник · Сидней Хук · Юзеф Чапский
Карл-Густав Штрём

Корреспонденты «Континента»

- Италия Сергей Папетти
 Sergio Rapetti, via Beruto 1/B
 20131 Milano, Italia
- США - Эдуард Лозанский
 Edward D. Lozansky
 3001 Veazey Terrace, N. W.
 Washington, DC 20008, USA
- Япония Госуке Утимура
 Higashi-Yamato, Hika-riga-oka 10-7
 189 Tokyo, Japan

Присланные рукописи не возвращаются, и в переписку по этому поводу редакция не вступает.

Название журнала «КОНТИНЕНТ» – © В. Е. Максимова

Ⓚ

КОНТИНЕНТ

Литературный, общественно-политический
и религиозный журнал

57

Издательство «Континент»
1988

СОДЕРЖАНИЕ

Александр З и н о в ь е в – Катастрофка. Главы из романа	7
Александр Б а ш л а ч ё в – Уберите медные трубы. Стихи	70
Хагит Г и о р а – Огород ленивых одалисок. Рассказ	78
Александр В е р н и к – «...Эхо, перышка касанье». Стихи	101
Владимир М а к с и м о в – Как в саду при долине. Маленькая повесть	106
Андрей Б о р о д и н – Из стихов 1982-1984 гг.	148
Дмитрий Б о б ы ш е в – Из американской поэзии: <i>Уильям Питт Рут. Неодолимый алмаз</i>	157
Елизавета М и х а й л и ч е н к о – Любовь к сентябрю. Стихи	168
Андрей Т а р к о в с к и й – Из дневника. Публикация <i>Ларисы Тарковской</i>	174
ИЗ РУССКОЙ ЗАРУБЕЖНОЙ ПОЭЗИИ	
Ина Б л и з н е ц о в а, Кирилл П о м е р а н ц е в	182
Игнатий Ш е н ф е л ь д – Зоська без носа. Рассказ. Окончание	194
РОССИЯ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ	
Александр Г р и б а н о в – «Больной человек»	197
ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКИЙ ДИАЛОГ	
Иштван К е м е н и – Венгерская политическая лихорадка	213
ЗАПАД–ВОСТОК	
<i>Выступления французских участников Парижского форума «Литература без границ»:</i>	
Жан-Франсуа Р е в е л ь – Интеллигенция и власть	219
Андре Г л ю к с м а н – Хайдеггер и Солженицын	223
Ален Б е з а н с о н – Ответственность советской интеллигенции сегодня	225
Оливье Т о д д – Вьетнам: мифы	229
Жан Б л о – На «лестничной площадке» Форума	233

ФАКТЫ И СВИДЕТЕЛЬСТВА

Игорь К о в а л ь ч у к – Мясо для шакалов

ИСТОКИ

Юрий Д р у ж н и к о в – Мальчик-доносчик и товарищ Сталин

Елена К о т о в а – Как я спасла Коломенское

РЕЛИГИЯ В НАШЕЙ ЖИЗНИ

Томаш М я н о в и ч – К истории восточной политики Ватикана: «польская модель»

ЭКОНОМИКА

Ицхак А д р и м – Безработица в СССР

ИСКУССТВО

Александра О р л о в а – Судьба советского крепостного музыканта

ЛИТЕРАТУРА И ВРЕМЯ

Ирина М у р а в ь е в а – Реквием для бедных

Наталья К у з н е ц о в а – Писатель в России должен жить долго. К 70-летию В. Д. Дудинцева

ЛИТЕРАТУРНЫЙ АРХИВ

Лидия А р е н с – Воспоминания о Максимилиане Волошине

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

НАША ПОЧТА

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

В. М а к с и м о в – Кто сделал революцию?

Н. Т. – Летопись преступлений

Майя М у р а в н и к – Странный бунт

Игорь Б и р м а н – Еще один забытый пророк

КОРОТКО О КНИГАХ

ПО СТРАНИЦАМ ЖУРНАЛОВ

НАША АНКЕТА

Интервью с **Аленом Г и й о**. Ведет *Галина Келлерман*

КАТАСТРОЙКА

(Из романа)

ПРЕДИСЛОВИЕ

Когда началась горбачевская «перестройка», какой-то московский интеллеktуал обнаружил, что слово «перестройка» переводится на греческий язык словом «катастрофа». И вскоре на этой основе был изобретен термин «катастройка», соединяющий в себе смысл слов «перестройка» и «катастрофа». Я взял этот новый термин в качестве названия для публикуемых здесь отрывков из моего романа, поскольку он, на мой взгляд, наиболее точно соответствует горбачевской реформаторской истерии.

Публикуемые здесь отрывки выбраны с таким расчетом, чтобы более или менее полно представить лишь одну из сюжетных линий романа, связанную с ходом «перестройки» в русском провинциальном городе Партграде и с превращением этого города в образцово-показательный для посещения иностранцами.

Мюнхен, март 1988

МИРОВАЯ СЕНСАЦИЯ

В конце 1987 года группа граждан одной западноевропейской страны решила посетить Советский Союз с намерением своими глазами посмотреть, как идет «перестройка», о которой так много говорят во всем мире. Они знали, что в Советском Союзе есть районы, доступ в которые иностранцам запрещен. К числу таких запретных мест относился город Партград. В советском

консульстве членов этой группы спросили, где они хотели бы побывать. Они назвали Партград, будучи уверены в том, что им откажут. Но, к их удивлению, им разрешили. Они сообщили о полученном разрешении в прессу, что произвело мировую сенсацию. Многие советские эмигранты, сомневавшиеся в серьезности намерений горбачевского руководства, после этого поверили в них, подали прошения о разрешении посетить Советский Союз и начали скупать на барахолках копеечные тряпки с намерением осчастливить ими своих родственников и знакомых на их бывшей родине. Один известный диссидент, в свое время отсидевший в лагере строгого режима около Партграда пять лет и покинувший Советский Союз с намерением до последней капли крови и до последнего вздоха бороться против советского режима, устроил в помещении издаваемого им антисоветского журнала прием в честь членов очередной советской делегации. Преподнеся им букеты цветов, трижды обняв их и облобызав, он со слезами умиления заявил, что горбачевское руководство воплощает в жизнь чаяния диссидентов и что разрешение западным туристам посетить Партград есть убедительное тому свидетельство.

Но прежде чем произошли упомянутые события, в Советском Союзе была проделана огромная подготовительная работа.

МАЯК ПЕРЕСТРОЙКИ

Раньше Партград был закрыт для иностранцев. Для этого были две причины. Первая причина – в Партграде не было ничего такого, что следовало показывать иностранцам. Было несколько церквей, но они не имели никакой исторической и архитектурной ценности. К тому же все они, кроме одной самой захудалой, были закрыты. Был старинный монастырь. Но в нем поме-

щался антирелигиозный музей. В Партграде нельзя было найти даже расписные ложки, плошки и матрешки, которые на Западе считаются высшим достижением русской национальной культуры, хотя давно уже изготавливаются в Финляндии. На весь Партград был всего один самовар, да и тот находился в краеведческом музее.

Вторая причина, почему Партград был закрыт для иностранцев, заключалась в том, что в нем было много такого, что не следовало показывать иностранцам. Здесь расположены многочисленные военные заводы и училища, химический комбинат, выпускающий не столько стиральный порошок, сколько секретное оружие, микробиологический центр, занятый сверхсекретными исследованиями, психиатрическая больница, имеющая дурную славу в диссидентских кругах. Около города расположены исправительно-трудовые лагеря, тоже известные в кругах диссидентов, атомное предприятие, хотя и предназначенное для мирных целей, однако превратившее целый район в зону повышенной радиации. А главное, что не следовало показывать иностранцам, это убогие жилища, пустые магазины, длинные очереди и прочие атрибуты русского провинциального образа жизни.

С началом горбачевской «перестройки» положение изменилось коренным образом. Оно изменилось не в том смысле, что вид страны и жизнь людей улучшились (они-то как раз ухудшились), а в том смысле, что взгляд высшего руководства на вид страны и жизнь людей ухудшился. Закончился первый период советской истории – период сокрытия недостатков. Начался новый период – период признания и обнажения недостатков. Причем недостатки стали обнажать не столько для своих граждан, которые об этих недостатках знали и без указаний начальства, сколько для Запада. Можно сказать, что началась оргия любования своими язвами и хвастовства ими перед Западом. Этот перелом совпал с переломом в отношении к Советскому Союзу на Западе. Там стали

интересоваться не тем, что было плохого в советском образе жизни, а тем фактом, что в Советском Союзе официально признали наличие плохого, и именно это признание стали считать самым большим достоинством советского образа жизни. Признание советских властей, что в Советском Союзе дела делаются плохо и люди живут плохо, на Западе истолковали как показатель того, что дела в Советском Союзе идут совсем не плохо и люди живут не так уж плохо. На Западе простили Советскому Союзу все зло, случившееся в нем и из-за него, за признание ничтожной доли этого зла.

Тучи советских людей устремились в западные страны, превознося «перестройку» и заодно приобретая дефицитные в Советском Союзе вещи. На Западе стали сравнивать Горбачева с Петром Великим и приписали ему намерение широко открыть двери на Запад. Горбачевское руководство решило подкрепить этот перелом в общественном мнении Запада, организовав поток западных людей в Советский Союз. С этой целью в ЦК КПСС было принято решение превратить Партград в образцово-показательный с точки зрения хода перестройки город (в маяк перестройки) и открыть его для иностранцев, т. е. открыть двери Западу в Советский Союз. Произошло это при следующих обстоятельствах.

НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ

Генеральный Секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев, утомившись от реформаторской деятельности, раньше обычного покинул свой рабочий кабинет в Кремле и уехал на свою подмосковную дачу. Он был не в духе и имел на то серьезные причины. Трудящиеся вместо минеральной воды, которую Михаил Сергеевич советовал пить вместо водки, пили самогон и всякого рода одуряющие жидкости. Снабдить трудящихся минеральной водой оказалось труднее, чем вод-

кой. Конечно, трудящиеся могли бы удовлетворяться водой из водопровода. Она у нас не хуже минеральной. Трудящиеся, однако, этого еще не осознали. Тут явный пробел в идеологическом воспитании. Тут тоже реформа нужна. Надо ускорить процесс идеологического воспитания. Конечно, в деле коммунистического воспитания мы опередили Запад. Значит, надо ускорить процесс опережения Запада в деле воспитания. Имеет смысл начать переводить трудящихся на систему самовоспитания, подобно тому, как мы переводим предприятия на систему самофинансирования.

Эта идея несколько улучшила настроение Михаила Сергеевича. Но ненадолго. Он вспомнил о том, что производительность труда стала расти на четверть процента медленнее, чем было намечено, и в западной прессе появились намеки на то, что «великие горбачевские реформы находятся под угрозой срыва». Зачем эти данные опубликовали в наших газетах?! И откуда их взяли?! Заставь, как говорится, дураков Богу молиться, так они рады лоб расшибить. Гласность вещь хорошая. Но надо же и меру знать.

Размышляя таким образом, Михаил Сергеевич решил пригласить к себе соседа по даче Петра Степановича Сусликова, недавно избранного в секретари ЦК КПСС и возглавлявшего работу всех советских учреждений по надзору за Западом, по воспитанию его в просоветском духе и по использованию его на благо советского народа. Петр Степанович был не только соратником и единомышленником Михаила Сергеевича, но его личным другом. Так что Михаил Сергеевич попросил Петра Степановича заглянуть к нему на минутку – поговорить по душам. Пригласил на чашку чая, а не на бутылку водки. Водка в дружеской беседе была бы, конечно, лучше. Но партия объявила непримиримую войну пьянству. И вот выдающиеся партийные руководители вынуждены поэтому во время дружеской беседы довольствоваться самым банальным безалкогольным

напитком. Доживи их отцы и деды до этого времени и узнай об этом, они сочли бы это изменой русским национальным традициям и происками масонов и сионистов.

Как уже было сказано, дачи Михаила Сергеевича и Петра Степановича были расположены рядом. В заборе, разделявшем их, была особая калитка, охраняемая с обеих сторон. Охранник, стоявший на территории дачи Петра Степановича, отдал ему честь и дыхнул на него водочным перегаром. Петр Степанович отметил про себя, что тот пил «Столичную». Охранник на территории дачи Михаила Сергеевича тоже отдал честь Петру Степановичу и дыхнул на него водочным перегаром, который напомнил ему «Зубровку». Петра Степановича охватили ностальгические воспоминания о тех временах, когда и они, партийные руководители, «тоже жили по-человечески». Но он взял себя в руки и проследовал в кабинет Михаила Сергеевича.

РАЗГОВОР ПО ДУШАМ

Домашняя работница, точная копия домашней работницы Петра Степановича (их штампуют, что ли, в КГБ?!), принесла чай. Петр Степанович, до последнего мгновения надеявшийся, что слово «чай» есть лишь условное обозначение чего-то более серьезного, несколько приуныл. Но виду не подал (партийная выучка!) и реагировал на чай с энтузиазмом поборника трезвой генеральной линии партии. Разговор пошел, естественно, о внутренних трудностях проведения упомянутой линии. Посетовали на то, что пьяницы и бюрократы суют палки в колеса изнутри. Поговорили о внешних трудностях. Посетовали на то, что западные империалисты суют палки в колеса извне. Поговорили о недостатках. Поговорили об успехах. Перешли на ведомство Петра Степановича. Михаил Сергеевич сказал, что на него возлагается особо важная задача. Общественное

мнение на Западе – великая сила. А средства массовой информации там вообще суть настоящая власть. Надо их заставить служить нам. А тут надо особую гибкость проявить. В наше время в коммунистические сказки мало кто верит. Надо дать понять западным обывателям, что и мы в них не очень-то верим, что и мы теперь ко всему подходим практически, можно сказать, прагматически. Они это любят. Подумают, что и мы такие же, как они. И нам это надо использовать.

Петр Степанович со вниманием слушал словоизлияния Михаила Сергеевича, помешивая ложечкой в чашке остывшего чая. Михаил Сергеевич вошел в настроение и говорил, наслаждаясь потоком своих мыслей и задушевым голосом. Заговорили о гласности.

– Странно получается, Петр Степанович! Раньше у нас недостатки замазывали, а успехи раздували. Теперь же – наоборот. Теперь мы стыдимся об успехах говорить, а недостатки раздуваем сверх меры. А ведь поленински понятая гласность означает, что людям надо всю правду говорить, не скрывая не только недостатки, но и достижения.

– Очень верная и свежая мысль, Михаил Сергеевич, – с энтузиазмом согласился Петр Степанович, отхлебнув глоточек чая и поперхнувшись с непривычки к безалкогольным напиткам. – Очень и очень важная!

– Так вот, я и думаю: пусть иностранцы побольше и почаще приезжают к нам и сами смотрят, как мы живем, как боремся с недостатками и добиваемся успехов. Посмотрят своими глазами, вернуться домой – расскажут, что сами увидели. Это будет серьезная поддержка нам на мировой арене.

– Очень верная и свежая мысль, Михаил Сергеевич! У меня давно была задумка организовать большие делегации из представителей различных слоев населения западных стран в нашу страну. Но показывать им не церкви, музеи и балет, а нашу повседневную жизнь.

Пусть посмотрят наш, советский образ жизни! Конечно, у нас есть что критиковать. Но у нас есть и многое такое, чему западные люди позавидовать могут. Например, у нас нет безработицы. Террористов нет.

Петр Степанович не заметил того, что говоря о том, что «у нас есть», он перечислял то, чего «у нас нет». Не заметил этого и Михаил Сергеевич, смолodu при- выкший к такого рода перлам партийного красноречия.

– Надо выбрать какую-то область, где перестройка идет успешнее всего, и превратить ее в образцово-показательную, можно сказать – в маяк перестройки, – продолжал Петр Степанович. – При Сталине такие маяки будущего сыграли свою роль. Почему мы должны отказываться от них теперь?! Мы должны такие маяки перестройки использовать как орудие революционных преобразований, осуществляемых под вашим руководством. На Западе, Михаил Сергеевич, вас сравнивают с Петром Великим, прорубившим окно в Европу. Я думаю, что они вашу роль преуменьшают. Вы прорубаете не окно, а двери на Запад. Даже не двери, а ворота! А еще точнее говоря – стену проламываете.. Можно сказать, ломаете Китайскую стену, отделявшую...

– Одобряю задумку, Петр Степанович, – прервал сусликовские дифирамбы Михаил Сергеевич, делавший вид, будто он не тщеславен. – Насчет Китайской стены слишком сильно сказано. Но двери в Европу – это, пожалуй, верно. Для начала – двери. А потом мы и всю стену проломим. Надо маяки перестройки превратить в такие двери на Запад. Пусть иностранцы через эти двери едут к нам и своими глазами смотрят нашу революцию. С какой области начнем, как ты думаешь?

ВЫБОР МАЯКА ПЕРЕСТРОЙКИ

Петр Степанович предложил Партградскую область, в которой он сам прошел путь от рядового спер-

матозоида до первого секретаря областного комитета партии. При этом он умолчал о том, что еще совсем недавно Партградская область была упомянута в передовой статье «Правды» в числе тех, где еще не включились со всей серьезностью в перестройку. В число таких областей могла быть включена любая другая. Партградскую область выбрали для того, чтобы дискредитировать и снять с поста первого секретаря обкома партии брежневца Жидкова и назначить на его место горбачевца Крутова. Промолчал об этом и Михаил Сергеевич, поскольку поставил своего человека в Партграде. Предлагая теперь Партградскую область в качестве маяка перестройки, Петр Степанович выдвинул следующие аргументы. Область находилась в самой глубине России и на Западе считалась символом русской отсталости и провинциализма. Когда иностранцы увидят в Партграде все признаки современной городской жизни, они будут ошеломлены. Кроме того, до последнего времени Партград был закрыт для иностранцев. Теперь этот запрет будет, очевидно, отменен. И иностранцы потоком хлынут в бывший сверхсекретный советский город, в котором, по слухам, делалось самое современное атомное, химическое, биологическое и генетическое оружие. Это рассекречивание даст дополнительный пропагандистский эффект.

Но главная причина, почему Петр Степанович предложил именно Партград, заключалась в том, что он надеялся получить вторую Золотую Звезду «Героя социалистического труда», и его бронзовый бюст на гранитном пьедестале будет установлен на его Родине – в Партграде. Это внесет свою лепту в его мировую славу. Иностранцам наверняка будут показывать монумент Сусликова и рассказывать о его жизненном пути. И кто знает, может быть, со временем Партград переименуют в Сусликовград...

– Не будем откладывать дело в долгий ящик, – сказал Михаил Сергеевич. – Иначе наши консерваторы и

бюрократы загубят наше ценное начинание. Если какие трудности встретятся, обращайся прямо ко мне. Следовало бы за это выпить что-либо более серьезное, чем чай. Ну, да ты сам понимаешь...

– Понимаю, Михаил Сергеевич. Вот одолеем пьянство и проломим стену на Запад, тогда мы эту историческую победу отпразднуем не чаем, а чем-нибудь покрепче!

На том великие исторические деятели расстались. Что они потом пили в одиночестве, это навечно останется загадкой для истории. Зато последствия этой их трезвой встречи для той же самой истории вскоре обнаружались с полной очевидностью.

ОСОБАЯ КОМИССИЯ

На другой же день состоялось совещание в ЦК КПСС, на котором была образована Особая комиссия во главе с товарищем Кобыловым – одним из помощников Сусликова. В задачу комиссии вменили оказание помощи партградскому руководству в деле превращения Партграда в маяк перестройки, предназначенный для показа иностранцам. Аналогичные совещания прошли и в других учреждениях высшей власти – в КГБ, МВД, ВЦСПС, ЦК ВЛКСМ. Перед отлетом в Партград членов Особой комиссии принял сам Сусликов и дал им ряд ценных указаний. В тот же день они вылетели в Партград.

НАЧАЛО ПЕРЕСТРОЙКИ В ПАРТГРАДЕ

Хотя идеи перестройки висели, как говорится, в воздухе, в Партграде никто не принимал их всерьез. И когда перестроечные лозунги и инструкции из Москвы устремились в Партград, руководители области в пер-

вое время пришли в замешательство: в Партграде вообще не нашлось ничего серьезного, что можно было бы и стоило бы перестраивать. Жизнь в городе и в области шла в строгом соответствии с привычным порядком, и казалось, что никакие силы в мире были не способны заставить людей жить и работать по-новому, т. е. с ускорением и с большей эффективностью, как требовала Москва. Руководители области собрались в обкоме партии на первое перестроечное совещание, чтобы выяснить явные и скрытые возможности перестройки. Все прекрасно понимали, что возможностей почти никаких не было. Военные заводы никакой перестройке не подлежали. Они получали сырье бесперебойно. Сбыт их продукции не зависел от советских покупателей. Производительность труда и качество их продукции зависели не столько от советских трудящихся, сколько от западной технологии, от советских шпионов и от тех стран, куда Советский Союз поставлял оружие. Химический комбинат, бактериологический центр и атомное предприятие были до такой степени засекречены, что об их работе не знал ничего даже начальник областного управления КГБ. Школы, институты, больницы и прочие учреждения работали вполне нормально, и никакие радикальные улучшения там не требовались, если не считать текущих мелочей. То же самое можно было сказать о средствах транспорта и массовой информации, а также о бесчисленных учреждениях управленческого аппарата и органов власти.

Однако все понимали, что указания Москвы выполнять придется так или иначе. Одни лихорадочно думали лишь о том, как бы в этой перестроечной суете не потерять свое место; другие – о том, как бы поднажиться за ее счет. Первый секретарь обкома партии Жидков из кожи лез, чтобы двинуть руководимую им область по пути перестройки. Но его усилия натолкнулись на непреодолимые препятствия. Этими препятствиями оказались не консерваторы и бюрократы, как лицемер-

но жаловался Горбачев и как искренне писали западные газеты, а само население области и вся организация его жизни. На словах все стали сразу «перестройщиками», все начали критиковать консерваторов и бюрократов и призывать «мыслить и действовать по-новому». А на деле не выходило ничего, кроме усиливающейся неразберихи, болтовни, очковтирательства. На поверхность вылезли самые ловкие и циничные карьеристы и проходимцы. Начался разброд в самом руководстве областью. Чтобы не обвинять в консерватизме сам коммунистический социальный строй, стали искать козлов отпущения, которых можно было бы обвинить в консерватизме, бюрократизме и коррупции и на которых можно было бы свалить вину за первые неудачи. В обкоме партии собрались самые ответственные лица области и всю ночь обдумывали кандидатуры на роль тех, кто «встал поперек нашего стремительного движения по пути перестройки». Усталые, но довольные достигнутым соглашением, «командиры области» разъехались по своим особнякам, квартирам и дачам.

ПЕРВЫЕ ШАГИ

Новая эпоха в Партграде началась без грома и молний. В городе в этот день, как и во всей стране, шла обычная, полная героизма трудовая жизнь. В рабочее время трудящиеся мотались по магазинам в поисках предметов потребления, скупая по случаю все, что еще продавалось, и по питейным заведениям в поисках утешения, поглощая все, что льется. Во вне рабочее время они занимались тем же с удвоенной силой. В этот день в городе было прогуляно без уважительных причин 80 000 человеко-часов, допущено 50 000 случаев производственного брака, подобрано на улицах 2000 бесчувственно пьяных граждан, совершено 8000 хулиганских поступков и 400 крупных краж, совершено десять бан-

дитских нападений с убийствами и тяжелыми телесными повреждениями, сделано 800 аборт, осуждено 2000 граждан на малые и большие сроки, дано и взято 20 000 взяток, произнесено 10 000 партийно-комсомольских речей... Короче говоря, был обычный полноценный день советской жизни, полный радостей и огорчений, успехов и неудач, приобретений и потерь.

Но вот трудящиеся Партграда наконец-то получили в руки газеты, которые в этот день почему-то запоздали. Развернув газеты, они были сначала изумлены, а затем разразились неудержимым смехом. На первой странице газет была опубликована речь самого товарища Жидкова, первого секретаря Партградского обкома партии. «В нашей области, – говорилось в речи, – ухудшилось продовольственное снабжение».

– Как оно могло ухудшиться, – спрашивали друг друга хохочущие партградцы, – если оно всегда было хуже не придумаешь?!

«В области, – говорилось далее в речи, – упала трудовая дисциплина».

– Опять чепуха, – надрывались от хохота партградцы. – Она и раньше была на таком уровне, что ниже падать ей уже некуда было!

В речи говорилось, наконец, что в области возросло пьянство. Тут уж партградцы даже хохотать не могли. Они лишь стонали от чрезмерного внутреннего гогота и глотали катившиеся ручьем слезы.

– Чем они там вверху думают, идиоты, – хрипели они, когда спазмы веселья слегка ослабевали. – Пьянство в области давным-давно достигло высшего предела, превзошло его и в этом превышении достигло предела, выше которого подняться нельзя даже при самом сильном желании. Нельзя, если даже все ракетные установки, самолеты и подводные лодки превратить в самогонные аппараты, а все покупаемое на Западе и производимое дома зерно пустить на водку. Разве за счет покойников можно чуточку выше подняться. Советские

покойники действительно не пьют. Пока не пьют. Не пьют, поскольку им не подносят, хотя страна и шагнула в развитой социализм, до полного коммунизма все же еще не докатилась. Это при полном коммунизме всем покойникам будут выдавать по пол-литра водки на день. Ах, какое ликование начнется тогда на наших перенаселенных кладбищах! Вот когда старые большевики, сгоревшие в крематориях, пожалеют о том, что клюнули на удочку марксизма!

В конце речи Жидкова шло перечисление предприятий и учреждений области, которые «еще не включились со всей серьезностью в перестройку». Назывались также имена консерваторов и бюрократов, которые суют палки в колеса новому курсу партии.

ОБКОМ ПРЕДПОЛАГАЕТ, А ЦК РАСПОЛАГАЕТ

А в Москве в это время на более высоком уровне решали, кого именно назначить врагами перестройки на местах. Петр Степанович Сусликов, недолголюбивший Жидкова, предложил его кандидатуру на эту роль. Горбачев, собиравшийся выдвигать своего сослуживца Крутова, одобрил кандидатуру Жидкова и предложил Крутова на его место. На другой день в центральной партийной газете «Правда» в передовой статье были перечислены районы страны, которые «еще не включились со всей серьезностью в перестройку». Среди них на первом месте шла Партградская область. Имя Жидкова было названо среди консерваторов и бюрократов, сующих палки в колеса новому курсу партии. Судьба Жидкова была предрешена. Срочно собралось бюро обкома партии. На нем резкой критике подвергли самого Жидкова. Особенно усердствовала в этом Евдокия Тимофеевна Телкина, которая на предыдущем заседании особенно горячо поддерживала Жидкова. Второй секретарь обкома (секретарь по идеологии) сказал, что в

западной прессе «муссируют слухи о мощной оппозиции новому курсу советского руководства на местах», что «мы должны продемонстрировать верность решениям Съезда партии и указаниям лично товарища Горбачева». Жидкова тут же с заседания отвезли в больницу с обширным инфарктом, причем не в больницу для высших лиц области, а в самую захудалую районную.

На другой день те же газеты сообщили о том, что гражданин Жидков снят с поста за консерватизм, бюрократизм, зажим критики, коррупцию и моральное разложение, исключен из партии и предан суду. На том месте, где вчера красовался подретушированный портрет Жидкова, была помещена карикатура, изображавшая Жидкова сующим палки в колеса горбачевской перестройке.

СИГНАЛ МОСКВЫ

После той исторической встречи с Горбачевым, о которой говорилось выше, Сусликов лично связался с Крутовым и сообщил ему о предстоящем превращении Партграда в маяк перестройки и об Особой комиссии во главе с Корытовым, которая вот-вот прибудет в Партград. Услыхав эту новость, Крутов наложил в штаны, так как догадывался, чем для него пахнет такая перспектива. Показать Партград с его грязными и серыми улицами, пустыми магазинами, бесконечными очередями, неистребимыми пропойцами и прочими атрибутами советского образа жизни – это означало угрозу мирового скандала и превращение его, Крутова, в козла отпущения. Но делать было нечего. Крутов заверил Сусликова, что он оправдает высокое доверие партии. Он хотел было сказать, что ему такое представляется сделать «не в первый раз», но вовремя опомнился, так как это должно было произойти именно в первый раз в

истории Партграда и в его, Крутова, личной карьере партийного руководителя областного масштаба.

Сразу же после разговора с Сусликовым Крутов приказал срочно созвать на совещание руководящий актив области и города. На совещание прибыли члены бюро обкома и горкома партии и заведующие отделами, начальники областных управлений КГБ и МВД (милиции), председатели областного и городского советов, главы профсоюзов и комсомольские руководители области и города, секретари райкомов партии и председатели районных советов и многие другие лица, фактически играющие важную роль в жизни области и города. Совещание закончилось далеко за полночь. «Командиры области» (как называл товарищ Крутов руководящих лиц области) разъехались по своим ведомствам, чтобы провести аналогичные совещания на более низких уровнях вплоть до уровня отдельных учреждений и предприятий, в которых будут проведены заседания партийных и комсомольских бюро и профсоюзных комитетов, партийные, комсомольские и общие собрания и другие многочисленные мероприятия.

На совещании в обкоме партии была создана комиссия в помощь комиссии, ожидаемой из Москвы. Аналогичные комиссии были созданы на городском и районном уровнях, а также в первичных партийных организациях. Были проведены совещания и образованы особые комиссии во всех учреждениях области, которых хоть в какой-то степени касалось решение Москвы. Короче говоря, один звонок секретаря ЦК КПСС товарища Сусликова привел в состояние возбуждения гигантский механизм власти Партградской области и вынудил тысячи людей развить кипучую деятельность, причем – деятельность, имеющую целью не ускорение развития области и не повышение эффективности деятельности по производству всякого рода полезных вещей, а создание видимости того, что это «ускорение» и «повышение» на самом деле имеют место. В деятельности такого

рода, т. е. в имитации настоящей деятельности, коммунистическое общество имеет более высокую степень эффективности, чем общество западное. В этом отношении людей не надо принуждать и поощрять к функционированию в нужном духе: они к этому приучены и умеют это делать в совершенстве.

Сразу же по прибытии в Партград московской комиссии состоялось совместное совещание всех комиссий с представителями всех важнейших учреждений власти области и города. На совещании создали штаб операции во главе с товарищем Корятовым. На первом заседании штаба решили организационные вопросы и наметили план работы по оздоровлению общей атмосферы в городе, по активизации населения и по нормализации снабжения.

ОЗДОРОВЛЕНИЕ АТМОСФЕРЫ

«Оздоровлением атмосферы» партградские власти называли очистку города от «нежелательных элементов». На этот счет у партградских властей и у КГБ уже был богатый опыт. Такие очистки проводились регулярно перед главными праздниками – 1 Мая и 7 Ноября, а также перед визитами важных персон из Москвы. Последний раз Партград посетил секретарь ЦК КПСС Портянкин. Он прилетал в Партград по поводу открытия своего собственного бронзового бюста – ему присвоили тогда второе звание Героя социалистического труда, дающее право на бронзовый бюст на родине. Митрофан Лукич тогда произнес сердечную речь, глубоко взволновавшую его самого (впрочем, только его самого и местных пьяниц). В той речи он сказал, что «город украсился еще одним выдающимся памятником советской культуры и героической истории». С мунументом Портянкина связаны важные события, о которых я расскажу ниже. Если вам доведется побывать в

Партграде, вы узнаете это произведение искусства по неприличной надписи мелом или углем. На бронзовом лбу выдающегося партийного деятеля.

«Оздоровление атмосферы» Партграда заключалось в следующем. Первым делом милиция, народные дружинники и военные патрули перекрывали все дороги, ведущие в город из окружающих его лагерей и промышленных предприятий, чтобы бывшие и настоящие уголовники и «честные» пьяницы из этих мест не позорили своим видом и поведением морально здоровое советское общество. На эти дни в упомянутых местах производилась расширенная продажа спиртного, причем – по сниженным ценам. Снижение цен производилось за счет того, что спиртные напитки продавались под другими названиями, под которыми они должны стоить меньше, чем под названиями, под которыми их продавали в обычное время. Кроме того, в местные магазины, столовые и ларьки на это время «подбрасывали» и кое-какие продукты, которые в другое время не найдешь и в городе. Это, например, дешевая колбаса «собачья радость» и сушеная вобла «закуска богов». Продукты эти продавались тоже дешевле, по себестоимости, т. е. без наценки под предлогом транспортных и иных расходов. В результате этих мер кнута и пряника лишь единицы из «околопартградского отребья» (термин милиции) просачивались в город. Одни из них просачивались из духа противоречия, другие – из любопытства, третьи – из намерения как-то поживиться.

Заранее составлялись списки лиц, которых следовало совсем выселить из города как тунеядцев и злостных нарушителей общественного порядка, временно убрать из города под каким-либо предлогом, посадить в сумасшедший дом или на короткий срок в тюрьму. Особое внимание уделялось так называемым «внутренним эмигрантам», т. е. лицам, подпавшим под тлетворное влияние Запада, слушающим западные радиостанции, читающим запретные книги и склонным к общению с

иностранцами. Если таковых не удавалось удалить из города, за ними устанавливалась слежка агентов КГБ и их добровольных помощников. Им предоставлялись полномочия в случае надобности принимать крайние меры. Обычно они устраивали провокации, вследствие которых «внутренние эмигранты» попадали в тюрьму на 15 суток за хулиганство или в психиатрическую больницу на обследование.

«Оздоровление атмосферы» обычно начиналось за неделю, а порою и за две до события, ради которого оно предпринималось, и прекращалось сразу же после этого события. В городе восстанавливался статус-кво. Особенность нынешней ситуации состояла в том, что надо было оздоровить атмосферу не на короткий срок, а навсегда. Конечно, эта перестройка не вечна. Но кто ее знает, когда она кончится. Она может затянуться на год, а то и на два. Причем это оздоровление надо осуществить в условиях борьбы против пьянства, что было бы еще полбеды, а также в условиях либерализации и гласности, что являлось уже настоящим бедствием.

ТРЕЗВОСТЬ – НОРМА НАШЕЙ ЖИЗНИ

Перестройка в Партграде, как и во всей стране, началась с борьбы с пьянством. Тут требуется небольшое отступление исторического порядка.

Борьба с пьянством в России началась с первых дней существования нового социального строя. А некоторые историки даже полагают, что она началась еще накануне Октябрьской революции. Вроде бы есть данные, будто бы Ленин послал по этому поводу специальную телеграмму из Разлива, где он скрывался от ищеек Временного правительства, в штаб революции в Петроград еще за день до начала революции. В телеграмме вроде бы предлагалось питерскому пролетариату временно сократить пьянство, дабы не проспять революцию или

не сделать ее наоборот. Но Сталин вроде бы скрыл телеграмму, сказав, что если пролетариат перестанет пить, то социализма нам не видать, как своих ушей.

К концу сталинской эры пьянство в России приняло такие размеры, что стало угрозой тому самому социальному строю, который был построен с его помощью. И партия начала исподволь проводить линию на сдерживание пьянства. Трудящиеся пьяницы, однако, стойко отстаивали свои позиции, завоеванные в течение многих десятилетий беспробудного пьянства. Их ряды неуклонно расширялись. Ни Хрущеву, ни Брежневу в голову не приходила вздорная мысль начать заведомо безнадежную борьбу за полное искоренение пьянства. На это отважился лишь Горбачев.

Крыши домов Партграда украсились лозунгами, вроде «Трезвость – норма нашей жизни», «Трезвость – наше оружие», «Строить коммунизм на трезвую голову». Витрины магазинов украсились плакатами с изображением жутких последствий пьянства. Особенно сильное впечатление произвело изображение печени алкоголика. В этот день трудящиеся выпили алкоголя вдвое больше, чем обычно. Тысячи юношей и девушек пополнили ряды пьяниц. В течение трех дней было задержано более пяти тысяч граждан, пьянствовавших во время рабочего дня. Милиция обыскала пятнадцать тысяч домов и конфисковала двадцать тысяч самогонных аппаратов. Это означает, что в некоторых семьях жена и муж имели свои отдельные аппараты. В самых интеллигентных семьях свои маленькие аппаратики имели, очевидно, и дети. По телевидению выступили ведущие алкоголики города с призывом к трудящимся пить только воду. Но пьянство не уменьшилось.

Комиссия наметила ряд дополнительных мер, суть которых свелась к тому, чтобы предотвратить появление пьяных в тех местах, где будут иностранцы. Корытов предложил создать лучшие условия для пьяниц за пределами города, отрезав эти районы от города коль-

цом военных патрулей. Патрульных при этом менять каждые два часа, чтобы избежать перехода армии на сторону пьяниц.

БЕЗДИССИДЕНТНАЯ ЗОНА

Когда Сусликов стал во главе области, он поклялся превратить ее в бездиссидентную зону. И надо признать, что в этом он добился реального, а не показного успеха.

Хотя настоящих диссидентов в Партграде не было, избежать тлетворного влияния в городе не удалось. Многие партградцы слушали передачи западных радиостанций, смотрели западные фильмы, читали западные книги. Кое-кто ездил на Запад или имел знакомых, бывавших на Западе. На черном рынке продавались заграничные вещи. Причем инициатива «западничества» шла сверху, от привилегированных слоев общества, особенно от детей начальства.

Партградское руководство и идейно здоровая часть населения видели опасность влияния Запада и принимали меры, сдерживающие его. Мнения при этом были противоречивые. Одни требовали запретов и репрессий. Другие смотрели на это более либерально. Пусть потешатся западными пустяками, – думали они, – лишь бы в политику не лезли. Консерваторы, однако, считали, что эти «пустяки» опаснее политики. Против политических загибов у нас есть защита: идеология и КГБ. А против американских джинсов, жевательной резинки и истошных воплей защиты нет.

ПРАВозащитное движение

В Партград стали понемногу проникать и кое-какие веяния, касающиеся демократических свобод и прав человека. И виноваты в этом были сами власти. В сети

политического просвещения и пропаганды партградцам начали с такой настойчивостью разъяснять, что этих благ в области имеется больше, чем «на их хваленном Западе», что это породило в народе нездоровое любопытство и необоснованные надежды. Одна старушка две недели добивалась приема в обкоме партии, чтобы попросить «чуток этих прав и свобод». А то она скоро умрет. Перед смертью хотела бы попробовать, что это такое. Старушку поместили в дом для престарелых, откуда ее уже не выпустили до смерти. Она-то и явилась родоначальницей правозащитного движения в Партграде.

Старушка умерла, но ее дело осталось живо. Одна сотрудница научно-исследовательского института за какие-то заслуги получила бесплатную туристическую путевку в Японию. Известие об этом потрясло город: за всю историю человечества еще ни один партградец не бывал в Японии. Но в райкоме партии ей не дали характеристику, необходимую для поездки за границу, мотивируя отказ тем, что эта научная сотрудница с ее могучими габаритами не втиснется в миниатюрный японский туалет и тем самым уронит достоинство советского человека. Возмущенная сотрудница заявила, что право поездки за границу есть прирожденное право человека и что оно не зависит от размеров зада. Председатель комиссии сказал на это, что право поездок за границу не есть прирожденное право человека, так как человек появился еще до того, как появились границы. Сотрудница была сражена таким аргументом и взяла обратно слова насчет прав. Но было уже поздно: ее исключили из партии.

ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ

После того как Горбачев велел освободить из лагерей несколько десятков бывших диссидентов, примеру Москвы решил последовать и Партград. Крутов при-

казал освободить всех партградских «диссидентов». Но тут его ожидало разочарование: таковых в партградских тюрьмах и лагерях в живых не оказалось. К счастью, под влиянием Москвы в Партграде появились «неформальные» объединения. Наибольшую известность из них в городе приобрели «липари» и «металлисты». Первые были молодые люди из района Новых Липок. Как правило, они были единственные дети в более или менее благополучных семьях, не сумевшие устроиться в приличные учебные заведения. Работали они лишь время от времени где придется. Спекулировали на черном рынке «заграничными вещичками» – книгами, каскетами, транзисторами, джинсами, сигаретами. По примеру москвичей того же рода организовались в группы, объявив целью групп – «культурное самовыражение и времяпровождение, независимое от комсомола и от марксизма-ленинизма». «Металлисты» же, разделяя программу «липарей», отличались от них тем, что одевались одинаково в «заграничные» куртки и джинсы, украшенные металлическими бляхами, и стриглись наподобие западных панков. Они были из рабочих семей и сами причисляли себя к «рабочему классу». Начальник областного управления КГБ Горбань сказал по этому поводу, что «у нас даже поддаваться тлетворному влиянию и разлагаться морально как следует не умеют».

В обкоме партии решили «возродить» диссидентское движение, но в таких формах, которые вполне укладываются в русло перестройки. Нашли одного бездарного и вполне преуспевающего писателя, которому однажды задержали на короткое время публикацию его сверхбездарного романа, и напечатали о нем статью в газете как о жертве брежневского «террора». Писатель однажды отсидел пятнадцать суток за хулиганство в пьяном виде. И это ему поставили в заслугу: был якобы репрессирован за критику брежневского бюрократизма и коррупции. Нашли не менее бездарного художника,

отбывавшего когда-то наказание за растление малолетних. О нем тоже решили написать статью как о жертве брежневизма, устроить его выставку и рекомендовать его иностранцам как диссидента.

– Надо проследить за тем, – сказал товарищ Крутов, – чтобы освобожденные узники совести не вздумали на радости вместо обличения язв нашего общества заниматься его восхвалением. Сейчас это было бы неуместно.

ПАМЯТЬ

Наконец, комиссия решила создать в Партграде по примеру Москвы нечто вроде патриотического объединения «Память».

Патриотическое объединение (оно само считало себя таким) «Память» возникло как характерное для эпохи горбачевской перестройки явление. В течение двух лет оно достигло размеров, какие не снились диссидентам в самые лучшие годы: более двадцати тысяч человек. Один этот факт говорил о том, что если это объединение не было изобретением самих властей, то оно возникло при их молчаливом согласии и с их попустительства. Основная идея «Памяти» заключалась в том, что во всех несчастьях русского народа виноваты враги (или «темные элементы»), «окопавшиеся во всех звеньях партии». Эти враги суть сионисты (или космополиты) и масоны. Когда воззвание «Памяти», адресованное к русскому народу, стало распространяться в Партграде, всем стало ясно, что сионисты и космополиты суть обычные евреи и что призыв «Патриоты всего мира, объединяйтесь!» означал на самом деле «Антисемиты всего мира, объединяйтесь!». Не ясно было только, что такие масоны. Партийные агитаторы и пропагандисты разъяснили, что это – те же самые евреи, только еще более богатые и влиятельные, чем обычные сионисты и космополиты.

Партградцы отнеслись к воззванию «Памяти» в общем и целом одобрительно. Только они столкнулись с некоторыми трудностями в его осуществлении. Во-первых, в Партградской области было очень мало евреев. Да и те, которые были, забыли о том, что они евреи. Этот факт поклонники «Памяти» истолковали как показатель хитрости евреев: мол, в такую глушь, как Партград, они не хотят поселяться. Это, мол, только всетерпеливые русские могут жить в таких свинских условиях. А евреи окопались в Москве, на более сытных местах и поближе к Западу. Во-вторых, «во всех звеньях партии» в Партграде не нашлось ни одного еврея, который окопался бы там. Тогда пустили слух, будто Жидков сам был наполовину еврей, а может быть, на все сто процентов, что его настоящая фамилия не Жидков, а Жидов, что если он и не еврей, то его жена была явной еврейкой, что если они и не были евреями, то их дети были ярко выраженными жидами.

Партградскому начальству особенно понравился призыв «Памяти» к консолидации «всех патриотических сил в поддержку нового политического курса партии», в помощь «здоровым силам партии навести в стране порядок». Прочитав эти места воззвания «Памяти», Горбань приказал размножить его в десятках тысяч копий и распространять в городе так, как будто это нелегальный документ, преследуемый КГБ. Распространять этот преследуемый КГБ документ он поручил своим нештатным осведомителям и штатным сотрудникам.

Корытов предложил создать не новое объединение, вроде «Памяти», а областной филиал этого общества. Для руководства объединением отобрали подходящих членов партии и комсомольцев, которых потом, само собой разумеется, исключили из партии и комсомола, чтобы партградский филиал «Памяти» выглядел как новая форма оппозиции «режиму». Но на работе этим людям никаких препятствий не чинили. Пусть все

видят, что у нас происходит либерализация не на словах, а на деле!

ГЛАСНОСТЬ

Эпоха гласности началась в Партграде раньше, чем в Москве. Собственно говоря, Москва сначала провела эксперимент с гласностью в Партграде. И лишь тогда, когда убедились в пользе гласности на этом примере, ее решили ввести по всей стране. Началось все с самого, казалось бы, заурядного события: на улице Робеспьера из-за каких-то неполадок с газом взорвался новый жилой дом. Взрыв был грандиозный. Его слышали во всем городе. Смотреть на результаты взрыва бегали все жители города, включая безногих инвалидов и валяющихся пьяниц. Ходили слухи, будто при взрыве погибло пятьсот человек. Любители сплетен и слухов увеличивали цифру погибших вдвое, а то и втрое. Недобитые диссиденты ринулись было в Москву с намерением передать информацию западным журналистам, но их перехватили по дороге на вокзал. В обкоме партии в экстренном порядке собрались руководители области. Крутов связался лично с Сусликовым. Тот посоветовал пресечь ложные слухи. Крутов истолковал это как совет предать факт гласности, но в такой форме, чтобы из этого польза вышла. Так и поступили. Информацию напечатали, уменьшив число жертв и взвалив вину на бюрократов из прежнего руководства. Поскольку число жертв оказалось огромным даже после сильного преуменьшения, на Западе эту информацию истолковали как начало новой эпохи гласности.

Настоящий ураган гласности в Партграде начался в связи с разоблачением наркомании, проституции и гомосексуализма. Хотя наркоманов в области не было вообще, кампания против них прошла так, что даже в Москве позавидовали. В Партград завезли наркотики

из Средней Азии и обучили употреблению их «неустойчивые элементы». Провели показательные процессы над «торговцами смертью». Более пятисот человек было приговорено к длительным срокам заключения в лагерях строгого режима. Но что касается профилактики наркомании, то тут произошел срыв: партградцы к наркотикам привыкли и уже не захотели от них отказываться. И тогда появились настоящие торговцы смертью, против которых милиция и КГБ оказались бессильными.

Проституция в Партграде до начала перестройки тоже не существовала. Это не означает, что тут процветало целомудрие и сдержанность в отношениях полов. Как раз наоборот. В Партграде, как и во всей стране, процветал промискуитет, причем в самых примитивных формах. Проституция не существовала в том смысле, что не было женщин, профессионально зарабатывавших на жизнь своим телом. Партградцы использовали свои сексуальные способности с целью добиться желаемого, но это не было проституцией в строгом смысле слова. Это вполне укладывалось в рамки норм коммунистической морали. Это с проституцией не имеет ничего общего.

Когда началась эпоха гласности и по всей стране стали публиковать разоблачительные материалы о ранее скрывавшихся пороках, журналист «Партградской правды» разыскал двух старых шлюх, иногда подрабатывавших, проводя время с пьяными инвалидами, каковыми был переполнен Партград, и солдатами. Журналист угостил шлюх настоящей водкой и вызвал их на откровенность. И вот в газете появился очерк, потрясший партградцев и вызвавший массу откликов в центральной прессе. После этого множество молодых девушек приняло решение стать проститутками, поскольку, как об этом писали газеты, проститутки зарабатывают больше, чем профессора, инженеры, стюардессы и даже пилоты.

МАРШРУТЫ ДЛЯ ИНОСТРАНЦЕВ

Решив общие проблемы, комиссия затем наметила маршруты для иностранных туристов и делегаций, всего шесть или семь, охватывающие основные аспекты жизни города. Кто-то предложил увеличить число маршрутов, но Корытов это предложение отверг на том основании, что чем дольше иностранцы будут задерживаться в городе, тем больше они увидят такого, что им видеть не положено. Им нужно такую насыщенную программу составить, чтобы у них ни секунды не оставалось на размышления и на неподконтрольные встречи и наблюдения.

Наметив маршруты, решили проехаться по ним и сами осмотреть все то, что намечено для показа иностранцам. Начать решили с гостиницы «Илья Муромец», предназначенной специально для иностранцев.

ГОСТИНИЦА ДЛЯ ИНОСТРАНЦЕВ

Гостиницу для иностранных туристов в Партграде построили еще при Брежневе. Это строительство – блестящий пример дальновидности политики партии: хотя город тогда еще был закрыт для иностранцев и о перестройке еще никто не помышлял даже в Москве, а гостиницу для иностранцев построили самую большую в республике. Гостиница была одним из любимых детищ Петра Степановича Сусликова, который в те годы был одним из руководителей области и затем первым секретарем обкома партии. Он уже тогда мечтал о том времени, когда иностранцы потоком хлынут в руководимый им Партград.

Перед главным входом в гостиницу воздвигли монумент легендарному русскому богатырю Илье Муромцу, именем которого и назвали гостиницу. Партградские историки выдвинули гипотезу, будто легендарный (т. е.

никогда не живший на свете) Илья был на самом деле уроженцем не Мурома, а Партграда (бывшего Князева). В Муроме же он нанес первое поражение татаро-монгольскому игу. Обком партии одобрил инициативу партградских ученых, и гипотеза превратилась в теорию.

Построили гостиницу с таким расчетом, чтобы из ее окон были видны красоты города и его окрестностей. Но при этом совершили ошибку: из окон были видны не только красоты, но и секретные объекты – военный завод, протезный комбинат, химический комбинат, атомная электростанция, вышки концлагерей и психиатрическая больница. Строителей за это, конечно, наказали. Но исправлять было уже поздно. Пока город был закрыт для иностранцев, про оплошность не вспоминали: все эти секретные объекты были хорошо известны даже младенцам. Теперь, когда город решили открыть для иностранцев, о ней вспомнили. Но решили, что ничего страшного в этом нет. И даже хорошо, что иностранцы все это увидят. Пусть видят нашу индустриальную и военную мощь и выводы делают, какие нам нужно! Психиатрическая больница издали смотрится как обычная больница. А что касается исправительно-трудовых лагерей, то вышки охраны можно переделывать так, что они издали будут смотреться как башни старинного города или монастыря.

Построили гостиницу по последнему слову... нет, не строительной техники, а техники надзора за иностранцами. И за своими тоже. Подслушивающие устройства вмонтировали во всевозможных местах, так что обитатели гостиницы буквально чихнуть не могли без того, чтобы их не услышали в подслушивающем пункте сотрудники КГБ. Весь штат гостиницы обязали стать осведомителями КГБ, обучив предварительно приемам вскрытия и осмотра чемоданов, а также тайного фотографирования постояльцев в любое время суток и в любых позах.

Поскольку иностранные шпионы, политики, журналисты и туристы в Партграде не появлялись, гостиницей завладели спекулянты из южных фруктовых республик. Система подслушивания пришла в упадок. Любопытные спекулянты выковыряли подслушивающие устройства. Сотрудники гостиницы превратили помещение, откуда должно было производиться подслушивание, в дополнительный источник «левых» доходов. Ценное оборудование (кстати сказать, добытое в США и переправленное в Советский Союз через ФРГ) выбросили в подвал и разворовали.

Осмотрев гостиницу, комиссии приняли такое решение: всех обитателей гостиницы выселить и заселить отобранными людьми из районов области и из самого города. Последние должны изображать из себя сельскую интеллигенцию и колхозников, проводящих отпуск в городе или навещающих родственников. Обслуживающий персонал следует укрепить студентами университета и институтов, срочно обучив их нехитрой профессии гостиничной прислуги.

Теперь гостиницу решили срочно отремонтировать. Для этого в помощь малярам прислали целый батальон солдат. Солдаты выданные им краски и обои пропили вместе с малярами. Пришлось выдавать новые. За малярами и помогавшими им солдатами установили строгий надзор, прислав для этой цели батальон из войск особого назначения. Целая дивизия таких войск дислоцировалась около Партграда. Это были войска, подготовленные для десантных операций, вооруженные новейшим оружием и обученные особым приемам, включая приемы карате. Результат не замедлил сказаться. Десантники заставили маляров и рабочих-солдат в два дня привести в порядок здание, пропив при этом только половину отпущенных для ремонта материалов. Объяснение такой экономики оказалось очень простым: спекулянты боялись десантников и продавали им спиртные напитки в два раза дешевле.

Один из членов комиссии высказал мысль, что иностранцы наверняка постараются завязать контакты с другими обитателями гостиницы. Чтобы одолеть эту проблему, другой член комиссии предложил в прочие номера спрятать живых «слухачей». Кто-то усомнился в необходимости такой меры. Зачем, в самом деле, дублировать осведомителей КГБ, если обитатели прочих номеров и без того все будут осведомителями КГБ?! Надо же доверять нашим советским людям! Представитель КГБ на это заметил, что доверять надо, но надо проверять.

Долго не могли прийти к соглашению насчет того, чем кормить и поить иностранцев. Решили кормить на уровне областной номенклатуры. Поить решили не только водкой, но и российским шампанским, грузинскими винами и армянским коньяком.

– На иностранцев, – сказал товарищ Кобытов, – наша кампания против пьянства не распространяется. У них алкоголь есть элемент повседневной пищи.

ОСМОТР ГОРОДА

Улица Горького, на которую выходит главный подъезд «Ильи», в одну сторону ведет в старый и грязный район города с убогими домами и заканчивается пустырем, ставшим мусорной свалкой. Еще до приезда комиссии Крутов заблаговременно приказал закрыть движение в этом направлении гигантским щитом. На щите было изображено здание в стиле современной западной архитектуры, которое якобы будет воздвигнуто на этом месте. Согласно проекту (или обещанию), в этом здании, помимо просторных и комфортабельных квартир для рабочих и служащих, будут расположены бассейны, столовые, рестораны, спортивные залы, кинотеатр, дискотека и прочие блага цивилизации. Едва успели установить щит, как хулиганы написали на нем:

«А будут ли в этом современном здании бордели и вытрезвители?» Щит пришлось перекрашивать. Но на нем появлялись новые хулиганские надписи и порнографические рисунки. Пришлось установить около него круглосуточное дежурство милиции и народных дружинников.

Выехали на площадь и невольно залюбовались зрелищем самой высокой в России статуи Ленина. Раньше на ее месте была статуя Сталина. И площадь называли именем Сталина. Статуя Сталина была высотой в семьдесят метров, а ленинская – всего шестьдесят. Это объясняется не неуважением к Ленину со стороны недобитых сталинцев, а тем, что статую Ленина вырубili из статуи Сталина. Естественно, голову Сталина пришлось отрубить. Создатели монумента Ленина столкнулись с проблемой: как приделать бывшему Сталину вытянутую вперед руку Ленина? Руку приделали. И получили за это Ленинскую премию. Но материал руки по оттенку несколько отличается от материала остального тела, что становится заметным в сырую погоду. Кроме того, рука имеет тенденцию отваливаться, и статую приходится по крайней мере раз в год ремонтировать.

– Глядите, – сказал председатель городской комиссии, указывая на монумент Ленина. – Вчера тут была груда венков. А сейчас?! Ни одного! Укралi, сволочи! У нас всегда так: чуть не досмотришь, все испохабят и разворуют. Михаил Сергеевич трижды прав: нужно всерьез браться за дисциплину и порядок.

– И как только они ухитряются это делать? – сказал председатель областной комиссии с некоторой долей восхищения в голосе.

– Наш брат-Иван и не на такое способен! – ответил представитель КГБ. – Русская смекалка!

В осмотр города включили, помимо статуи Ленина, остатки партградского Кремля, магазины сувениров, краеведческий музей и могилу Неизвестного Солдата.

К могиле Неизвестного Солдата, как и в Москве, приезжают после регистрации брака молодожены, приходят группы молодых воинов после принятия присяги и пионеры. Все возлагают венки. Эта традиция породила две отрасли местной индустрии: одна – изготовление венков, другая – их похищение и перепродажа. В КГБ и в милиции считают, что второе предприятие есть на самом деле дочерний филиал первого. Но поймать до сих пор не могут, хотя у «могилы» постоянно дежурят милиционеры, народные дружинники и даже солдаты.

Около музея сувениров обсудили проблему продажи туристам икон. К туристам наверняка будут приходить фарцовщики, предлагая «старинные» иконы. Иконы на самом деле изготовлены местными художниками-нонконформистами. На них еще краска не успела как следует высохнуть. Но сделаны они лучше старинных. И выглядят более древними, чем старинные. А главное – стоят дешево. На старые джинсы турист может приобрести пару икон, на новые – одну. Почему, спросите, старые джинсы ценятся дороже, чем новые? Отвечу вопросом: а почему старые иконы ценятся дороже новых, хотя они хуже новых?

Корытов предложил создать частную артель по изготовлению икон, предоставив ей возможность продавать свою продукцию в магазине сувениров. Тем самым будет нанесен удар по фарцовщикам.

ТРУД

Целью второго маршрута было показать иностранцам героический труд партграждан в условиях перестройки. По выезде на Ленинский проспект, который в одном направлении вел в индустриальный район города, автобус резко затормозил: проспект в неполюженном месте пересекали двое пьяных мужчин. Они шатались, падали, вставали, помогая друг другу, и горланили

какие-то песни. Корытов укоризненно взглянул на представителя милиции. Тот залепетал что-то насчет того, что «недосмотрели», и пообещал «снять стружку» с кого следует. Пьяные погрозили автобусу и зигзагом продолжили свой путь. Если бы они знали, кому они погрозили!

Автобус промчался мимо магазина для слепых, называемого «Рассвет», и магазина ножных протезов, называемого «Скороход». Люди настолько свыклись с этими названиями, что не замечали мрачного юмора в них. Не заметили этого и члены комиссии. Председатель областной комиссии сказал, что эти магазины следовало бы показать иностранцам. Такой заботы о слепых и безногих, как у нас, вы нигде в мире не увидите. Неплохо было бы в иностранные делегации включать хотя бы по одному слепому. Пусть своими глазами посмотрят, как мы заботимся о трудящихся, лишенных зрения.

Автобус мчался мимо домов с вывесками бесчисленных контор. Кто-то сказал, что было бы неплохо число таких вывесок сократить. Но представитель КГБ заметил, что он недавно был в Париже, так там таких вывесок в десять раз больше. Иностранцы наверняка не обратят на них никакого внимания. Люди вообще больше замечают то, что не укладывается в их обычные представления.

То, что комиссия увидела в индустриальном районе, привело ее в уныние. Повсюду валялся мусор, пустые перекореженные бочки, поломанные ящики, невообразимого вида остатки машин. У завода авиационных приборов была построена проходная «будка», по размерам мало уступающая самому зданию завода. Но через нее никто не проходил. И ворота, через которые по идее должны были проезжать машины, были заперты на гигантский всячий замок, каким, вероятно, запирали ворота Партградского Кремля еще во времена князя Олега. Еще более мрачную картину комиссия увидела у машиностроительного завода. У одного из цехов, кото-

рый был виден издалека, вообще отвалилась часть стены. Дыру завесили фанерным щитом, на котором был изображен Ленин с красным бантом, с хитрой усмешкой и слегка приподнятой рукой. Под Лениным были слова: «Верной дорогой идете, товарищи!» Но от дождей и ветров плакат принял такой вид, что даже политически выдержанные члены комиссии не удержались от смеха.

– Что будем делать? – спросил товарищ Корятов, и в голосе его звучала угроза. – За неделю порядок тут не наведешь.

– Ничего страшного, – оптимистически заметил представитель городского комитета профсоюзов. – Перекроем проспект перед улицей Брежнева. Там на самом деле пора отремонтировать асфальтовое покрытие. Транспорт направим в объезд по улице Брежнева, затем по улице Карла Либкнехта и Розы Люксембург, наконец – по улице Мориса Тореза. И выедем прямо к электроламповому заводу и к текстильной фабрике. Они закрывают вид на весь район. И порядок там относительно приличный. А за неделю там такой блеск навести можно, что...

– Только смотрите не переборщите, – успокоенно сказал Корятов, – а то подумают, будто мы «потемкинскую деревню» устраиваем.

Когда комиссия возвращалась обратно, перед площадью Ленина пришлось притормозить, так как те два пьяных, которых видели утром, расположились спать посреди улицы. К ним подъехали милиционеры на мотоциклах со специальными колясками для сбора пьяных. Нарушителей порядка сунули в коляски и увезли. Путь был свободен.

– Сажать таких мерзавцев надо, – сказал представитель комсомола.

– Воспитывать надо, – поправил Корятов не в меру ретивого комсомольского вожака.

– Верно, – поддержал Корятова представитель КГБ. – Сначала надо воспитывать, а уж затем сажать.

НОВЫЕ ЛИПКИ

Третий маршрут решили посвятить бытовым условиям трудящихся. Для этой цели выбрали новый и самый благоустроенный район города – Новые Липки. Путь туда вел от площади Ленина в направлении, противоположном предыдущему маршруту. Расстояние между промышленными предприятиями и жилым районом для трудящихся этих предприятий было километров двадцать. Чем, спрашивается, думали власти, давая санкцию на строительство жилья для рабочих в таком отдалении от места работы? Именно этот вопрос в риторической форме поставил товарищ Сусликов на партийном съезде, критикуя недостатки брежневского руководства. Сусликову аплодировали. А ведь это он в свое время санкционировал этот идиотизм.

Район был назван Новыми Липками в подражание московским Новым Черемушкам. Название было двусмысленным, поскольку вызывало по ассоциации слово «липа», обозначающее не только дерево, но и обман, подделку, очковтирательство. Партградское начальство, привыкшее к липам в своей работе, не придало этому, однако, никакого значения.

Строился район как образцово-показательный. Поэтому в нем не построили никаких питейных заведений, хотя построили крупнейший (согласно газетам) в стране вытрезвитель. Местные пьяницы в связи с этой несуразностью засыпали жалобами все областные и столичные учреждения. Их поддержало руководство вытрезвителя, который систематически не выполнял планы и тянул область назад. Возглавлял кампанию жалоб трезвенник инженер военного завода, прозванный за это Правдоборцем. Он стал самой популярной фигурой в городе. Даже центральный нападающий хоккейной команды не мог сравниться с ним по популярности. Его влияние тогда было сопоставимо с влиянием Римского Папы, когда тот посетил Польшу. Заяви тогда

Правдоборец, что он отменяет советскую власть в области и передает власть пьяницам, народ пошел бы за ним. Но он почему-то не рискнул на это, как и Папа не рискнул отменить социализм в Польше.

После открытия питейных заведений в районе началось такое безудержное пьянство, какого еще не знала история человечества. Правдоборец на сей раз начал борьбу против пьянства. Но сограждане игнорировали его призывы, и он вскоре был начисто забыт – поучительный пример тому, что слава преходяща. Рабочий класс и служащие района, ведомые беспартийными алкоголиками, отразили все атаки борцов за трезвость. В конце дня стало опасно в одиночку появляться на улице. В середине дня тоже. Парами тоже. Драки, грабежи, изнасилования и хулиганство стали неотъемлемыми атрибутами будней района. Праздников тоже.

При въезде в Новые Липки члены комиссии увидели бронзовый бюст какого-то гнусного вида упыря, по выражению морды которого можно было безошибочно догадаться, что это был бюст крупного партийного работника. На бронзовом лбу упыря красовалось знаменитое русское ругательство из трех букв.

– Опять испохабили, мерзавцы, – воскликнул председатель городской комиссии. – С этим пора кончать!

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ВАНДАЛИЗМ

Неприличные надписи на портретах вождей и плакатах, пририсовывание вождям усов и выкалывание глаз на портретах, осквернение памятников классиков марксизма и бюстов руководителей партии есть явление в Партграде, как и в других областях, самое заурядное. Какой-то остряк из Союза художников предложил делать эти предметы культа и пропаганды сразу с оскверняющими их знаками, чтобы таким путем отучить хулиганов от соблазнов, ставших бессмысленны-

ми. Но его новаторство осталось не оцененным современниками. В Партграде «политический вандализм» принял особенно грубые формы в связи с бюстом бывшего секретаря ЦК КПСС Портянкина, установленным в Новых Липках после того, как ему присвоили звание Героя Советского Союза в связи с тридцатилетием победы над Германией за какие-то «выдающиеся заслуги». Таким образом, к золотой звезде Героя социалистического труда у Портянкина прибавилась еще одна золотая звезда, и он получил право на бронзовый бюст на родине. В чем заключались «выдающиеся заслуги» Портянкина, никто не знал. Впрочем, никто не знал и о заслугах Брежнева, что не помешало ему стать обладателем самого большого числа наград в истории человечества.

На другой же день после открытия монумента на гранитном пьедестале появилось ругательное слово. Его стерли, но оно появилось вновь. Так продолжалось две недели кряду. Начальник областного управления КГБ Горбань приказал учредить круглосуточное дежурство своих агентов около монумента. Но слово, тем не менее, появлялось и появлялось вновь. Когда Горбаню доложили об этом, он был настолько потрясен, что автоматически вписал это слово в важный документ. После этого неприличное слово на монументе перестали стирать. К нему привыкли и не обращали на него внимания. Но вот однажды пенсионеры, просиживавшие штаны на бульваре неподалеку, учуяли нехороший запах, исходивший от бюста. Приглядевшись к подножию монумента, они заметили большие свежие кучи человеческих экскрементов. О своем открытии они сообщили в КГБ, решив, что «тут пахнет политикой». На особом заседании обкома партии приняли постановление клумбу вокруг бюста засадить колючими кустарниками. И вражеские вылазки на данном участке строительства коммунизма сократились до терпимого уровня. Но не прекратились совсем.

Корытов предложил перенести монумент в другое место, где его не смогут увидеть иностранцы. И у хулиганов пропадет стимул безобразничать. Русский человек вообще начинает безобразничать, если его безобразия видны всем. К тому же Портянкин скомпрометировал себя коррупцией, так что бюст лучше всего убрать совсем. Скоро Сусликов получит вторую золотую звезду, и место потребуется для его бюста.

Осмотром объектов, отобранных для показа иностранцам, и программой этого маршрута комиссия осталась удовлетворенной. Но день все-таки был испорчен тем, что к Корытову подошла группа жителей и передала ему жалобу на беспорядки в районе. Они попросили передать жалобу лично Горбачеву. В жалобе говорилось, что дома были приняты в эксплуатацию с такими дефектами, что сразу же потребовался капитальный ремонт. В стенах образовались щели, через которые проникает вода во время дождя. Через мусоропровод и вентиляцию в квартиры проникают тараканы. Отопление плохо работает. Не работает прачечная. На весь район два кафе и одна столовая, в которых нечего есть. И очереди везде. С транспортом ужасно плохо. Автобуса приходится ждать иногда часами. Чтобы устроить детей в детский сад, приходится ждать очереди больше года. Одним словом, все то, что комиссия планировала показать иностранцам, существовало только в воображении начальства.

По выезде из Новых Липок члены комиссии увидели такую сцену. Около монумента расположилась группа пропойц с выпивкой и закуской. Один из пропойц делал по-большому в кустах около монумента, другой — по-маленькому прямо на пьедестал, третьего рвало от выпитой гадости, а четвертый спал, широко раскинув руки. Около пьяниц сновали бездомные собаки. Нахальные воробьи клевали крошки на газетах. На загаженной голубями лысине Портянкина сидела драчная ворона.

Согласно официальным отчетам и газетам, в Партграде идет интенсивная культурная жизнь. В городе есть все, что есть в Москве, только масштабами поменьше и качеством пониже. Здесь есть и отделение Союза писателей, и отделение Союза художников, и отделение Союза композиторов. Писателей, например, здесь больше, чем было во всей царской России до революции. Раньше здесь были свои Толстые, свои Чеховы, свои Горькие и Маяковские. Теперь времена изменились, и партградские писатели предпочитают считаться местными Хемингуэями, Ионесками, Дюрренматами, Стейнбеками, Гринами, Апдайками. Есть даже претенденты на местные Агаты Кристи, причем это главным образом мужчины. И местные художники теперь все суть Пикассо, Дали, Кандинские. А после того, как книжные спекулянты завезли в Партград альбомы современных западных художников, тут появились все течения современной западной живописи и графики. Особенно модными стали абстракционисты. Даже любители, никогда не державшие в руках кисти, вдруг обнаружили, что они в течение нескольких дней способны наляпать нечто такое, что сразу же выдвигает их в ряды самых прогрессивных художников мира.

Конечно, такое положение сложилось не сразу и не без борьбы. Начальство и массы населения, руководимого начальством, долго сопротивлялись новым веяниям в культуре. После того, как эти новые веяния были разгромлены в Москве и, разумеется, во всех провинциальных городах, высшее руководство решило разрешить их до некоторой степени. В результате бывший партградский сюрреалист стал во главе партградского отделения Союза художников, партградский авангардист стал во главе партградского отделения Союза композиторов, а партградский Камю – во главе партградского отделения Союза писателей.

О том, что в стране начался «культурный ренессанс», партградцы узнали из передач западных радиостанций («голосов»), которые буквально стали захлебываться от восторгов по поводу свобод, предоставленных горбачевским руководством деятелям советской культуры. За это в Советском Союзе перестали их глушить. Жителям Партграда показали несколько на редкость плохих фильмов, которые якобы (согласно «голосам») были шедеврами киноискусства, за что были запрещены реакционным брежневским руководством. Затем в книжных магазинах появились не менее скверные книжки, которые, согласно тем же «голосам», были шедеврами литературы, за что были запрещены тем же реакционным брежневским руководством. Наконец, партградским театрам предоставили право самим определять свой репертуар и устанавливать цены на билеты. В первую неделю ранее пустовавшие театры наполовину заполнились зрителями, хотя цены на билеты увеличились вдвое. Проводники горбачевского курса возликовали. В газетах появились огромные статьи с дифирамбами мудрому решению ЦК. Но в следующую неделю театры опустели совсем. Партградцы, убедившись в том, что ранее запрещенные спектакли были еще скучнее тех, которые разрешались, решили не тратить зря деньги на театры. Тогда билеты стали распределять по учреждениям и предприятиям города, обязывая комсомольцев и членов партии покупать их в порядке общественной нагрузки. Хотя профсоюзная организация оплачивала половину стоимости билетов, коммунисты и комсомольцы отказались их покупать, ссылаясь на горбачевскую же установку на «дальнейшую демократизацию» общества. А так как в Партграде не было иностранцев, которые, как в Москве, клюнули бы на удочку «культурного ренессанса», то в театральном ренессансе сложилась катастрофическая ситуация. Жаждавшие свободы творчества артисты и режиссеры попросились обратно под «жесткий кон-

троль цензуры». Но их туда не пустили. Хотели свободы, сказали им в обкоме партии, так и выкручивайтесь своими силами. Тогда актеры, считавшиеся самыми талантливыми и гонимыми, образовали свой «Независимый театр». Бездарный писатель-конъюнктурщик, прикинувшийся жертвой брежневского террора, срочно сочинил сверхбездарную пьесу о сталинском терроре, брежневском застое и горбачевской революции. Смысл пьесы сводился к тому, что теперь можно свободно критиковать Сталина и Брежнева и превозносить Горбачева. Пьеса, однако, успеха не имела, поскольку Партград еще был закрыт для иностранцев. «Независимый театр» распался. Теперь же в связи с открытием города для иностранцев комиссия рекомендовала местным властям восстановить театр и возобновить постановку провалившейся пьесы.

Аналогичная ситуация сложилась для партградских художников. На их выставки жители города перестали ходить совсем, поскольку они еще не доросли до западных «измов», ранее запрещенных и недавно разрешенных в Партграде. О продаже картин и думать нечего было, так как основными покупателями произведений изобразительного искусства были государственные учреждения и предприятия, которые предпочитали портреты вождей и знаменитых граждан страны и сцены из трудовой и боевой жизни общества. А иностранцев, которые могли бы за валюту скупать мазню партградских модернистов и авангардистов, в городе тоже не было.

Комиссия посоветовала партградскому руководству создать объединение независимых художников и предоставить в их распоряжение помещение для выставок. Иностранцы наверняка будут посещать выставку и скупать мазню партградских «пикассят» и «пикасших» (выражения Кобытова). А на Западе это будет выглядеть как показатель «культурного ренессанса».

– Главное, – резюмировал обсуждение Корытов, – иностранцы увидят, что, хотя у нас нет еще результатов свободы творчества, зато есть нечто более важное, чем результаты творчества, а именно – свобода творчества, пусть даже с плохими результатами или совсем без оных.

РЕЛИГИОЗНОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ

До революции Партградская область была очень набожной. Следы этой набожности сохранились до сих пор. Если верить западной прессе, они-то и послужат основой для религиозного возрождения в России. Вот один из характерных примеров глубокой набожности русского народа.

В Новых Липках в одной многосемейной квартире жили две старухи. Они ненавидели друг друга и всячески пакостили друг другу. И какие только пакости они ни измышляли! Бросить противнице кусок мыла в кастрюлю с супом было самым невинным делом для них. И вот одна старуха умерла. Другая злорадствовала: мол, покойную Бог наказал за ее пакости, а она еще поживет!

– Зря радуешься, бабка, – сказал живой старухе сосед, которому в жилищном отделе Районного совета пообещали отдать комнату старух после их смерти. – Покойная на том свете пожалуется на тебя Богу, расскажет, как ты ей в суп куски мыла бросала. И Бог пошлет ее за это в рай, а тебя – в ад.

– Это не я ей, а она мне мыло в суп бросала! – завопила возмущенная старуха. – Ну, я этой стерве покажу! Я Богу всю правду о ней выложу!

Старуха решила как можно быстрее попасть на тот свет, чтобы оправдаться перед Богом и учинить какую-нибудь пакость ненавистной противнице. И в тот же день вечером она умерла, сжимая костлявой рукой кусок «хозяйственного» мыла – самого отвратительного

и дешевого мыла изо всех мыл, когда-либо существовавших в истории человечества. Отпевавший ее священник сказал, что покойная явила миру поразительный пример крепости веры. Похороны старухи превратились в своего рода демонстрацию. Стали поговаривать о том, чтобы присвоить старухе какой-то святой чин, кажется — чин великомученицы.

До революции все дома в Партграде были увешаны иконами. Иконы висели даже в амбарах и сараях. После революции почти все церкви были закрыты, и иконы еще более обесценились. Антирелигиозная пропаганда и «раскулачивание» крестьян привели к полной инфляции икон. Ими топили печи, заколачивали окна и двери, чинили дыры в стенах и заборах. Но вот до Партграда докатился слух, будто в Москве иконы стали входить в цену. Это произошло уже после войны. Несколько предприимчивых мужиков нагрузили иконами мешки, свезли их в Москву, продали за приличные (по их представлениям) деньги и вернулись обратно пьяные и довольные. После этого начался иконный бум. Иконы целыми возами собирались по деревням и отправлялись в Москву. А цены на них все росли и росли. Это породило слух, будто самого Бога тоже скоро реабилитируют, будто московские вожди потихоньку окрестились на всякий случай и прочее. Когда отремонтировали монастырь и открыли церковь в центре города, слух обрел силу достоверности. Хотя по всем партийным организациям разослали закрытое письмо обкома партии, а пропагандисты на основе его провели широкую пропагандистскую разъяснительную кампанию, что это связано со вниманием к культуре прошлого и с разрядкой напряженности в мире, этому уже никто не поверил. Тяга к религии усиливалась с каждым днем. Наконец, в городе появились молодые люди с бородами, увешанные крестами и говорившие на «о». Они свели близкие знакомства с местными священнослужителями и верующими. Сняли на окраине города целый дом. Изъездили всю

область. Возвращались в город только ночью, так что никто не видел, с чем. Это был самый светлый период в жизни области. Все ходили просветленные. Начальник милиции построил себе новую дачу. Многие работники руководящих учреждений приобрели новые машины. В городе замелькали модные заграничные вещи, зазвучали заграничные радиоприемники. Все чаще слышались слова «гуд-бай», «о'кей», «гёрлы», «босс». На Западе заговорили о начале религиозного возрождения в недрах России.

Вдруг грянул гром: бородатые молодые люди оказались московскими жуликами. Они за бесценок скупали в деревнях иконы и продавали в Москве иностранцам за валюту.

Религиозное возрождение пришло в упадок и заглохло бы совсем, если бы не началась перестройка.

СВОБОДА РЕЛИГИИ

Следующий маршрут задумали так, чтобы показать иностранцам свободу религии, а также заботу партии и правительства о загробном мире. В маршрут включили посещение монастыря, действующей церкви, похоронного комплекса и дома для престарелых.

Монастырь был назван именем Ленина, конечно, но не в качестве монастыря, а в качестве музея атеизма. Но это название («монастырь Ленина», или «Ленинский монастырь») сохранилось и в горбачевские годы, когда часть монастыря отдали под настоящий и под Духовную семинарию. Монахи обязались сохранять ту часть монастыря, где помещался антирелигиозный музей, в образцовом порядке. И надо отдать им должное, слово свое они сдержали. Партградский епископ сказал по этому поводу во время встречи в Москве с религиозной делегацией из Западной Европы, что марксистское учение нисколько не противоречит христианскому учению.

Монастырь был «реставрирован», т. е. почти полностью отстроен заново еще в брежневские годы с учетом советской исторической концепции, идеологии и внешнеполитической ситуации. «Реставрирован» по последнему слову техники. Например, если экскурсовод хочет показать вам подземную камеру, в которую была когда-то заточена особа царского рода, он нажимает кнопку, пол раздвигается, на дне его вы видите чучело несчастной княгини, прикованное здоровой цепью к стене, вода начинает заливать пол, чучела огромных крыс забираются (кибернетика!) на возвышение, на котором на соломе лежит княгиня... Или экскурсоводу требуется охарактеризовать положение трудящихся в дореволюционной России. Опять-таки нажимается кнопка. Раздвигается стена камеры. За пуленепробиваемой прозрачной преградой вы видите подвешенное на дыбе чучело трудящегося. Еще нажим на кнопку. Трудящийся поднимается вверх, руки выламываются, стоящие по бокам чучела палачей начинают его бить батогами, а другие – поджаривать ему пятки. И в это время вы слышите ледяной, безэмоциональный голос экскурсовода: вот так, мол, жили трудящиеся нашей области до революции. А теперь повернемся на сто восемьдесят градусов! Еще нажим на кнопку. И перед вами залитая ярким светом панорама города. Вдали – заводы. В небе – самолеты и ракеты. Идут студенты в университет. Здоровые малыши купаются в бассейне и играют на детской площадке. Шикарная квартира рядового гражданина в разрезе. Тучные нивы. Тучные стада домашнего скота. Магазины, полные продуктов. Хотя посетители знают, что эти тучные нивы и стада, а также магазины с изобилием предметов потребления суть плод воображения отделов пропаганды райкома, горкома и обкома партии, зрелище это все равно потрясает их. И они покидают монастырь имени Ленина с надеждой на то, что, может быть, действительно скоро появится колбаса и селедка в магазинах.

Члены комиссии остались довольны осмотром монастыря. После осмотра их пригласили в трапезную, где им устроили роскошный обед. На обеде, помимо настоятеля монастыря, присутствовал сам епископ. Деятели церкви с пониманием отнеслись к пожеланию членов комиссии отразить в работе монастыря происходящую перестройку. Настоятель сказал, что число желающих постричься в монахи и учиться в семинарии возросло в пять раз сравнительно с брежневскими годами и что изучение речей товарища Горбачева и постановлений ЦК КПСС включено в программу обучения в семинарии.

– Эти ребята не подведут, – сказал Корытов своим коллегам после того, как они покинули гостеприимный симбиоз веры и безверия.

В действующей церкви комиссию встретила целая туча откормленных служителей культа.

– Церквушка малюсенькая, а попов не меньше, чем в Троице-Сергиевской Лавре под Москвой, – заметил представитель КГБ. – А мы против разрастания бюрократии боремся.

– Попов это не касается, – сказал представитель милиции. – К тому же они сейчас полезное дело делают, с пьянством не хуже наших пропагандистов воюют.

Во время посещения церкви иностранцами решили проводить образцово-показательные крещения младенцев, образцово-показательные свадьбы и образцово-показательные похороны. Попы предложили, чтобы родители младенцев были членами партии, новобрачные – комсомольцами, а покойники – бывшими партийными работниками. Тогда будет убедительнее выглядеть свобода религии. Кто-то сказал, что было бы неплохо, чтобы новобрачные, молодые родители младенцев и родственники покойников приглашали иностранцев на соответствующие торжества – свадьбы, крестины и поминки. Конечно, не очень-то приятно идти на поминки. Но иностранцам надо разъяснить,

что русские на похоронах веселятся не меньше, чем на крестинах.

ПОХОРОННЫЙ КОМПЛЕКС

Похоронным комплексом в Партграде называли кладбище совместно с моргом, крематорием, колумбарием и мастерскими по изготовлению надгробных сооружений (памятников, оград и крестов), урн для праха покойных, искусственных и естественных цветов.

Партградское кладбище является одним из самых замечательных во всей России. В центре кладбища находится крематорий, похожий на богатый дворянский дворец восемнадцатого века. Это производит удивительное впечатление. Товарищ Сусликов, бывший в свое время первым секретарем обкома партии, в речи на торжественном открытии крематория заявил, что, «глядя на такое величественное здание, испытываешь радостное чувство строителя нового общества». В газетах написали, что «в нашем городе вступило в строй новое предприятие по производству останков скончавшихся трудящихся, равного которому не только по мощности, но и по красоте нет в Европе». За крематорием – колумбарий. Колумбарий тоже замечательный. Покойники в нем занимают точно такое положение, какое они занимали при жизни. Ритуал похорон через крематорий отработан настолько четко и артистично, что второй секретарь обкома партии (т. е. секретарь по идеологии) сравнил его с уровнем балета Большого театра. Он вроде бы даже внес предложение выезжать с крематорием на гастроли за границу. Но Москва отвергла его идею на том основании, что члены похоронной труппы полностью станут невозвращенцами. По словам того же главного идеолога области, Похоронный комплекс стал «составной частью нашего образа жизни».

Работников Похоронного комплекса в городе называют «тружениками загробного мира». Их регулярно сажают в тюрьму за жульничество и взятки. Но, вместе с тем, Похоронный комплекс является единственным рентабельным предприятием области, если не считать отделенную от государства церковь.

Работники загробного мира первыми в области откликнулись на призывы высшего руководства начать мыслить по-новому и включиться в перестройку всего образа жизни страны. Хотя они имели дело не столько с образом жизни, сколько с образом смерти, они, как это и следовало ожидать от советских граждан, озабоченных прогрессом своего общества, решили проявить инициативу и начать перестройку всего образа смерти страны. Вечером они собрались в конторе кладбища. Стол был уставлен и завален алкогольными напитками и закусками, каких теперь нельзя было достать даже в продуктовом распределителе обкома партии. Засиделись далеко за полночь. Заседание было очень содержательным и веселым. Были рассказаны все новые шутки и анекдоты про Горбачева, включая шутку насчет горбатого, которого способна исправить лишь могила. Между шутками и анекдотами обсудили и деловые проблемы. Сам заведующий Похоронным комплексом внес предложение вместо дорогостоящих и громоздких гробов хоронить покойников в целлофановых пакетах, предварительно расчлняя трупы на мелкие куски. Секретарь партийной организации предложил делать могилы не горизонтальные, а вертикальные. Такие могилы будут занимать меньше места. Кроме того, для рытья таких могил можно использовать недавно привезенные из ФРГ машины для посадки деревьев. Тем самым в несколько раз повысится производительность труда копальщиков могил, и в этом отношении Похоронный комплекс выйдет на уровень мировых стандартов. Секретарь комсомольской организации внес предложение прессовать покойников. Причем при доста-

точно мощном прессе покойников можно будет помещать даже в спичечные коробки. В спрессованном виде их можно будет помещать в колумбарий. Тем самым облегчится работа крематория и сократится потребность в могилах. Главный инженер внес ценное предложение, касающееся борьбы с бюрократизмом и коррупцией: уволить сторожа, который брал взятки, и вместо него завести пару злых собак. Кто-то добавил, что для собак надо нанять двух собаководов. Председатель месткома сказал, что областной совет профсоюзов одобрит эту инициативу насчет собаководов. Но сторожа увольнять не следует. Достаточно изменить его статус – впредь называть привратником. Одним словом, на другой день все партградские газеты напечатали обращение партградских трудящихся загробного мира ко всем работникам похоронно-могильного дела страны включиться в перестройку образа жизни страны на порученном им участке строительства коммунизма.

Но, несмотря на все это, работников загробного мира опять посадили в тюрьму. На сей раз посадили не за взятки, а за дело более серьезное, можно сказать – политическое. Взятки они, конечно, брали. А кто их в наше время не берет?! Особенность тут заключалась лишь в том, что они, как написали в своем письме старые коммунисты-пенсионеры в газету «Партградская правда», «наживались на человеческом горе и драли три шкуры с покойников». Эти коммунисты-пенсионеры написали также письмо в управление КГБ, в котором обратили внимание «чекистов» на то, что «на кладбище сложилась нездоровая атмосфера». Как выяснилось, эта «нездоровая атмосфера» заключалась в следующем. В ответ на решение ЦК КПСС повысить эффективность работы предприятий сотрудники Похоронного комплекса взяли на себя социалистическое обязательство увеличить производительность своего предприятия вдвое. Но на их беду выяснилось, что темпы роста смертности в городе стали сокращаться. Что делать?

Выход из положения нашли в том, что одних и тех же покойников стали хоронить по нескольку раз и стали приобретать покойников за взятки в других населенных пунктах. В результате они скупили всех покойников в области, перевыполнив тем самым (по отчетам, конечно) план работы Комплекса в три раза. За это «труженики загробного мира» получили премии и награды. Но зато все другие кладбища области недовыполнили план, что снизило общие показатели области в общесоюзном социалистическом соревновании...

У Комплекса сделали остановку. Из конторы выбежал заведующий и бросился навстречу Кобытову. Кобытов пожал ему руку и поинтересовался тем, как новое руководство Комплексом исправляет ошибки предшественников. Заведующий заверил Кобытова, что труженики загробного мира будут уверенно претворять установку XXII съезда КПСС на ускоренное развитие без всякого жульничества, используя скрытые резервы. В частности, они заключили договор с Домом для престарелых на то, что все обитатели Дома предоставляют свои тела для захоронения на городском кладбище, а не на деревенских и районных кладбищах. Сейчас ведутся аналогичные переговоры с психиатрической больницей. Но есть, конечно, и трудности. Продуктивность кладбища сдерживается «бюрократами учреждений, поставляющих кладбищу сырой материал». О том, что главную надежду труженики загробного мира возлагают на войну в Афганистане, а также на повышение смертности вследствие употребления ядовитых жидкостей вместо водки, они умолчали.

Один из членов комиссии выдвинул предложение специально для иностранцев показывать образцово-показательные похороны. Для этого надо выбирать заслуженного и всеми уважаемого покойника, старого коммуниста, ветерана войны или труда. И жечь его с музыкой и с торжественными речами. На иностранцев это произведет наверняка сильное впечатление. Они

воочию убедятся в том, что у нас о человеке после его смерти заботятся даже больше, чем при жизни.

– Мы должны быт мертвых поднять на такой уровень, – сказал Кобытов, – чтобы им позавидовали живые люди на Западе.

ДОМ ПРЕСТАРЕЛЫХ

Дом престарелых имени Н. К. Крупской построили в непосредственной близости от Похоронного комплекса. При этом руководствовались самыми высокими гуманными соображениями: как писали в газетах, «советские люди должны с уверенностью и с открытыми глазами смотреть в будущее». Были приняты во внимание и практические соображения. Поскольку престарелые люди умирают чаще, чем молодые, как писали в тех же газетах, затраты на их захоронение оказываются непроизводительно высокими. А так как Дом престарелых расположен почти что на территории Похоронного комплекса, не нужно было строить особый морг и тратиться на перемещение покойников к месту захоронения.

Дом стал предприятием (опять-таки газетное выражение) республиканского значения. В него со всей России свозили стариков, от которых хотели избавиться родственники. Устроиться в него было не так-то просто: число желающих превышало число мест. Поэтому приходилось давать большую взятку. Кроме того, начальство Дома использовало его как нелегальную гостиницу для всякого рода жуликов и спекулянтов, что сокращало число «рабочих мест» (газетное выражение) для престарелых.

На содержание обитателей Дома отпускалось средств меньше, чем на солдат. Сотрудники Дома обворовывали их во всем. В результате старики мерли, как мухи осенью. В городе это никого не волновало + ста-

рики были чужие. Кроме того, в официальных отчетах это выглядело гораздо лучше, чем если бы старики жили долго: работу Дома оценивали по числу обслуженных душ. Городское начальство, контролировавшее Дом, получало солидные взятки от работников Дома и смотрело на происходящее в нем до поры до времени сквозь пальцы. Работники Дома, как и Похоронного комплекса, регулярно арестовывались за жульничество. Когда центральное руководство выдвинуло лозунг ускоренного развития, работники Дома встретили его с энтузиазмом. Они взяли на себя обязательство увеличить пропускную способность Дома. Но это превысило меру, и энтузиасты перестройки попали в тюрьму вместе с работниками загробного мира.

Еще задолго до «перестройки» обитатели Дома престарелых занимались спекуляцией, перепродажей ворованных вещей, сводничеством и самогоноварением, чтобы как-то заработать на существование. В свои мелкие махинации они вовлекали обслуживающий персонал. Последний в конце концов брал бразды правления в свои руки, и в Доме образовывались гангстерские банды из стариков и старух. Эти банды время от времени разоблачались. Персонал судили, а стариков отправляли в морг. Но на смену павших бойцов становились новые, и в Доме с удвоенной силой вспыхивал черный бизнес. С началом горбачевской антиалкогольной кампании Дом превратился в один из крупнейших центров спекуляции алкогольными напитками и самогоноварения. Милиция однажды произвела тотальный обыск в Доме. Почти в каждой комнатухе был обнаружен самогонный аппарат. Старики устроили настоящее восстание, когда милиция попыталась изъять аппараты. Они забаррикадировались в комнатухах, угрожая спалить Дом со всеми обитателями. После консультации с Москвой стариков решили оставить в покое, полагая, что они сами скоро вымрут. Расчет был верный: половина умерла через пару дней, не выдержав нервного

напряжения. И Дом престарелых заселили еще здоровыми пенсионерами – старыми членами партии.

– Мы должны быть престарелых поднять на такой уровень, – сказал Корытов, – чтобы на Западе появился лозунг: «Лучше быть старым при коммунизме, чем молодым при капитализме!»

РУССКОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЧУДО

В заключение решили попотчевать иностранцев самым близким их сердцу (как думали члены комиссии) явлением перестройки – допущением частной инициативы, – «новым НЭПом». В Партграде никакого ленинского НЭПа фактически не было: не успели частники подняться и развернуться, как их всех засудили. Но после отмены ленинского НЭПа в Партграде началось некоторое оживление «частного сектора». Это – приусадебные участки колхозников и дачные участки городских жителей, на которых выращивались овощи и фрукты и продавались на городских «колхозных рынках», а также частные портные, сапожники, врачи, учителя-репетиторы. Постоянно возникали нелегальные частные предприятия более крупного размера. Создатели их время от времени разоблачались и сажались в тюрьмы. В Партграде в течение нескольких лет процветала подпольная фабрика, производившая «заграничные» вещи – дамские кофточки, джинсы, сапоги, сумки. На самом деле вещи делалась в Партграде, но на них приделывали заграничные этикетки и продавали их на черном рынке за большие деньги. Начальство смотрело на это сквозь пальцы, поскольку получало от жуликов взятки, превосходящие их заработную плату. Сам прежний первый секретарь обкома партии Жидков покрывал махинации жуликов. Его жена стала фактически главой партградских уголовных мафий. Помимо упомянутой фабрики, в Партградской области процветал нелегаль-

ный «дом отдыха», бывший фактически борделем для привилегированных лиц. В городе все знали о существовании такого рода банд, писали письма в центральные газеты, в КГБ и в ЦК КПСС. Но без толку, так как Жидков был старым другом самого Брежнева. Лишь со смелой руководства области разоблачили и арестовали всю банду.

Намерение горбачевского руководства начать «новый НЭП», т. е. расширить частное предпринимательство, поставило партградские власти в затруднительное положение. Те люди, которые могли бы добровольно и успешно выполнить новую установку Москвы, сидели в тюрьмах. А желающих последовать их примеру пока не находилось, кроме жуликов. Никто не верил в серьезность новой установки. Все по опыту знали, что быть «частником» в советских условиях – значит быть жуликом. Как только изменится установка свыше (а она непременно изменится!), всех «частников» разоблачат и посадят.

Чтобы угодить Москве, решили досрочно освободить из тюрем кое-кого из бывших «частников» и спекулянтов. В частности, освободили организатора подпольной швейной мастерской, изготавливавшей «американские» джинсы. Многочисленные мелкие мастерские по ремонту домашней утвари, обуви, одежды, часов превратили в «частные» предприятия. Кроме того, открыли частный ресторан и частные зубные и гомеопатические больницы.

Мастерские, упомянутые выше, всегда были очагами преступности. Государству они приносили доход ничтожный, зато работники мастерских наживались основательно. Их регулярно разоблачали и сажали в тюрьмы. Обстановку в них «оздоравливали» новыми честными кадрами. Но последние уже через несколько месяцев превращались в отъявленных жуликов. Превращая эти мастерские в частные предприятия, руководствовались тем соображением, что «частники» во-

ровать будут не больше, чем государственные служащие, зато дело будут делать лучше. Первые дни такой расчет, казалось, подтвердился. Но вскоре в органы власти посыпались бесчисленные жалобы жителей. «Частники» воровали еще больше, а дело делали ничуть не лучше, чем их предшественники.

Не лучше обстояло дело с «частным сектором» на колхозном рынке. КГБ арестовало одну старуху, которая ухитрилась со своего маленького приусадебного участка продавать на рынке овощей и мясо-молочных продуктов больше, чем четыре колхоза с количеством людей свыше двухсот человек. Местные прогрессивные экономисты, воспользовавшись неслыханной доселе свободой слова и установкой на гласность, написали кучу статей в газетах и журналах о достоинствах «разумного подхода к частной инициативе». Статьи эти произвели сенсацию на Западе. В Партграде, в свою очередь, восприняли западные восторги по поводу «нового НЭПа» как высшую похвалу. Высокопроизводительную старуху хотели было представить к званию Героя социалистического труда, но секретарь обкома партии по идеологии засомневался в том, можно ли частный труд считать социалистическим. Запросили Москву. Московские передовые мыслители заявили, что в известных условиях частный труд, служащий делу социализма, может рассматриваться как социалистический. Так бы и стала высокопродуктивная старуха Героем социалистического труда, если бы члены шайки жуликов, сбывавших колхозные овощи и мясо-молочные продукты через нее, не перегрызлись между собой и не настрочили друг на друга доносы в КГБ. Старуху и жуликов, которые были руководителями этих колхозов, арестовали. Аресты напугали прочих «частников», и они резко сократили свою активность.

Посоветовавшись с Москвою, товарищ Крутов предложил местному начальству старуху временно освободить, а по деревням провести разъяснительную

кампанию, чтобы крестьяне спокойно везли продукты своей «частной» деятельности на городские рынки.

Но больше всего славы области, а затем – хлопот принесли два частных предприятия: мастерская металлических изделий (ММИ) и частный туалет, превратившийся в совместный советско-немецкий туалетный концерн (ССНТК). Именно в связи с ними вошло в употребление выражение «маяки перестройки» – так их вклад в перестройку оценили партгградские газеты, напечатавшие буквально десятки статей на эту тему.

Частная мастерская металлических изделий (гвоздей, винтов, гаек, шайб, кнопок, скрепок, петель, дверных ручек, замков и т. п.) буквально в течение нескольких недель развила такую экономическую эффективность, которая превзошла все самые высшие мировые показатели на этот счет, включая даже японские. Хозяином матерской назначили старого члена партии, бывшего начальника цеха Машиностроительного завода. В Партграде заговорили о «русском экономическом чуде», сопоставляя с японским и немецким. Статья с таким заголовком появилась даже в столичной прессе и в журнале «Коммунист». Ведущие экономисты страны, включая ближайшего советника Горбачева академика Обалдяна, написали обстоятельные работы с чрезвычайно умным объяснением этого экономического феномена. Опыт этой частной мастерской в значительной мере способствовал решению высших властей переводить предприятия на систему самофинансирования или самоокупаемости, так как мастерская не только окупала себя с лихвой, но сделала возможным успешное самофинансирование целого ряда предприятий города, включая упомянутый Машиностроительный завод.

Еще более успешным оказался опыт с частным туалетом. Возглавил его бывший директор комиссионного магазина, осужденный пять лет назад за крупные хищения на десять лет лагерей строгого режима, но досрочно освобожденный за «образцовое поведение в месте от-

бытия наказания» и даже восстановленный в партии с сохранением стажа. Туалет стал самым образцовым предприятием города, маяком перестройки в самом высоком смысле слова. По финансовому обороту туалет превзошел мастерскую металлических изделий и вышел в число крупнейших предприятий города. А главное – туалет вступил в прямые контакты с западногерманскими фирмами, которые поставили ему оборудование высшего мирового класса, а также туалетную бумагу и различные туалетно-косметические средства. В газетах писали, что такие унитазы, какие установлены в партгградском частном туалете, можно увидеть только в лучших мировых отелях и в виллах миллионеров, что даже у принца Чарльза и леди Дайяны унитаз и биде хуже партгградских. При туалете вскоре открылся частный магазин, в котором можно было приобрести вещи высших мировых достижений туалетного дела. Кроме того, при туалете открылось еще одно частное учреждение, в котором граждан обучали, как правильно пользоваться достижениями туалетной цивилизации, частный медицинский пункт и еще кое-что, о чем знали все, но помалкивали во избежание нареканий в консерватизме.

ТРЕВОГИ РУКОВОДСТВА

В «Партгградской правде» появилась восторженная статья о «русском экономическом чуде». После этого КГБ и милиция всерьез взялись за изучение секрета этого «чуда». Горбань встретился с Крутовым и имел с ним следующую беседу.

– Ситуация с частным сектором получается не просто криминальная, – начал Горбань, – а сверхкриминальная. Вот стоимость продукции, произведенной ММИ за полгода.

– Ого! Больше, чем Машиностроительный завод дал!

– Да. А ведь на заводе работает тысяча человек, тогда как в ММИ всего пятьдесят. Вот тебе установленные цены на продукцию ММИ. Возьми листок бумаги и раздели, если еще не забыл арифметику. А если забыл, попроси внука, он тебе вмиг расчет сделает.

– Увы, не сделает. Теперь у нас, как на Западе, таблицу умножения даже профессора математики не знают.

– Видишь, что получается? Эта ММИ должна была бы одними гвоздями всю область завалить, как снегом. А где они, гвоздочки-то? Поди, найди их в магазинах!

– Где?!

– А вот где! Эти жулики в соответствии с московской установкой сами нашли рынок сбыта для своей продукции. Они сбывают ее тем, кто строит частные дачи, причем по ценам в десять раз выше государственных. Даже в Прибалтике и в Закавказье продают, сволочи! Что делать? Я обязан сообщить обо всем в Москву.

– Погоди, не торопись. В Москве на это все иначе смотрят. Может быть, сумеем спустить все на тормозах.

– Мы с тобой не одни. Знаешь, сколько писем и доносов уже поступило в управление?! Наш народ хлебом не корми, а дай кляузы сочинить. Они, мерзавцы, и в Москву пишут. Но ММИ еще полбеды. Еще хуже дело с туалетным концерном. Тут, брат, нам не миновать фельетона в центральной прессе. Теперь у нас гласность, если пронюхают – наверняка настрочат. Вся страна смеяться будет. В этом частном туалете всего четыре унитаза («сидячих точки») и шесть писсуаров («стоячих точек»). Вот тебе установленные государством расценки. Стоячая точка без мытья рук – пятьдесят копеек, с мытьем рук – рубль, с причесыванием у зеркала – два рубля. Сидячая точка без бумаги – рубль, с бумагой – два рубля. Чтобы даже при таких живодер-

ских ценах дать такой доход, какой туалет получил за эти полгода, нужно было бы, чтобы весь Партград ходил справлять нужду в этот туалет, причем каждый должен был бы занимать стоячую точку на одну секунду, а сидячую – на две секунды. А по наблюдениям КГБ, туалет пустовал. Посещали его лишь родственники да друзья «частников», причем бесплатно. Откуда, спрашивается, такие доходы?! А вот откуда!

И Горбань нарисовал Крутову такую картину организованной преступности международного масштаба, о которой он слышал от своего сына, читавшего западные книги и журналы и слушавшего западные радиостанции. В сознании Крутова всплыло сочетание слов «высшая мера», которое он еще не так давно произнес сам в связи с делом своего предшественника.

– Дело серьезное, – промямлил наконец Крутов. – Надо посоветоваться лично с Петром Степановичем.

Но Сусликов опередил Крутова и позвонил ему сам, сообщив о решении ЦК и о московской комиссии.

Ознакомившись с постановкой дела в частных предприятиях, члены комиссии пришли в восторг. В ММИ им всем подарили золотые портсигары. В ССНТК им дали возможность посидеть на современных западных унитазах бесплатно, выдали в подарок по куску немецкого мыла и по рулону туалетной бумаги и попросили расписаться в книге почетных посетителей. Корытов порекомендовал передать все общественные туалеты города в аренду этому частнику.

– Если у нас все так работать будут, – сказал он, – то мы через несколько лет не только догоним Запад в экономическом отношении, но и перегоним.

– Но лучше не перегонять, – сказал представитель КГБ.

– Почему?

– А тогда наша голая задница всем видна будет.

По выходе из туалета произошел забавный казус. Группа пожилых людей, принявшая членов комиссии за

американцев, вручила им письмо Президенту Рейгану. В письме они просили Президента помочь им отремонтировать канализацию и вставить стекла в подъезде, выбитые пьяными хулиганами.

ВЕЛИКАЯ ИСТОРИЯ

В то время, когда объединенная комиссия занималась в Партграде проблемами, можно сказать, стратегического масштаба, во всех предприятиях и учреждениях города, во всех партийных, профсоюзных и комсомольских организациях, на всех уровнях системы власти и управления занимались проблемами меньшего масштаба, вплоть до отдельных личностей, окон, дверей, столов, плакатов, портретов, одежды, слов, улыбок, рукопожатий. Если бы всю интеллектуальную и творческую энергию, затраченную сотнями тысяч людей на все это, потратить на улучшение работы предприятий и учреждений области, то рывок вперед мог бы быть действительно грандиозным. Но коммунистическое общество организовано так и функционирует по таким объективным законам, что оно гораздо лучше справляется с проблемами имитации дела, чем с проблемами самого дела. К тому же, формальная суета по поводу дела тут считается более важным делом, чем то дело, по поводу которого поднимается суета. Суета по поводу дела привычна и легко выполняема. Она не требует длительных усилий, риска и потерь. Она прекрасно выглядит в отчетах. Она приносит удовлетворение и явную выгоду гораздо большему числу людей, чем само дело. Причем, она дает результат сразу, а не в отдаленном будущем. А главное, она прикрывает и компенсирует практическую невозможность осуществления дела в том виде, как оно было задумано в высших органах власти.

Так что все участники грандиозной суеты по поводу превращения Партграда в маяк перестройки делали

свое дело с чистой совестью. В результате деятельности многих десятков тысяч людей были намечены сотни тысяч более или менее мелких мероприятий, которые в совокупности должны ввести в нужное заблуждение миллионы людей в стране и на планете. Были составлены тонны документов. Они двинулись вверх, обрабатываясь должным образом, сокращаясь в объеме и обобщаясь на многочисленных ступенях социальной иерархии. Наконец, они достигли штаба операции – Комиссии обкома партии. Здесь десятки чиновников из аппарата власти Партграда подготовили результирующий документ. Этот документ был передан главе Комиссии ЦК КПСС товарищу Кобытову. Он зачитал его в течение четырех часов на объединенном заседании Объединенной Комиссии и руководящего актива области. Бурные аплодисменты собравшихся означали одобрение документа. На основе этого документа Областной комитет КПСС принял особое решение. Содержание документа было доложено в Москве секретарю ЦК КПСС товарищу Сусликову. Помощники товарища Сусликова подготовили краткий документ на нескольких страницах, который товарищ Сусликов доложил на заседании Политбюро ЦК КПСС. После незначительных замечаний чисто формального порядка документ был утвержден как решение ЦК КПСС и обрел силу непреложного закона.

Партград был открыт для иностранцев.

ПОСЕТИТЕ ПАРТГРАД!

В «Интуристе» срочно подготовили путеводитель с призывным названием «Посетите Партград!». В предисловии к путеводителю стояло следующее. Если вы жаждете не зрелищ и развлечений, а расширить и углубить свои познания о буднях советской жизни и о происходящей в стране перестройке, поезжайте в Партград!

Гостеприимные жители Партграда будут рады принять любых западных гостей. Они распахнут перед вами не только двери своих домов, но и души. Знаменитая русская душевность здесь ощущается особенно сильно. Между прочим, русское слово «душить» происходит от слова «душа», т. е. имеет ту же основу, что и слово «душевность». И монастырь вам покажут. Иначе зачем же его построили?! Покажут вам и действующие церквушки, не имеющие архитектурной ценности, но зато интересные как пример свободы совести (т. е. вероисповедания) в советском обществе. Хорошо откормленные и образованные попы объяснят вам, что такой свободы религии, как в Партграде, вы не увидите даже в самом Ватикане. И икрой вас накормят. И водкой напоят – вы же не советские трудящиеся, а иностранцы. На вас принудительная трезвость не распространяется. Пейте на здоровье, сколько захотите! И расписные ложки, тарелки и матрешки специально для вас из Москвы привезут. И с народом поговорить разрешат без всяких ограничений. И даже агенты ЦРУ и других западных секретных служб не будут разоблачаться и арестовываться. Даже наоборот, им будет оказана всяческая помощь в раскрытии всего того, что ранее считалось секретным. Спешите посетить Партград – маяк перестройки!

Иностранные туристы не заставили себя долго ждать. Первая группа провела в Партграде целую неделю. Вернувшись домой, члены группы напечатали восторженные статьи в газетах и журналах о том, что они увидели в Советском Союзе. Просматривая восторженные отзывы иностранцев о перестройке вообще и о Партграде в частности, начальник Партградского областного Управления КГБ товарищ Горбань сказал своему помощнику, что «этих идиотов на Западе надо слегка отрезвить, а то они там совсем перестанут нас бояться».

Мюнхен, декабрь 1987 г.

УБЕРИТЕ МЕДНЫЕ ТРУБЫ

* *
*

Хотел в Алма-Ату – приехал в Воркуту.
Строгал себе лапту, а записали в хор.
Хотелось «Беломор» – в продаже только ТУ.
Хотелось телескоп, а выдали топор.

Хотелось закурить, но здесь запрещено.
Хотелось закирять, но высохло вино.
Хотелось объяснить – сломали два ребра.
Пытался возразить, но били мастера.

Хотелось одному – приходится втроем.
Надеялся уснуть – командуют «Подъем!»
Хотел перекусить – закрыли магазин.
С трудом поймал такси, но кончился бензин.

Хотелось полететь, приходится ползти.
Старался доползти – застрял на полпути.
Ворочаюсь в грязи. А если встать, пойти –
За это мне грозят от года до пяти.

Хотелось закричать – приказано молчать.
Попробовал ворчать, но могут настучать.
Хотелось озвереть. Кусаться и рычать.
Пытался умереть. Успели откачать.

Могли и не успеть. Спасибо главврачу.
За то, что ничего теперь хотеть я не хочу.
Психически здоров. Отвык и пить и есть.
Спасибо, Башлачёв. Палата № 6.

ПЕТЕРБУРГСКАЯ СВАДЬБА

Звенели бубенцы. И кони в жарком мыле
Тачанку пронесли навстречу целине.
Тебя, мой бедный друг, в тот вечер ослепили
Два черных фонаря под выбитым пенсне.

Там шла борьба за смерть. Они дрались за место
И право наблевать за свадебным столом.
Спеша стать сразу всем, насилуя невесту,
Стреляли наугад и лезли напролом.

Сегодня город твой стал праздничной открыткой.
Классический союз гвоздики и штыка.
Заштопаны тугой, суровой красной ниткой
Все бреши твоего гнилого сюртука.

Под радиоудар московского набата,
На брачных простынях, что сохнут по углам,
Развернутая кровь, как символ страстной даты,
Смешается в вине с грехами пополам.

Мой друг, иные – здесь. От них мы – недалече.
Ретивые скопцы. Немая тетива.
Калечные дворцы простерли к небу плечи,
Из раны бьет Нева, пустые рукава.

Подставь дождю щеку в следах былых пощечин.
Хранила б нас беда, как мы ее храним.
Но память рвется в бой и крутится, как счетчик,
Снижаясь над тобой и превращаясь в нимб.

Вот так скрутило нас и крепко завязало
Красивый алый бант окрѳвленным бинтом.
А свадьба в воронках летела на вокзалы
И дрогнули пути, и разошлись крестом.

Усатое «Ура!» чужой недоброй воли
Вертело бот Петра в штурвальном колесе.
Искали ветер Невского да в Елисейском поле
И привыкали звать Фонтанкой Енисей.

Ты сводишь мост зубов под рыхлой штукатуркой,
Но купол лба трещит от гробовой тоски.
Гроза, салют, и мы летим над Петербургом
В решетку страшных снов врезая шпиль строки.

Летим сквозь времена, которые согнули
Страну в бараний рог и пили из него.
Все пили за Него. И мы с тобой хлебнули
За совесть и за страх. За всех. За тех, кого

Слизнула языком шершавая блокада,
За тех, кто не успел проститься, уходя.
Мой друг, спусти штаны и голым Летним садом
Прими свою вину под розгами дождя.

Поправ сухой закон, дождь в мраморную чашу
Льет черный и густой, осенний самогон.
Мой друг «Отечество» твердит, как «Отче наш»,
Но что-то от себя послав ему вдогон.

За окнами – салют... Царь-Пушкин в новой раме.
Покойные не пьют, да нам бы не пролить.
Двуглавые орлы с пробитыми крылами
Не могут меж собой корону поделить.

Подобие звезды по образу окурка.
Прикуривай, мой друг, спокойней, не спеши...
Мой бедный друг, из глубины твоей души
Стучит копытом сердце Петербурга.

АБСОЛЮТНЫЙ ВАХТЕР

Этот город скользит и меняет названия.
Этот адрес давно кто-то тщательно стер.
Этой улицы нет, а на ней нету здания,
Где всю ночь правит бал Абсолютный Вахтер.

Он печатает шаг, как чеканят монеты,
Он обходит дозором свой архипелаг.
Эхо гипсовых горнов в пустых кабинетах
Вызывает волнение мертвых бумаг.

В каждом гимне – свой долг, в каждом марше – порядок.
Механический волк на арене лучей.
Безупречный танцор магаданских площадок,
Часовой диск-жокей бухенвальдских печей.

Лакированный спрут, он приветлив и смазан
И сегодняшний бал он устроил для вас.
Пожилой патефон, подчиняясь приказу,
Забирает иглой ностальгический вальс.

Бал на все времена! Ах, как сентиментально...
Па-паук-ржавый крест спит в золе наших звезд.
И мелодия вальса так документальна,
Как обычный арест, как банальный донос.

Как бесплатные танцы на каждом допросе,
Как татарин на вышке, рванувший затвор.
Абсолютный Вахтер – и Адольф, и Иосиф.
Дюссельдорфский мясник да пскопской живодер.

Полосатые ритмы с синкопой на пропуске,
Блюзы газовых камер и свинги облав.
Тихий плач толстой куклы, разбитой при обыске,
Бесконечная пауза выжженных глав.

Как жестоки романсы патрульных уставов
И канцонов концлагерных нар звукоряд.
Бьются в вальсе аккорды хрустящих суставов,
И решетки чугунной струною звенят.

Вой гобоев ГБ в саксофонах гестапо
И все тот же калибр тех же нот на листах.
Эта линия жизни – цепь скорбных этапов
На незримых и призрачно-жутких фронтах.

Абсолютный Вахтер – лишь стерильная схема.
Боевой механизм, постовое звено.
Хаос солнечных дней ночь приводит в систему
Под названьем... да, впрочем, не все ли равно.

Ведь этот город скользит и меняет названия,
Этот адрес давно кто-то тщательно стер.
Этой улицы нет, а на ней нету здания,
Где всю ночь правит бал Абсолютный Вахтер.

* *
 *

Уберите медные трубы!
Натяните струны стальные,
А не то сломаете зубы
О широты наши смурные.

Искры ваших искренних песен
К нам летят, как пепел на плесень.
Вы все между ложкой и ложью,
А мы все между волком и вошью.

Время на другой параллели
Сквозняками рвется сквозь щели.

Ледяные черные дыры –
Окна параллельного мира.

Вы нам – то да сё, трали-вали.
Мы даем ответ – тили-тили.
Вы для нас подковы ковали.
Мы большую цену платили.

Вы снимали с дерева стружку.
Мы пускали корни по новой.
Вы швыряли медну полушку
Мимо нашей шляпы терновой.

А наши беды вам и не снились.
Наши думы вам не икнулись.
Вы б наверняка подавились.
Мы же – ничего. Облизнулись...

Лишь печаль-тоска облаками
Над седою лесною странюю,
Где города цветут синяками
Да деревни – сыпью чумною.

Кругом – бездорожья траншеи.
Что, к реке торопимся, братцы?
Стопудовый камень на шее.
Рановато, парни, купаться...

Хороша студёна водица,
Да глубокий омут таится.
Не напиться нам, не умыться,
Не продрать колтун на ресницах.

Вот тебе обратно тропинка
И петляй в родную землянку.
А крестины там иль поминки –
Всё одно, там пьянка-гулянка.

Если забредет кто нездешний,
Поразится живности бедной,
Нашей редкой силе сердешной
Да дури нашей злой-заповедной.

Выкатим кадушку капусты.
Выпечем ватрушку без теста.
– Что, снаружи – все еще пусто?
А внутри по-прежнему тесно...

Вот тебе медовая брага –
Ягодка-злодейка-отрава.
Вот тебе, приятель, и Прага,
Вот тебе, дружок, и Варшава.
Хочется – качайся налево.
Хочется – качайся направо.

Вот и посмеемся простуженно.
А об чем смеяться – неважно.
Если по утрам очень скучно,
А по вечерам – очень страшно.

Всемером ютимся на стуле.
Все миром на нары-полати.
Спи, дитя мое, люли-люли.
Некому березу заломати.

БАШЛАЧЕВ Александр – поэт и певец, покончил с собой (выбросившись из окна) в ночь с 17 на 18 февраля 1988 года в возрасте 26 лет. В первом источнике наших сведений о нем (некролог в парижской газете «Либерасьон», написанный его другом Владимиром Саниным) говорится: «Как метеор, мелькнул он по небу советского рока, где появился в июне прошлого года. За несколько недель он составил себе репутацию одного из самых резких поэтов своего поколения. Бродяжничая, живя в стороне от общества, он демонстративно подчеркивал свою православную веру и свое недоверие к политике дарованной властью „гласности“. С первого своего появления на июньском фестивале рок-музыки он не боялся в своих песнях сравни-

вать Сталина с Гитлером, а КГБ – с гестапо. С тех пор он неустанно взывал „рассеять черный дым настоящего“ и провозглашал, что „больше не время лгать, ибо больше ничто не позволяет нам дремать“ (цитаты из песен, текстами которых мы не располагаем, приведены в дословном обратном переводе. – Р е д.). Трудно поверить во внезапное отчаяние человека, слово которого обладало такой энергией. Однако в последние недели жизни он не переставал предостерегать против хитростей нового руководства, которое одними красивыми словами добилось доверия интеллигенции. Он говорил, что от этого умелого дозирования либеральных шагов и репрессий он чувствует себя все более одиноким и утрачивает вдохновение». Несколько песен Александра Башлачева из подборки текстов, после его смерти попавшей на Запад, были опубликованы в газете «Русская мысль» от 15. 4. 1988. Следующая публикация – одна песня – появилась в «Огоньке» в июне этого же года с предисловием Булата Окуджавы. О том, что Башлачев покончил с собой, в «Огоньке» не сказано.

Журнал «Б Ъ Д Е Щ Е» **(«Будущее»)**

**на болгарском языке, ежемесячник,
издающийся в Париже**

Журнал посвящает большое количество статей современному положению в Болгарии, условиям жизни и труда болгарского народа, борьбе за освобождение его. В последнем номере журнала опубликован ряд материалов о сопротивлении болгарских писателей, о положении болгарских крестьян, рассказ о советских концентрационных лагерях.

**Адрес редакции: 18 bis, Rue Brunel,
75017 Paris. Tel. 380-57-64**

ОГОРОД ЛЕНИВЫХ ОДАЛИСОК

Рядом с обширным тенистым двором, который, собственно, был огороженный кусок сосновой рощи, сразу за сетчатым забором начинался огород соседки.

В огороде росли всякие – о-о! – всякие вещи, т. е. овощи. Росли, росли, пока под тентами листьев не обнаружили прелестные широкобедрые тыквы. Поразительно, как удалось им пребыть в невидимости. Наверно, потому что не силились и не старались, не то что огурцы, изогнувшиеся стеблем или стручком и, разумеется, извлеченные за суетность на солнышко, подобно ассимилированному еврею, и с хрупом сожранные: а не ловчи, не изворачивайся, всё равно найдем.

Двор пожелтел, иссох, иссохло всё. Солнце наяривало, мы изнывали. Тыквы же млели и наливались, и делались всё глаже, всё томнее.

Была та занудная остановка в мироздании, когда продолжаться уже нет мочи, и жаркое желтое ощущение длится, плавится и длится, пока не воспарит... или разверзнется прямо под ступней какой-нибудь бездной или погромом.

И всё не приходили, задерживались, как мессия, осенние наши дожди, благословенные и ненамоленные. К ним, грядущим, протягивали руки, а они до сих пор не нагрянули.

В зеленом же салоне, разложив округлости на неровностях земли, на ее пуфах, диванчиках и подушках, пребывали, потупясь, барышни. Не любопытничали, лишь пошевеливали веерами.

Дети подползали и втискивались в нагретое пространство – побеседовать, послушать разговоры. Всегда были здесь тень, дремота и шорохи, огромные, как

гуденье раковины: пядь земная вдруг открывалась уху и глазу со всем, что копошится на ней и сочится полднем.

– ...За последнее время вы прекрасно раздались.

– Надо подпышнить с этой стороны, тут роброн несколько выпадает.

– А была долговязая нескладёха!

– О-о, качнуть бы бедрами, – вздохнула одна и поёрзала обширной попой. – Сухо... благодать.

В прорезях листьев – блеклое эхо дальней голубизны.

– Госпожа, – шелест и шепот, – как вы достигли такого необыкновенного оттенка?

– Ах, тут все время был лист, а потом его отогнула судьба или хозяйка. Солнечные ванны два дня – и на переходе к бледно-зеленому возникло это изумительное сочетание.

– Э-эй, скромница, помалкиваете, а что это на шее?

– Где? где?

– На лебединой вашей... Как вам удалось так выгнуться?

– Ах, нежность и любопытство самого нежного свойства. Я всегда поворачивалась за листом и, когда он открывался, заглядывала в небесную пропасть. И вот результат.

Я хотела быть тыквой из соседского огорода. Чтоб на меня дышали, а я бы млела. Мне надоело быть ганэ-нэт*, бдительно дергаться, являя высший суд справедливости, и соблюдать равенство. Надоело постановлять, что прекрасно, что не очень; я устала толковать совестные дефиниции, блефовать, приводя их к общему знаменателю, а они не сводились, потому что у каждого были свои дефиниции.

* Дословный перевод с иврита – садовница. Т. е. воспитательница в детском саду.

Я хотела быть тыквой из соседского огорода, чтоб ко мне подбирались исподволь, не отводя листа, не отымая тени, – вникать в мои шевеления, в накопленный покой, в мою чреватость или пустопорожность.

– ...какой изгиб, ка-кая продолговатость!

– Хамм, хамм*, – захмыкала толстенная тыквобочка, – теплынь.

– Чего кряхтишь?

– Так, от удовольствия. Чувствую, что вот-вот начну трескаться.

– Отчего же? – прошелестели подруги.

– Так! От сидения и уюта. Пора, мой друг, пора!

– Куда пора?! зачем пора? ах! – расквохкалась увесистая тыква, ворочаясь от круглоты своей туда-сюда, как шар, которому нельзя не покатиться.

– Не знаю, не спрашивайте, но чувствую, что пора! Ведь должно в конце концов нечто произойти! Эти ночные колодцы, вырезанные в листьях... Там так порою темно, что я сама себя не разберу. Ах, я так обширна, так нагрета... пора!

Романтические колебания в столь добротном теле, так что в середине забуркали семечки, привлекли взгляды и слух детей. Все набежали немедленно. Прибежала и Ротэм.

Если все комментарии, наговоренные и написанные про «Девочку с персиками» испарить, а «Девочку с персиками» начинить перцем, так что перечная начинка ударит в ноздри, в уши, в гортань, будет щипать радужную оболочку, – тогда, может, вы получите подобие карих глазюк Ротэм, повернутых на вас.

Потому что Ротэм не девочка, но персиковый пистон неизвестного действия. И приходится жить, не ведая, когда и как он взорвется на вашу голову, да еще планировать воспитательный процесс. Правда, не только нас, но и домашних, и соседей, пожалуй, весь

* Жарко, ивр.

мошав* держала Ротэм во-он там, под подошвами красных кожаных своих сандалеток. Например, однажды она изгнала от лица своего Рои – просто так, для оживления жизни в поселке. До тех пор он благодушно лицезрел нас и, за отсутствием претензий к миру, копался в игрушках. А тут ему объявили, что «мы больше не дружим», и Рои оторопел, жизнь потеряла смысл. На Ротэм не действовала даже великая акция набирания цифр и прижимание к уху настоящей телефонной трубки!

Два почтенных семейства, из первооснователей, два породистых пионерских дома вступили в изнурительные переговоры. Ротэм согласилась держать трубку при условии, что Роино ухо не прикоснется к таковой. Посредники передавали извиненья и клятвы Рои (он сам не знал, в чем, почему, главное говорить и чтоб это тут же уходило к ней по телефону) и многократно бросались с двух сторон (по смежным аппаратам) гасить казуистические ее жалобы, что петляли и дымились, как бикфордова змейка в траве. Но Ротэм выковыривала новые вины, и до мирного соглашения было далеко. Рои иссох и прошел, как полагали домашние, настоящее душевное потрясение.

Но более поражало упорство, с каким она подводила его к нужной кондиции целования туфли и отмаливания грехов – несуществующих, ибо если был агнец упитанный, безгрешный, покорный ей изначально, так это Рои, ни-че-го ни-за-что не делающий, кроме как по ее мановению: он глядел вам в глаза с застенчивой улыбкой и прошёптывал, что сегодня у него «нет сил».

Вот этот тишайший флегматик теперь, рыдая, умолял что-нибудь предпринять для его спасения.

Я устала терпеть наглость Ротэм, устала выискивать ответы с двойной обороной на случай нового ядови-

* Сельскохозяйственное поселение с преобладанием частной собственности и инициативы, в отличие от киббуца.

того выпада. Ротэм было четыре года, и она стояла мне ровно столько, сколько армии многосуточная боевая готовность, с той разницей, что в армии ответственность разделяют все роды войск, все дивизии по сменам, по дежурствам, я же выстаивала против Ротэм одна месяцами.

И вот я мечтала развлечься тыквой, которую перерачивают – и баста! и хоть тресни...

– Ну и бочка!

– Вот это да!

– Хотите взять? – спросила соседка, высунувшись из окна. Мы хотели. И соседка разрешила взять «бочку» и еще несколько бочковитых по нашему выбору, и еще долгошею, и с интересным роброном.

– Ух, какая..!

– Ё-ё-ё-ё! А у этой, смотрите, пупок!

Дети обняли их и понесли в дом, то есть в наш детский сад, дом, который сад.

– Ах, наконец, наконец я в объятиях, – стонала смугленькая одалиска. Мне захотелось, чтоб и со мной так же носились и на цыпочках переключивали, склонясь.

– А у моей какая шея, нет, талия!

– Вот толстенная бабища, наверно, султанша.

Их стали высушивать. Каждое утро, еще не скинув сумки с завтраками, раскладывали в солнечном углу двора. Когда подступала тень, осторожно переносили каждую в отдельности, и они, конечно, решили, что мы их палadini и носильщики. И, потчующие ласками, они золотели, как самые сливочные, с самой верхушки – дамы крем-брюле! – на лазурнейшем из побережий.

И никто не поперекидывал их разок, не пофутболлил...

Я же продолжала выдирать стрелы, пущенные Ротэм там и сям с отравленными наконечниками, выдирала как ни в чем не бывало, даже будто наскучивши. Я прикрывала один факт, т. е. делала вид, что его как бы не существует.

Впервые я осознала этот факт – и испугалась – в эпоху ажиотажа вокруг немецкого пианино, взятого напрокат для музразвития. В городе имеется целый подвал с сим достойным допотопным имуществом. Механизмы украшены резьбой и капитальками и добрались сюда вслед за людьми, бережно их волочившими через Европу. Одна бабушка Ротэм тоже добралась, а другая нет, немцы сожгли ее в печках, у них для людей были особые печи.

И вот мы музицировали с восторгом, а после все кидались брэнчать, просовывая пальцы из-под моих локтей на клавиши. Гремела и скакала какофония. Я предупреждала, что закрываю крышку, а они шлепали. Их заносило над пожелтевшими костяшками, как стаю чижиков над лужайкой, и любо было играть с моим страхом. Я удерживалась изо всех сил, чтоб не завопить безобразно посреди культурного дорогостоящего мероприятия. «Раз – два – три!» – провозглашала окончательно и опускала крышку; и однажды увидела зажатые в полированных довоенных колодках ладошки.

Радостные физиономии еще смеялись, лукавили, только у Ротэм глаза налились темным вниманием, даже – вопросом, и вливались в меня, и темнели, и накачивали, как черный поезд на инвалида, застрявшего на рельсах.

Случилось не по правилам, по правилам невозможно, чтобы я допустила к ней боль. Надо соблюсти наши правила во что бы то ни стало, и вот она крепилась недоумённо, удерживалась и пыталась понять, как самое-самое безоглядное (и так и должно по законам любви, на этом ведь мир поставлен), и потому оно самое-самое, что безоглядное, – как оно обратилось в боль, и как сейчас быть, чтобы стало, как прежде, ладно.

И вот сидели кружочком, слушая музыкальные толкования, и Ротэм молчала, вцепившись в меня взглядом (он темнел, но это лицо ее бледнело) и впитывая до какой-то пронзительной остроты. И был страх: как

двигаться и ходить перед глазами, которым она не дает, ну не дает залиться слезами! – колодками зажала.

Тут до меня что-то дошло, и я испугалась.

О Господи, утишь наши страсти, не дай полыхнуть наружу. И еврейское наше безумие – скрой.

Я продолжила собеседование, растирая и целуя ей ладошки, громко бормоча учебные слова. Мы обошлись без скоропомощных церемоний – без торжественной перевязи, без йодного помазания, без возведения страдальцы на трон (крашеное, с голубыми разводами креслице деньрождений и особых случаев). Дело как бы осталось между нами.

А дело, т. е. «факт», было в том, что мои передвижения, речения, и указания, и голос я мерила настроением и местонахождением Ротэм и выворачивалась, чтоб она, упаси Боже, ничего такого не подумала и не возомнила. (Т. е. подцепляла ее, как выпадет возможность, бдящим оком для назиданья «как не надо делать».)

Что, впрочем, было поздно и напрасно: она давно догадалась и уселась мне на голову, иногда проверяя прочность посадки.

Всей душой я хотела быть тыквой и только тыквой.

Но более всего я устала от мимикрии под педагогику, от ухищренного торопливого своего грима, который сваливался, гремя и шурша, всем под ноги плоскими крашеными скорлупами, и Ротэм, казалось мне, ступает по ним с особенным удовольствием.

Правда, когда сходило удачно, она бесновалась от ревности; из угла зрелищ и наказаний, видного отовсюду, закатывала сцены с воплями и простиранием руки – не то Федра, не то Медея, перемежая трагические речи современными проклятиями Леванта, слышными на краю поселка, – чтоб у меня сторела задница, или чтоб я провалилась в туалете и т. д. – и пусть все это увидят!

Моя паства привыкла и только кротко изумлялась порой: «Хагит, что говорит Ротэм!»* Се был бравурный рокот нашей райской жизни и всеобщего романа, когда я потрясалась ими, а они – мною.

Я прядала ушами от метафор, обдающих меня из парадного угла (она изобретала славные вещи, которые не решаюсь здесь приводить, дабы не убить сравнением скудное свое изложение), и с извращенным наслаждением меломана отмечала каждую ругаду.

Разумеется, я напрягала голос, раздавая новые совки или кидая мяч, чтоб показать ей, какой полной насыщенной жизнью мы тут живем, а она пребывает в углу! В ответ раздражался новый комментарий с рыдающими разливами в нижней октаве и резкими флейтовыми вознесениями.

Так продолжали мы двухголосую фугу на фоне хоровых песенок, танцев под пластинку и коллективного поедания мороженого.

В дожди тыквы темнели, никли. Мы обтирали их тряпицами, снимая налеты плесени и депрессии. А однажды мы их забыли. Это случилось в период сумасшествия, когда с утра все бежали к ореховому дереву, что за террасой, натянуть веревки, накинуть занавески и цветные простыни – мы устраивали шатер Сары и Авраама. То есть запахивали и отпахивали полог, выпрыгивали из-за складок, хихикая и полагая, что таков и был несерьезный, но с дотянувшимися до нас последствиями смешок праматери.

* Ротэм (ивр.) – кустарник, растущий на песках в пустыне. Длинные зеленые прутья его покрываются нежнейшими белыми соцветьями; листья узкие, плотные, жесткие. Когда Илья-пророк, отчаявшись, бежал за Бер-Шеву от Иезавели, мстящей ему за своих «балов», и народ безмолвствовал ему вслед, пророк попросил у Бога смерти, не чувствуя надобности ни в жизни своей, ни в пророчествах. Бог послал ему сон под кустом ротэма, а потом, глядь, – и ломоть хлеба, и кувшин воды для подкрепленья сил.

Мы опомнились перед уходом, что тыквы сегодня не выносили. Они стояли покинутые, в напрасной крутобедности, с тщетно назревшими соблазнами. Через сутки они звенели от собственной пустотелости и делались все звонче и пустее.

Нас одолели родительские заботы: приспособить им шапочки набекрень? или повязать кушак с блёстками? или нацепить кисточку, чтоб шнурок вился вдоль шеи, а может, пусть болтается с макушки? А не одеть ли их в прозрачные шальвары, чтоб не возлежали тут, бесстыдницы, дни напролет обнаженные. Да, надо прикрыть эту золотую, с порога восклицательную наготу!

И я принесла шестнадцать жестянок с краской на акрилик и столько же тонких новых кисточек, и мы занялись росписью по тыквам.

Мы стали артельщиками, мастеровыми. Столы и пол застелены газетами. Мы перебегаем от места к месту, пробуя сочетания; неимоверно прекрасно-жирно рядом с белым коричневое, голубая дуга уводит это в высшие сферы, а наложив желтый плоский кружок, мы видим, как всё цепенеет и растворяется, как в хамсине*.

Всё пропахло чудным запахом, ударяющим по ноздрям, и надо было выбегать на улицу проветрить голову!

Неделю мы ходили перепачканные, в топырящихся фартуках. От общего руководства, отдиранья приклеившихся крышек, от яростного комканья газет, от воды, от мыл, от обтиранья пальцев и всех локтей и всевозможных мест тряпкой, смоченной в терпентине, руки мои стали черствые, с трещинами, как земля. Но последствия трудовой вакханалии торчали на бровях, выглядывали из сандалий на пятках, из подмышек, не говоря уж о щеках и коленках.

Зато на одалисках день ото дня появлялись то полоски, углублявшиеся по тону, то нежно-смачные

* Хамсин – сухая жара с особым тяжелым привкусом.

загогулины, будто вихрь-воздыхатель закрутил их и увлек, вдохновенный, подумав, что это складки одежд.

Всё сплеталось следом за красочной каплей: как скользнула, так и повела за собой в бордовые и сиреневые сети.

Точка с полукружьем под ней сделалась стыдливым пупком и выглядывает улыбочиво из выкаченного розового брюха.

Появились прелестные шальвары, полуприкрывшие одалисочную красоту – тем запретнее просверкивала она сквозь узоры. Мы раздели их более, чем Готекс*, неистоцимыми зигзагами прорезавший просветы там, где всегда было – монастырь, глухо, и вдруг бац тебе в глаз – брешь, сиянье голого пространства. И мы замирали над открывшейся пядью телесной.

Теперь боязно было брать их в руки: такие нагие они стали, такие пугливые к троганиям.

Так мы познали искушение в искусстве.

Мир стал бесконечен. Господи! что я наделала! Каждый перелив тыквенного тела погружал нас в бездну раздумий, и мы одолевали выпуклую индивидуальность, перебираясь с бархана на бархан.

То было смутное, в чаду пронесшееся время, томительное, как подростковое созревание. Где беззаботные мы и наши хотения? Тыквы вторглись и огорошили нас во всю полноту чуда их сотворения.

Ротэм выцыганила еще одну малую тыквушку и сопела над нею, разумно не подымая шума. Она всегда прятала наши тайны; не помахав добычей, укладывала сокровище за пазуху или в кармашек, убегала и ни-ни, и уж на весь день хватало ей быть счастливой и счастьем заваливать мир, и когда подбегала, то крепко сжимала

* Известная фирма моделирования женской одежды и купальных костюмов.

губы – их так и растягивало то, что прыскало из глаз; оставалось кануть в это и пропасть.

Но не всегда в неприкосновенном запасе желанного имелся плод соблазном с тыкву.

Итак, она корпела, высунув язык, и спрашивала, что я думаю про тот завиток или этот. Потом бросила и пришла наблюдать мои пассы над овощем, подобранным за телесную никудышность и тем отличным от дородных избраниц. Именно из него, отверженного, я собиралась сделать что-нибудь эдакое и всем утереть нос!

До сих пор, когда стоят у меня под локтями и созерцают, замираю от ответственности: если эта линия сейчас скапунится...

Устав, мы переходили от сложных тыквенных поверхностей к элементарной круглоте стола или к квадратно-туповатым стульям и блаженно-безмозгло возили кистью по заданным прямым углам.

Я же, обессилев, забирала жестянки с кистями и устраивалась напротив стены – по ней, как по степи монгольским коням, можно было разгуливаться куда хошь.

Вместе со зрелищной поверхностью прибавлялось и публики. Они шушукались, как болельщики, гадающие над ходом шахматного кумира.

– Я говорил!

– Нет, это я говорил!

– Смотри, нолик, а вокруг буря и волны!

– И не нолик, не нолик вовсе!

– Я же говорил...

– Это я говорил, что будет хвост, а не корона.

– Всё равно, хвост как корона, даже еще пушнее!

Исподтишка они пытались направить мою руку, пуская в ход мелкие взятки, такие, как повторение пройденного:

– Говорю, коза выглядывает из облака, помнишь, нам рассказывали, – (внятным, добродетельно разъясняющим голосом, чтоб мои уши, тут же в двадцати сан-

тиметрах находящиеся, ничего не упустили), – Хагит рассказывала про козу, как та прыгала, прыгала и допрыгалась до облака, и если прыгнет еще – сразу и разобьется! Во-он высматривает, куда теперь податься. Точно говорю тебе – коза!

Но оказывалась улитка в бальном платье.

– А я говорю: сейчас будет лестница до неба!

Но то была башня с прической из виноградных гроздей, и с балкона свисали сережки-лозы.

Потому что делом чести было в секунду перерешить и сделать наоборот всему, что предположено, названо, говорено.

Но когда слышалось замирание чьего-то сердца, чтоб кисточка пошла-поплыла туда, туда-а, и сердце мое, опытный волокита, влеклось туда же; или громко и неотступно простукивало где-то рядом и ныло: осуществиться, осуществиться... – я повиновалась и следовала чьему-то хотению.

Порой я медлила провести линию, тешась их сердечным терзанием, а уж после единым творящим махом отпускала им – погалдеть, пообсуждать до следующего ожидания и накала (к которым надо было срочно приготовиться).

То были царские минуты. Тогда, думала я, мы, как утонченные ценители на флорентийской улице, собравшиеся вокруг маэстро, толкуем мазки, шлифовку... смысл линии...

Иногда я впадала в сонную величавость, «чтоб сосредоточиться», – объясняла я развратно и цыкала, наслаждаясь их покорством. Они и вправду помалкивали, проталкивались поближе, но помалкивали, так что сытый идол во мне начинал нервничать – не перетянут ли жгут? И, не вынеся почтительности, а также неизъяснимого смеха, распивавшего меня в эти тронные мгновенья, я быстренько даровала обществу свободу шевеления и пощёптывания – неким помаванием, которое тут же подданнически верно истолковывалось, кон-

ституция осуществлялась, все принимались галдеть, предлагать и предполагать и тихонько за спинами пихать друг друга.

Через минуту от пережитой толкотни всех выметало во двор. Только Ротэм пыхтела, высунув язык, чего-то не прощая себе, и вдруг, отбросив кисточку, кидалась, рыдая, ко мне.

Тогда наступал соловьиный момент: в однообразных трелях выводилось одно и то же: что Ротэм не понимает гениальности штриха, вот тут у нее протянувшегося, она просто не дотягивает до понимания того, что сделала, и в безумье и тупости желает всё стереть – трампим-пом! – терпентином. Загубить блестящую тыквашкину будущность! Дайте мне, только дайте, и я выведу эту линию судьбы во-от сюда, и тогда даже те, кто еще не дотумкал*, поймут, что такого еще никто не придумывал. И придут народы толпами и спросят: «Как, это сделала Ротэм? собственной рукой?..» Она вырывает из моих рук кисточку, так и не дав прикоснуться к разрисованной собственности, и, всхлипывая, погружается в продолжение и спасение.

уфф!

Кончив расписочные дела, мы оставили красавиц одних в темноте, убрали бумаги, банки с красками, ворохи замазанных тряпок и отрешились от судьбопрокладческих наших страстей.

В девять пятнадцать вечера дверь скрипнула и протиснулся бочкообразный.

– Скорей, скорей, – хлопнул он в толстые ладошки (сам же был чрезвычайно короток). Раздался суховатый треск, помещение наполнилось шорохами. Суетливо подхватившись, путаясь в шальварах и роняя кисточки, одалиски засеменяли одна за другой.

* От ивритского корня «тимтум» – тупость (мозгов). Не только воспитательский, но и общепринятый термин.

– Куда? куда?

– К султану! Ханаанянки!.. – горько сказал седенький пророк, опираясь на сердитую палку. – Побежали к баалам* на высоты, ух! – и чуткими, высушенными, как бамбуковые палочки, пальцами хрустнул по широким вкусным задам. Те с еще большим трепетом подскочили и покатались прытче, подталкивая и даже перегоняя друг друга.

– Куда же это, куда?

– К владыкам, к владыкам! – бежали они радостные, со всех ног, треща семечками.

– Наконец-то!

– Развратницы, – проскрежетал пророк и сплюнул. Мимо, почти задевая, пронеслась желтая плодовая плоть. – Вот я вас!

Поток неся рядом, едва не своротив его в бешеном повороте.

Гневный коротенький султан, дергая от нетерпения лицом, приказал строиться.

– В ряд, в ряд, – повторяли они, качаясь не в лад, тяжело дыша и оправляя пришипленные второпях разлетающиеся тряпицы. Они старались и никак не могли выровняться.

– Что это? – султан подпихнул востроносой туфлей зрелую сферу. Та зашебуршилась, завздохала, хотела подтянуться, но не могла вобрать живот, желтые бока пялились в стороны. Владыка был недоволен смотром.

– В этом году необычайный выбор, ваше величество. Какое разнообразие форм! Учтены наиновейшие веяния, наисвежайшие силуэты, только вышедшие на завоевание чувств; всё предвкушаемое... вот, мы воплотили вполне, вполне!

Но султану всё было не то – там выдается, тут перетянуто, здесь изгибисто – декаданс! – а тут просто распущенная чувственность, никакого удержу.

* «Баал» (ивр.) – муж, владелец, языческий идол.

Распорядитель кусал губы.

– Ваше величество! Художники работали не щадя себя!

Бедные обольстительницы, стараясь, шуршали внутренностями, от их хлопот стоял грохот, будто по ночному саду кругами неся грузовик. Султан закрыл веки, сжал побледневшие кулачки и бормотал – ах, зажать их в дверь, раздавить, распилить пилочкой, хрупнуть ими, чтоб лопнули на весь цивилизованный мир, и тогда б он, может, содрогнулся, о-о-о!!!

С чего начать? что приказать? Какую услать покачивать опахалом, какую – помавать бедрами каждые четверть часа? Какую приставить к играм с султанскими волосами и с легкой пробежкой пальцев к бровям? Какую назначить на прогуливание мимо – редко и близко, и что-нибудь на ней чтоб развевалось и задевало, но в меру, в меру!! Какую отправить в глубину зала прохаживаться туда-сюда, а какую на пяточные щекотки – здесь свои тонкости, без которых у любого эффекта скручена голова!

– Бездумные неповоротливые бабы, им лень пошевелить мозгами, не то что бедром! – зубовно скрипел султан. Те вздыхали в ответ, и от безвыходности положения он топал ножкой, и гнев охватывал его еще сильнее.

– Что за шум? – спрашивала Ротэм, вытягивая шею, чтобы достать до окна, сдвинуть раму и заглянуть внутрь и притом не сорваться с каменной приступки, на которой она удерживалась на цыпочках.

Пока родители, по обыкновению, сидели перед телевизором, Ротэм выбралась в пижаме через окно, чтобы втихаря подглядеть за миром. Через пустырь со стороны сада слышались придворные толпы и чьи-то брызгливые интонации. Надо было пройти площадку с качелями, поросшую травой, и войти в калитку. Ротэм проверила кругом. Шумело ореховое дерево. Круглая луна высветила всё, что полагало остаться незаметным.

Было отлично видно, и томный рокот нарастал за стеной, не умея прорваться наружу, и эхом отозвался в грудной клетке Ротэм. С холмов, пошаливая, шел восточный ветер. Он проплясывал уже по городу, но Самария лежала рядышком тиха.

– Нет, что же это может быть? – Ротэм кряхтела и вскарабкивалась помаленьку и так прижималась к стене, разбирая невнятицу, что заболело ухо.

Будто щелкает цирковой бич.

Стало совсем невыносимо.

Наконец она подпрыгнула, дернула и немного сдвинула раму. В ту же секунду ветер ворвался в зал, послышались удары, стуканье. Султан лупил одалисок и гонял их по кругу. Прелестные формы переворачивались в воздухе. Топлёные блики по стенам и потолку заверчивались в золотую свистопляску, а в недрах неукротимо и рассыпчато гремели оголтелые готовые семечки.

На утро мы нашли тыквы раскиданные как после оргии. Им даже не стало стыдно, когда мы увидели их растрепанных, в позах величайшего утомления. Они широко зевали, как бы в сомнамбулическом шоке.

– Что это? – мы воздели руки к небесам, запричитали. Одна Ротэм кривила рот.

– Султан лупил их – ну и здорово! у него такой длинный хлыст... нет, плетка, вот даже следы – хотите видеть? – и указала на полосы на нежной коже одалисок.

– Тоже выдумала! Это так и было! Это еще когда была мастерская! Тогда были царапины!

– Нет, – Ротэм вздула губы, – это всё стало сегодня, я же помню, султан лупил их, они всю ночь ругались тут и умоляли.

– Ну, довольно, – (пора было прервать садистское живописание). – А где султан?

Ротэм нахмурилась.

– Где же султан? – приставали мы.

– Он вел себя грубо. Я съела его. И начальника огорода, – (она имела в виду – гарема). – «Вы ленивы, очень ленивы, у вас ленивые мысли, ленивые глаза!» – повторила она ужасно знакомые интонации, и я забеспокоилась: она окончательно наглет!

– За что ты его сожрала, Ротэм?

– Он был невежлив! – И она с довольным видом пошла собирать бедняжек на красивую рогожку, которую мы стелили под них, а себе жалели.

– Султаноедка! – воскликнула я так, что Расин был бы доволен, а публика получила бы вождеденный катарсис. Ротэм продолжала укладывать. Была она сосредоточенно-тиха, не скандалила. Я оглядывалась по временам с неослабевающим ужасом и немела всласть, глотая передышку. Дети побежали в огород.

– Врет! Ничего она не слопала, вот он! – и показали на пожухлую проплесневелую тыквушку, насупившуюся в углу грядки. Клок седины торчал на черенке, и в нем – былинки и колючки. Или драное облачко хлопка нанесло из соседней долины, где Самсону расставила сети Далила?

– Это вовсе не он! Это пророк! А султан – тут! – Ротэм погладила себя по животу. – Чтоб не лупил их. Ну, ленивые, так что ж? – (Я поджала уши, пропуская мимо.) – Будь у меня такие бока, я бы только и делала, что ленилась! Вот так!

И она прошла, приседая, как вальяжная утица. Было явлено, как следует быть прекрасными и ленивыми. Сперва она соблюдала выраженье хранителя дворцового сокровища, которое не про вас, ну да ладно, покажем, – между тем, загоревшиеся щеки и вкось пущенный взгляд выдавали страх некой безглазой случайности, которая вот-вот стрясется и отменит имеющее предстать перед миром. Но затем опасения смело, как щепки потоком, и, сияя и одаривая, она расходилась и выкидывала коленца по части шарма и обольщения.

Господи! Когда они успевают отработать эти приемчики? эти птичьи церемонии?

Мы стояли безмолвно с разинутыми ртами, иногда кто-то обалдело похохатывал от наслаждения.

– И пусть смотрят все, кто хотят, и позовут соседей и родственников, и смотрят, сколько захочется! – объявила Ротэм. – Представление будет всё время, всё время!

– Как? – не поверила я своим ушам, – конца этому не будет?

– Нету конца, – подтвердила она, напирая на нас приливной стеной счастья, на которое уже ее не хватало и надо было только успевать наваливать его на всех. И она продолжала в охотку, всё изощреннее, выбирая из прорвы своей что-то новенькое, поворачивая его так и эдак, и вот видели мы, что в ростке всё уготовано, все тропы сплетены в почку вместе с лепестками венчика.

– Поскольку у каждого есть право! право! – При этом райском требовании (уместном в раю, а не в мошавном детсаде) голос ее достиг нетутошных высот. Все смотрели, зачарованные, на старающееся вечно-женственное.

Итак, снова был Корнель, классические складки. Была речь о женском праве, о равенстве и братстве – из модных азиатских речей на котурнах, вещаемых из транзистора в шатрах пустыни под жиканье натачиваемого ножика для жертвы, поникшей тут же. Какое парение в сих речугах, какая живость, схватчивость понятий под раскалившимся древним небом! Ораторы накачивают права с пафосом и пылом, будто дорвались в этой самой пустыне до рычага водокачки, – дергают изо всех сил, аж приседают. Рычаг, правда, не подсоединен, но именно потому так хорошо на нем качаться.

О прелесть упрямых уст, о гневность щек, вскормленных на грейпфрутах.

Прекратить это следует укромным подпопником, стараясь не задеть провозглашенные чувства, – под-

попником мягким, гуманным, но с необходимой твердостью корректирующим реальность.

– Что кто думает – каждую тютельку! – чтоб понимали! И если настроение поменялось – так отчего это, отчего? – Она развела руками в горести. – А то никто и не заметит!

Ах, вот почему она вертит нами, как ветер флюгером, так что мы всегда в беготне за ее настроениями!

Она фонтанировала, как обычно, и мы смиренно задрали головы, следя траектории взрывов, свистов и осколков. Она не оставила тему, просто решила задать мне под конец. Я извернулась и несколькими маневрами, т. е. диким напряжением всех способностей что-нибудь выдумать и сообразить, вывела большую часть публики во двор. Это удалось, но я была загнана, как чахлая лошадь под отчаянным кнутом ямщика, у которого за спиной заседают волки.

Теперь до нас доносились повысившиеся тоны чрезвычайно интенсивного, я бы сказала – разъярившегося, скорбного воркования; монолог горлицы, положившей сжить меня со свету.

– А вы всё заняты и не замечаете, не замечаете – (Как же, как же, уже две минуты играем в малиновый нежносветящийся мяч, покрапленный звездами, добытый вчера в рыночных недрах как раз для подобных случаев!) – Бегаете, а тут тако-о-е творится!.. И не спросите...

– Что? – спросила я сухо. Монолог за стеной прервался. А может, она незаметно сейчас выйдет играть со всеми? Я, наивная лошадь, подождала, будто этот чудомяч для нее что-нибудь значит. Когда надежды угасли, я вошла, и она тотчас оскорбленно втянула губы (способ запечатывания уст, когда к тебе проявляют интерес). Творилось – в ней. Срочно требовалось с десятков художников обсесть ее и рисовать смены облачков на разгоряченных ланитах.

Между тем размеренное течение жизни, как я ни тянула, неотвратно уводило нас со двора во внутреннее помещение, где Ротэм выжидала своего часа. Тут-то и открылись хляби небесные. Она обличала и обличала. Наконец до меня дошло, как стискивала она зубы всю неделю, пока позволила нам предаться тыквам.

Стрелы втыкались, будто племя каннибалов приговляло меня на ужин, но я делала вид, будто это обычные, ха-ха, пузыри из тех, что надувают передо мною по сорок раз на день. И эта праздная риторика в нашем сущ-ност-ном (тьфу!) взрослом мире ничуть меня не колышет.

Я тоже была не послабже Расина, равнодушно-уверенна из последних сил. Чёртова девка наблюдала меня неотступно, как кошка мышь, натянув ниточку цепкого взгляда (вот всегда, всегда она так!), и не отпускала. Будто знала, что где-то я задрожу и растянусь.

– Ну хоть что-нибудь глаза ваши видят? видят?!

Отчаяние вознесло ее к пику Апофеоза, после чего следовало сорваться – аплодисментам, водрузить на нее венки, ее – на колесницу, а всем впрячься и пронестись под триумфальной аркой,

коей в стране пламенно-левоватой,
киббуцной,
погруженной в святые комментарии,
в стране, стонущей на базарах: «па-а-следние сли-и-вы!»,
(и сей стон восходит столбом) – «полтора шекеля
ки-и-ило!!!»

в нашей зарвавшейся
амбициозной
стране

не имелось, нет, не имелось у нас триумфальной арки!

Этот факт сейчас со стыдом мы осознали.

Где вы, сорок художников с кисточками, окружить и писать ее в сорок профилей, сорок сонетов, в сорок любезнейших загогулин?

«Хоть что-нибудь глаза ваши видят?»

Она задала вопрос риторический, как Свобода на баррикадах, и показалась мне Коробочкой, крепенькой, непрошибаемой, себе на уме, и одновременно пандориной, которая вот-вот откроется.

Она метнула взгляд – чрезвычайно дерзкий (не провидя ли клики и лепнину предназначенной арки?), тот специально уготованный взгляд исподлобья с проступившим наружу ядом. Так на густо намазанном сэндвиче начинается сочиться и течь наваренная вишневая сладость.

«Ну, чего ты всё воспитываешь? А-а, брось-ка это сейчас», – говорил его темный блеск, архаический, почти страдальческий, и еще что-то пробиралось втайне, как беглый дервиш, ой-ва-вой, то еврейское наше безумие кралось флорентийской улицей и грозило чумным пированьем.

И вот она воззвала голо, как мякоть раскрытой ладони, и безутешно, как вопль «на что сотворил меня, Господи?». Цветок без радеющих пчел так кричит, гибнет и пропадает.

– Никто не понимает!

«Мы, мы понимаем, твои почитатели, ценители и художники с благоговейными кисточками!» – готово было сорваться с уст, и Рои уж дрогнул подойти и обмахивать ее опахалом.

Она страшенно и методично пихала нас, косных, в любовный обвал. Она в лоб вырывала признание.

А может, плюнуть на тактическую науку и, вслед за Свободой на баррикадах, схватить ее, вознести, прижать, чтоб у обеих заколотилось сердце? И чтоб вместе рассмеяться и заплакать. Надо разразиться, но чем? Господи, Ты проложил заранее все тропы, но я свою прохожу впервые и не знаю ничего.

– Вэ осэ при (и произведет плод), – жутким отдельным голосом возговорила я, подобно одному бедному животному*, самому того от себя не ожидавшему. –

* Имеется в виду высеченная библейская ослица.

Ашер зар'о бо*, – и, наваливая слоги, как камни приговора на собственную голову, до содрогания костей ощутила, что слова задуманы именно на этот случай: на тебе твое же, по семечку, которое в тебе из тебя же выросло.

Так нас, обуздывать и калить законом.

– Леминэ-у. По роду твоему. – И побивать. Наследными валунами, каждый с «Талмуд Бавли»**. Вот и последний, несомненный, леминэ-у, привалить на могильник, чтоб окончательно.

– Что ты говоришь? – вскрикнула Ротэм. – Что это значит?

– Значит: яблоко от яблони недалеко падает.

– От какой яблони? – продолжал гнусный ребенок, чтоб получше и поудобнее убедиться.

– Вот от этой, от этой! – сказала я, хлопая себя по лбу, как еврей в приступе покаяния размахивает телом над святой обложкой и стучается об ее незыблемость, – прости, прости, помилуй!

Ротэм затихла, как зачарованная змеюка. В глазах ее заплясало удовольствие, в горле заурчали страстные гмыки: вот-вот прыснут и сиганут, я знаю, петардами, низко пригнувшись и короткими перебежками, а она как кинется на них, и ну прижимать к земле, а они – взрываться под нею, а она – сдавливать их губами, напрягая щеки, и это как крышка ящичка: налегаешь изо всех сил, а она сама собой – рраз! – и распаивается.

(«Шед! Шед!***» – выскакивает Ротэм из-за горки, когда гуляем умиротворенно среди божьих коровок, травинок и венчиков. И за нею моя орава, блестя глазами и задыхаясь, тычет пальцами: «Там! Там!»)

Я боялась урчащих гмыков, как предвестия. Ведь, чтобы удержать их, она прижимала подбородок книзу и поглядывала исподлобья счастливыми глазюками, и тут

* «По семени, которое в нем» (ивр.)

** Вавилонский Талмуд, огромные, подобные географическому атласу, тома.

*** «Бес! Бес!» (ивр.)

совершенно напропалую всё вылезало на сэндвич – блеск, тьма, архаический яд, и кружилась голова, и слабели коленки, и сейчас спасусь, казалось, в рыдание, сокрушительное, как паводок в Негеве, когда волчком закручивает автобусы; чтоб ревучий паводок сотряс меня, и тогда задеру голову в нежданный чистый воздух Бытия – он освежит, как яблоко, и прохлада, покалывая нёбо, утолит и сделает легкими, даже летучими мои шаги. Вот и небо.

Ротэм молчала.

Все ожидали.

Я проглотила паузу и, блефующий авгур, терпеливо и скорбно, как грузчик, которому одному тащить колымагу будней, велела собирать игрушки.

1987, июнь, Иерусалим

ГИОРА Хагит – закончила филфак МГУ, работала в Сибири, на Дальнем Востоке, в средней полосе и иных местах – на стройке, в газете, в школе, в библиотеке, в сельском клубе и пр. Прибыла в Израиль в 1976 г., первые публикации – в журнале «Сион» (1978). Работает воспитательницей в детском саду, живет в Иерусалиме.

«...ЭХО, ПЕРЫШКА КАСАНИЕ»

* *
*

Долгие провода – лишние слезы,
летние туфли по снегу елозят,
ближневосточной грязи.
Господи, пронеси.

Мы с тобой, сонечко, справим одежду,
купим бутылку, лишайную кошку
пустим по дому ходить.

Пусть себе, сука бацильная, ходит,
сказку расскажет, песню заводит,
станет котят приносить.
Так и научимся жить.

Ладно. Не верь говорку-кривотолку,
если ушли от известного волка,
и от любви уйдем.
Вот и заладится дом.

январь 1987

* *
*

... Целый вечер в доме молчок.
Кто захочет прийти сюда.
Только дочкин смешок,
только кошкин клубок,
только слышно стучит вода.

Мы не звали гостей, но гость
неизвестный зашел один.
Как тонка его кость,
как насмешлива злость –
полуночный такой господин...

февраль 1987

ОКУДЖАВЕ

Кричали кошки тяжело,
как будто ухали бичами,
как будто время подошло
кричать. И вот они кричали.

Они кричали как могли,
как не могли, как не умели.
В упор разбойные угли
из ничего в ничто смотрели.

Они кричали словно бы
не на живот – на смерть. Очами
визжащими прочь от судьбы!
Навстречу ей они кричали.

Так плачут девки пред войной,
еще без страха и печали.
Так задыхаются виной –
и в крик. Из дому! Нет. Домой!
Еще сильнее они кричали.

– Ну, звери! Загубили сон.
И вот, откинув одеяло,
я встал, я вышел на балкон,
плеснул водой – и все пропало.

декабрь 1986

НОЧЬ ГАЛИЛЕИ

Не продохнуть.
Звезда мешает вдоху.
И Млечный Путь
колючками чертополоха
расчетливо пронзает грудь.

Но боли нет.
А только страх рассвета.
Немыслим свет
вечнозеленый лета
еще на тысячу вечнозеленых лет.

февраль, 1987

* *
*
.

Лишь перышко черкнет скупой рисунок,
легко очертит реку и листок –
я засыпаю и шепчу спросонок:
«Что мне за дело до соседских склок?»

Дуэлей чести, рыцарских турниров
на коромыслах, где наградой – троп,
где победитель свой венец терновый
на побежденный надвигает лоб».

А мне забава, писк, воспоминанье,
еще последний штрих – и ваших нет.
И только эхо, перышка касанье
на белом поле оставляет след.

январь 1987

* *

*

Но я не поклонник своих стихов –
грехов утомительных список и детство,
хрущей перелетных и майских жуков
полет и явление, свет и соседство.

Но я не поклонник стихов своих,
лазоревых сих, а по сути белее,
вдали от привычки – задумчивый псих –
на спичке обугленной – памяти злее,
румянее всех и, конечно, белее,
прекраснее литературных утех!

И так незатейливо отходя
в заслуженный впрок и заранее отпуск,
поскольку Восток и виденье дождя
заставят использовать лишь как обманку,
на ссадинку быта поставлю я оттиск,
на вымысел текста, на мертвую ранку
не слова, не лирики – а себя.

июнь, 1987

* *

*

Что мне до вечности, до белого листа,
беспомощно зовущего куда-то.
Прекрасна истина, бесстрастна и проста:
в прихожей смерть, и ты не виновата.

Вот потому негорько и легко
мне говорить, тебе молчать и слушать.
А вечером – в картонке молоко,
и голос радио не согревает душу.

Душа моя сегодня холодна,
расчетлива, и светом черно-белым
ее земная тень озарена,
и до меня ей больше нету дела.

Здесь места не найти для суеты.
Но, память от беды оберегая,
опять слова ложатся на листы.
И смерти нет. А только жизнь другая.

4 декабря 1987

«НОВОЕ РУССКОЕ СЛОВО»

Главный редактор Андрей С е д ы х

NOVOYE RUSSKOYE SLOVO. 519 Eight Avenue,
New York, N. Y. 10018

Старейшая русская газета за границей

Выходит ежедневно

Об условиях подписки справляться в редакции

КАК В САДУ ПРИ ДОЛИНЕ

Маленькая повесть

1

Сегодня мне шестьдесят пять лет. Пора, можно сказать, подбивать бабки. Распечатываю седьмой десяток, а вроде бы и не жил, лишь приглядываться начал к ней – этой самой жизни, хотя позади чего только не было: нужда сиротская, фронт от звонка до звонка, сума и тюрьма, крым и рым и медные трубы, но всё, как во сне или в кино, в один моток спрессовалось, потому и кажется теперь, что не успел пожить. Да, видно, не у одного меня так, век людской, если подумать, воробьиного носа короче: не успел рот открыть, а уж пора челюсть подвязывать. Помню, отбила моя рота высотку под Дрогобычем, ее штрафники до нас трое суток держали, пока не полегли все. Скатился я тогда сгоряча в первую же в ней траншейку, прямо головой, будто в резиновую подушку, в чей-то живот. В память пришел, смотрю – лежит вдоль траншейки нездешним лицом вверх голый до пояс и стриженный «под Котовского», лет за двадцать носастый парень с линиялой татуировкой поперек опавшего живота: «Жизнь коротка и обосрана, как детская рубашка». Само по себе и не запомнилось бы, мало ли мне за войну мертвой плоти перевидать довелось, а это вот, видно, из-за наколки той, не забылось, осело в памяти, чтобы, нет-нет, да и подкатить к сердцу прохватливым сквознячком: «Не гони лошадей, Ваня, за всем не угонишься!» Только ведь не я – жизнь, она меня гнала да так, что передохнуть, оглянуться минуты не складывалось, взашей толкала, рад бы остановиться, а неволен, хочешь – не хочешь, иди, да что там

иди – беги походной рысью и с полной выкладкой. Еще мать-покойница не раз, бывало, диву давалась, каким чудом обошла меня – сосунка – косая, когда в первую голодуху после Гражданской из пятерых один я в люльке лежа выжил. Не выжил даже – выкричал до нового хлеба. А потом пошло-поехало: под самую коллективизацию отец слег лихоманкой да и не встал уже, а настрогать до того успел еще четверых мал-мала меньше; оставил нас опять же пятерых на шее у матери, оттого и ученью моему четыре года и пятый коридор, вот и все мои институты, пошел матери помогать, одной бы ей такую ораву не вытянуть. Сначала в колхозной конюшне при конюхах на подхвате, а потом в подпасаках, к войне уже сам пастухом был, крутил буренкам хвосты да девок портил. Может, та моя луговая пора и осталась в моей жизни единой отдушиной, когда трава не вяла и солнце не закатывалось, а небо над головой, как снятое молоко – синим отсвечивало. Война переломила мой век надвое, одна половина осталась там – в деревне, а другая подхватилась и понеслась по свету, куда попутный ветер гнал. Я тогда действительную в Западном округе отслуживал, до демобилизации мне не больше месяца оставалось, меня дома деваха ждала, осенью свадьбу сыграть намечалось, у меня, как у трехлетнего жеребца, от игривой дури промеж ног трещало, я не то что дни – часы по минутам считал, а тут на тебе: «враг будет разбит» услышал во Львове, а «дорогие братья и сестры» дослушивал уже в окружении под Киевом. Такие дни за годы считать можно: земля горела, и воздух плавился, и небо слепо от смоляного дыма. Фронта не было, тыла – тоже, текла во все стороны горластая людская каша. Текла, растекалась неизвестно куда и неведомо зачем, лишь бы течь да растекаться. Народу тьма, а никого не разглядеть, все на одно лицо, страхом будто золой припорошенные. И разило от каждого зверьем и тленьем, как при зачатии и смерти. Я и сам шел, себя не помнил, плыл, как в тифозном жару, ног

под собою не чуя. Перегорала во мне душа чадным пламенем, прелой корою опадала с меня прежняя плоть, а в обугленном костяке моем зарождался другой человек с тем же именем и фамилией, но с иными глазами и другим слухом. В общей мешанине вокруг я сразу увидел отдельные лица и в сплошном крике услышал разные голоса. Они оседали во мне, как горячий раствор в полом каркасе, я словно заново складывался из них в другое, незнакомое еще мне самому существо. Тащились мы тогда на восток слепым табунком, почти без оружия, без знаков различия, со споротыми петлицами, ели, когда было что, и пили, где доставалось, больше по ночам, днем «мессера» секли на бреющем все живое под собой, за одиночками охотой не брезговали, не жалели свинца и секли, будто баловались в беззащитном небе от нечего делать. Помню, проснулся я как-то в куцом подлеске ни свет ни заря, а они уже елозят над головой, высматривают добычу, стервятники. И такая меня вдруг злость взяла, такая ярость, что не выдержал я, распечатался трехэтажным матом. «Ребята, – кричу, – так дальше дело не пойдет, мы что же, как кроли, на своей земле свету белого боимся, мы военное подразделение или бродяжья ватага?» Знал я наверняка, были среди нас старшие по званию, но никто не заартачился, что солдат командует, видно, мало кому светило в эдакую пору такой груз на себя брать. Под вечер выстроил я свое воинство и выкладываю: «Рота, слушай мою команду. Привести себя по возможности в божеский вид, вооружиться подсобным порядком, кому не по нраву, может мотать на все четыре стороны, но кто по дороге дрогнет, пристрелю, как собаку». Нет, что там говорить, нужен человеку поводырь, нужен, без поводыря человек, как нитка без иголки – ни туда, ни сюда, в собственных ногах запутается. Оттого, когда почует он в ком силу, за тем и тащится, так ему – человеку – спокойнее. Потому и за мной тогда потянулись, что только и ждали, на кого свои заботы свалить и ни о чем больше не ду-

мать. Окажись на моем месте кто погорластей, и за ним пошли бы. Тут главное вовремя объявиться и верные слова отыскать, остальное само приложится. Много у меня за войну передряг случилось, не раз с косою, можно сказать, в обнимку лежал, но того адского броска через приднепровские перелески мне до гробовой доски не забыть. Одних хоронил, других на себе вытаскивал, ремни на баланду резал и воду пополам с кровью хлебал, стрелять нечем было, штыком пробивался, а вывел-таки роту из кольца. Рота, правда, громко сказано, в живых осталось – полтора взвода не наскрести, но уж с теми, кого Бог миловал, можно было после этого в огонь и в воду с закрытыми глазами. Вышли, будто прицеливались, прямо на охранение командного пункта армии. Не успели мы со своими словом перекинуться, как из ближней землянки высыпал нам навстречу комсоставский гомонок: видно, успели уже доложить. Смотрю, впереди рослый, в «полтора Ивана», цыганистый мужик в расстегнутом у ворота генеральском кителе, идет, словно землю раскачивает, с эдакой упористой перевалочкой. Я на полусогнутых к нему, начальство первым делом опередить важно, потом не отбрешешься. Докладываю по уставу, вытягиваюсь как положено, в собачьей готовности, а он глядит на меня красными, с большого недосыпа глазами, и, чую, в масть попал, оттаивает мужик, одобряет, значит. «Рядовой, говоришь, – гляжу, совсем повеселел, – вывел, говоришь, роту в половинном составе, а раз вывел, значит, ротным и останешься, определяйся с людьми в мое охранение. – И себе за плечо, наугад. – Заготовьте приказ!» Так вот, по случаю, и завязалась моя армейская судьба. Только повоевать мне с этим командующим так и не пришлось, той же ночью новый немецкий прорыв разметал нас в разные стороны, и лишь после войны узнал я из офицерских разговоров, что, оказывается, после нашей встречи на днепровском берегу не прожил он и трех дней, не стал трибунала дожидаться, пустил себе

пулю в лоб. Война меня по таким кочкам протащила, что ни в сказке сказать, ни пером описать, две осколочные, одна пулевая, четыре контузии, и за каждой историей почище кино будет. По дороге ничем не брезговал: валил впереди себя всё, что шевелилось, – от живота веером, баб шерстил, ни имени, ни нации не спрашивал, чужого добра не жалел, пей – не хочу, и трещала подо мной человечья арматура, как яичная скорлупа. Трезвым себя в ту пору не помню, пьяной чумой катился я по Европе, ты меня видишь, я тебя – нет, с утра до вечера море по колено, пускал, как Змей Горыныч, сивушные пары во все стороны, и расступались у меня впереди народы и государства от одного моего запаха. Домой не ехал – тёк винным паводком от Эльбы до родной деревни да еще и там с месяц куролесил, гуляй, братва, однава живем, трофейного барахла не жалко, а когда очухался, оглянулся, мать моя матушка, нищета вокруг допотопная, голь на голи и нуждой погоняет! Дома с отрубей на крапиву перебиваются, из худой рванины годами не вылезают, зимой одни валяные опорки на всех, и те прелые. «Ну, нет, – думаю, – так дело не пойдет, не за то я четыре года кровь проливал, чтобы моя родня тут с голоду околевала!» Облачаюсь как-то чин-чином, форма с иголочки, на дорогу по заказу у дивизионного портного шил, на груди иконостас в двенадцать блях, пять нашивок за увечья, четыре капитанские звездочки на погонах, и – к председателю. Колхозное правление у нас, правда, тоже не дворец, изба как изба, одна слава, что под железом. Захожу я туда, а там мебели всей – две табуретки да стол канцелярский, хоть сейчас на дрова, и сидит за этим столом самый захудалый мужичонка на деревне – Спирия Полынков, я у него до войны в подпасах ходил, от призыва он по колченовости отвертелся, а на бесптичье и сам станешь раком, вот председателем и заделался, пока мужики европам мозги вправляли, со всеми бабами переспал, Настасью, невесту мою бывшую, тоже не обошел, загнал ей шер-

шавого. Сидит он это за тем столом вполпьяна, увидел меня, ухмыляется: «Здорово живешь, – говорит, – герой, зачем пожаловал?» – «Пожаловал, – говорю, – спросить у тебя, долго ли еще деревня бедовать будет?» – «А это, – говорит, – не твоего ума дело, парень, – говорит, – об этом партия и правительство без тебя думают». – «А сам-то ты, – говорю, – зачем тут поставлен?» – «А это, – говорит, – тожеть не твое дело, не тобой поставлен, не тебе и спрашивать». – «Ты разуй глаза, – говорю, – с кем разговариваешь, с офицером советской армии разговариваешь!» – «А таких охвицеров, – говорит, – нынче как собак нерезанных, крутил хвосты у меня в подпасаках, туда же и сызнава пойдешь». Вот тут-то и не взвидел я света белого: «Ах ты, – кричу, – сучье вымя, я четыре года вшей в окопах кормил и кровью умывался, а ты меня, падаль тыловая, на горло?» Кричу, в глазах цветные шарики плавают, и пол как живой, а морда председательская под моей рукой в кровавую кашу растекается. Потом уж до меня стороной дошло, что отди- рало меня от него бабьё чуть не всей деревней, еле ото- драли. Опамятовался я только в своей избе, пораскинул мозгами и высчитал, что не дадут мне тут жизни, замор- дуют до полной убогости, затопчут в мелкую крошку. Побросал я в вещмешок последнее барахлишко и в Тулу – другой доли искать. Завернул к военкому, а тот мне: «Куда мне тебя девать, капитан, – говорит, – ума не при- ложу, у меня, – говорит, – фронтовых офицеров на учете тысячи, и больше половины без профессии, хоть караул кричи». Вижу, тут горлом брать бесполезно, у него у самого три красных нашивки и нога на протезе. «Чего же мне теперь, – говорю, – грабить, что ли?» – «Вербуйся, – говорит, а сам глаза прячет, – на Крайний Север, туда сейчас без разбора берут, лишь бы руки- ноги целы были, могу направление дать». – «Ладно, – говорю, – спасибо и на этом, как-нибудь устроюсь». Выхожу от него на улицу, жарища – земля трещит, тоска на душе зеленая, что мне теперь, думаю,

делать, куда податься? Ну и махнул я с этой тоски на станцию – остатки пропивать. Спустил на толчке кой-чего из тряпья, засел на вокзале в ресторане и, завейся горе веревочкой, пошел с самим собой наперегонки одну за другой. На большом уже градусе, слышу: «Разрешите с вами за компанию, товарищ капитан?» Гляжу, маячит напротив молодой совсем лейтенантик, ржаной чуб из-под пилотки, на конопатом лице глаза васильковые и нос запятой. Если бы не этот чуб, можно бы и за девку принять. С первого виду – по тылам не ошивался: две «славы», «красная звездочка» и медалей порядком. «Садись, – говорю, – гостем будешь». Слово за слово, хером по столу, оказалось, из одной дивизии, он у меня по соседству полвойны «сыном полка» провертелся, а под самый шабаш закончил, с чего я начинал – ротным. Теперь вроде меня, ни кола ни двора, рад бы где окопаться да негде, специальности нет, а без нее только на подсобные, при офицерском-то звании, вот и думай, как жить. Загудели мы с ним тогда почем зря, пили ночь напролет без удержу, пока потолок с полом впритык не сошлись и тьма не накрыла меня с головой. Прочухался на другой день, головы повернуть не могу, не голова – гиря пудовая, звенит, как церковный колокол, во рту – колхозная конюшня, и не то что рукой-ногой, языком шевельнуть не вмоготу. Только слышу: «На-ка, служивый, глотни, легче станет». Выруливает к моим губам чья-то рука со стаканом, меня уже от одного вида его наизнанку выворачивает. «Пей, пей, капитан, – кто-то голову мне поднимает, – без этого не сгруппируешься». Огненной лавой обвалилась в меня эта похмелка, помоталась внутри тошнотворной зыбью, потом улеглась теплой заводью, и белый свет вокруг понемногу стал подыматься на четыре копыта, а когда явь вконец прорезалась, увидел я перед собой пучеглазого мужика лет за сорок, с бритым черепом, в исподнем белье и в стоптанных калошах на босу ногу. Сколько лет прошло, а до сих пор не забыл: висит у него на соплях

ржавая пуговица на вороте рубахи. Мне эта пуговица его частенько по ночам мерещится. От него-то я и узнал в то утро, где очутился, как сюда попал и с кем по пьянке связался. Оказывается, отсыпался я после ночного загула на нарах в жилом вагоне железнодорожного стройотряда, подобрали нас с давешним лейтенантиком и затащили сюда здешние ребята, и занят тут народ не столько путевыми работами, сколько ночным промыслом по груженным составам. Подобралась братва из одних фронтовиков, мужики как на подбор, таким не только в темном углу – среди белого дня света не засть, сметут, бритый у них и за бригадира, и за пахана, сам же он бывший замкомполка с Третьего Украинского. «Такие пироги, служивый, – потчевал меня майор чайком на закуску, – встретила нас мать-родина – своих спасителей, прямо скажем, мордой об стол, куда ни кинь – всюду клин, так что терять нам нечего, если сами себе не поможем – никто не поможет, больше – сотрут, я тебе, капитан, все сказал, теперь сам решай: не подходит, вот тебе порог, подходит – оставайся, не обидим, помирать, так с музыкой». По правде говоря, взяла меня поначалу оторопь, шуточное ли дело при четырех звездочках на погонах в ночной разбой подаваться! Однако, думай не думай, деваться некуда, кругом по нулям, а тут еще мама надвое сказала, глядишь, перебьюсь, обойдет меня тюрьма стороной. «Ладно, – говорю, – майор, двум смертям не бывать, где наше не пропадало, зачисляй на довольствие». И завертелась карусель моей жизни без остановок и тормозов на предельной скорости, только успевай шестеренки менять. Всё кругом в такой клубок смоталось, что не разобрать, где день, где ночь. Озорвали посменно: полбригады на участке, другая половина отсыпается, и по ночам то же самое. Совесть меня тогда особо не угрызала, если и подпирало часом, утешался: авось не чужое добро – казенное, задарма что ли кровь проливали, но если уж совсем невмоготу делалось, горькою заливал, благо деньги не переводились, было на

что. Одно только поедом ело: чем это всё кончится и кончится ли когда? Майор наш – мужик глазастый, чуял, видно, во мне эту слабинку, вызывал мимоходом на разговор: «Не журысь, служивый, – обнадеживал он при случае, – доверяй командиру, командир выведет, припрут к стенке, собой заслоню». И заслонил ведь. Башковитый был майор этот, ему бы, по его голове, армией командовать, а он вон до чего докатился. Вернее сказать, докатили, те, кому по чину за нашего брата думать полагалось. Только, видно, они не за нас, за свою шкуру больше думали, вот и осталось нашему брату на большую дорогу идти. Что ж, как говорят, сколько веревочке ни виться, и захлестнулась эта самая веревочка вокруг нашей малины милицейской облавой. Захлестнулась ночью, среди сна, но врасплох не застала, майор наш по военной привычке всегда на ночь боевое охранение выставлял. Заняли круговую оборону и отстреливались вслепую, пока половина не полегла и мой лейтенантик с ними. Тогда повернулся майор к ребятам марлевым лицом и скомандовал: «Приказываю, выскакивай по одному и – врассыпную, беру огонь на себя». Дошла до меня очередь, выбросился я в темь, как в прорубь, даже не обернулся напоследок, до сих пор из-за этого, как вспомню, стыд берет. И дернул по путям под вагонами, куда глаза глядят. Несусь и Бога молю: «Спаси и пронеси, Господи!» Вот ведь человек, скотина какая, как ему плохо, так сразу Господа вспоминает, а как хорошо, так сам себе голова. Но не услышал, видно, Бог молитвы моей, захомутали меня по дороге, навалились кучей, повязали и понесли по кочкам до самой тюрьмы: били, когда вели, били, когда допрашивали, потом в камере доколачивали. Как я тогда жив остался, и сейчас в толк не возьму. У меня с той поры все ребра наперекосяк срослись и пробоина на темени. Я после этого еще с месяц кровью харкал и сукровицей на двор ходил. Очулся я только в тюряге на нарах, в ожидании трибунала. Лежал и век свой короткий по часам перебирал:

чего у меня там было-то, на этом веку? Выходило, что ничего там не было, кроме синяков и шишек с сиротским бесхлебьем впридачу. Война вроде вынесла меня на простор, но и тут беда поперек встала. Война кончилась, штрафной не отделаешься, и маячила у меня впереди одна мера – вышка. Когда выкликнули меня наконец, обвалилась во мне душа ледяной сосулькой в ватные пятки, пришел, думаю, твой час, парень, молись напоследок. В тюремный двор вывели, с непривычки от полного света в глазах резь, обываю, гляжу, около ворот не «воронок» – простая полуторка с газогенератором стоит, а в нее народ грузят, если по обмундировке судить, сплошь фронтовая братва. Ведут и меня туда же. «Залезай, – говорят, – в кузов, теплее будет». Конвой шутки шутит, а я прикидываю: на трибунал вроде не похоже. И вспорхнула моя душа майским жаворонком в обратную сторону: неужели амнистия? По пути разговоры об одном: куда, да зачем, да что стряслось? Чего только не нагадано было: может, на вербовку, может, амнистия, а может, война с Америкой и опять на передовую? А привезли, вот и угадай попробуй, в облвоенкомат, сгрузили во дворе, выстроили, ждите, говорят. Не успели разобраться, хромает к нам к крыльца знакомый мне облвоенком, встает перед строем и говорит: «Что ж вы, сукины дети, думали, что товарищ Сталин о вас забыл? Не такой человек товарищ Сталин, чтобы забыть о людях, которые Россию спасли. Пока вы, обороты, уголовный кодекс попирали, наш любимый вождь думал о вашей судьбе. – И затвердел обликом, как на параде. – Приказ Верховного главнокомандующего отправить вас на переподготовку в военные учебные заведения, ура, мерзавцы!» Доводилось мне в рукопашную ходить не раз, кричал я это самое «ура» да так, что уши от натуги лопались, а «за Сталина» кричал еще громче, но вот так – всем нутром, кишками всеми, жилами – никогда еще. Что бы теперь ни толковали, а скажи мне тогда: умри за него, парень, за счастье бы

почел. Эх, да что там говорить! В общем, очутился я снова в армии, женился вскорости, семья пошла, и пустился, как все, карьеру делать, не знаю, сделал бы, но пофартило, свел случай с бывшим командиром нашей дивизии, к тому времени он уже полным генералом был, замминистра по сухопутной части. В конце я на большую орбиту вышел, в перспективе маршальская звезда светила, но человек полагает, а Бог располагает. Рухнуло однажды все разом и оказался я в отставке при своих пенсионных интересах. Спроси меня нынче, жалею ли я о том. Сначала жалел, сейчас – не жалею. Ни о чем теперь не жалеет генерал в отставке Иван Никанорыч Воробьев, уроженец деревни Торбеево, Узловского уезда Тульской области.

2

Седьмой десяток переломил. Говоря по чести, полная старость, пролилась жизнь, как вода сквозь пальцы, а в той воде чистых капель с наперсток наберется ли, все остальное прочее – одна муть с дерьмом и кровью впере мешку, вспоминать тошно. И только пора моя деревенская, хоть и была она у меня голодней сиротской, светится издаля луговым пятном, словно зеленый островок посереде обгорелой пустоши. Бывает, помаячит во сне, и душа вдруг взлетит в таком сладком томлении, что и, проснувшись, все еще долго вибрируешь от нечаянной радости, страшась опамятоваться и остыть. Сколько лет я жил с этим, сколько раз наведать собирался, сколько раз чемодан укладывал, а собрался в конце концов лишь на материны похороны, когда уже самому следом за ней скоро. В каких ее на веку ступах ни толкло, какими стужами ни продувало, какой нуждой ни горбатило, но умерла она в своем доме не от тяжелой болезни – от старости. Даже, говорят, не умерла, а как бы затихла без мук и видений. Пятерых схоронила,

столько же на ноги поставила, и все одна, двумя своими задубевшими в черной работе руками. Скрестили ей их напоследок и, казалось, вовсе не руки это, а две прокопченные насквозь клешни переплелись у нее на груди, чтобы уже никогда больше не расцепиться. Бывало, звал: «Хватит, мать, накостылялась, пора охолонуть. Или у нас у пятерых для тебя куска и угла не найдется? Перебирайся и живи себе не тужи около детей и внуков». Не дозволялся, не взошла старая на такую перемену, не снялась с места, дожидая в своей избе и на подсобном иждивении. Получил телеграмму, я тогда на маневрах был, сразу сорвался, но только уже в самолете наедине с собой вдруг сквознячком подкатило к сердцу: стоп, Иван, не гони лошадей, спешить и впрямь дальше некуда. Вот тогда-то в том пути на родину и сложилось во мне, что то, что называется жизнью, прожито, что главное – дальняя дорога, казенный дом, крым, рым и прочее – все позади, а впереди, отныне и до гробовой доски одни медные трубы, да и те – на излете. И дошло до меня окончательно: не было в моей судьбе дороже и ближе человека, чем мать, вместе с которой слиняла с лица земли моя последняя кровная привязь и остался я на этой земле сам по себе, будто сомкнулось за спиной смертельное окружение, оставляя меня лицом к лицу с собственным одиночеством до конца моих дней. Помнится, случилось это в самую распутицу, от военной базы, где мы приземлились, до нашей деревни чуть не сто верст, штабной вездеход навозным жуком барахтался в грязевых хлябях, отдышливо надрывался в колдобинах, выписывал вензеля на взгорках, пока не сорвал голоса и не затих намертво где-то уже в километрах пятнадцати от цели. Чего было делать, не куковать же среди этого потопа до первой погоды, плащ-палатки на головы, ноги в руки и пошли месить пешим порядком по дорожной обочине. С долгой отвычки нелегко дался мне этот марш, тяжелил меня генеральский жирок, забивал горло одышкой, пригнетал к земле, и не знаю,

в одиночку осилил бы я, да чуя сзади адъютантский напор, на одном самолюбии марку держал, пока, на мое счастье, не подобрала нас выплывшая нам наперерез с проселка шальная подвода. Возницей на ней – беззубая, но крепкая еще старуха – поначалу только молча постреливала сторожким глазом в нашу сторону, потом не выдержала, просыпалась куцей скороговоркой: «Вы чего же, с району будете?» – «Да нет, – говорю, – из Москвы». – «И чего же к нам, в Торбеево?» – «Да вот мать хоронить еду». И тут, из-под мешковины, надвинутой у нее на самые глаза, будто крапивой меня по лицу смазала: «Вы чего же, Воробьихин сын будете?» – «Он самый». Старуха повернулась мешочным кулем в мою сторону и больше уже до самой деревни не возникала, а меня от этого ее колкого любопытства вдруг обожгло всего: «Не Настасья ли?!» Хотя, прикинул, старовата вроде, да тут же спохватился: «Седой чёрт, на себя в зеркало посмотри, сам шестой десяток пошабашил, а все еще в молодые норовишь, тебе бы ее жизнь каторжную, давно бы в кисель расквасился!» У околицы она придержала лошадь, ссадила нас, но не обернулась, так и осталась торчать мешочным кулем на передке, пока не слилась с дождевой завесой. «Она, не она ли, – думал я тогда, вслед ей глядя, – только если она, чего ж ей на меня зло держать, о душе пора позаботиться, нас теперь лета сквитали. Может, разговорить бы мне ее по дороге, да какой у нас с ней разговор мог получиться при постороннем, канитель одна, а то, глядишь, и пересечемся еще, поговорим». К тому времени деревни своей не видал я уже лет тридцать с лишком, и, хотя запомнил я ее в бесхлебице, оказалась она и того бедней и заброшенной. Поневоле душа в тоске съежилась: как же это может человек в полной силе и разуме жить здесь, в этой убогости! С этим и переступил я отчий порог, а там тоже – одни бабьи платки по избе кружатся, шушукуются по углам, божатся исподтишка. Вошел я, едва в притолоку не уперся, не изба – блиндаж бревенчатый: «Здравст-

вуйте», – говорю. Замолкли, опасно выставились на меня, а потом, как по команде – в голос. Пошли причитать, будто прорвало их всех до единой, а я уже и не слушал, смотрел туда, где в досчатом пенале светилось белым пятном лицо матери, и все приговаривал про себя: «Вот и свиделись, мать, вот и свиделись». Только слышу, адъютант за плечом шепотом: «Товарищ генерал, вас просят». Бросил я на ходу «распорядитесь тут» и мимо него в сени, а там, гляжу, толчется в ожидании очкастый малый в брезентовом дождевике. «Здравствуйте, – говорит, – товарищ Воробьев, я тут в Торбеево председателем, Виктор Евсеич Горышев моя фамилия. А вы будьте так любезны, лишних денег не давайте, не балуйте народ». – «А это уж, – говорю, – моя забота». – «Нет, – говорит, – товарищ Воробьев, войдите и в мое положение, перепьются на дармовщину, мне их потом на работу ложками не вычерпать». – «Кому тут пить-то, – спрашиваю, – одни старухи?» – «К сожалению, – вздыхает, – старость им не помеха, гудят не хуже молодых, помоложе тоже найдутся, как узнают про вас, табуном набегут». – «Так и живете?» – говорю. «Так и живем»; – отвечает. Лет ему от силы сорок на вид, но лицо, словно после больницы, отечное, с просинью, а под очками не глаза – тоска зеленая. «Надо бы вам, товарищ Воробьев, – говорит, – отдохнуть с дороги, обсушиться, чайку попить, жена моя быстро оборудует, хоронить все равно до завтрашнего утра не дадут, обычай такой – сутки дома пролежать должна, адъютант тут ваш сам похлопочет». Дом у председателя оказался не краше прочих, разве что под хорошим железом, хоромы тоже не Бог весть что, правда, в обоях и с городской мебелью, опять же книжки в шкафу, вот и вся разница. Сели мы с ним полдничать, на столе – молоко, огурцы соленые, картошка на постном масле, такие председательские разносолы и то, видно, из последнего. Глядит он на меня виноватым взглядом, щурится близоруко, оправдывается: «Думаете, наверное, прибудняюсь при большом начальст-

ве, а у самого от съедобного погребя ломаются?» – «Да нет, – говорю, – чего уж там, сам вижу». – «Видите, да не всё, – говорит, – у моих людей, бывает, и этого нет, одним днем живут: есть – едят, нету – спать ложатся». – «Что же так, – говорю, – колхозникам нынче большие права даны: и аванс, и зарплата, и пенсия, и в смысле подсобного хозяйства, руки бы только приложить». А он мне: «Аванс еще отработать надо, зарплата, как у нас говорят, ноль целых и столько же десятых, на колхозную пенсию кошку не прокормишь, а от собственного хозяйства отучились давно, хлопотно больно. Я как-то соседке своей бабке Шуре попенял, что, мол, коровку-то не заведешь, теперь, мол, с сеном легче, коси по прогалинам сколько осилишь, с молочком была бы, а она мне: «Мне, – говорит, – мил-человек, в моей вдовой сирости лишний вес ни к чему, я чего не допью, то досплю». Вот и вся философия. Отвадили крестьянина от земли, мачехой для него земля эта стала, не хочет он с ней больше дела иметь, попробуй заставь». – «А чего же они у тебя целыми днями делают-то, – интересуюсь, – клопов, что ли, дают?» – «В хорошую погоду в сельпо сидят, подловыгодным накачиваются, это у нас так плодоягодное вино прозвали, а в непогодь по избам, самогон наладились гнать». – «Кто ж работает-то?» – «Минимум, конечно, всем приходится отрабатывать, иначе совсем по миру пойдешь, а что сверх, то проси не проси, не заставишь». – «На чем же хозяйство твое держится?» – «Сам удивляюсь, по всем законам экономики давно должны были бы в трубу вылететь, ан нет, выплываем, даже, смешно сказать, план даем, прямо чудеса в решете». – «Рыба с головы гниет, – говорю, – у тебя должность, тебе права дадены». И хоть бы обиделся. «А какой из меня председатель, – морщится, – смех один. Я ведь сюда директором школы по распределению назначен был после института, приехал, а ее – школу-то эту – закрывать надо, учить некого, не нарожали, да и кому здесь рожать и от кого, спрашивается, от рукопожатия с

начальством, что ли? Вот и навязали мне это ярмо в порядке партийной дисциплины, а я толком бороны от лемеха не отличу и спросить с людей не умею, не тот характер. Вон к животноводческой ферме нашей не подойти, не подъехать, в навозной жиже, как в море, плавает, недавно две телки среди бела дня захлебнулись, но спросить совестно, ведь ее, жижу эту, вывозить надо, а на чем, транспорта нету, бригадир на горбу не вывезет?» – «Распустился народ, – говорю, – забыл хозяина!» Смотрю, заскучал председатель, скуксился: «Может, вы и правы, – говорит, – только сколько же можно все с народа и с народа, а народу-то когда! Народ наш уж сколько лет, считай, хлеба досыта не ел, мясо по большим праздникам и то не всегда, об остальном и говорить нечего. Вон ушла у нас вода подпочвенная, высохли колодцы все до единого, так, думаете, кто-нибудь наверху озаботился, куда там! Уж я куда ни писал, к кому ни ездил, только когда чуть не до самого верха добрался, откликнулось: пригнали саперов, разворочали динамитом в лощинах четыре ямы, подровняли бульдозерами и оставили до первых дождей. С тех пор у нас по отчетам четыре водоема числятся: в одном технику моем, в другом скот поим, в третьем белье стираем и сами купаемся, а из четвертого воду пьем, прямо так, с головастиками, если вскипятить, вместо ухи употреблять можно, только сольцы да укропу добавь. Оттого и бабы болеют, и дети в младенчестве мрут, а те, что растут, все с придурью. – Здесь он как бы даже задыхаться стал от переполнявших его слов. – Я почему вам все это говорю, мне ведь все равно терять нечего, семь бед – один ответ, а вы там в Москве в больших кабинетах бываете, на вас погоны генеральские, вас послушают, не то что меня, передайте вы им, нельзя так больше, нельзя, совсем ведь загибаемся. – И тут же спохватился. – Да вы ешьте, ешьте, чем богаты, говорят, тем и рады. Извините меня, спиртного не держу, даже для гостей, с нашим народом с утра пообщаешься, потом целый день

только закусывай, да. Заправитесь, а потом можно и на боковую, жена вам уже постелила. Утро вечера мудренее». Долго я в ту ночь не спал, ворочался, все никак в толк не мог взять: «Как же это так, – думал, – до Москвы рукой подать, километров двести каких-нибудь, по хорошей дороге два часа езды на машине, а тут все еще, как при царе Горохе, хуже того, как в каменном веке люди живут на седьмом десятке советской власти». По правде говоря, я и раньше кое-что замечал, когда мотался с инспекциями по округам, деревня наша даже на проезжий глаз особым довольством не отличается, о дорогах я уж и не говорю, да и по шефской линии кое о чем наслышан был, но все по казенной привычке считал, что это так, болезни роста, издержки большого разгона, а в общем и целом, как это в одной песне поется, мы впереди планеты всей. Сам тоже не без греха, случалось доклады делать, про сельское хозяйство соловьем пел в смысле небывалых урожаев, роста поголовья и всякого благосостояния. Вернее, не пел – повторял, как попугай, что мне наши шелкоперы из политуправления сочиняли, считал, им виднее, у них выкладки на руках. Только тут, в Торбеево, уткнул меня случай носом в самую плесень нашу, в самое ее нутро. Легко председателю советовать, куда мне ходить и к кому стучаться. А к кому? Там ведь, на верхах, тоже не лыком шиты, сами не лаптем щи хлебают, в чем – в чем, а в политике разбираются. Скажут: не суйся-ка ты, Воробьев, в чужой огород, разберись-ка ты лучше со своим хозяйством, у себя дерьмо разгреби. И в полном праве будут. В армии у нас тоже не Артек: пьют что ни попадя, дедовщина вконец озверела, липа на всех уровнях от генштаба до взвода, греби – не разгребешь. Столкнула меня как-то судьба с одним из этих шишек, выше которых уже и нету в стране. Было это в чехословацкую кампанию, а я, положила руку на сердце, кампанию эту сам разрабатывал, за что вторую звезду на погоны спроворил, поэтому и въехал туда на головном

танке вместе с деятелем, который тогда за эту операцию отвечал по поручению Политбюро. По дороге куда ни помотришь, глаз радуется: поля ухожены, скотный двор стоит, сам бы в нем пожил, жилье в деревнях – мне бы такое. В любую лавочку, в любую забегаловку заглянешь – птичьего молока только нету, для меня, без привычки – молочные реки, кисельные берега! Не выдержал, поделился с начальством: «Нам бы так, Кирилл Трофимыч!» Срезал он меня искоса ленивой усмешечкой и только вздохнул: «Нам до этого, Иван Никанорыч, лет сто еще, не меньше». Мужик он, надо сказать, неглупый был, знал что почем, недавно сняли, погорел на чем-то, может, на уме своем и погорел. Вот после этого и стучись к такому деятелю, ему и без твоих подсказок тошно. Пошлет такой тебя куда подальше, а то еще и прихлопнет за критиканство. Однако и смолчать больше терпения нету, не съел же я свою совесть с генеральским пайком. От одной торбеевской беды хоть криком кричи, а сколько их, этих торбеевых, по всей России? А в них люди живут, те же самые люди, какие называются народом и откуда появились на свет и этот председатель, и баба, которая подвозила нас до деревни, и старухи в доме, и я, и моя жена, и мой адъютант, и тот деятель, и те, кто над ним. Чем же мы хуже других? На Луну летаем, к Марсу собираемся, базы на всех материках стоят, а дома голь перекатная, сивушный сучок пьем, рваниной закусываем, за хлебом по заморским закромам ходим. Какая черная порча нашла на нас, что возгордились мы белый свет осчастливить с пустым брюхом и голой задницей? Кто наслал на нас порчу эту? Может, она в нас самих гнездилась, только таилась до поры? Забылся я лишь под утро, когда петухи уже в раж вошли, спал прерывисто, проснулся с головной тяжестью. За ночь распогодилось, но под распахнутым настезь небом деревня выглядела еще приземистой и плоше. Председатель как в воду глядел: к выносу на кладбище больше половины провожающих оказалось

на сильном взводе, видно, адъютант мой не поскупился. Бестолково толклись вокруг гроба, галдели наперебой, невпопад голосили, поглядывали исподтишка в мою сторону, как бы сверяли со мной, складно ли у них все получается? Заговаривать решались только из тех, кто попьаннее, всякий при этом норовил выказать, что с начальством ему знаться не привыкать, что с генералами он, в общем-то, на короткой ноге и что нас с ним политесам обучать нечего. «Держись, Никанорыч, – совал руку один, – все под Богом ходим». – «Все там будем, – покачивался другой, – что в лаптях, что в калошах». А третий еле вязал: «Наше вам, со всем уважением». В свете погожего дня мать показалась мне совсем усохшей и маленькой, похожей на морщинистую девочку, заснувшую невзначай после долгих хлопот и трудной работы. Подняли ее мужики в четыре плеча, и поплыла она над вчерашними хлябями в тесовом ящике, будто в лодке, чуть кружа и покачиваясь. Прощай мать, бдительница моя, вечная моя печальница! Из родни, кроме меня, никто не добрался, как потом узналось, застряли в распутице, пришлось мне одному ее провожать. Пил я на поминках наравне со всеми, да так, что себя позабыл: с кем-то спорил, с кем-то целовался, кого-то по пьяной лавочке даже за уши таскал, но смертной своей тоски унять так и не смог. «Все, Иван, конец, – выжигала она меня, – отцвела твоя пора, осыпалась, теперь не жить – доживать осталось!» К утру пробился-таки вездеход ко мне на выручку, подхватился я на скорую руку, снял со стенки рамку с фотками, избу даже закрывать не стал, пускай берут, кому что годится, по правде говоря, рухлядь одна, и – «прощай, моя деревня, прощай, мой дом родной», ни свет ни заря в путь-дорогу. К околице подъезжали, увидел я, стоит при дороге женщина, будто ждет кого-то, вроде бы даже принаряженная. «А ведь это она, – жарко окатило меня, – баба давешняя, Настасья моя, ясное дело Настасья!» На похоронах я выглядывал, ее не было, а сюда пришла. Пришла, видно, молодости

своей в глаза поглядеть. Потянуло было меня остановиться, хоть напоследок словом перекинуться, но осадил себя, удержался: зачем, только душу травить. И за околицей даже не оглянулся, чего оглядываться, ничего уже не воротишь. Да, может, все-таки не она это вовсе, кто знает?

3

Из коридора пробивается голос жены. С утра пораньше на телефоне. Снова, в который уже раз, обзванивает приглашенных. Звучит опасливо: прошли те времена, когда в гости к нам напрашивались, теперь сами кланяемся. Генерал в отставке, да еще с таким привеском в анкете, уже не генерал, а старпер на пенсии, одна слава, что в чинах. Я еще и дела не приступал сдавать, как вокруг меня как шрапнелью выкосило, будто и не было у меня никогда друзей-приятелей или, по-газетному, славных боевых товарищей. Я и не судил их сильно, сам бы, наверное, тоже не высунулся, будь я на их месте, так уже все кругом устроено: ты умри сегодня, я – завтра. Да и то сказать, какие уж там друзья-приятели, славные боевые товарищи, так – временные попутчики, сослуживцы, одним словом. Начни сейчас перебирать, за всю свою военную ляжку двух памятью не выделю, а то, говоря по совести, и одним обойдусь, но и того вот уж лет пять, как на погост снесли. Был он много старше, и свела меня с ним судьба уже в академии, он там оперативное искусство вел. Занятный старикан оказался, балагур, все побаски-прибауточки, выпить не дурак, правда, пил аккуратно, по столу не размазывался, любил поговорить под сурдинку, но больше байками обходился, в душу не пускал, словом огораживался. Бывало, напросишься с ним посидеть, засядешь в поплавке в хорошей компании и, только ушами хлопай, такого понарасскажет, хоть в книжку вставляй: и про

первую империалистическую, куда он гвардейским поручиком ушел, и про гражданскую, где ему уже штабами довелось ворочать, и про отечественную, которую возле Сталина отслужил. Хотя, говорю, все больше вокруг да около, одна бывальщина, а чтобы с упором копнуть, того ни-ни, видно, для себя берег или людского подвоха опасался. Меня, правда, он от других сразу отличил, сам к себе зазывал, о жизни моей любопытствовал. Квартира у него была барская, с окнами на Москву-реку, но куковал он в ней бобылем, жена его еще в войну померла, детей у них не случилось, ухаживала за ним приходящая старушка – Божий одуванчик, вроде дальняя родственница, седьмая вода на киселе. Как-то завернули мы к нему после лекции, сели за стол с глазу на глаз, под добрый обмен уговорили бутылочку, и прорвало старика. «Я, – говорит, – Иван Никанорыч, тебя давно на примете держу, хватка у тебя есть, штабник из тебя получится великолепный. Но не в этом, – говорит, – дело, а в том, что земляки мы с тобой и не только земляки, но близкие соседи. Торбеево твое когда-то в наши земли родовые входило, а усадьба фамильная в десяти верстах от вас располагалась, в Батурино, там теперь областной дом инвалидов или, лучше сказать, богадельня. Так вот, – говорит, – когда я это выяснил, любопытно мне стало, что за потомство выросло на наших бывших землях, чего оно добывается и чего оно стоит?» Я было завелся с полоборота: «Ну и можно узнать, – говорю, – какая мне цена?» – «Отчего же нельзя, – отвечает, – очень даже можно, за сколько тебя ни взять, – говорит, – прямо скажу, Иван Никанорыч, не переплатишь, ты своего хлеба стоишь, а судьбе угодно, то и далеко пойдешь» – «Советская власть, – остываю, – мужику тоже дорогу открыла». – «Не спорю, – говорит, – советская власть для мужика много сделала, но у кого голова на плечах была, тот и раньше мог немалых высот достичь, Деникин, Корнилов, Алексеев тоже из мужицкой среды вышли, да не одни они, к революции больше

половины командного состава русской армии черная кость дала, не в этом суть». – «А в чем, – подступил я к нему, – в чем же?» – «А в том, – отвечает, – что для вас есть Россия?» – «Как это, – перебираю я по привычке, – наша партия, социалистическая родина, советский народ». – «Э, – морщится, – слишком общо, Иван Никанорыч, слишком абстрактно и ни к чему не обязывает». – «А для вас что? – спрашиваю. «В целом, может быть, то же самое, но без прилагательных, это гораздо конкретнее». – «Оно, конечно, для вас эта власть чужая». – «Власть, – усмехается, – как известно, дается от Бога, Иван Никанорыч, не нам о ней судить, меня в ней волнует только одно: служит она интересам русского государства или нет, все остальное второстепенно». – «Отчего же вы за ней пошли, – я уже в крик, – если она вам до лампочки!» – «А от того и пошли, – охлаждает он меня, – что, какая она ни есть, только с ее помощью удалось русское государство в его имперских границах сохранить и даже несколько преумножить. Эх, Иван Никанорыч, молод ты, – понесло его вокруг стола, – не знаешь, во что превратилась Россия после Февраля! В распутную, пьяную бабу, которую кто хотел, тот и насиловал, в лоскутья ее растаскивали, и каждый норовил отхватить кусок побольше и пожирнее, сердце кровью обливалось, глядя, как растекается в разные стороны то, что веками потом и кровью собиралось, и как глумится над нашими святынями безродная чернь со всего света, земля стоном стонала. После всего этого Ленин нам, как дар Божий, с неба свалился, мы за ним готовы были в огонь и в воду, лишь бы не дал России пропасть, не предал на позор и поругание, а какая у него там философия, для нас это было безразлично. Лучшие из лучших с ним пошли – Брусилов, Клембовский, Сулейман, Снесарев, Зайончковский, Свечин, Верховский, всех не перечислишь, цвет русской военной мысли. Не ради же серебрянников переметнулись. Серебрянников этих у того же последнего военного министра Верховского

полно было, вся министерская казна, ради чести России своей честью поступились, а какой нам, кроме этого, был резон душу-то свою закладывать, ведь могли бы и бежать, возможностей выпадало множество, нет, остались и служили не за страх, а за совесть, хотя многим потом пришлось сложить понапрасну голову и отнюдь не на поле брани. – И вдруг спохватился. – Да ты не смотри на меня так, Иван Никанорыч, я это и Сталину как на духу говорил». Тут уж я поперхнулся: «А Сталин что?» – «Да ничего, усмехнулся только и рукой махнул, будто табачный дым отогнал». Много у нас с ним было после вечерних застолий, немало он мне всякого порассказывал, на многое глаза разул, но тот первый наш откровенный разговор затвердился у меня в памяти резче всего. Годами он ровесник матери моей был, но сгинул не от болезни и не от старости, свалился на самолете в инспекционной поездке, одни пуговицы собрали, хотя это потом, а до того еще стряслось немало всякого. Без него скучно сделалось у меня на душе, не с кем стало весомым словом перекинуться, а от досужих разговоров я уже отвык, не тянуло меня обсуждать очередные производства и новые назначения, а кости сослуживцам перебивать – тем более. Поэтому знакомства, в основном, жена подогревала, ей видней, с кем мне знаться для пользы дела. Главное знакомство детьми повязалось, сын опекуна моего главного с моей дочерью в один класс ходил, сам даже при встречах пошучивал, что, глядишь, до свадьбы вместе дотянут. Остальные не в счет, еще бабушка надвое сказала, кто кому честь оказывает. Тут как раз по армии ропоток зашелестел: чехи балуют, контрреволюция голову подняла, Варшавский пакт под угрозой. Шорох шорохом, а на верхах тоже насторожились, как бы к самим не перекинулось, а тогда только держись, это тебе не европейская делянка, сунься, уйми такую громадину, костей не соберешь. Наверху, видно, решили не ждать у такого моря погоды, упредить события. Вскорости получаю приказной звонок от министра:

прибыть такого-то, в десять ноль-ноль в цека партии, седьмой этаж, комната четыре. Соображаю, седьмой этаж – это самый верх, выше некуда, значит, разговор будет окончательный. Прикинул разные варианты, куда ни кинь, все сходилось на чехах. В нашем деле угадать ситуацию, что жар-птицу за хвост прищемить, лови момент, другого долго ждать придется, если опять же дождешься. В общем, прибываю в назначенный час, как говорится, во всеоружии, а там в приемной уже весь наш министерский синклит во главе с начальником Генштаба сидят, тоже пальца в рот не клади, своего случая упускать не собираются, каждый не одну собаку съел на наших тайнах мадридского двора. Приняли нас минута в минуту, на этом этаже время считать умеют. Встретил нас, на пару с нашим министром, тот самый деятель, можно сказать, третий человек в государстве, долго не размазывал, бросил вскользь насчет «угрозы социализму» и «происков реакции» и к делу. «Центральный Комитет, Политбюро и лично Генеральный секретарь партии поручает вам в течение месяца, – говорит, – ни днем больше, разработать план операции по оказанию дружеской помощи Чехословакии. Все смежные ведомства и организации с сегодняшнего дня в вашем распоряжении. Ровно через месяц, в это же время, прошу сюда с готовыми вариантами, секретность, как вы понимаете, полная. Всё, можете идти». Министр наш при этом только вытянулся, хотя сам в Политбюро состоял. С этим мы и вернулись к себе на Кирова. В темпе обменялись мнениями, поделили епархии и – по кабинетам. Мне досталась вся оперативная часть. И началась такая гонка, какой я в своей штабной жизни не упомяну: дома сутками не показывался, со смежников семь шкур снял, пристяжные мои с утра до ночи в мыле бегали, сам носом землю рыл, но в срок уложился. Ровно через месяц в том же самом кабинете докладывал об исполнении. Еще через неделю получил державное «добро», а по выполнении задания и вторую генеральскую звезду

вместе с назначением начальником штаба того же округа, который задействовал операцию. Округ в смысле продвижения считался в армии особенно надежным, отсюда уходили в отставку или по вертикали, перемещений обычно не было. Опекун мой так и сказал на прощанье: «Наверху указано к тебе присмотреться, на большую орбиту выходишь, Иван, маршальской звездой засветило, хотя далеко еще, но не забывай, чем выше взлет, тем больней падать, у тебя теперь, как у сапера: по сторонам земли нет, шаг вправо, шаг влево — и ложками не соберешь». По всем приметам, не миновать бы тому, так все поначалу складывалось, лови, Иван, свою удачу, сама в руки плывет! Сама-то сама, только если ей не подействовать, она тоже особа капризная, может и в сторону своротить. Я по мере возможности и содействовал, работал за троих, глаз с прицела не спускал, ухо держал востро, в моем положении, хочешь не хочешь, вовремя не сгруппируешься, сметут. С хозяином тамошним накоротке сошелся, он в Политбюро вхож был. Чему-чему, а видам руководства старался соответствовать без дураков, на всю катушку. Но, сказано, человек полагает, а кто-то там выше нас располагает. Сорвалась моя судьба в одночасье с заданной орбиты и пошла по совсем другой траектории, а где я теперь причалю, один Бог знает. Уж больно крутёнок вираж, да.

4

Жена все еще хлопочет у телефона. Да, матушка, побоговала в свой час, теперь, на старости лет, твой черед выгибаться. Жалко дурочку, при ее-то гордости да так вибрировать, пропади они пропадом, гости эти! Так и подмывает криком осадить: «Да пошли ты их, дармоедов, ко всем псам, одни посидим, вдвоем!» Чуть не сорок лет у нас с ней позади, а все не притремся, все

примериваемся: кто – кого. Пора бы опамятоваться, укоротить норы, в наши годы каждый день, как подарок, сейчас не столкуемся, потом поздно будет. Чего нам нынче спешить, куда рваться, перед кем заискивать? Крыша над головой есть, по миру не ходим, никому не должны, чего еще надо? Сесть бы нам и впрямь сегодня повечеру вдвоем и посидеть между собой без постороннего гвалта. Вот именно, как в старину говаривали: рядком да ладком. Сорок лет – срок достаточный, есть что вспомнить. Молодость хотя бы. Ведь была, мать, она у нас с тобой – молодость, была. Может, не краше, но и не плоше, чем у других, да. Помню, закруглял я тогда свою военную подготовку на курсах под Москвой. Курсы курсами, муштра муштрой, а природа брала свое, молодая дурь голову кружила, первая забота – в увольнительную сорваться, гульнуть по буфету, побаловать своего шершавого, благо раздолье в этом смысле было для нашего брата полное: ребят моего призыва война через одного повыбила, любой колченогий за танцора шел, а уж о здоровых не говорю, какой там бабы, малолетки табунами бегали. Городишко сам громоздился деревянной рухлядью вокруг ремзавода и швейной фабрики, от них и жил с хлеба на квас при нашей команде вместо мужского подспорья. На все население две отдушины – расхристанный Дом культуры да городской парк тоже не райские кущи, там мы и петушились, грудь колесом, посреди городского курятника. Углядел я ее в людской толчее сразу, уж больно она отличалась от местных краль походкой и обликом: видно было – пришлая и скорее всего из Москвы, так потом и оказалось, но поначалу я даже подойти остерегался, не по плечу мне, решил, это деревце, не по чину, где мне – посконному рылу в калашный ряд, только издалека окусывался да сон потерял, такая порою тоска брала, что хоть давись или стреляйся. Попробовал было вином залить, не вышло, только пуще разбередило. Не знаю, чем бы это все для меня кончилось, но, видно, по

этой части женский пол куда умнее нас – мужиков, как-то на танцах она сама ко мне подошла: «Слышите, – говорит, – объявляли, девушки приглашают, дамский танец». И понеслась, как говорится, душа в рай, только пятки сверкают: «Я услышал мелодию вальса и сюда заглянул на часок». После танцев я провожал ее домой. По дороге само по себе объяснилось, что попала она сюда после пединститута по распределению, что в Москве у нее отец, в газете работает, а матери нет, еще до войны от них ушла, и что долго ей тут не задержаться, за нее в министерстве по отцовской линии хлопочут. Я же на радостях только хвост распускал, травил ей бывальщины-небылицы про дом, про фронт, про свои армейские успехи. О пастушестве своем, о своих коридорах-институтах смолчал, отпугнуть боялся. Провожались мы с ней тогда чуть не до утра, а после, дальше больше, пошло-поехало, одним тем и жил, от встречи до встречи, выпивку по боку, разные письма-фотки «любименя, как я тебя» в печку, планида моя крутым заходом на женитьбу поворачивала. Друзья-приятели посмеивались, мол, добёр хомут, легко ли носить будет, а я, знай, отмахивался: не вам носить, не вам печалиться. Когда дошло до дела, повезла она меня в Москву – к отцу на смотрины. И хоть звался мой будущий тестек, громко сказано, прессой, жил на семнадцати метрах в коммунальном клоповнике на шесть семей, одна невидаль – книжек много. Правда, и прессой он оказался без фамилии, и газетка его доброго слова не стоила, простынка ведомственная, но форсу ему было не занимать, гонором на писателя вытягивал. Встретил он молодых не шибко по-родственному, посмотрел на меня тяжелым глазом и спрашивает: «И где же вы, товарищ капитан, с молодой женой жить собираетесь?» – «Да вот, – отвечаю, – закончу переподготовку – получу назначение, наше дело солдатское, куда прикажут – туда и поеду». – «Ушлют вас, – говорит, – к чёрту на кулички, что там делать молодой женщине с высшим образованием?» –

«Дальше границы, – говорю, – никуда не ушли, а учителя у нас в стране везде требуются». Он к ней: «Ты хорошо подумала?» В ответ она только острыми плечиками пожалала, какой, мол, разговор. «Что ж, – вздыхает, – вам жить». На том и расстались, а за воротами она ко мне с утешением: «Ты его по внешнему виду не суди, это у него поза, защитный покров, а на самом деле он человек очень добрый, у него только после истории с мамой к русским предубеждение». – «Как это к русским, – захлебнулся я, – а он кто, а ты?» – «По отцу, – смеется, – еврейка, по матери – русская, что – не ожидал?» – «Это мне без разницы, – говорю, – сама знаешь, только чем же русские ему не угодили?» – «Он считает, что у вас нет семейных традиций». – «Хорошенькое дело, – думаю, – не знаешь, где врага наживешь». Но врагом моим тесть не стал, мужиком оказался по всем статьям правильным и потом, когда, хоть и коротко, пришлось ему хлебнуть тюремного лиха, всякое выдержал, не сломался, вернулся домой век доживать с чистой совестью. Свадьбу мы сыграли наскоро, в вокзальном ресторане, я к тому времени уже назначение в Среднюю Азию получил. Собрались все, кто в загсе был: отец жены, ее подруга с мужем, тоже военным, из слушателей Академии, и мой приятель по курсам с подружкой. С ними и посидели до второго звонка без особой гульбы, по-семейному, я уж потом в вагоне с попутчиками добирал, благо до места почти пять суток езды оставалось. Только когда я по приезде прочухался, взяла меня черная оторопь: мать моя мамочка, куда ж тебя нелегкая занесла, Иван Никанорыч! Полсотни жилых ящиков, будто спичечные коробки плашмя по квадратам расставлены в петле из колючей проволоки, а кругом пески, одни пески, сколько хватает глаз, и ни деревца, ни травинки. Вода привозная, все прочее – тоже. Ветра держались неделями, отчего песок забивался везде: в еду, в белье, в волосы, даже, казалось, в самую кожу. Жарища летом вызванивала такая, что не то чтобы двигаться – лежать

пластом не вмоготу делалось, а от бесснежных холодов тоскливо щемило сердце. Народ дичал от всего этого, вытворялся друг на дружку по делу и без дела, пил что под руку попадет, одеколон за марочный напиток шел, и не было видно тому ни дня, ни просвета. Затянуло меня в этот мутный омут вместе со всеми, допивался я, бывало, до зеленых чертей, лютовал с подчиненными, но все равно не облегчало, только пуще наливалась душа чугунной тяжестью. Моя принялась было с местным женсоставом культурабиту наладить да скоро отступилась: бабам здешним не до песен оказалось, семью обиходить бы, мужики на глазах от рук отбивались. День за днем, гляжу, жена места себе не находит, изводится молчком с утра до вечера, а ночью не подступись, стынет ледышкой, сна ни в одном глазу, о чем думает, спроси попробуй. Но, видно, самой невтерпеж стало, просыпалась как-то за ужином: «Не могу больше, Иван, какие мои годы, долго я здесь не выдержу, повешусь, отпусти домой, дай оглядеться, время лечит». Чувал я и раньше, что этим кончится, однако слова ее мне, как удар под дых, прились, пригнула она меня к земле мимоходом, но вида не подаю, держу характер. «Я не пастух, ты не скотина, – говорю, – вольному воля, я тебя силком под венец не тасил». На том и порешили. Проводил я ее на поезд, а сам в первую забегаловку, откуда меня потом комендатура на руках выносила, отделался, правда, легким испугом, нагоняем в приказе и строгачом по партийной линии, кто в этой дыре у них не куролесил, привыкли, но тоски так и не унял, грызла она меня лютым поедом, не отступалась от меня ни днем, ни ночью. «Вот и вся любовь, – думал я, – не твоего, видно, поля ягода, Настасья бы не сбежала!» Но катилось время ленивой катушкой, день-ночь, сутки прочь и все, как близнята – на одно лицо: казарма, столовая, койка, а с утра по новой. Жил, будто во сне: ты меня видишь, я тебя нет, тянул строевую лямку, кружил, как заведенный, на одном месте, за часами не следил, суток не

подсчитывал, что завтра случится, не гадал. Тащил я себя по земле, словно ящерица или змея с опавшей кожей голым мясом сквозь саксаульные заросли. Не знаю, чем бы все это у меня кончилось, может, спился бы или с ума сошел, только пригребаю я как-то с учений к себе, открываю дверь, сидит моя законная на своем месте за столом, а стол от московской закуски ломится. «Извини, – смеется, – без телеграммы, сюрприз тебе сделать хотела». Я от такого оборота поперхнуться не успеваю, а она мне: «Собирайся, – говорит, – Воробьев, в столицу, на-днях вызовут». – «Кто, – спрашиваю, – вызовет, кто обо мне соскучился?» – «Министерство, – не унимается, – в распоряжение отдела кадров поедешь?» – «Не тяни, – подступаю, – рассказывай, чьими молитвами?» – «А моими, – обнимает она меня, – моими, Ваня, да еще мужа моей подруги, помнишь, они у нас на свадьбе угощались, он теперь в папаше ходит, кадрами в министерстве занимается. Встретила я, – рассказывает, – подругу в Москве, спасай, прошу, тоном, она меня и свела с мужем, а тот обещал». Хоть и сомневался я, обещанного, слышно, три года ждут, мало ли чего наобещать можно, лишь бы от бабьих слез отвязаться, рад-радехонек, что вернулась, остальное приложится, но вышло по-ее: недели через две и впрямь вызвали в округ, а оттуда в распоряжение министерства. Месяца не прошло, как справили мы новоселье в комнате ведомственного общежития почти в том же составе, что и на свадьбе, одного моего приятеля по курсам с подругой не было, на Дальний Восток услали. Судьбу мою гость наш, уже полковник, определил заранее: «Будешь в отделе у меня пока бумажки с места на место перекладывать, а там посмотрим». Работенка мне досталась действительно не бей лежачего: телефонные звонки да входящие с исходящими, отсиживал свои восемь с перерывом на обед и – сам себе хозяин, редко когда чепе баламутило, но и тогда ко мне это шло по касательной. Так и прокантовался я дуриком до того

застолья, где с комдивом моим фронтowym лицом к лицу сошелся, а уже на другой день полковник мой с утра меня огорошил: «Есть указание, – говорит, – двигать тебя в Академию, садись-ка, – говорит, – Иван Никанорыч, за учебники, долби гранит науки, на тебя у начальства виды, видно, в рубашке родился, не забывай нас, малых сих, когда чины раздавать начнешь». Дорого мне эта наука далась, не один пот с меня сошел, не одна шкура слезла, пока добрался до выпуска. По чести сказать, если б не жена, не одолеть бы мне этой каторги с моим сиротским образованием. Закончилось бы как у Чапаева: кровь сдал, кал сдал, мочу тоже, а математику не приняли. Жена меня в те годы будто из ничего вылепила заново, и пошел я с ее легкой руки по земле уже не слугой – хозяином. Открылся мне в том пути винтовой подъем под медные трубы, а что не состоялось, не ее вина, так судьба распорядилась. Много у нас с ней было за общий век всякого и вместе, и по отдельности, пускай попеняют, у кого не было, но сделались мы с ней за эти годы одной-единой сутью, какую уже не развести и не разделить... Голос жены в коридоре вдруг глухо срывается, я слышу торопливые шаги, все ближе, ближе, а затем отрывистый стук в дверь: «Ваня, тебя... Наталья». Сердце опадает во мне ватной слабостью: «Наконец-то».

5

Трубка, будто живая, пытается выскользнуть у меня из рук. «Да, да, – почти кричу я, – слушаю!» – «Папа, это ты? – сквозь шум и треск тысячеверстной дали тоненько пробивается ко мне. – Здравствуй, папа!.. Поздравляю тебя с днем рождения!.. Как ты живешь?..» С утра я ждал этого звонка, а вот сейчас, когда наконец его дождался, слова у меня не склеиваются по порядку, налипают одно на другое, забивают глотку. «Спасибо...

Здравствуй... Здравствуй, говорю... Думал, забудешь!.. Спасибо... Как ты там?» Слова перекрещиваются в пути, торопятся, как бильярдные шары, сталкиваются друг с другом, чтобы затем разлететься в разные стороны. Сбивчиво спешим поговорить о разных разностях, больше о житейском: здоровье, погоде, семье. О другом – главном, заветном, выношенном – не хочется. Знаю, что к нашему разговору уже прикипели чужие уши, ждут, стерегут, вылавливают желанную им крамолу для своих сыскных нужд. Нет, господа хорошие, не дождетесь, Иван Воробьев тоже не лаптем щи уминает, вашим премудростям давно обучен, не будет вам тут поживы! У меня, по совести, и нужды не было вызывать ее на особые откровенности, мне доставало и того, что я говорю с ней, просто так, без всякого умысла. Я слышал ее, знал, что жива-здоровая, чего мне еще хотеть оставалось? После смерти матери она сделалась единственным побегом моего кровного дерева, способным удержать на земле память о корневище, которое его породило. Наверное, поэтому и трясся я над ней с ее первого дня, как квочка над последним цыпленком. Росла она трудно, с детскими хворями, с долгим плачем, особенно по ночам, мать свою выматывала вконец, до точки. Тогда-то и приспособился я возле нее вместо няньки: укачивал ее среди ночи, стишков всяких, песенок по такому случаю тьму выучил, с ложечки поил-кормил, часом постирушкой не брезговал, хотя уже щеголял в полковничьей папахе. Жили мы к тому времени просторно, в безбедном достатке, отказа она ни в чем не знала, видно, от того характером вышла не приведи Бог, чуть что не по ней – в слезы. Все на лету схватывала, когда хотела, любого могла приручить, а уж взглянет, о таких сказано, рублем подарит, гулять с ней ходили – пол-улицы оборачивалось. По правде говоря, ею одной и жил те годы, большего света у меня не было. Если случались по службе какие неурядицы, стоило мне вспомнить про нее, как рукой снимало: гори оно все синим пламенем,

не так страшен чёрт! Не заметил, куда годы осыпались, гляжу, а девка моя уже невеста на выданы, охотники вокруг косяками крейсируют, норовят на буксир зацепить. Я и сам чуял: вот-вот приведет. Так в свой час и случилось: привела. Лоб объявился чуть ли не двух метров росту, волос светлый со ржавчинкой, глаз веселой наглечей поблескивает. «Разрешите представиться, – тянет он мне просторную лапу, – Островский, Игорь Александрович, учусь на волшебника, специализируюсь по части зубных протезов, хобби – шахматы, второй разряд». За столом он держался гоголем, словно всю жизнь у одних генералов гащивал, пил наравне со мной, но ни в одном глазу, сидел пошучивал, похохатывал, а она – единокровная моя – глаз с него не спускала, ловила каждое его слово, будто манну небесную, и лишь тут окончательно до меня дошло: отзвенел мой отцовский праздник, и дочь моя уже отрезанный ломоть! И такая меня при этом тоска одолела, что не выдержал я, отпустил вожжи, а наутро жена ко мне с подначкой: «Везет тебе, Иван, на пятый пункт, сначала я осчастливила, теперь жених с прожидью». – «А мне что? – отвечаю. – Ей жить». – «Смотри, – говорит, – Иван, сейчас это не модно». – «Модно – не модно, – отмахиваюсь, – ей бы хорошо было, а нам с тобой о душе пора думать». В общем-то, шелестело вокруг на этот счет, дружно шелестело, только меня от роду не допекало, кто какой нации, людей по делам судил – хорошо или плох, оттого и в войну про Ташкент не принимал, в том Ташкенте русских сачков куда больше слонялось. Конечно, от разговоров не укроешься, охотников поязвить много найдется, да на мне где сядешь, там и слезешь, язвы себе на здоровье, пока рога не обломаю, а возможности к тому у меня всегда отыщутся, власть мне дадена, и немалая, сам не сумею, пособят, завязок мне наверху не занимать, как говорят, не первый год замужем. Свадьбу мы им сыграли барскую, я тогда уже на округе сидел, мог себе много чего позволить. Неделю гуляли, местный

иконостас в полном составе отметился, полгорода перебивало. Жизнь молодым я оборудовал по первому классу: квартиру двухкомнатную, хоть и в новостройке, но схлопотал сразу, телефона в районе не было, саперную роту пригнал, спецлинию провели, по стране на военных самолетах курсировали, а тут еще они мне и внука спроворили, чего еще желать, живи – не хочу! На службе у меня тоже разгон шел на скоростях, возврат в Москву на глазах вытанцовывался, с номенклатурным повышением, можно сказать, судьба в самый зенит поднялась. Только судьба – она, известно, индейка, сегодня в князи, завтра в грязи, пересеклась моя дорога крутым обрывом на ровном месте. Является как-то ко мне зятёк мой без обычных своих шуточек-прибауточек, озорной хохоток в сторону, тише воды, ниже травы. «У меня к вам мужской разговор, Иван Никанорович, – он меня отцом так и не назвал ни разу, – разрешите?» – «Поцапались, – думаю, – ну да милые ругаются – только тешатся, перемелется». – «Выкладывай, – говорю, – что стряслось». Тут он меня и пригнул к полу: «Подаю документы на выезд, всей семьей». – «Куда это ты собрался, – складываю первое, что приходит в голову, лишь бы из себя жаркий воздух вытолкнуть, – чего ты там позабыл?» – «На историческую родину, – отвечает, – а чего забыл, хочу вспомнить». Ей-Богу, не о себе я в тот час жалел, в конце концов чёрт с ней – с карьерой, всех звезд не соберешь и в могилу с собой не захватишь, дочь жалко было, внука, к которому по-стариковски успел привадиться, как я без них буду, к чему мне тогда и звезды те! «Скажи, чего тебе не хватает? – взвиваюсь я, себя не помня. – Работа не по нраву, другую найдем, лучшую, машину новую хочешь, завтра на дом доставят, мир посмотреть, поезжай в любое время, зачем тебе совсем-то туда, а?» А он мне еще тише: «Не хочу по особой милости, Иван Никанорыч, хочу по праву, на равных». Я нутром почуял, с таким упором человека не переупрямишь, отступился. «Ладно, – говорю, – ты сам

себе хозяин, но дочери я отпускной не дам, так и знай». – «Это дело вашей совести, Иван Никанорыч, – подался он за дверь. – Но мы, уверяю вас, и это преодолеем». Не успел я его спровадить, ко мне жена с тем же. Видно, загодя сговорились. «Дочь у нас с тобой одна, Иван, перегнем – совсем сломается». – «Так что же ты хочешь, – ору, – чтобы я на ней и на себе крест поставил?» – «Не знаю, Иван, не знаю, давай подумаем, сам говоришь, нам доживать осталось, а ей – жить». Смотрю на нее и как бы заново узнаю, хоть и держит она себя в порядке, а годы свое берут: время по ней будто легкой паутиной мазнуло, одни глаза те же остались – зеленые, с дремотой внутри. «Э, матушка, – резануло меня по живому, – похоже, и впрямь укатали нас с тобой наши горки, все прошло, как с белых яблонь дым, нам бы на покой теперь». Но решения своего не переменяю: пускай в одиночку сматывается, перебьемся. Первого знака долго ждать не пришлось. Недели через две, сижу у себя в штабе, заглядывает в кабинет начупр, идеолог наш, из тех, кто мягко стелет, да жестко спат, и на тихих лапках ко мне: «Ну, как жизнь молодая, Иван Никанорыч, все ли выходит?» Но я тоже не пальцем сделанный. «Выходит, – срезаю, – хорошо, входит плохо, говори прямо, комиссар, с чем пожаловал?» У того даже очки от обиды вспотели. «К тебе по-товарищески, а ты в бутылку, я в отпуску был, всякое могло стрястись, вот и захожу ко всем по очереди потолковать, если не в настроении, в следующий раз зайду». И пушистым коlobком на выход. Знал я его лисьи повадки, без крайней надобности никогда не зайдет, а уж если зашел, значит, держи ухо востро, жди какой-нибудь каверзы. Потом, спустя время, местный хозяин позвонил, тоже без особой нужды, опять про здоровье, про семью, про службу, про то да сё, ничего определенного, только в конце приоткрылся: «Бывай, казак, не журысь, в случае чего, обращайся, поможем». Легко сказать, поможем, а чем они могли мне помочь, засадить, что ли, его, сукина сына,

или ее из института выгнать, а зачем мне, спроси их, зять-уголовник и дочь-тунеядка? Дома хоть не появляйся – на погосте веселей. Дочь глаз не кажет, даже по телефону, когда сам звоню, молчит, плачет в трубку поребачьи, меня от этого, словно голой шкурой по наждаку, так больно. И хотя про себя полагал еще, что пройдет у нее, молодость свое возьмет, бабьи слезы коротки, на душе у меня кошки скребли: что-то с ней будет? Потом слышу, свалил за бугор зятек мой, тут, надо полагать, мои чиновные приятели расстарались, чтобы шуму лишнего не вызывать. Вздохнул я было от облегчения, но, оказалось, рано расслабился, катавасия моя только главный разбег взяла. В одночасье вызывает меня командующий, крутой был дядек, Царствие, как говорят, ему Небесное, ростом с Петра Великого и поперек себя ширше, протягивает мне пачку радиоперехвата, а глаза в сторону отводит: «На вот, изучи на досуге, после обсудим, какой оборот делу дать». Сел я у себя, полистал сообщения и поперхнулся: Господи, мать моя Троеручица, от фамилии моей в глазах пестрит, это зятек по всем «голосам» о нашей семье распространяется. Все в подробностях: и биография моя, и чин, и должность, и виды на будущее, а в заключение, по обыкновению, призыв ко всем, будь они не ладны, людям доброй воли, помочь ему воссоединиться с женой и сыном. Положение складывалось хуже губернаторского, куда ни кинь – всюду клин: опровергать – себе дороже, сдаться – засмеют и на покой выставят, смолчать, как руководство посмотрит. Я опять к командующему, теперь без вызова: «Что делать?» – «Пока молчи, – приказывает, – а там видно будет». Молчать-то я молчал, но вокруг меня, как началось, так и не утихало, видно, вражьей пропагандой никто не брезговал: шепотки, разговоры, ухмылочки искоса, занялась подо мной земля, когда остынет? Раньше я в этих «голосах» даром не нуждался, не слушал их никогда и ни в каком разе, загодя знал – брехня одна, голая антисоветчина, все не

переслушаешь, а тут поневоле пристрастился: домой со службы приеду и сразу за «грюндиг», накручиваю волны на все стороны. Чуть не каждый вечер зятка своего вылавливал, заливался он соловьем по разным станциям, честил нашу власть советскую во все корки, требовал отпустить к нему семью. Хоть и клял я его на чем свет стоит, а в душе за дочь радовался: значит, не стрекозел какой-нибудь ей в мужья подвернулся, любит, выходит, не забыл на чужой стороне, на мамзелей тамошних не польстился. Дальше – больше, в разговорах вокруг почти при мне не стесняются, на людях в мою сторону чуть не пальцем показывают, в берегах еле держусь, но, говорят же, пришла беда – отворяй ворота, обвалилась на меня по тем же «голосам» новая ноша: слышу, объявила моя дочь сухую голодовку, тоже добивается выезда. Ясно стало: заодно действуют, а что мне по такому случаю делать, ума не приложу, не хватало нам только в семье диссидентов. День жена молча выходила, второй, на третий, за ужином, прорвало: «Если с Натальей что случится, мне с тобой под одной крышей не выжить, Иван». Я и сам чую, край наступил, долго не выдержу, сорвусь, костей тогда не соберем, решать нужно: или – или. Утром, едва у себя на службе порог переступил, звонок: ласково эдак просят срочно явиться в высшие инстанции. Одна нога здесь, другая там, хозяин на меня даже глаз не поднял. «Дочь, – отрубил, – уедет, подавай в отставку, выступишь – за партией не останется. Все, не задерживаю». С тем и объявился я затем у дочери, вошел, окликнул было тихонько, но тут же осекся. Лежала она на тахте, свернувшись калачиком, лицом к стене, видна была только часть щеки с налипшей на ней каштановой прядью. На голос мой не откликнулась, лишь вяло острым, в мать, плечом повела: не надо, мол, устала. Стоял я над ней и не видел в ту минуту ничего, кроме этой вот мокрой пряди на меловой щеке, и душа моя медленно выворачивалась наизнанку: да провались она, служба эта, вместе с генеральскими

звездами и маршалским кителем в преисподню, видел я канитель эту в гробу, в белых тапочках, вот она, рядом со мной – награда моя единственная, и нет такого соблазна на земле, чтобы мог заставить меня от него отказаться! Вернулся домой, вызволил командующего и сложил, как отрезал: «Подаю на пенсию». И так мне вдруг полегчало на сердце, так осветило кругом, что не усидел я на месте, переоделся в штатское и вдарил по городу вольной птицей, куда глаза глядят, без казенной узды, на своих двоих. Долго кружил по улицам, удивлялся, не один год жил здесь, а города толком так и не видел: все походя, все мимоходом, пока уже под вечер не услышал у себя за спиной чью-то короткую скороговорку: «Чтой-то стало холодать, отец, может, скинемся по лысенькому на мерзавчика?» Оборачиваюсь, пристроился за мной парень не парень, мужик не мужик, так, серединка на половинку, тощее лицо гармошкой, вроде жеваной рублевки, щерится щербатым ртом, заискивает: «Может, обознался, тогда извиняюсь, а то, вижу, солидный человек один скучает, дай, думаю, предложу компанию». Хотел было я отмахнуться, да вдруг спохватился: да что в самом деле всю жизнь в узде ходить, почему не расслабиться по-человечески? «Давай, – достаю деньги, – ноги в руки, мерзавчиком не мелочись, бери полбанки и загрызть не забудь, я тебя здесь подожду». Обернулся он, словно на ковре-самолете, провально осклабился, подмигнул: «У меня тут налажено, по депутатскому разряду обслуживают». – «Где пить-то будем, прямо здесь, что ли?» – «Можно и здесь, вон на лавочке во дворе, никому не заказано, а можно и ко мне нырнуть, я тут при доме и за истопника, и за дворника, в котельной и живу, тепло, светло и мухи не кусают, если не побрезгуешь, конечно». В котельной у него оказалось и впрямь опять и сухо. К гостям хозяину, заметно, было не привыкать, закуску из купленных сырков и подручной луковицы он оборудовал в два счета, разлил по-снайперски, после первой поллюбопытствовал: «Ты,

видать, отец, не здешний, я тебя в наших краях раньше не видал?» – «Да так, случайно завернул». – «По одежде судить – начальник?» – «Какой там! На пенсии». – «Значит, пенсия не бедная». – «Хватает». – «Я и гляжу». – «А ты, видно, насчет выпить не промах?» – «По мне, с утра выпьешь – цельный день свободный. И богат, и лохмат». О себе, слово за слово, выложил, что сам из деревни, остался в городе после армии, устроился по лимиту, благо на черную работу нынче местного днем с огнем не сыщешь. Сообразили еще одну, потом еще, дальше не считали, а когда закружилась явь цветной каруселью, само собой у нас с ним сложилось: «Как в саду при долине громко пел соловей, а я, мальчик, на чужбине позабыт среди людей...» Не было тогда, в той домовой котельной на городской окраине, ни генерала, ни истопника-дворника, тянули там на два голоса свою нутряную тоску два деревенских мужика, затерянных в огромном и чужом для них мире. «Вот умру я, умру я, похоронят меня, и никто не узнает, где могила моя. И никто не узнает, и никто не придет, только раннею весною соловей пропоет...» Много певал я и до этого, и потом, но вот так, в таком полном согласии, больше не доводилось. С того вечера все в моей жизни завязалось как бы заново и живу я теперь от одного письма до другого, от одного телефонного звонка до следующего, на завтра не загадываю, всякое может быть. «Алло, папа, ты слышишь меня? – прорывается ко мне сквозь версты и версты. – Слышишь?» – «Слышу, слышу, – замороженно откликаюсь я, – говори». – «Я люблю тебя, папа, береги себя». В трубке раздается короткий щелчок, и пространство в ней умолкает. Я кладу ее на рычаг: «Накрывай, мать, ужинать».

6

После ее звонков и писем я подолгу не могу успокоиться. Не так уж и далеко он – этот Израиль, по пря-

мой не дальше нашего Свердловска, а кажется, за три-девять земель или вовсе на другой планете. Если смотреть по карте – тощенькая полоска земли, прижатая к морю, но не этим она живет во мне, а тем, что дышат там и ходят по ней моя дочь и мой внук нашего воробьевского роду. Скажи мне еще недавно, что у меня родственники в Иерусалиме окажутся, в толк бы не взял, а теперь вот только успеваю писать да отзванивать. По бывшей моей должности я знал об этой земле немало: климат, рельеф местности, стратегические объекты, людские ресурсы и военные возможности могу изложить на память. По боевым качествам им среди нынешних армий давно равных нет. Я себе в своей чехословацкой операции их Шестидневную войну за образец положил, только мне пришлось играть в одни ворота, а они на равных, даже с минусом в численности. Понятное дело, дрались и за страх, и за совесть: своя земля и собственная жизнь на кону стояла. Как у нас в сорок первом было, знали: или Гитлер нас, или мы его, добром не разойтись, вот и шли на пулеметы с голыми штыками: «За Родину! За Сталина!», не к ночи будет помянуто! Разобраться бы нашему брату, за что, за какие-такие волшебные коврижки мы теперь животы надрываем? Всё белый свет уму-разуму учим, всё помогаем в борьбе, всё братскую руку дружбы протягиваем. А спросить бы сначала себя, а нужна ли она кому, эта рука наша братская? Может, от этой руки кой у кого уже кости трещат и ноги подламываются? Помню, в шестьдесят восьмом в Праге уговорил меня один наш посольский чин в городе за бутылочкой посидеть. «Есть, – пообещал, – одно занятное местечко, „У маркиза“ называется, сервис на высшем уровне и к нам – к русским – с полным почтением». Завернули, устроились, смотрю, и в самом деле, место подходящее: заведение небольшое, человек на двадцать, в старинном дереве с бронзовой подсветкой по стенам, тихая музыка, обслуживание, как в кино, хозяин к нам со всем расположением: хлопчет около нас, сма-

занным пробором поблескивает, лошадиными зубами поигрывает, не знает, чем угодить. «Вот, – отогреваюсь, – выходит, не все к нам с вилами, есть кто и с песнями, значит, не зря старался генерал Воробьев». Засиделись мы за полночь, расставались, расстаться не могли, чаевые я такие отвалил, что он нам до самой двери кланялся, но уже на пороге обернулся я ненароком и тут будто кипятком меня ошпарило: стоял позади меня хозяин с моими чаевыми в кулаке, и такая из него злоба клубилась мне в спину, что, думаю, был бы у него в руках автомат, прошелся бы он по мне косою очередью до самого последнего патрона. Долго мне потом эта его лютость мерещилась. А сколько ее – такой лютости – к нам со всех сторон света тянется, не захлебнуться бы нам в ней в одночасье. Жаль, не дожил до этой поры старый учитель мой по академии, пришел бы я к нему сейчас и спросил: «Ради какой России переступили вы через присягу, лили братскую кровь на Гражданской, гибли потом и в боях, и в подвалах пыточных и доживали свой век на генеральских пенсиях? Ради вот этой, где черный люд забыл, когда хлеба ел досыта, где человек на ночь не ведает, проснется ли утром у себя дома, где сивушная лжа не только душу – землю проела и что перестоявшей квашней расползается во все концы земли, разъедает все сущее на ней своим страхом и собственной нищетой?» Если так – то лучше ей не быть вовсе – такой России. Встряхнуться бы нам всем миром, встать с карачек и осадить себя, пока не поздно: хватит! «Ишь ты, как поумнел, – казнюсь я. – О чем же ты раньше думал, когда на коне красовался, на обочине все умники». И то правда. Ведь сколько нас, таких воробьевых, на разных командирских насестах кукарекает. И каждому без очков видно: не туда гребем, не по себе ношу взвалили, вот-вот надорвемся, а тогда конец – со святыми упокой, никто, никакой Бог не спасет. Сговорились бы мы да и прикрыли эту лавочку, я со своим округом и то мог бы, но нет, ни один не спохватится, голоса, словно заведен-

ные в ту же дуду: вперед, заре навстречу! И я голосил, а как иначе, сорвешь голос или смолкнешь, заклюют, такой задан порядок. «Ну, а если, чем чёрт не шутит, позовут снова, – поддразниваю я себя, – взойдешь, Иван Никанорыч, не отступишься?» Позвать, знаю, не позвуют, в такой речке дважды не окунешься, но, уверен, стрясись чудо, возжей бы не упустил, повернул бы телегу на ровный большак. «Бодливой корове Бог рогов не дает, – посмеиваюсь я над собой. – Если бы да кабы, грибов бы завались стало». И снова из коридора, следом за телефонной трелью, я слышу жену: «Иван, тебя!» – «Опять с поздравлениями, – с неохотой беру я телефонную трубку, – надоело». Но голос оттуда заставляет меня мгновенно сгруппироваться. «Здравствуй, друже, – по легкому украинскому акценту с барственным переливами я сразу узнаю местного босса, – чого глаз не кажешь, не гоже старых друзей забувать». – «Мне теперь, – осторожно отшучиваюсь, – до Бога ближе, чем до тебя». – «У нас, сам знаешь, – не унимается тот, – сегодня я тобой командую, завтра ты мной погоняешь, слушай меня в оба уха, Иван Никанорыч, командующий наш долго жить приказал, заступай на его место, с Москвой согласовано». В ответ я долго ничего не могу сложить, только жадно глотаю раскалившийся вдруг воздух. «Бери свое, пока не поздно, Иван, – перекачивается в трубке, – завтра в десять ноль-ноль ко мне. Бывай». Я было выталкиваю из себя первые сложившиеся во мне слова, но тут же просыпаюсь: жена легонько трясет меня за плечо. «Хватит спать, именинник, – посмеивается она, – гости собрались, ждут». Я встаю и покорно иду за ней, а в голове у меня, будто пластинка заезженная, крутится: «Пока не поздно... Пока не поздно... Пока не поздно...» Но звук этот вдруг обрывается жгучим и резким толчком в сердце: поздно, Иван, поздно, слишком поздно. Ничего уже не спасешь. И никого.

1988 г.

ИЗ СТИХОВ 1982 – 1984 гг.

К ПОРТРЕТУ ИНФАНТЫ ИЗABELЛЫ

День изо дня, из года в год
всё время на закат
плывет сквозь призму непогод
истории фрегат.
Куда? Что толку в этом есть?
Не знаю я, но мы
на борт восходим тешить честь
сражаться за умы,
любить, отчаянно страдать,
блистать в полутонах,
да от безделия гадать
о прошлых временах.
Желать с неверием Фомы
свидетельств их утрат,
сошедшим же не вправе мы
подать другой раз трап.
Как амулеты, их авто-
графы мы сохраним,
хотя не ведает никто,
чем будет мир раним.
И смотрит с трепетом народ
сквозь толщу вод на дно,
всё время двигаться вперед
фрегату суждено.
И, как Господь ни милосерд,
а всё идет к тому,
чтоб этот мир пройдя, как сеть,
нам всплыть в Господню тьму.

Но я-таки оставлю знак –
стихов пустую клеть.
Пусть будут после смерти нас
сограждане жалеть.
Пишу: сейчас у нас зима,
на улице пурга,
мосты, каналы и дома
окутали снега.
Пока я в комнате своей,
один, альбом листал,
в шкафу анапест и хорей
вызванивал хрусталь.
Пластинки свалены на пол,
как расчлененный фриз.
Снег с подоконника уполз,
вот-вот сорвется вниз.
Внизу грань улицы, бульвар,
скамейки, тополя.
Балтийский ледяной отвар
губами пьет земля.
Пишу, а мне в глаза глядит
инфанты острый взгляд.
Встаю, портрет за мной следит
который год подряд!
Инфанта Изабелла, я –
твой самый умный раб,
хоть мне тот отблеск бытия
давно забыть пора б.
Ведь мне не трудно каждый день,
внося расход в тетрадь,
свою походку, профиль, тень
всецело презирать.
Бездарно пить, читать стихи,
глядеть на острова,
из кучи скорбной чепухи
выуживать слова...

За кофе сдачу брать с рубля.
Трясти пустой кошней,
досуг по-прежнему деля
с наложницей смешной.
Меня какой-то скорбный рок
уводит от людей,
от их домов, от их дорог,
от их больных детей.
Инфанта, эхо донесет:
любовь... любой.. лубок.
Пастух отару допасет,
свернет времен клубок;
и снова пять веков пройдет,
и десять истечет.
Луна над крепостью взойдет
воздать тебе почет.
Ты ждешь меня, ты много лет
стихи мои хранишь,
творя теней кордебалет,
свечу к листу клонишь.
И, как потерянная брошь,
звезда блестит спокон
веков. Ты вздрогнешь и замрешь
у двери на балкон.
Ты не пугайся, лик мой чист,
и голос мой высок.
И сердце в горле не стучит,
бел от луны висок.
Нет друга прежнего со мной –
нет тени у меня.
Я знал, что облик твой земной
века не изменят.
Прощай. Над Мойкой, как во сне
снег засыпает лед,
тиран гарцует на коне,
Исакий ясный тверд.

Я ухожу за горизонт
по желобу Невы
в тот край немеркнущих высот,
где будем мы на «Вы».
Земное время пронеслось
легко, как пастораль.
У пирса, обрывая трос,
качается корабль.
Нет ветра в мокрых парусах,
не слышен смех наяд.
Прощай! до встречи в небесах,
в созвездии Плеяд.

РОЖДЕСТВО 1984

Мир, нареченный отмелью времен,
Согретый лаской девяти камен,
Дай мне любое из былых имен,
И поглотит навек мое взамен.
Я не желаю собственной судьбы,
Претит гражданство в мерзостной стране,
Где подлые и пьяные рабы
Довольны своим жребием вполне.
Я был рожден под бурный плеск знамен
Плутающих во тьме веков племен.
Вредитель и израильский шпион –
В концлагере скончался Симеон,
И спившаяся Анна по утрам
Мела в контору превращенный храм,
А свет сквозь переплет тюремных рам
Скользил по наворованным дарам.
Покрыты тленьем долы и леса,
Бездействует небес немой укор,
Хоть столько лет хулит на небеса
Мордастый многомиллионный хор:

Историк – изолгавшийся холуй,
Поэт, продавший душу сатане,
Святитель – суть иудин поцелуй.
Правитель, уподобившись свинье
В ермолке, жалкий полутруп,
Забывший счет своих земных годов,
Благословляет вдохновенный труд
Сих сдуру наплодившихся котов.
Будь проклят! этот мир – одна тщета!
Ну падай же, не гасни, не остынь!
Смотрите в небо, катится звезда,
Моя звезда, но имя ей «ПОЛЫНЬ».

* *
*

Пока я в полной праздности тупею,
Пока молчу, бездарностям внимая,
Один поэт готовит эпопею,
И стонет муза, как глухонемая.
Другой счастливый обладатель зренья,
Прозренья, обонянья, осязанья
Возносит Господу благодаренья
За бесконечные свои терзанья.
А третий, обращенный в перспективу
Молвы о нем, ответственным бренчаньем
В небытии участвуя ретиво,
Подтрунивает над моим молчаньем.
Пока, как нашкодивший в школе школьник,
Я вставлен в угол лбом, лицом, локтями,
В трехплоскостной, трехмерный треугольник,
В линейный мат, как тот король, ладьями,
Я ждать учусь, учусь терпеть и помнить,
Жить с прошлым, как с еще одной ступенью,
Чтоб на нее взойдя, прощен и понят,
Я снова возмужал для песнопенья.

О ж и д а н и е

Я разучился осень наблюдать.
Гуляю по безлюдным паркам,
Вдыхаю горький дым, как благодать,
Под солнцем теплым и не ярким.
И падающий плавно рыжий лист,
И хруст травы заиндевелой
Касаются души оцепенелой,
Как непонятный моралист.

Сквозь наготу морщинистых деревьев,
Узор ветвей полуувядших
Просвечивает их телесный вес
И свод небес, глухих, давящих.
И безысходность плоти тем странней,
Чем ощущение иного
Надбытия точней содержит слово
И тишина осенних дней.

Я наблюдаю игры малышей,
Чту воспитательницы строгость,
Песочных пирамидок и траншей
Монументальную убогость;
Не смея их забот счастливый строй
Вниманьем пристальным нарушить,
Я прохожу. И грусть мне сердце сушит,
Мелькает мошек поздний рой,

Отмахиваюсь плавно. На газон
Листвой усыпанный ступаю.
Иду, как будто продолжаю сон,
К заветной яви прилипаю,

Как по стеклу, и, по стеклу скользя,
Ищу, немотствуя упорно,
Войти и, вход найдя, стою покорно,
Поняв, что мне туда еще нельзя.

Не в эту осень я покину мир:
Всё нерешенное и злое,
Когда сольются, Рейн, Гвадалквивир,
И стиснет Стикс мое бывшее.
И я спешу стихами передать,
Как ранних сумерек одежды
Скрывают парк, а светлые надежды
Всё позволяют мне чего-то ждать.

С о н е т

Четыре года твой спокойный взгляд
Биенье сердца сдерживал во мне,
Я замирал, не зная, что сулят
Скрещенья наших взглядов в тишине.
Подобно мотыльку, который рад
Сгореть мгновенно в роковом огне,
Но тщетно бьется о стекло извне,
Уставший от бесчисленных преград.
Теперь не то. Хотя любовь моя
Семижды семь и проще и сильнее,
Я вспоминаю томность прежних дней,
И эту память от тебя тая,
Грущу один вечернею порой,
И не могу назвать тебя сестрой.

* *
*

(БОЯРЫНЯ МОРОЗОВА. ПАРАФРАЗ ИЗ СУРИКОВА)

Нам, родившимся на развалинах
Пережившей себя империи,
Нам досталось одно терпение
После братии ленин-сталиных.

Так цинизмом давно пресытились
И в тисках тоски пострадались мы,
И в глазах пустых, как кристаллы тьмы,
Дни минувшие перемыты лишь.

И, как тени, в немом отчаяньи
Мы уходим в лагуны прошлого
От режима в тиранстве дошлого,
Справедливого, паче чаянья.

И в России святой, таинственной,
Мы, как будто рождаясь заново,
Обмираем у следа санного
По-над верой твоей воинственной.

Не проклятье неповторимое
С губ твоих сумасшедшей пеною,
Нам досталось одно терпение –
Это сила н е о б о р и м а я.

19 ЯНВАРЯ 1983 ГОДА

В ночь под канун Исусовых крестин
Сквозь мрак былых и будущих годин
Есть верный шанс к деталям присмотреться,
Прислушаться к судьбинным голосам,
Взглянуть, не веря собственным глазам,
В подробный план губительного рейса.

Мы не творим языческий обряд,
Хоть свечи воску ярого горят,
Хоть интересно даже то, что жутко.
Итак, вперед, по линиям руки,
По снам, по старым картам, вопреки
Веленьям недалекого рассудка!

Спокойней быть внутри своей судьбы.
Смирённый конь не встанет на дыбы,
Не бросит седока спиною в бездну.
Так в панцире расчисленных невзгод,
Удач, потерь, брести за годом год,
Счастливым быть иль не быть, худо-бедно.

Пусть обобщенность вещей парадигм
Дарует нам лишь нежность да интим,
Разгаданное, как-никак, далече.
Непоправимое роднит нас всех,
И хоть на миг под чей-то чистый смех
Становится дышать и думать легче.

Не так ли сам Спаситель осознал
Ему вмененный позже криминал,
Удел, в кои-то веки небом данный,
Когда, легко шагнув на глубину,
Укрылся в набежавшую волну
И вышел на берег из Иордана.

Рассказы о
неодолимом алмазе вашего сопротивления.

2

О тех

девяти днях весны
что были названы
Детским Восстанием –

как если бы
дети могли оставаться детьми, как если б
отроковица сорвала чадру
и швырнула ее солдату:
Дай мне за это ружье!
Но нет уже отрочества

в долинах.

3

Или если б
во главе колонны скандирующих студентов
Наиб Саид, первая
из 70-ти, кто умрет в тот день

30 залпов в упор – если б

эта жертва,
удочеренная всею страной
могла бы поднять
месиво издырявленного лица
в ответ на родительский горестный зов.

4

Мы слышали

– О вашем отказе
ходить на собрания нечестивых
о вашем отврате
от нового флага, чей профиль
старой оплеухой горит
и о том
как отряды необъяснимо стреляют по братьям
афганцы – и по афганцам.

Их лица поваплены вашей кровью.

5

Да, мы слышали
как вы закидывали камнями
посла Советов и его лимузин
пока залп не грянул
советским оружием, только из рук земляков.

Да, они могут убить.

Но не могут
остановить вас отгаскивать в сторону мертвых.

А в школе

5000 отроков и отроковиц
ответили оккупантам Кабула:

Смерть Бабраку Кармалю

Смерть Брежневу

Куда смотрит Америка

Разве мы не люди

6

Мы слышали

о 10 бесконечных минут расстрела

школьников из автоматов, и мы слышали
о налете 2000 всадников
с мечами в ножнах
но со скотобойниками наголо
все сгодилось
в массовых на скорую руку убийствах
лошадиное ржанье крики теснимых
И наконец
низкий стон сокрушенных.
Позорное оружие поднятое как ветви мира
топот возвращающихся копыт
приглушенный ископыченной красной грязью

И мы слышали о еще 4 днях сопротивленья

7

Мы слышали
как после этого отряд бронетранспортеров
окружил вас огнем
и вы ответили просто кровью.
вдруг еще 2000
налетели
схватили одного солдата
и выкололи ему глаза
как если бы убить было слишком просто
как если бы ослепить
было выкорчевать что он увидел

8

И мы слышали
как телевизионные марионетки
(начальство!)
отрицали
все эти трупы
лежащие в мокрых языках крови

а ваши руки
горели, горели
пока даже слепой солдат не увидел их света.

9

Да, эти рассказы доходят до нас
черно-белыми глыбами
которые мы норовим отшвырнуть

увеличивая каждую милю и лье
между нами
но они и надраивают добела образ народа

как если бы желания были пемзой

а слова были бы абразивом.

10

Но всё, что достигает вас
отсюда –
лишь аполитичный пепел,
доказательство бывшего великолепия
рассыпавшегося в пыль

– тонкий
и тяжелый песок
на зубах муджахиддина,
как если бы он испытывал подлинность перла.

Между тем он сплевывает наспех,
следа за кованой голубизной неба
и напевает.

Древняя песня возвращается из деревни
за 90 секунд
(после бомбежки) к свету
чтобы спясть круг семьи и друзей,

песня пастухов
привыкших к одиночеству,
теперь она хороша
 чтобы держать всех вооруженных
настороже на высокогорных тропах.

11

Выдолбленные за годы и годы в камне,
выбитые копытами стад
ходы
хитро привлекают
новые стада теперь –
 советские бронетранспортеры
которых ваши разведчики
 заманивают в ущелье
а вы запечатываете валунами
 вход и выход
орудя посохами,
как рычагами.

В ловушке
перепуганные
они слишком поздно
разражаются шквалом пушек и пулеметов
против неодолимой скалы
где вы прячетесь в ожидании
когда всё смолкнет,
чтобы обрушить пыльную тучу
точно рассчитанного обвала и камнелома.

12

Только однажды
я стоял на вершине
высокой, как те тропинки
которые вы охраняете пуще своих любимых,

– 10 лет назад
когда вы

частью
были еще детьми
играющими среди треплемых на ветру палаток
столь увлеченно
что даже и не взглянули на приезжих,
а сейчас у вас у самих дети.

Мы поехали на восток
сквозь рдеющие потемки
трое друзей и я,
вперед
к восходу солнца и на вершину
куда мы взобрались в то утро.

Карабкаясь, мы озирали
дикий и первобытный мир
столь несхожий с нашим.

Высокогорные озера:
каждое в отдалении
отражало блестящий фрагмент шири
какую раньше никто из нас
не видел так, сразу.

Тогда-то до меня дошел
тот индийский образ,
что восхождение в горы
подобно познанию Бога.

Гряда за грядюю
одолеваешь все блазненные высоты
пока эйфория подъема
поддерживает каждый упор, каждый шаг –
уже после восторга и смеха
после изнеможения сил

даже
после молчания
после новых пределов
открывшихся в новых напряжениях
туда

за челом отшлифованных дочиста скал
в снег и лед,

где гора исчезает под нами
нас оставляя парящих
высоко на краю ветровых
и студеных ожогов

нас,
способных свидетельствовать о Мирозданы
как о замкнутом круге
которому
мы уже непричастны.

13

Вот эта вершина
Жар-горы,
что очерчивает пространство
невидимое для глаз
кроме как в оттенках заката,
этот песок на ваших зубах
и на зубах ваших жен
и сыновей и дочерей,
на зубах ваших врагов –
абрис Головы Господней
невидимой ниоткуда.

14

Вся моя сила – в говорении слов.
И я вот что скажу:
возьмите мои слова
массивные как валуны
чтобы раздавить ими танки
и бронированные тягачи,
слова нежные чтобы исцелить розы
разрывных пуль в ваших плотях,
слова из шелковой живой ткани

для восстановления конечности
покалеченной
армейским грузовиком
и всех сваленных в кучу
на кабульской площади
ног
отсеченных только в одной деревне,
слова чтобы обратно пересадить языки
вырванные у тех кто предупреждал о тревоге,
млечные слова, густые и белые
для несчетных младенцев
у голодающих матерей с иссохшей грудью
в Кохате и дюжине других лагерей
когда тысячи бежали перевалом Парашинар
через горный хребет Гар.

15

– Возьмите мои
слова-дуновения чтобы развеять
экспериментальные газы
советских консультантов,
чтобы разогнать желтый дождь
голубую морось
и зеленую пыль
в каждую частицу которой
вложена цель разрушить
хрупкую систему людского тела
так
чтобы сердце и мозг
были преданы собственной кровью.

– Возьмите мои
целительные слова для разъеденных легких
для закороченных нервов
и разрывающихся артерий
вы павшие сотнями, тысячами задыхаясь

захлебываясь кровью из носа;
чьи шеи захлестнуты кровью из ушей
кишечная и уринальная кровь
стекает в ботинки и на босые ноги
а кровь из глаз ослепляет вас
шарящих руку помощи.

– Возьмите мои
термонаводящие слова
чтобы сбить наблюдателей на вертолетах
кто засекает на хронометрах время
(а кириллицу пустив для отчета)
сколько это займет
 прежде чем вы
с вашими гранатометами женами и детьми
с их рогатками и камнями
рухнете в судорогах
а затем
сколько это еще займет
пока вы остановите ваши корчи
на вскипевшей земле
между чудом уцелевших лачуг.

16

Напоследок
я бы извлек

из Наиб Саид

30 предательских кусков свинца
и дал бы ей зажать их.

Глазам

ваших женщин

изнасилованных как земля

оскверненная разнузданными захватчиками

чьи тени чернее стервятников

загадивших эти долины гарью

этим глазам я вернул бы их блеск и нежность

к вам да и к ним же самим.
И к детям.

Если бы слова были абразивами...

Если бы желания стали
вулканической пемзой.

17

С камнем косным немым
под моим языком
я говорю вам что слышу от вас же.

Знайτε, рассказ ваш услышан.

РУТ Уильям Питт (род. в 1941) – поэт-резидент многих американских университетов, национальный лауреат, поклонник Райнера Марии Рильке, кинематографист, профессор Хантер-колледжа в Нью-Йорке, автор многих поэтических сборников («Поездка на Юг», «Причины для пешего хода» и т. д.). Русские переводы его стихов транслировались по радио «Свобода». Поэма «Ночное письмо муджахиддину» издана отдельной книгой в 1983 г.

ЛЮБОВЬ К СЕНТЯБРЮ

* *
*

Я ругала судьбу, как шалившую дочь –
хоть плохая, но всё же родная, моя.
Я сидела в компании. Было за полночь.
Судьбы чьи-то мечтали уплыть за моря,
судьбы чьи-то в беспутстве крамольных бесед
на столе танцевали, раздевшись до сути.
А по комнате плыл растерявшийся свет,
что ослеп в закупоренном затхлом сосуде
под названьем всё тем же – простым – человек.
Звезды взглядом сверлили, обыскивав душу.
И придирчивый Вий не смыкал плотных век,
чтобы видеть и чтобы запомнить получше.

АКВАРИУМ

Оконный водоем.
Лицо, как рыба, – сонно.
Невозмутимо-тупо
маячит за стеклом.
Вот окаянный дом!
Здесь жизнь сочится скупю,
здесь всё ужасно скупю,
здесь говорят с трудом.
Здесь если баба с бабой –
о тряпках, огороде,
о мужиках, погоде,
еще кое о чем.

Мужик расскажет другу
о тряпках, о подруге,
машине, даче, юге,
и кое-что еще...

А если... Впрочем, впрочем,
вопросы шлите почтой –
ответы будут почтой,
наложенным платежом.
И кончится всё просто –
квартиры полуостров,
и кончится всё, в общем,
нормальным кутежом.

Стеклянный барьер, слава Богу, надежно лелеет
ту атмосферу, чем дышит огромный аквариум-дом.
сквозь стенки – вот странно – такие же руки белеют,
и лица, и ноги, и пальцев по пять, и... пардон.
Вот только глаза... И невольно отходишь
в сторонку.

А те, что внутри, приникают носами к стеклу.
С таким интересом, так жадно мне смотрят
вдогонку,
как будто бы я для их глаз любопытных живу!

А может быть, я для их глаз любопытных живу?

ЗНАКИ

Среди жары так странно небо стыло
и не могло расплавиться никак.
А в небе воцарился твердый знак –
подъемный кран свою грузоподъемность
всё утро утверждал. Он строил дом
неясного пока что назначенья,
но строгого и серого зачем-то...
Откидывая голову, с трудом
ребенок разлеплял руками веки,

мешало солнце, он махал рукой:

– Да ну его! Он вовсе не такой!

Вот мальчик (знак вопроса) – он смешенье иронии природной, и ума, и воспитания трех полуумных женщин (в них полуумие гнездилося, как чума в семействе сусликов)...

Я думаю о нем – ребенке, что смеялся жарким днем с серьезным выражением лица.

Я знаю хорошо его отца.

Его отец мне близок и понятен, и сын мой очень на него похож, а в городе три года бродит ложь, расклеивая лживые понятия в подъездах, на заборах и столбах, и это тоже очень твердый знак.

Вот восклицание мне предъявляет столб, и папироска, как тире, белеет в руке у психопата. Знак тире предполагает продолженье ссоры.

А многоточия скрываются, как воры, во взглядах, в листьях и в плевках – во всем,

что за душой, как правило, несем.

Различные вокруг таятся знаки, как волки. А иные, как собаки, так явно катят под ноги свой лай, что тошнотой затравленность под горло...
О Господи, с меня уже довольно!

Дорожным знакам нет причин таиться – они хозяева. С ухмылочкой «кирпич» советует самим остановиться – чтоб головы не повредить и лица...

Дорога нашей жизни произвольна
лишь для глупца. О нет, с меня довольно –
пора бы уж и получить права –
я выучила правила движения –
твердила знаки до изнеможения
(вот так же наши имена молва).

Сегодня вечер щедр на катастрофы –
все превышают что-нибудь вокруг.
Как хочется мне мягких знаков рук,
и главное – как хочется мне, чтобы
все точки ставятся не где прикажут, а
там, где кончаются поступки и слова.

НО ЕСТЬ ПОРА ПАДЕНИЯ КАШТАНОВ!

Янтарный дождь, падение каштанов!
Как лица оживают и теплеют,
когда глаза появятся на них.
Каштанами друг в друга смотрят люди,
Они прозрели, их глаза так тёмны,
Как тёплы по-осеннему, так жйвы,
Так грустны, что идет осенний дождь.
Да, есть пора падения каштанов.
Как невозможно нам ее дождаться,
Когда она необходима дважды –
И для него нужна, и для себя.
Себя жалеет чуть не ежедневно,
Его – когда придет, или напомнит
Нам о себе заброшенным звонком,
А в нем – заброшенность
Двух хмурых комнат,
И в нем такая боль и
Безразличие
К тебе, который позвонил и молит,

Так молит – ах! – сейчас!
Сейчас! прийти!
И так заплачется у телефонной трубки,
Зарубки на которой означают,
Что, сколько ни была ты с ним ночами,
Ты все равно по-круглому одна.
И так замолится об этой теплой грусти,
О той поре падения каштанов,
Ох, так замолится!
Почти заматерится!
Пора падения... Дождаться бы ее!
Падение! Не надо больше шею
Держать так прямо.
Брезговать ни грязью
Не надо,
Ни другим подобным разным,
А надо просто жить и не тужить.
Не ждать поры падения кого-то –
Каштанов ли, еще чего другого,
Чтоб посмотреть,
И снова целый год
Пытаться не попасть в круговорот
И дней, и дел, и прочего, и прочего,
Чем жизнь нас щедро потчует, и потчует
До тошноты, до выверта наружу
Изнанки. До осклизлых красных кружев
Сосудов, нервов, жил и проводов.
В конце концов изнанка есть у многих –
Двуногих, многоногих, одноногих –
Изнанки есть такие – будь здоров!
И выворачиваться надо двухмоментно –
Туда – сюда. Как простыни под ветром.
А лучше бы сдержаться вообще,
Дожить до осени,
Присесть в медовом сквере,
И слушать, как каштаны на фанере
Киоска барабанят.

А в плаще
Каким-то чудом, сам собой, им в такт
Звенит случайно найденный пятак.

МИХАЙЛИЧЕНКО Елизавета Юрьевна, 25 лет. Родилась в Ставрополе. Образование медицинское. Заочно учится в Литинституте.

ИЗ ДНЕВНИКА

Эти заметки – лишь крохотная часть большого литературного наследия, оставленного великим кинорежиссером. В ближайших номерах «Континент» продолжит публикации из этого наследия.

...Очевидно, думают, что от этого они станут лучше снимать. Жалкие они какие-то: несчастные дилетанты, своими поделками зарабатывающие деньги. И вполне профессионально, должен заметить. Кстати, Гейзе остроумно высказался на этот счет:

«Дилетант – это курьезный человек, который испытывает удовольствие делать то, что он не умеет»*.

Так же вызывают жалость т. н. художники, поэты, писатели, которые находят, что впали в состояние, при котором им невозможно работать. Зарабатывать – **внес бы я уточнение**. Для того, чтобы прожить – немного надо. Зато ты свободен в своем творчестве. Печататься, выставляться, конечно, надо, но если это невозможно, то остается самое главное – возможность создавать, ни у кого не спрашивая на то разрешения.

В кино же это невозможно. Без государственного **соизволения** нельзя снять ни кадра.

Копирайт © Л. Тарковской.

* Жирным шрифтом выделены, кроме подчеркнутых слов, целые абзацы, взятые Тарковским в рамку или отчеркнутые на полях. – Р е д.

На свои деньги – тем более. Это будет рассмотрено, как грабёж, идеологическая агрессия, подрыв основ.

Если писатель, несмотря на **одаренность**, бросает писать, оттого, что его не печатают, – это не писатель. Воля к творчеству определяет художника, и черта эта входит в определение таланта.

(. . .)

Что такое истина?

Понятие истины? Скорее – нечто настолько человеческое, которое скорей всего не имеет эквивалента с точки зрения объективной, внечеловеческой, абсолютной.

И раз – человеческое, значит ограниченное, нераздельно подавленное рамками человеческой сферы с точки зрения материи. Связать человеческое с космосом **немыслимо**. Истину – тоже. Достигнуть в своих рамках – (эвклидовских и ничтожных в сопоставлении с бесконечностью) величия – значит доказать, что ты **всего-навсего** человек.

Человек, который не стремится к величию души, – ничтожество. **Что-то вроде полевой мыши или лисы.**

Религия – единственная сфера, отомкнутая человеком, для определения могущественного.

А «самое могущественное в мире то, что не видно, не слышно и не осязаемо», – сказал Лао-Тсе.

В силу бесконечных законов, или законов бесконечности, которые лежат за пределом досягаемого, Бог не может не существовать. Для человека, неспособного ощутить суть запредельного, – Неизвестное, Непознаваемое – Бог. В нравственном же смысле – Бог – любовь.

Для человека, чтобы он мог жить, не мучая других, должен существовать **идеал**.

Идеал, как духовная, нравственная концепция **закона**.

Нравственность – внутри человека. **Мораль** – вне и выдумана, как замена нравственности.

Там, где нет нравственности, – царит **мораль – нищая и ничтожная**. Там, где она есть, – морали нечего делать.

Идеал недостижим, и в этом понимании его структуры величие человеческого разума.

Попытаться в виде идеала изобразить нечто достижимое, конкретное – значит лишиться здравого смысла, сойти с ума.

Человек разобщен. Казалось бы, общее дело может стать принципом его объединения, **целокупности**. Но это – ложная мысль. Ибо уже 50 лет **люди воруют, лицемерят**, то есть едины в сознании своего призвания, **а единения нет.**

Делом людей можно объединить только если дела основываются на **нравственности**, входят в систему идеала, абсолютного.

Поэтому **труд** никогда не сможет быть чем-то возвышающим. Поэтому существует технический прогресс. Если труд – доблесть и нравственная категория, то прогресс реакционен, что уже нелепо.

«Возведение труда в достоинство есть такое же уродство, каким было бы возведение питания человека в достоинство и добродетель», – сказал Л. Толстой.

А тачание сапог и пахота были ему нужны совсем для другого. Для особо острого ощущения своей **плоти, певцом которой он и был.**

Если «нельзя объять необъятного», то, кроме Бога, человек ничем не оправдал своего существования.

Религию, философию, искусство – эти три столпа, на котором (так в тексте. – Р е д.) удерживался мир – человек изобрел для того, чтобы **символически материализовать идею бесконечности**, противопоставить ей символ возможного ее постижения (что, конечно, невозможно буквально).

Ничего другого – такого же огромного масштаба **человечество** не нашло.

Правда, нашло это оно инстинктивно, **не понимая**, для чего ему **Бог** (легче!), философия (все объясняет, даже смысл жизни!) и искусство (бессмертие).

Гениально придумана идея **бесконечности** в сочетании с **кратковременной** человеческой жизнью. Сама эта идея бесконечна. Правда, я еще не уверен в том, что мерило всей этой конструкции – человек. А может быть, растение! Нет мерила. Или оно всюду – в самой мелкой частице вселенной. Тогда человеку – плохо. Придется ему отказаться от многого. Тогда он не нужен **Природе**. На Земле, во всяком случае, Человек понял, что стоит перед лицом **бесконечности**.

А может, все это просто путаница? Ведь никто не может доказать **существование смысла!** Правда, если кто-нибудь и докажет (себе, конечно), то сойдет с ума. Жизнь для него станет бессмысленной.

У Г. Уэллса есть рассказ «Яблоко». О том, как люди боялись съесть яблоко с дерева познания.

Замечательная мысль. **Вовсе не уверен в том, что после смерти будет Ничто, Пустота**, как объясняют умники, сон без сновидений. Но никто не знает никакого сна без сновидений. Просто – уснул (это он помнит) и проснулся (помнит тоже). А что внутри было – нет, не помнит. А ведь было! Только не запомнил.

Жизнь никакого смысла, конечно, не имеет. Если бы он был – человек не был бы свободным, а превратился бы в **раба** этого смысла и жизнь его строилась бы по совершенно иным категориям. Категориям раба.

Как у животного, смысл жизни которого в самой жизни, в продолжении рода.

Животное занимается своей рабской работой, потому что чувствует инстинктивно смысл жизни. Поэтому его сфера замкнута.

Претензия же человека в том, чтобы достичь абсолютного.

Какими будут наши дети? От нас многое зависит. Но от них самих тоже. Надо, чтобы в них жило стремление к свободе. Это зависит от нас. Людям, родившимся в рабстве, трудно от него отвыкнуть.

С одной стороны, хочется, чтобы следующее поколение обрело хоть какой-нибудь покой, а с другой, – покой – опасная вещь. К покою тяготеет мещанство, все мелко-буржуазное в нашей душе. Только бы они не засыпали духовно.

Самое главное – воспитать в детях достоинство и чувство чести.

Обязательно надо снять «Белый день»*. Это тоже часть этой работы. Долг.

Как страшно и подло испытывать чувство, что ты никому ничего не должен. Потому, что так никогда не бывает. Можно только с усилием встать на эту точку зрения. Закрывать глаза.

Сейчас очень много таких людей.

Мне кажется, что Артура М. я раскусил. Очень слабый человек. То есть до такой степени, что продает себя. Это крайняя степень униженности.

Сочиняю «Сопоставления». Туго приходится. Хочется обо всем и правдиво. А есть проблемы, касаться которых опасно. Так или иначе – заредактируют. Приходится нажимать на теоретизирование.

(...)

Странно, что когда люди собираются вместе по единственному признаку общности в производстве, или по географическому принципу – они начинают ненавидеть и притеснять друг друга. Потому, что каждый любит только себя. Общность – видимость, в результате которой рано или поздно над материками встанут злоеющие смертоносные облака в виде грибов.

* Фильм, позднее получивший название «Зеркало». – Р е д.

Совокупность людей, стремящихся к единой цели – наесться, – обречена на гибель, разложение, антагонизм.

«Не хлебом единым!»

Человек создан, как совокупность противоречивых качеств.

История доказательно демонстрирует, что действительно развивается она по самому негативному пути.

То есть, или человек не в силах ею управлять, или, управляя ею, способен только толкнуть ее на путь самый страшный и нежелательный.

Нет ни одного примера, который бы доказывал обратное. Люди неспособны управлять людьми.

Они способны лишь разрушать. И материализм – оголтелый и циничный – довершит это разрушение.

Несмотря на то, что в душе каждого живет Бог, способность аккумулировать вечное и доброе, в совокупности своей человеки могут только разрушать. Ибо объединились они не вокруг идеала, а во имя материальной идеи.

Человечество поспешило защитить свое тело (м. б., в силу естественного и бессознательного жеста, что послужило началом т. н. прогресса). И не подумало о том, как защитить душу.

Церковь (не религия) сделать этого не смогла.

На пути истории цивилизации, духовная половина человека все дальше и дальше отдалялась от животной, материальной и сейчас в темноте бесконечного пространства мы еле видим огни уходящего поезда – это навсегда и безнадежно уносится наша вторая половина существа.

Дух и плоть, чувства и разум никогда уже не смогут соединиться вновь. Слишком поздно.

Пока еще мы калеки в результате страшной болезни, имя которого (так в тексте. – Р е д.) **бездуховность**. Но болезнь эта смертельна.

Человечество сделало все, чтобы себя уничтожить. Сначала нравственно, а физическая смерть лишь результат этого.

Как ничтожны, жалки и беззащитны люди, когда они думают о «хлебе» и только о «хлебе», не понимая, что этот образ мышления приведет их к смерти. Единственное достижение человеческого разума было осознание принципа диалектики. И если бы человек был последователен и не был бы самоубийцей, он многое бы понял, руководствуясь ею.

Спастись всем можно только, спасаясь в одиночку.

Настало время личной доблести. Пир во время чумы.

Спасти всех можно спасая себя.

В духовном смысле, конечно.

Общие усилия бесплодны. Мы люди и лишены инстинкта сохранения рода, как муравьи и пчелы. Но зато нам дана бессмертная душа, в которую человечество плюнуло со злобной радостью. Инстинкт нас не спасет. Его отсутствие нас губит. А на духовные, нравственные устои мы плюнули. Что же во спасение?

Не в вождей же верить, на самом деле!

Сейчас человечество может спасти только гений – не пророк, нет! – а гений, который сформулирует **новый нравственный идеал**.

Но где он, этот Мессия?

Единственное, что нам остается, – это научиться умирать достойно.

Цинизм еще никого не спасал. Он – удел малодушных.

История человечества слишком уж похожа на какой-то чудовищный эксперимент над людьми, поставленный жестоким и не способным к жалости существом.

Что-то вроде вивисекции.

И объяснится ли это когда-нибудь?

Неужели судьба людей – лишь цикл бесконечного процесса, смысла которого они не в силах понять?

Страшно подумать. Ведь Человек, несмотря ни на что, – ни на цинизм, ни на материализм, – верит в Бесконечное, в Бессмертие. **Скажите ему, что на свет не родится больше ни один человек, – и он пустит себе пулю в лоб.**

Человеку внушили, что он смертен, но перед угрозой, действительно отнимающей у него право на Бессмертие, он будет сопротивляться так, как будто его собираются сию минуту убить.

Человека просто растлили. Вернее, постепенно все друг друга растлили.

А тех, кто думал о душе – на протяжении многих веков, вплоть до сегодняшнего дня, – физически уничтожали и продолжают уничтожать.

Единственное, что может спасти нас – это новая ересь, которая сможет опрокинуть все идеологические институты нашего несчастного, варварского мира.

Величие современного человека – в протесте.

Слава сжигающим себя из протеста, перед лицом тупой безгласной толпы, и тем, кто протестует, выйдя на площадь с плакатами и лозунгами, обрекая себя на репрессии, и всем, кто говорит нет шкурникам и безбожникам.

Подняться над возможностью жить, практически осознать смертность нашей плоти, во имя будущего, во имя Бессмертия...

Если человечество способно на это – еще не все потеряно. Еще есть **шанс**. Человечество слишком много страдало, и чувство страдания у него постепенно атрофировалось.

Это опасно. Ибо теперь невозможно кровью и страданием поэтому спасти человечество.

Боже, что за время, в которое мы живем!

Публикация Ларисы Тарковской

Из русской зарубежной поэзии

Ина Б л и з н е ц о в а

* *
*

«О, если бы ты был холоден или горяч...»

Откр. , гл. 3; 15

В снежинке воды лишь столько, сколько может вобрать
кристалл,
Если больше – лёпёнь летит, не кольнув ни иглой,
ни бликом,
и в тяге его к земле не прозрачный ливня обвал –
в ней тяжесть утраты стихии необретенным ликом.

«О, был бы ты холоден...» – видно, видящий, кто есть мы,
неравнодушный к колючкам льда, сброшенным с
облачных холок.

Но не мне же, рожденной в средоточьи степей и зимы,
забывать блистательный, обжигающий холод.

И случись, теплотою нахлынет тяжесть, возьмет
в тиски –
по движению губ знатока узоров лучей и линий
воздух сгустится в улыбку, улыбка войдет в виски
и на ресницы взглядом вынесет легкий иней.

И когда снежинка сорвется, а тяжесть всё такова,
что упасть неизбежно – вольнее будет полет.

И тот, к кому опущусь на черный мех рукава,
взор задержав, мои черты разберет.

5 февр. 88



Выглянув в открытые окна глаз, обнаружишь солнца
зрачок, расширенный близостью к горизонту,
не вспомнишь, какому, за каждым ночь.
Пронеслась по ветру облаков с наголо просветами неба
 конница,
из прорех просыпалась снега скупая сольца.
Государи небес за бильярдом гадают по красному
 золоту,
толкнуть им шарик в зенит или в море – воду толочь.
Свет, не зная, войти ему, выйти ли, спал с лица.

Будто узда натянута твердой рукой вовне.
Но время – лихой конек, закату нельзя припоздниться:
золотая рыбка, она однодневка, успеть бы удрать.
Утром солнечный бубен того же цвета,
но в ореоле победном, щенячьем, триумфа во сне,
что никогда не сбывается, либо – когда уже не
 приснится.

И тьма в свою гриву вплетает ворсинки света,
посветить себе до утра,

а взору – до края земли, за коим темная заводь,
где такие вот карпы ходят гуртом.
Одному дан приказ на восток, а этой дальше на запад.
Но в каких невозвратных морях ей ни бить хвостом,
всё свет нам блазнит и брызжет,
стою и охрипну на том.
Зрачок полыхнул блесной, воздух придвинулся ближе.
Я чувствую ночь хребтом.

14 янв. 88

* *

*

В мороз и вздох опасен, как слалом,
не только что взмах ресниц.
Загляделась на солнце, и солнце послало
одну из своих лисиц.

И та, дивя прозрачностью воздух, –
вольной и взгляд – тюрьма,
сквозным золотишком хвоста поводит
у ворот в его терема.

Сугробов, сметенных на край дороги,
где пласт наехал на пласт,
тени – как горы, как их отроги,
и выше – скала стекла.

И выше, куда разве рог охоты
долетал, златые до пят
терема, и если бывает темно, то
от солнц, застилающих взгляд.

Темь эта в снег вороненой стрелою,
подъемным мостом легла.
Мне туда, и бегут предо мною
желтые пятна лап.

И я, улыбаясь льда осколку,
где солнце растит звезду,
иду, куда ведут – поскольку
ведут, куда я иду.

7 янв. 88



Огню для жизни огня, кроме огня,
ничего не нужно, и сучья в углу камина —
лишь поблажка себе, чтоб не спятить, взоры гоня
на копые огня, на рассветы его кармина.

И пока саламандры отводят глаза, заводя игру,
пока сирены открыли рты, их голоса тихи и
неотвратимы, и пламя на черных лапах прыжком
замыкает круг,
которым зачеркнуто время земли, как другой стихии.

Дерево вспоминает свой элемент огня,
не вовсе потерянный и в ночном светляке гнилушки,
и пламя, в чьих чистых струях привиделась западня,
золотою осою выносит нектар, где цвета янтарные
глубже.

Обвалом рушится время огня, кружа
вспышки памяти, вьющиеся над разбуженным ульем.
На безмерный миг в расщелины пламени сходит душа,
бывши, будучи желудем, деревом, певчим углем.

И когда, бренча, осыпаются угли, дольше горит
взгляд, вобравший жизнь, свернувшуюся золою,
и пламя, на дыбы встающее внутри,
стреножено только родством с землею.

31. 12. 87

* *
*

Бьешь ли в лёт дичину слов, за окном
листья ходят меж стволов ходуном.
Страх желтил их, красил лисий оскал,
дождь до цвета их земли полоскал.

Нет вины моей ни духом, ни сном.
Листья ходят во саду ходуном.
Ветер вон – они уж грудой старья,
лучик им луна на грудь, плачя.

Вкруг себя туман кольцом обвила,
потемневшая лицом, счет вела,
скольких ратников обвить – сбился счет.
Может, есть там кто живые еще.

Кто и есть, у тех «прости» на губах,
ветер шкуркой их хрустит на зубах,
да в той люльке у корней и корнях
тени жмурятся, темней слов о них.

12. 12. 87

* *
*

Выступы лавы, песчаный ближний
край океана без особых примет,
да хвойных особей, чьи имена излишни,
других здесь нет,
роспись на перистом небе знаком погожей вести,
что белобокое облако принесло на хвосте.
И гибкие иглы обводят ветер
тысячью тонких китайских кистей.

Волны, разинутым зевом ревущие смерть во сны,
смиренны утром, и не докучают думам.
И грохот и гром океана из-за глухой стены
ветра доносится просто шумом.

30. 11. 87

* *
*

В зрачке по черному писано золотом: осень, охота.
Воздух звонок, как лай.
Облака-пироги,
в них – неутомимых, невиданных псов орда
чуёт печенкою близкое время ухода
листьев залетовавших стай.
И снялись с ветвей для самой дальней дороги,
дальше некуда.

В ветках, свободных от сменных жизней, вспугнутых
желтым динго,
переменно то ветер, то сон – царь.
Паук путь жизни своей земной
размотал из пуза во всю длину.
Луч, прерываясь, взмыл паутинкой,
как ливень стрел, нацеленных в солнце,
выпущенных одна за одной,
нагнавших одна одну.

Лучник, растратив стрелы, уходит взором
в головокружительный лист, танцующий облакам.
На дальнем неутомимый преданный зверь скалит в
улыбке зубы,
голоса не подает пока.
Можно уйти совсем, стать осенним разором,
безмолвием, по немочи здесь языка.

Жизнь докружить листом, желтым листом в лесу быть.
Ближе к земле оскалена вверх улыбка.

20. 11. 87

ВЕТРЕННЫЙ ВАЛЬС

Ветер мой, ветер, опять ты в куражном круженьи!
Огонь изменился в лице при твоём приближеньи.
Вода побежала, дразня, семена, как бабе положено.
И только дорога лежит, хоть бы хны, как легла, как
положена.

Видишь ли, друг дорогой, мои тропы искожены.
Пути мои, сердце мое, – клячи заезжены.
Взвиться ли ветру вдогон, – скажут, ветрена – дожили.
сама за тебя я с собою бранюся, как две жены.

Волосы стаей взметнулись вослед – куда им, острижены.
Взгляд мой сталью блеснул – и под веки, как в ножны.
Под хвост моим клячам надуй, задирали чтоб ноги, как
три жены,
не то они век простоят, перепутком стреножены.

Ветер мой, счастье мое в свободном кружении!
Лихо спало с лица при твоём приближении.
Жизнь мою пыльным столбом взметаешь – хоть
досмети,
а я нагляжусь на тебя коль не досыта, до смерти.

28 мая 87



Находишь себя
в средоточье внимания каждой жизни вокруг
к жизни вокруг.
Делаешь стойку, каждый мускул упруг,
глядя, как низкий ветер в стволах выписывает витки.
Шкура его в подпалинах ночи видна сквозь ветки.
Небрежный оскал зевка его зева меняет лицо огня.
Гонит тучные кроны, куда Хронос макаров гонял.
И листва, отставая от ветра, бежит со всех ног во вчера,
и ночь дожидается только ухода вечера.
Вот лапе с когтем кривым сквозняка поддается дверь,
за которой тесно теми, звездам и смеху.
Сейчас он, спружинив, прыгнет к горе облаков,
невозможный зверь,
спешащей на хадж к Магомету в Мекку.
Я пришлась, будто здесь мне место в жизни сквозной
резьбе.
Усмешку взгляда ловлю: забыла, мол, как берется
разбег?
И, подскользнувшись на серой прозрачности
барсовых глаз льда,
срываюсь за ним туда.

Сон стелет скатертью дороги, где потемну мне
скитаться,
поодаль от дневной столбовой,
где пыль столбом, бо рысак лихой.
Какие заводят, какие выводят, на всех училась,
оставив всё, чему быть случилось,
остаться тем, что останется, если чему остаться.
Чем изредка в разводы лет сверкали мне зеркала:
кристаллом жизни, который не мать родила.
«От дела лытаешь,
али дело пытаешь?» –

от карканья сучковатой коряги-карги
отмахнуться: старая выдра!
Спроси вон у тени луча, прикорнувшей прожилкой в листе.
Какого другого мира мне, вольной выбрать,
и выбрать сейчас – лететь!
Я очнулась в сон –
было когда-то, в жизнь, и воли в ней не хватило –
сердцевиной себя с памятью точных примет:
как с разбега сорваться упасть, чтобы небо само
подхватило,
как прыгнуть вверх – небо примет.

Сорвалось.
Семь небес не дались пока мне.
Понесло на звезды, как каяк на камни
во всей разящей красе!
В ворох листвы по локоть, хватаю ветки руками,
не то унесет совсем.
Выбросило вовне, как не свою гоня.
(А индейские девы объезжают водопад, как коня!)
Хмыкнув, звякнуло стремя,
своевольного облака сплыла кудлатая грива.
Там знала: не время, и будет время.
Здесь я не так терпелива.
От последней гальки, прыснувшей из-под стопы,
кольца кругов по крови для первой сороки-воровки,
и златорунная нить судьбы
трется о горло пенькой веревки.
Спросишь: с тебя не стало ли веретена возни? –
и всё усердие пряжи прахом:
сердце без звука грохнется вниз,
безошибочней, чем от любви и страха.

Сторожу, как щука, поймавшая жар-блесну,
да сорвалось за ней утянуться –
сон, в котором, если его верну,
я однажды выберу не проснуться.

18 мая 87

БЕСЫ

Не гнусавит попик деревенский –
«Господи, прости»...
Разгулялся Петька Верховенский
По Святой Руси.

Зимний ветер кружит на дороге
Белый снег кольцом,
Смотрит в поле Николай Ставрогин
Каменным лицом.

Шигалев подсчитывает трупы,
Как игрок очки,
Сузились бессмысленно и тупо
Тусклые зрачки.

Федька силу каторжную мерит,
«Вот, как развернусь...»
Помолись, кто в Бога еще верит,
За шальную Русь.

1987

* *
*

«Пострадать нужно, пострадать».

Ф. Достоевский

Ни в атомную катастрофу,
Ни в благоденствие людей:
Я верю только лишь в Голгофу
Бессмертной родины моей.

Голгофа – значит Воскресенье...

Но прежде нисхождение в ад,
Сквозь Петроград и Ленинград,
Сквозь тьму и мерзость запустенья,
Лжи торжествующий парад.

«О Ты, пространством бесконечный»,
Благослови на крестный путь,
Чтоб этот мир бесчеловечный
Очеловечить как-нибудь.

* *
*

Я в ссылке. Я в самом себе –
В зловонной выхлопной трубе,
В подполье Фрейда и Лакана*,
На дне разбитого стакана,
Среди разбитого стекла,
В чистилище добра и зла.

Вот он – итог и завершенье
Вселенского столпотворенья,
Песчинки собственного я,
В державном вихре бытия.

1988

* *
*

Ни на кого не обращать вниманья,
Ни с кем не спорить и не говорить,
Хранить тебе лишь вверенное знанье
И за него Творца благодарить.

* Ж. Лакан – знаменитый французский психоаналитик.

Оно подобно тайне океана,
Чуть внятному шуршанию травы,
Безоблачному торжеству Монблана
На фоне первозданной синевы.

1988

* *
 *

Ну вот, приближаются сроки,
Прошедшее строится в ряд,
Лишь жизни «печальные строки»
Всё ярче и ярче горят.

Они, словно глыбы, нависли,
Ни выжечь, ни смыть, ни стереть...
Они – неотступные мысли
Державно ведущие в смерть.

1988

* *
 *

Был некий день. Я шел блуждая
Дорогой вечной мерзлоты,
Уже почти не различая
Границы яви и мечты.

Всё было непривычно ново,
Стирался прошлого итог...
И вдруг: «В начале было Слово
И это Слово было Бог!»

1988

При публикации рассказа И. Шенфельда «Зоська без носа» в «Континенте» № 56 по недосмотру выпали последние страницы текста. Приносим извинения автору и читателям и восстанавливаем окончание рассказа. – Р е д.

Игнатий Ш е н ф е л ь д

ЗОСЬКА БЕЗ НОСА

Окончание

Никогда еще на Божьей ниве, среди крестов и надгробий, никто такого адского смеха не слышал. Это было похоже на пароксизм какой-то массовой заразной болезни. Взрывы хохота с краткими интервалами бахали в небо, потрясая все вокруг. Истерически визжали женщины, кудяхтали старухи, а мужики реготали и стонали. Кое-кто пытался смех унять и затыкал рукой рот, поскуливая жалобно. Еще не обсохшие слезы умиления сливались в одни ручьи со слезами смеха.

Майор Фаф, священники и представители общест-венности, держащие заранее приготовленные венки и цветы, стояли в немом остолбенении, охваченные стра-хом и негодованием. Что за бесовское наваждение! Что случилось с этими, в общем мирными людьми, которые смели так осквернить покой умерших? Непроститель-ное хамство! Майор оторопело оглянулся, нашел в толпе дворничиху Янову, поймал ее взгляд и кивком головы позвал к себе. Она протиснулась к нему, а он посмотрел на нее вопросительно.

– Скажите, Янова, что за чертовщина здесь творит-ся? Объясните, пожалуйста!

Отрыгиваясь остатками смеха, дворничиха зашеп-тала ему торопливо в ухо:

– Какой позор, пане майор! Энтот ангел – вылитая, тютелька в тютельку Зоська Без Носа, жиличка старой Крольчихи со второго двора «ярычевки». Даже хламида на ней та же, в которой она фуфыруется на дому. Ее кличут царицей всех поблядюшек в городе.

Майор побагровел, насупил брови и уставился испепеляющим взглядом на перепуганного насмерть Оркаевича, затем молча направил коляску своей матери к выходным воротам.

На следующий день злополучный памятник отвезли обратно на Цыганский пустырь. Он стоял там в закутке между мастерской и забором, никому не нужный. Только я иногда туда заглядывал и спугивал галок и ворон, которые облюбовали этот памятник и охотно на нем просиживали.

После десятков лет скитания по белому свету я очутился проездом в моем родном городе. Подхлестываемый дикой тоской по местам моей юности или, может быть, по самой юности, я прямо с вокзала – благо рукой подать – направил свои шаги на нашу улицу. Внешне немного здесь переменялось. Те же серые, ветхие трущобы с отбитой штукатуркой и тусклыми окнами. Только магазинов и лавок, пожалуй, убыло. Перекроились границы Европы, новые люди сюда понаехали, чужая речь раздается вокруг. Вот бывшая парикмахерская пана Квятека, где томилась утонченная душа красавца Эдуарда, бывший шинок пана Брыля, где теперь какое-то домоуправление. Нет следа от ларька моего отца и малины Шийко Кая. Я вошел в подворотню «ярычевки», и меня обдало запахом застоявшейся скудности. Обошел все три двора, погрузился в грустное раздумье перед памятным крылечком, заглянул в подвальное окошко сапожника Хефко – там все еще кто-то постукивал молотком. Невозможно было поверить, что в этой обстановке я чувствовал себя когда-то счастли-

вым. Я ощутил весь груз моих лет, вышел на улицу и поплелся в сторону бывшей заставы.

Цыганский пустырь стоял еще не застроенный, заросший высоким бурьяном. Я обошел его вокруг, вспоминая, где стоял шатер цыганского короля Матвея Квека. Остатки разрушенной печной трубы указывали место, где находилась когда-то скульптурная мастерская Агафона Оркаевича. Я задержался здесь дольше, растроганный нахлынувшими воспоминаниями. Обвел глазами вокруг и вдруг заметил что-то белеющее в густом ольшанике под забором. Я примял ногой буйные побеги крапивы, раздвинул ветки кустарника и увидел на земле то, что осталось от мраморного ангела непорочной скорби. Руки, ноги и крылья были отбиты, но сохранившийся еще торс поддерживал обозображенную голову.

Рядом паслась коза и две девочки играли со скакалкой. Заметив мой интерес к каменному чурбаку, они закричали:

– Это Зоська Без Носа, дяденька, Зоська Без Носа!
Я обомлел от неожиданности.

– Да откуда вы можете знать, что это именно Зоська Без Носа?

– А разве вы не видите, дяденька, что она без носа?

Я еще раз посмотрел и убедился – в самом деле, носа не было.

Россия и действительность

Александр Г р и б а н о в

«БОЛЬНОЙ ЧЕЛОВЕК»

Когда Гамлет утверждал: «Подгнило что-то в королевстве Датском...», что он, собственно, имел в виду? Нравы? Политическую систему? Просто современников? Наверняка датский принц о политической системе не помышлял, поскольку феодальный порядок представлялся ему единственно разумным и возможным. Во всем виноваты были, конечно, конкретные исполнители и государи: именно они развратили людей и опозорили древние институты монархии, брака и семьи. Королева стала вести себя недостойно, король оказался убийцей, университетские однокашники Гамлета – заурядными предателями.

Негодующие монологи принца дали многочисленные плоды – историки и критики еще не устали толковать его безумно-вещие слова. И в некоторых вопросах даже сходятся. Например, они согласны, что филиппики датского принца говорят об упадке того общества, которое старался изобразить Шекспир. Другими словами, под «королевством» следует понимать не политическую систему, не конкретных людей, не государство, составленное из многих институтов, но общество, которое обнимает все перечисленные выше объекты.

Забавную аналогию мы находим теперь в полемических выпадах средств массовой информации в СССР – как официальных, так и неофициальных. Критика советского общества – едва ли не «самая разрешенная» тема советской печати. Для тех, кто хорошо знает историю неподцензурной прессы, эта тема не новость: отчаянные упреки обществу, которое равнодушно смотрит на массовые репрессии против невиновных людей, звучали в подпольных изданиях внутри СССР еще с шестидесятых годов. Было совершенно очевидно, что в бесправии людей виноваты не только исполнители и вдохновители репрессий, но и миллионы запуганных и равнодушных, которым «своя рубашка» казалась единственной защитой

против кошмара тюрем, лагерей, психушек и просто отщепенского состояния.

В сознании правозащитников феномены бесправия, равнодушия, цинизма, коррупции, апатии и алкоголизма были связаны в один тугой клубок, запутываемый сознательно «сверху», потому что управлять людьми в подобном состоянии куда легче, чем активными и гражданственными энтузиастами, у которых по любому поводу может возникнуть своя точка зрения. Короче говоря, вся проблематика общественной болезни сводилась, в некотором смысле, к короткому лозунгу, который В. П. Некрасов предлагал печатать там, где все советские газеты дают призыв к пролетариям всех стран, а именно – писать в этом месте: не твое собачье дело! Для правозащитников активизация общества была необходима, поскольку могла дать хоть какую-то гарантию против бесправия. И в этом смысле позиция неподцензурной прессы не изменилась: критика общества сохранила свое направление с шестидесятых годов, но выросла интенсивность и глубина обвинения.

Зато радикально изменилось поведение подцензурной прессы. Официальная печать наконец-то обнаружила, что если перейти от многолетней критики «отдельных недостатков» на уровне управдомов и стрелочников к некоторым обобщениям, то можно создать вполне даже интересный суррогат критики общества. По взмаху дирижерской палочки зазвучала симфония официальной гласности, и советский читатель с восторгом узнавания выяснил, что он, гражданин СССР и владелец краснокожей книжицы, победитель всех на свете и владелец немислимых стахановских рекордов в труде и обороне, – что он еще и бездельник, вор, «несун», пьяница, отчасти даже наркоман, что он мирится с проституцией, детской преступностью, взяточничеством и т. д.

Комсомольские и иные журналисты с трепетом произносят ужасные истины (70-я статья совсем еще недавно за такие слова им была гарантирована, но – слава Богу! – начальство соизволило разрешить) про то, как равнодушно или трусливо взирает общество на судьбу перестройки. А от нее, мол, зависит все будущее страны (т. е. общества, ваше собственное будущее, граждане)! Выбранный квадрат обстрела – совершенно ясно очерчен: общество. Если под снаряды жестокой

критики в официальной прессе попадают конкретные лица, то они выступают именно как члены общества (министерские служащие, хозяйственники, проворовавшиеся чины, алкаши и самогонщики идут в такой прессе одним цветом: они загнившая часть общественного целого, в котором, естественно, преобладают здоровые силы). Так представляют дело партийные средства массовой информации, хотя собственно информация, доступная потребителю, говорит не вполне об этом.

Ущербность общества и его странная роль в структуре социалистических стран отмечена и в прессе неофициальной. Это ощущение неполноценности вырвалось наружу в статье Александра Гинзбурга: «...почему же тогда на сегодняшнюю „перестройку“ гораздо меньше надежд, чем на хрущевскую оттепель? Почему изменения, кажущиеся элементарными здесь, казавшиеся легкими тогда, реально осущетвляемые где-нибудь в Китае, видятся невероятными, неисполнимыми в сегодняшнем Советском Союзе? И не единицам – большинству. Возникает ощущение, что общество это – безногий, однорукий инвалид» («Русская мысль», 22 апреля 1988).

Странность, легко заметная в публикациях официальных, возникает прежде всего от того, что в картине бедствий, нарисованной советскими журналистами, последние старательно избегают даже упоминаний о том герое, который обществу противостоит в сегодняшнем Советском Союзе. Правда, в неофициальных выступлениях некоторая «откровенность» прорывается. Так, например, Ф. Бурлацкий в своем выступлении для гарвардских советологов прямо говорил, что общество в СССР – никуда не годится, одна надежда на партию.

Однако в независимой от начальства прессе этот вопрос ставится несколько иначе. Польский автор в «Пшеглёнде вядомосьци агенцийных» (Варшава, 16 марта 1988), например, пишет: «Коммунистическая власть привыкла рассматривать себя как единственный субъект политики, а общество – как объект своей манипуляции, который должен быть благодарен за то, что ему дают то или другое, чего власть могла бы и не дать» (цитирую по «Русской мысли» от 29 апреля 1988). Собственно говоря, возмущение Бурлацкого и иных пламенных реформаторов со Старой площади в городе Москве мотивировано именно этим застарелым рефлексом: мы им, наконец-то, «выкинули» гласность и перестройку, а они, видите ли, сидят и в ус не дуют.

Вообще, этот круг людей, хотят они того или нет, можно условно назвать «новыми идеологами» (по аналогии с французскими «новыми философами»). Они несравненно образованней и агрессивней своих предшественников, вроде Федосеева или Пономарева. Насколько они отличаются от суловской гвардии, покажет время, но некоторые наблюдения возможны уже сейчас.

В частности, совершенно очевидно, что масштаб и направление предлагаемых ими реформ ограничен по крайней мере одним существенным пределом: за рамками их реформаторских поползновений остается вся партийно-номенклатурная сердцевина режима, который они ремонтируют. И если взглянуть на дело сквозь призму их принципиального и неизменного отношения к обществу, то психологически они напоминают отношения между мужчиной и женщиной, которую именно этот мужчина и развратил. Всякий раз, когда партнер укладывает даму в койку, он так или иначе шантажирует партнершу ее же грехами с тем, чтобы вывести бедную из равновесия и снова доказать себе и ей, насколько она слаба перед искушителем. Именно так и воспринимаются сейчас попреки обществу со стороны идеологов перестройки.

Совпадение этих двух направлений в критике создает, на первый взгляд, впечатление, будто и правозащитники, и подцензурные реформаторы критикуют один и тот же объект под названием общество. Между тем, это не очевидно. Не очевидно хотя бы потому, что при подобной постановке вопроса молчаливо презумируется, что общество существует, что оно – феномен реальности, наделенный, правда, массой отрицательных качеств. Для того, чтобы подробнее в данном деле разобраться, нам придется немного вспомнить историю вопроса.

В первую очередь не станем забывать, что любое общество крепко (или слабо) своими внутренними связями. При этом можно различать связи двух порядков. Одни работают на уровне определенных социальных массивов – это отношения между классами и общественными группами, между различными народами, если государство многонационально. Связи второго порядка работают на уровне семьи и частных лиц. Захватив власть в октябре 1917 г., господствующая партия в первую очередь занялась уничтожением связей первого порядка. Если речь шла об отношениях, скажем, рабочих и крестьян,

ян, то неконтролируемые связи, ярчайшим примером которых могло бы служить кронштадтское восстание, разрушались орудийным и пулеметным огнем. Иначе, говорили вдохновители этой операции, мелкобуржуазная стихия могла захлестнуть пролетарскую революцию. Если рабочие выходили на демонстрацию в защиту Учредительного собрания, т. е. хотели публично и недвусмысленно выразить свое отношение к разгону единственного в ту пору выборного органа общегосударственного масштаба, то демонстрацию объявляли провокацией контрреволюции и разгоняли, не жалея патронов (этот рецепт был усвоен наилучшим образом).

Можно считать, что с уничтожением независимой от большевистской партии прессы и запретом на деятельность всех партий была заложена основа для ликвидации общественных связей первого порядка. Все социальные группы, кроме одной (ВКПб), были физически и буквально лишены права голоса. Вот тогда-то и началась вторая фаза этой титанической работы: уничтожение всех нормальных связей на уровне семьи и частных лиц. В 1981 г. Чеслав Милош в своей нобелевской речи определил эти связи таким образом: «...то, что защищает людей от внутреннего распада и покорности насилию». Имея в виду отношение власти к этим связям, Милош добавлял: «Именно на это устремлялась ярость сил зла: на определенные обычаи, определенные институты – в первую очередь на все связи между людьми, существующие органично, как бы само собой, и поддерживаемые семьей, религией, соседством, общим наследием, – одним словом, на все человеческое, неловкое, нелогичное, так часто выглядящее смешным в своих провинциальных привязанностях и проявлениях верности» («Культура», русское издание, Париж, 1981, № 3).

Надо отметить, что разложение общества на уровне подобных связей проводилось многообразно. Пропаганда и агитация, законодательство о семье и браке, разрушение церквей, дискредитация всех и всяческих проявлений гнилого буржуазного гуманизма подкреплялись волнами чудовищного террора со стороны органов, которые пеклись о безопасности своих работодателей. Каждый удар по традиционным ценностям (наносили его штыком или пером – вопрос иной) отзывался в многочисленных и почему-то все более гнусных доносах. Когда государственная пропаганда канонизировала в массовых тиражах и радиопередачах несчастного подростка,

заложившего собственного отца, процесс деморализации всего общества приближался уже к кульминации. Еще немного, и многомиллионная страна лишилась бы последних основ нравственности.

Да вот беда! Война помешала. Побеждать слабого (лучше даже безоружного и связанного) противника можно и уголовными руками. А вот чтобы сопротивляться превосходящим силам безжалостного и мощного врага, необходимы иные люди. И пришлось отпустить какие-то вожжи: реанимировать патриотизм в его квазитрадиционной форме, допустить скромную деятельность Церкви, позволить – хотя бы на фронте – инициативу миллионам, еще не утратившим тех самых нравственных опор, которые и позволяют отдельному человеку выстоять под перекрестным огнем противника и заградотрядов.

Зато после победы (впрочем, даже не дожидаясь ее) за дело взялись снова, засучив рукава и не жалея сил. Массовые депортации целых народов, повторные аресты, фильтрация тех, кто побывал, пусть хоть несколько часов, в плену, новые волны массового террора, чтоб не забывались, а то больно умные все стали. Действительно, многие поумнели в ходе неслыханной войны, и вопрос об ответственности начальства за бессмысленную гибель миллионов поневоле витал в сознании поумневших.

Общество снова стало мишенью обмана и истязательств, и деградация его была так очевидна (особенно в плане экономики и стратегического соревнования с США), что партийная верхушка, после некоторых вполне понятных колебаний, пошла на использование сильнодействующих средств: последовала реабилитация погибших и осужденных, выборочное разоблачение сталинских преступлений (ну, еще Ежов и Берия постарались), одним словом, «оттепель».

Следует признать, что эти затраты, с точки зрения начальства, вполне оправдали себя. Именно в пятидесятых годах в партию вступили многие энергичные молодые люди, которые принесли с собою струю свежей энергии в прожженные мехи старого сталинского аппарата. В этот период СССР сильно вырвался вперед по многим направлениям науки (особенно той науки, которая оказалась подведомственна военно-промышленному комплексу страны). Вообще наметились какие-то перемены, как будто люди почувствовали дыхание

свежего ветра после приступа коллективной астмы. Начальство разглядело, однако, и издержки процесса. Именно тогда зародилось культурное диссидентство и правозащитное движение. Пробудились в гражданской форме национальные движения.

Реакция на эти ростки свободомыслия оказалась тем серьезней, что органы госбезопасности, несколько утратившие свои позиции в середине пятидесятых, использовали дутые дела для того, чтобы непрерывно пугать собственное партийное начальство. Изолировать по-настоящему независимые от начальства элементы в шестидесятых годах не удалось: общество, если не целиком, то достаточно массивно, еще поддерживало связи с теми, кто «лез на рожон». Хотя «органы» уже вовсю «прописывали» изоляцию – приговорами на пять или семь лет, а затем уж ссылка. Глядишь, и второй срок набегит. Так из общества вырывались наиболее дееспособные люди порой на пятнадцать лет. Однако вскоре плановики реакции поняли, что одними приговорами не обойдешься, и приняли широкие и многообразные меры для того, чтобы изолировать общество от бурлящей и свободомыслящей его части.

Непосредственные современники и наблюдатели событий обращали, естественно, внимание в первую очередь на положение заключенных, на тех, кто попал в психушки, на ссыльных и их семьи. Положение всех этих людей было ужасно. Но никто не замечал, как стремительно ухудшается общество. Не положение общества, но качество его. Изоляция дееспособной части общества производила двусторонний эффект: оно было лишено идей – как критических, так и конструктивных (напомню об эпопее А. Д. Сахарова, чьи конструктивные предложения попросту нельзя было услышать в течение многих лет). Естественные человеческие связи – родственные, дружеские, культурные – снова оказались под угрозой: не всякий, желавший сохранить с начальством хорошие отношения, мог позволить себе профессиональные или дружеские связи с опальными и опасными людьми. А поскольку в шестидесятых и семидесятых власти проявили уже рецидив реакции, постольку общество разрушалось куда быстрее, нежели после революции. И деградация его, к началу восьмидесятых, стала совершенно очевидна. Даже членам политбюро тогдашнего урожая.

Деградация общества лишь в слабой степени отражала общую деградацию всего населения СССР (хотя этот процесс

протекал и протекает совершенно неравномерно). Равнодушные общества к феноменальным потерям страны в целом, к потерям в генофонде, экологическим прорывам, росту наркомании, коррупции, чуть не всеобщего воровства – оказалось главным симптомом деградации. Но удивляться тут нечему: если общество лишено абсолютно самостоятельности, полностью заблокировано в плане независимой мысли и деятельности, если оно непрерывно рассматривается властями как объект манипуляции только, но ни в коем случае не как субъект со своей инициативой, то именно равнодушие и циничная апатия должны стать основными его социальными характеристиками.

Две плоскости взаимоотношений в обществе превратились в две главные проблемы восьмидесятых годов. Очередность этих проблем отражает точку зрения, с которой они рассматриваются внутри СССР. Если взглянуть на дело с позиции начальства, то, несомненно, главным вопросом является экономика. Стремительная стагнация (если подобное возможно) хозяйственного механизма привела к таким последствиям, что номенклатура стала почесывать в затылке. Скорость почесывания отмечала склонность или несклонность к перестройке. С точки зрения самого общества, экономика вряд ли составляет проблему первостепенной важности (в конце концов, достаточно срезать хотя бы наполовину военные и внешнеполитические расходы, чтобы сдвинуть дело с мертвой точки, выделить деньги на развитие культуры и т. д.). Для общества куда важнее найти пути, чтобы развивать свою собственную политическую и этическую инициативу. Для общества в плане стратегии вопросы семьи, школы, культуры, свободы гораздо серьезней, нежели нехватка денег на очередные внешнеполитические авантюры, вроде афганской.

Начальство уже дозрело, чтобы понимать, что между двумя этими вопросами существует определенная взаимосвязь, но для политбюро или секретариата ЦК основной прицел – экономика, остальное, как говорили купцы в старое время, это – приклад. Поэтому внимательные наблюдатели извне фиксируют концентрацию интереса в среде советских руководителей только на экономических вопросах. Как писал представитель США на венской встрече, У. Зиммерман, «в перестройке, как она разъясняется господином Горбачевым в его книге под тем же названием, меня тревожит то, что о правах

человека говорится как о некоей «функции» экономической перестройки, а не наоборот» (цит. по «Русской мысли» от 26 февраля 1988).

Разобравшись в существовании обоих подходов, мы можем снова задать вопрос о том, один ли объект критикуют правозащитники и защитники начальства. Если представить себе общество как живой организм, то критики с многолетней (и оплаченной годами тюрем, а то и жизнями) традицией хотели бы найти точный диагноз основным заболеваниям и восстановить основные функции общества, т. е. его самостоятельность и закономерное осознание им многих альтернатив при выборе любого решения. Защитники начальства, напротив, желают добиться возрождения лишь некоторых функций – по своему выбору. Например, с точки зрения партийных реформаторов, хорошо бы добиться повышения производительности труда, но для этого они собираются использовать лишь тактические решения, оставляя неизменными стратегические моменты – систему землевладения, абсурдные преграды частной инициативе и т. д. Хорошо бы также повысить уровень бытовой нравственности и культуры в стране, но религия (единственный надежный гарант нравственной нормы) по-прежнему должна существовать лишь в форме обрядности, да и то в интуитивском варианте.

Другими словами, идеологи перестройки по-прежнему воспринимают общество как механический объект своих манипуляций, нечто вроде зомби, лишённого собственной воли и послушно выполняющего все пожелания владыки. Ну, забарахлил что-то зомби, ну, надо его малость подлечить, но не снимать же с него заклятие, чтобы он зажил по-своему. Честно говоря, я думаю, что многие из тех, кто сегодня «толкает» перестройку, в глубине души понимают, что реанимировать организм, лишив его функций коры головного мозга, немислимо. Либо регенерация целиком, либо сохранение статус-кво. Но, очевидно, мы наблюдаем своеобразную месть истории марксизму за его механическое и редукционистское понимание общества, за недостаток органической интуиции в этой доктрине.

Идея мщения возникает здесь не случайно: противники перестройки в её официальном понимании тоже догадываются о несовместимости диктатуры одной партии со свободой в секторе от 10 до 15 градусов. Понимают и отдают себе отчет

в безумной опасности всяких экспериментов со взрывоопасным веществом свободы в атмосфере однопартийной диктатуры. Понимают и готовят свое отмщение всем тем, кто заигрывал с идеей контролируемой на 90% свободы.

Изучать точку зрения начальства за пределами указанного противоречия неинтересно, поскольку дежурные идеологи и так излагают свою точку зрения в тысячах публикаций. Точка зрения общества представляет больший интерес, поскольку оно только начинает высказываться по всей проблематике своих взаимоотношений как со страной, так и с правящей партией. И еще многое предстоит сказать в этом монологе.

Я сознательно использую термин «монолог», поскольку бесконечные и бесплодные попытки общества и отдельных его членов вступить с начальством в диалог не увенчались даже малейшим успехом. И дело объясняется довольно просто. Для диалога необходимы два равноправных или соотносимых собеседника. Между тем, номенклатура, кроме самой себя, никого собеседником, равноправным субъектом истории не признает. Начальники вполне способны понимать язык силы, но это не имеет отношения к обмену идеями и информацией. В этой плоскости они могут нарушать любые обязательства (включая международные), поскольку между ними и всем остальным миром равенства нет. Партия – единственный подлинный субъект истории, все остальные – объекты ее деятельности. Начальники могут, не поперхнувшись, эксплуатировать чужие идеи, конструктивные решения, лозунги и программы. Все это дозволено, поскольку нет равенства между ними и создателями, генераторами данных идей. Сейчас легко заметить, что весь идейный багаж «перестройки» состоит из ворованных вещей, но от этого не покраснел еще ни один из официальных и неофициальных советских представителей.

Два круга проблем, упомянутых выше, составляют весь горизонт нынешней реформистской горячки. Однако выбор приоритетов может показать нам принципиальные расхождения в подходе номенклатуры к перестройке и в позиции общества относительно застарелых болезней страны. Если вытаскивать экономику (к которой все остальное – приложение), тогда последовательность решений и самый характер их будет один. Если же не обещать обществу молочных рек и кисель-

ных берегов, надо идти навстречу самым насущным его нуждам (Свобода! Свобода разобраться во всех болезнях – без ограничений, которые не позволяют рассматривать самые главные очаги поражения). Поставить необходимые диагнозы значит обрести доверие к самим себе и даже к партнеру в лице партии, если б партия на такое равноправие согласилась. Тогда общество сумеет выйти вперед со своей собственной инициативой, как духовной, так и экономической. Но тогда неизбежно встанет вопрос о законности и «полезности» решеток и намордников, которые, собственно, и составляют функцию номенклатуры. Еще встанет вопрос об ответственности за внешнеполитические авантюры советского режима. Кто должен отвечать за миллиарды, потраченные Бог весть где (когда чуть не вся страна живет впроголодь), за молодых, изувеченных физически и нравственно на фронте «интернационального долга» (когда дома у них столько долгов перед живыми и мертвыми, что вся перестроечная официальная печать этих долгов не перечислит)?

Тем не менее, в числе первоочередных задач – и тут официальные голоса нехотя соглашаются с интеллигентным энтузиастом – спасение нравственности хотя бы на бытовом уровне. С этой целью предпринята антиалкогольная кампания, и сюда же следует отнести разговор в прессе о проституции, наркомании, об отсутствии жизненных перспектив у молодой части населения страны. Другая тема, смежная с предыдущей, относится к проблеме коррупции. Здесь различимы несколько моментов. Во-первых, справедливо отмеченный рост массового воровства. Оно естественно в условиях насаждаемой сверху безнравственности и полунцикеты населения. Во-вторых, тема чиновничьей коррупции, которая очень удобна, когда надо сменить одно, сытое, поколение руководителей и посадить другое, голодное, на их места. В-третьих, тема всеобщего воровства позволяет несколько затушевать и растворить вопрос о специфически беззастенчивом и суетливом воровстве верхов. Но есть и четвертый момент: во многом коррупция социальных низов представляет собой аналогию разложения номенклатуры. Номенклатура, являясь фактически хозяином страны, ворует так, как будто они – халифы на час, а настоящий хозяин вот-вот явится из отлучки. Чтобы стать настоящим и подлинным хозяином, номенклатуре следует признать за собой не только право воровать, но и ответственность за все

решения. Однако сделать это номенклатура не может. И постепенно ее стиль в отношении к национальному продукту становится общим стилем всех. Тема эта не новая: когда только появилось сокращение ВСНХ, московские острословы сразу стали его расшифровывать – «воруй смело, нет хозяина!».

Соответственно, и население включается в подобное воровство, структурируя его – по стилю и по содержанию аналогично воровству номенклатуры. Различные группы организируются по мафиозному признаку и начинают грабить национальный продукт за счет всех остальных. Создается ситуация «войны всех против всех», чреватая бесконечными последствиями. И именно перспектива этих последствий становится самой сильной внутренней угрозой, как для общества, так и для номенклатуры. Только выходы из положения выглядят по-разному с разных точек зрения. Самая консервативная часть номенклатуры склоняется к «сильным» мерам и готовит исподволь новую волну террора. При этом расчет – на глухую поддержку наиболее отсталой части общества, где тоска по «порядку», по жесткой власти достаточно ощутима.

Наиболее «просвещенная» часть начальства предпочитает тактическое отступление: для них выход – пробудить в определенной степени общественную активность, вызвать на поверхность людей поспособней и почестней с тем, чтобы потом вернуть все на круги своя, опираясь уже на достигнутые экономические результаты.

Обе противостоящие друг другу силы, номенклатура и общество, пытаются навязать друг другу свой круг вопросов для дискуссии. Общество неофициальными своими голосами предлагает вопросы этики, экологии, религии, свободы. Номенклатура хотела бы заострить внимание общества на повышении эффективности производства, росте производительности труда – одним словом, на экономике. Весьма вероятно, что в дальнейшем им предстоит выработать своего рода компромисс: вы нам толику свободы, мы вам пойдем навстречу в области экономики. Если такие мысли бродят в головах обитателей СССР, то опасность катастрофы лишь возрастает. Потому что связь между феноменом советской экономики и советской политической системой куда глубже и серьезней, чем эти наивные соображения.

Поле экономики вообще стало едва ли не главным участком, где провал эксперимента в целом продемонстрирован с

удивительной последовательностью. Во-первых, практически все резервы социалистической экономики уже перепробованы в разных странах советского блока, и нигде не удалось добиться устойчивых положительных результатов. Легко представить себе, с каким скептицизмом смотрят на нынешние реформы соседи из Венгрии или Югославии, ведь они-то эти уроки уже проходили. Во-вторых, попытки достигнуть эффективности хозяйства без структурных изменений приводят к резкому падению уровня жизни, а это – в свою очередь – резко сужает социальную базу для тех, кто выступает с инициативой косметических реформ. В этом смысле судьба Хрущева могла бы многому научить его наследников: без массовой и реальной поддержки снизу, которая обеспечила бы реформаторам «плаучесть», их ждут дворцовые перевороты со всеми вытекающими последствиями.

Когда общество своими силами начинает размышлять о характере советской экономики, оно приходит к весьма серьезным выводам (и я бы на месте советских руководителей почаще заглядывал в неофициальную нынешнюю прессу – там много полезного, а зачастую государственный характер мышления ощущается в самиздатских материалах куда сильнее, нежели в передовицах советских газет). Например, в бюллетене «Гласность» (вып. 13 за 1987 г., цитирую по «Русской мысли» от 26 февраля 1988) опубликована запись выступления В. Селюнина о состоянии экономики в СССР*. Конспективно ход его мысли можно представить в следующем виде. Советская экономика, как прежде, так и теперь, ориентирована не на человека, но на самое себя. По-прежнему в процессе реформ перспективные задачи ставятся в расчете на опережающее развитие группы «А» за счет все более замедленного развития группы «Б». Экономические нужды поняты не как нужды живого общества (или индивидуумов), но как потребности сложившегося экономического организма, чьи болезни требуют с годами все больше лекарств и процедур.

Специфика ситуации, сложившейся в СССР на рубеже восьмидесятых, заключается в том, что экономика стала «спорной территорией» между номенклатурой и обществом.

* Прошло более полугодя, прежде чем В. Селюнин смог высказать те же мысли (нередко текстуально совпадающие) на страницах «Нового мира».

Произошло это потому, что под угрозой оказались какие-то из жизненно важных функций номенклатуры (прежде всего – внешнеполитическая экспансия, а также обеспечение военно-технологического паритета с соперниками). Чтобы выйти из прорыва, номенклатура идет на проверенное средство, которое можно условно называть «авралом». Но для такого общегосударственного аврала нужно вызвать энтузиазм миллионов людей. Этот энтузиазм необходимо спровоцировать. Опыт начального периода перестройки показывает, что в какой-то степени удается вызвать состояние близкое к энтузиазму у служилой интеллигенции, но она, одна и сама по себе, экономику изменить не в состоянии. Нужно активное участие миллионов. Для этого придется пожертвовать какими-то прерогативами самой номенклатуре. Авансы должны быть весьма ощутимыми, чтобы воздействовать на психологический настрой недоверчивых и пассивных трудящихся. Из этого инертного конгломерата послушных политически и экономически бесплодных единиц нужно создавать живой организм – рынок.

И тут сразу же становится ясно, что рынок не может функционировать без определенных гарантий стратегического порядка: общество, будучи политическим выражением рынка, станет решать вопросы ценообразования, выбора продукции для производства и для приобретения, вопросы использования прибыли и т. д. Общество в таком случае обязано будет лишь платить отступного государству в виде налогов. Директивные органы смогут воздействовать на рынок не прямым административным способом, как ныне, но лишь косвенно. Как же это отразится на позиции номенклатуры?

В «Литературной газете» (17 февраля, 1988) была напечатана статья А. Рубинова «Отдел повышения цен», посвященная отделу цен в Моссовете. Тема статьи – простенькая технология выкачивания денег из населения за счет беззастенчивого и бесконтрольного повышения цен. Показатели работы любого предприятия или ведомства резко подскакивают, если поднять (без особой шумихи) цену за проезд на транспорте, или за телефонный разговор, или выбросить на рынок новый якобы товар с повышенной ценой, убрав загодя прежние его разновидности. Негодующая статья А. Рубинова косвенным образом показывает, каких великих и неоченимых преимуществ лишается номенклатура, позволившая образование рыночной экономики. То, что описано на примере малень-

кого отдела в городском управлении, на примере нескольких служб, реально осуществляется в масштабах всей страны: номенклатура обладает властью мобилизовывать и бесконтрольно расходовать колоссальные средства. И от такого пирога она должна добровольно отказаться? Покамест общество в целом и все его члены по отдельности совершенно беззащитны перед номенклатурой в этой «обирательной» функции. Что станет делать номенклатура, если общество попробует активно защищаться? Дело в том, что пассивным образом население научилось сводить на нет любые мобилизующие начинания сверху: вы нам запрет на водку, мы вам самогонование, вы нам дефицит товаров, мы вам падение производительности труда, и т. д.

По материалам официальной и неофициальной советской прессы последних месяцев можно составить себе представление, как работают в этой «обирательной» функции нижние звенья номенклатуры. Выясняется, например, что спортивным звездам, запроданным для работы в капиталистических странах, выплачивают нищенское содержание, а их вполне ощутимые заработки уходят на оплату заграничных командировок для работников из аппарата Госкомитета по спорту (Владимир Дворцов. Сколько платить «звездам», когда они выступают за границей. — «Московские новости», 8 мая 1988). Но ведь не Госкомитет по спорту ввел чуть не семь десятилетий назад инструкцию о том, что советские граждане, работающие в международных организациях, в спорте, в искусстве и т. д., отдают львиную часть полученной валюты в соответствующие отделы посольств? Такую инструкцию ввело министерство финансов СССР (тогда наркомфин) при полной поддержке соответствующих партийных органов. В этом примере снова видно, что низшие звенья номенклатуры, попавшие сейчас под временный обстрел прессы, на самом деле копируют приемы и методы своего начальства, а еще точнее — и те, и другие работают по единому алгоритму с приблизительно одинаковыми (в плане убытков) результатами.

С какой, однако, стати сложившийся номенклатурный слой должен отдавать «за так» свои привилегии? Речь, естественно, идет не только о дачах и банях, но о привилегиях государственного масштаба. Поэтому, как только в обществе раздаются голоса, призывающие к самозащите, они становятся объектом шельмования и ругани (в лучшем случае), а то про-

сто запихают в дурдом бессрочно или в лагерь лет на семь. И очень показательно, что такие голоса даже в эпоху «гласности» мгновенно объявляются «подрывными», «провокаторскими», «агентурой Запада» (весь набор соответствующих ярлыков можно найти в трудах Н. Н. Яковлева под общим заглавием «ЦРУ против СССР»). За этими приемами стоит определенная извращенная логика: ЦРУ может выступать против СССР, за ним стоит вооруженная сила. Но внутри страны общество в принципе должно быть беззащитно перед любой инициативой сверху. Гласность или перестройка, а начальство не трожь! Оно само привыкло «трогать». Поэтому, пока пресса полна призывов к демократии и гласности, власть реально все больше концентрируется в одних руках, а процесс принятия решений на самом верху остается, как и прежде, тайной за семью печатями.

Каков будет результат в этой неравной борьбе между номенклатурой и обществом, предсказать не берусь. Прежде всего потому, что наши мысли более или менее выстраиваются в определенные рациональные схемы. Ситуация, которую мы исследуем, окрашена иррациональными тонами и уходит от анализа. Правда, в этом качестве можно обнаружить и определенные преимущества. По словам одного моего учителя, из дурацкого положения бывают только дурацкие выходы. Предсказать такой выход нельзя, зато и помешать ему бывает непросто.

ГРИБАНОВ Александр – род. в 1944 г. в Москве, окончил МГУ по специальности романская филология. Основные работы – по средневековой испанской литературе. Эмигрировал в США в 1987 г. Сейчас живет в Бостоне и преподает в университете штата Коннектикут испанский язык и латиноамериканскую литературу.

Иштван К е м е н и

ВЕНГЕРСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЛИХОРАДКА

Венгрия в мире считается страной экономических реформ. Тем не менее, если приглядеться повнимательнее и обратить внимание на то, сколько преобразований было проведено в действительности, обнаружится необоснованность этого мнения. С другой стороны – и это правда, – Венгрия в течение двух десятилетий была страной, где постоянно обсуждались экономические реформы. Во всех этих дебатах экономисты играли видную роль, и бесспорно, что их влияние было больше, чем в любой другой социалистической стране. Венгерские экономисты смогли дать всестороннюю и глубокую критику экономического устройства восточноевропейских стран. В своих предложениях они требовали полностью освободить экономику от политической зависимости и установить настоящую рыночную экономику, включая рынок капиталов. В действительности, они пошли гораздо дальше, чем Алек Нов в своей книге, вышедшей в 1983 году. Благодаря своим серьезным работам, они приобрели солидную репутацию среди интеллигенции, к тому же завязали диалог с властями и приняли активное участие в часто прерывающемся процессе реформ, который во времена австро-венгерской монархии называли *Zickzackkurs* или *Etappenpolitik*. Они основывались на идее, что если не говорить об основных принципах и конечных выводах, то можно добиться большего внимания – эта идея была широко распространена и в других группах интеллигенции.

Долгий период обсуждения реформы закончился полтора года назад – осенью 1986 года, когда экономисты опубликовали обширное коллективное исследование под названием «Преобразование и реформа». В этой работе они уже говорят о необходимости радикальной политической реформы – конституционное ограничение власти партии, установление пар-

ламентской системы, при которой парламент назначает правительство и осуществляет контроль за его действиями. В ней предлагается также, чтобы кандидаты на парламентских выборах могли выдвигать различные собственные программы, а депутаты имели право образовывать парламентские группы (что невозможно без многопартийности, которая, правда, прямо не упоминается) – эти предложения вызваны в значительной степени духом времени и тем фактом, что речь идет о вещах для страны совершенно новых.

1987 год был отмечен появлением многочисленных проектов конституции, разрабатываемых так же лихорадочно, как в США после принятия Декларации Независимости. В июньском номере самиздатского журнала «Бесело» была опубликована новая политическая программа, озаглавленная «Общественный договор». Уже сам выбор названия ясно указывает на ориентацию и источники вдохновения авторов этого труда, который, по словам Миклоша Тамаша Гашпара, предлагает читателю приятную смесь политических воззрений, традиционно дорогих оппозиции: мы встречаем здесь идеи либерального капитализма, социализма самоуправления, общественной политики социал-демократов, синдикалистской демократии, конституционализма, решительную защиту меньшинств и национальный пафос. И все же суть этой программы выражается в компромиссе: внешняя политика и вопросы обороны остаются в руках тех, кто представляет интересы СССР, то есть в ведении партии, а собственно народная власть, национальный суверенитет распространяется на все остальные сферы.

Проект, примиряющий власть партии и власть народа, воплощенную в парламентском режиме, был представлен ученым Иштваном Шлеттом в июльском номере партийного журнала «Таршедалми семле». Основная идея автора состоит в том, что можно примирить взаимоисключающие принципы – исходя из реальных интересов и предполагаемой мудрости обеих сторон и с учетом того обстоятельства, что отсутствие или разрыв подобного соглашения может привести к кризису, от которого не выиграет никто.

В начале сентября было составлено и передано депутатам Государственного собрания «Открытое письмо». Помимо редакторов самиздатских журналов «Бесело» и «Хирмондо» и экономистов-реформаторов, под ним поставили свои подписи

известные писатели, режиссеры, историки и социологи. В письме отмечалось ухудшение условий жизни в стране, снижение общего состояния здоровья народа, указывалось, что противостоять стремительному падению жизненного уровня способны только те, кто отдает все большую и большую часть своего свободного времени деятельности в области «теневой экономики», что все это ведет к снижению рождаемости и драматическому росту смертности, что эти пагубные тенденции, весьма вероятно, будут развиваться и приведут к печальным последствиям, что финансовые меры, эффект которых нельзя точно рассчитать, могут дезорганизовать рынок и нарушить производство, а также вызвать обнищание населения, не устранив, тем не менее, опасности неплатежеспособности. Авторы письма заявляют дальше, что причина кризиса – сама система, установившаяся между 1945 и 1949 гг., затем реставрированная в 1956 г. и распространившаяся в период 1958-61 гг. даже на сферу сельского хозяйства. «Следовательно, необходимо приступить к реформе общественных институтов», обеспечить право на создание свободных ассоциаций, уважение к принципу свободы слова, уничтожить бюрократические инстанции, держащие сегодня в руках культурную жизнь страны, демократизировать избирательное право, создать органы местного самоуправления и поднять значение индивидуальных свобод и гражданских прав.

Осенью прошлого года в журнале «Бесело» Антал Тот Карой выступил с призывом создать парламентскую партию. Я приведу несколько пунктов программы Кароя, бывшего редактора самиздатского журнала «Элленпонтон», выходившего в румынской Трансильвании:

– Во главе государства должен стоять президент, избранный путем всеобщего голосования; его полномочия будут определены парламентом после проведения новых всеобщих выборов.

– Правительство, находящееся под контролем парламента, должно стать главным руководящим органом страны, отняв эту роль у партийного аппарата.

– Президент Республики предлагает кандидатуру премьер-министра, учитывая мнения специальной парламентской комиссии.

– Правительство, сформированное премьер-министром, должно получить вотум доверия в парламенте.

– Парламент назначит специальную комиссию по разработке новой конституции, основанной на принципе народо-властия.

Прошлой осенью появилась и работа Михалья Бихари «Реформа и демократия». Автор – профессор юридического факультета, близкий к партийному руководству или, по крайней мере, к его реформаторскому крылу. В этой работе, помимо прочего, содержится проект конституции, но он очень незначительно отличается от того, о котором мы говорили выше. Гораздо более интересен анализ политической системы, представляющий из себя ее беспощадную критику. Бихари считает, что политическое руководство страны парализовано страхом: оно боится настоящих реформ, боится радикальных перемен и социального обновления, боится членов партии и беспартийных, чьи идеи расходятся с его собственными, боится своего аппарата, боится правдивого анализа исторического прошлого и настоящего, боится многообразия целей и альтернатив, так же, как и необходимости делать выбор. По причине всех этих страхов оно истерично, недоверчиво, агрессивно и неспособно разумно и объективно оценить сегодняшнюю ситуацию. Оно беззащитно перед лицом системы, которую возглавляет и которая вышла из его подчинения. Оно неспособно проводить в жизнь свои собственные решения. Оно парализовано борьбой за власть, но до последнего момента продолжает цепляться за свои бюрократические привилегии. Значительная часть членов партии потеряла доверие к руководству. Бихари убежден, что в любом случае реформаторы в конце концов придут к власти в Венгрии. Если партия не изменится, движение сторонников реформ будет развиваться наперекор партии. Беспартийные и члены партии, отвернувшиеся от нее, образуют новый политический централизм. Возникнет острый общественный конфликт между партийной властью и обществом. Этот конфликт может привести к диктатуре аппарата, но может закончиться и победой реформаторского движения.

Общественный, культурный и политический кризис – главная тема январского номера ежемесячного журнала «Можго вилаг». Опубликованный в журнале обзор печати, рисующий экономическую, социальную, политическую и культурную ситуацию в стране, дает ужасающую картину. В комментарии, посвященном той части обзора, которая ка-

сается вопросов культуры, Иван Витаньи обращает внимание читателей на кризис внутри партии, подтверждая таким образом выводы Бихари. Доверие к партии и государству и раньше не было явлением широко распространенным, но теперь кризисом доверия охвачен целый социальный слой, к тому же довольно значительный, который до этого поддерживал партию.

30 января Форум венгерских демократов организовал в будапештском театре «Юрта» встречу, на которой обсуждались проблемы парламентарной демократии. 500 участников этой встречи представляли почти все общественные и идеологические группировки страны. После обсуждения, длившегося весь день, они приняли декларацию, в которой указывается: «Не может быть развития общества, не может быть будущего у страны, не может быть личных и гражданских свобод, прав меньшинств, гарантий укрепления этических и духовных ценностей и экономического прогресса, если не будут созданы закрепленные законом условия для развития демократии. Следовательно, необходимо ликвидировать бесконтрольную монополию власти, а также уничтожить саму возможность таких случаев, когда отдельный человек или организация ставит себя выше закона». Участники единогласно заявили, что стране необходим демократически избранный парламент, который бы действовал на основе гласности и нес ответственность только перед своими избирателями. «Государственное Собрание должно разработать новый демократический закон о проведении выборов; парламент, избранный в соответствии с этим законом, должен разработать новую конституцию».

Как мы узнали из французских газет, 15 марта в Будапеште состоялась десяти тысячная демонстрация.

Все это дает основания утверждать, что Венгрия из страны разговоров о реформах превратилась в страну, охваченную политическим возбуждением.

КЕМЕНИ Иштван – родился в 1925 году в г. Капошвар, в Венгрии. С 1944 года участвовал в антифашистском Сопротивлении. В 1950 году закончил философский факультет Будапештского университета. С 1957 по 1959 год находился в заключении за «контрреволюционную» деятельность. В 1963-76 гг. – Директор национальных исследований. С 1977 года живет во Франции. Научный работник Института социальных наук.

РУССКИЕ КНИГИ

- КЛАССИКИ
- САМИЗДАТ
- ЛИТЕРАТУРА ЗА РУБЕЖОМ
- РЕДКИЕ ПЕРЕИЗДАНИЯ
- СЛАВИСТИКА

Представительство журнала

«КОНТИНЕНТ»

На складе более 3000 наименований книг

Вышел из печати наш новый большой каталог 1985/86.
Высылаем бесплатно по первому требованию заказчика.

Subscription inquiries
should be addressed to



A. Neimanis • Buchvertrieb

8 München 40 Bauerstr. 28 • Germany

Запад – Восток

19-21 ноября 1987 года в Париже состоялся Международный форум «Литература без границ», организованный журналом «Континент», Интернационалом Сопротивления и французским Пен-Клубом под покровительством Государственного секретаря по Правам человека Франции Клода Малюре. Ниже мы публикуем подборку выступлений французских участников этого форума.

Жан-Франсуа Р е в е л ь

ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ И ВЛАСТЬ

В большинстве стран мира политическая власть или авторитарна, или тоталитарна, или архаична и еще не дошла в своем развитии до демократии. И права у интеллигенции лишь те, что даны властью. Разумеется, в этих странах как сам принцип, так и осуществление интеллектуальной свободы составляют цель деятельности тех, кто избрал своей профессией писать, мыслить, творить.

Напротив, в меньшей части стран интеллигенция свободна, и перед ней стоит проблема использования этой свободы. В этом отношении в странах, где культура свободна, может быть, чрезмерна тенденция исходить из посылки абсолютной непогрешимости и нравственности интеллигентов (кстати, каких именно?) и априори считать, что власть всегда неправа.

Меня всегда удивляет утверждение, что роль интеллигенции (так же, как и прессы) – при любых обстоятельствах быть противовесом власти.

Это понятие естественно присуще демократии – системе, основанной на разделении властей и, что важнее, государства и гражданского общества. Однако систематическое противостояние любым институтам власти предполагает, что они всегда неправы, что было бы воистину печально при демократии, где, в принципе, они представляют народ. Это значило бы, что народ всегда ошибается.

Многие интеллигенты демократических стран склонны зарабатывать себе дешевую славу беспрестанною борьбой с властями (которые не очень-то опасны и никогда не портят им жизнь основательно) и не берут на себя ответственности поисков и оглашения правды. Когда правда неблагоприятна для властей, ее, конечно, надо высказывать и бороться с властями. Но, когда те не слишком плохо выполняют свои задачи, об этом тоже надо говорить, даже если элегантней продолжать бороться с ними. Кстати, в большинстве случаев проблемы слишком сложны для разделения на абсолютную правоту и неправоту, на черное и белое.

Таким образом, роль интеллигенции – служить правде, а не проявлять систематическую враждебность к властям, которые в нетоталитарных государствах представляют народ и, в частности, самих интеллигентов, которые, если мне не изменяет память, тоже располагают правом голоса. К тому же, в демократических странах власть проявляется не только в политической форме. Сама по себе интеллигенция обладает властью, зачастую не менее грозной и влиятельной, чем власть политиков, и пользуется ею не менее несправедливо.

Мы знаем, что «умственный класс» проявляет такую же склонность к номенклатурщине и монополизации, как и «политический класс». Некоторые теоретики (например, Ян Махайский, описавший в начале века «социализм интеллигентов») даже построили теорию, согласно которой интеллигенция иногда склонна предпочесть сильное государство за его синекуры, вотчины и привилегии, как то было при абсолютной монархии. В либеральном же обществе интеллигент, подобно прочим, подчиняется законам рынка; получаемые посты и привилегии куда менее прибыльны и многочисленны, чем в авторитарных и тоталитарных государствах.

Мы хорошо знаем, что послужной список интеллигенции не всегда блистателен. Много книг посвящено выступлениям интеллигентов на стороне как фашистского или нацистского, так и сталинского тоталитаризма. Нередкая трезвость и ясность бывших коммунистов в борьбе с тоталитарным коммунизмом показывает, что ни ум, ни благие намерения не охраняют интеллигента от ошибок больше, чем его сограждан.

Более того, чем человек умнее, тем более аргументировано его заблуждение, тем труднее от него избавиться, так

как его обоснования богаче, полнее и завершеннее. В распоряжении интеллигента – целый философский и словесный арсенал, которым не обладают люди других профессий, и, следовательно, он может обосновать свою позицию намного сильнее, убедительнее, как для себя, так и для других.

Многочисленны примеры заблуждений крупных умов и талантов. В борьбе против ядерного оружия Гюнтер Грасс призывает немецкий народ «оказать сопротивление американскому гегемонизму перед лицом угрозы геноцида, ибо именно так можно компенсировать упущенную возможность сопротивления в 1933 году, когда был возведен предстоящий геноцид». Если я правильно понимаю эту цитату, из нее следует, что для Грасса гитлеровский нацизм и Северо-Атлантический Союз – явления одного порядка. Вот пример разительной безответственности, показывающий, что в основе труда интеллигенции вовсе не лежит некая неотторжимая суть, делающая интеллигентов прозорливее прочих в сражении за правду.

Я хотел бы добавить еще один пример, взятый из вышедшей недавно прекрасной книги Сиднея Хука «Out of Step». Он ссылается там на свою обширную послевоенную переписку с Альбертом Эйнштейном и на свои совершенно бесплодные усилия склонить великого физика к выступлению против сталинизма, против концлагерей в Советском Союзе. Хук просит Эйнштейна отмежеваться от заявлений Фредерика Жолио-Кюри, в то время безоговорочно поддерживавшего сталинизм, на что Эйнштейн отвечает, что есть задачи поважнее.

В этом случае речь идет о великом гении, умственные способности которого в других областях никто не может поставить под сомнение. Однако он их теряет перед лицом необходимости элементарного анализа международного политического положения. Начиная с этого момента и вплоть до смерти роль Эйнштейна, его влияние идут в направлении, которое скорее сделало тоталитаризм сталинского типа приемлемым.

Способность некоторых бывших коммунистов признать: «Я ошибался», – дала науке, литературе и истории коммунизма наиболее жизненные элементы. Но такой подход не универсален. Бывают коммунисты не менее упрямые, чем нацисты. Книга, где собраны постыдные исповеди главных деятелей польского коммунизма времен Берута*, вскрывает ошелом-

* «Они» Тересы Торанской. – П е р.

ляющий факт: большинство его ближайших сотрудников, ответственных за польскую экономическую политику и культурное подавление в конце 40-х – начале 50-х годов, упорствует в своих заблуждениях. Эти люди говорят: «Если бы всё надо было начинать с начала, мы бы всё повторили. Мы были правы, и именно такова была правильная политика».

Интеллекту, с одной стороны, в высшей степени свойственна способность сбора и анализа информации, а с другой – способность влиять на власти – прямо и через общественное мнение. Такая огромная ответственность должна заставить интеллекта понять, что он не может заявлять что угодно, использовать слово как простой инструмент пропаганды, подбирая удобные факты и доказательства; что его слова могут привести к последствиям.

Так же, как и политик, интеллигент в демократической стране не должен злоупотреблять своей властью. Политическая власть при демократии ограничена институциональными и конституционными рамками, но, к несчастью, это не распространяется на власть интеллигенции

При режимах, лишенных свободы, наш долг ясно очерчен. Он заключается в борьбе за свободу.

В свободных обществах долг интеллекта гораздо сложнее: как использовать эту свободу, каким критериям следовать, чтобы не злоупотребить ни свободой, ни доверием сограждан.

Образ интеллекта – вождя и неизбежного противовеса власти – должен впредь быть связан с гораздо более требовательной профессиональной этикой. Мы больше не можем предаваться весьма распространенной склонности попросту почитать на наших лаврах, реальных или предполагаемых. Кредит «дела Дрейфуса» исчерпан. С тех пор заслушано много других дел, в которых роль интеллигенции была отнюдь не столь блистательна.

Сложность современного мира и развитие «империи распространения информации», умножающее влияние интеллигенции, обязывают к драконовскому пересмотру ее роли и большей требовательности к тому, как она несет свою интеллектуальную ответственность.

ХАЙДЕГГЕР И СОЛЖЕНИЦЫН

Это большая тема и это очень маленькая тема. Речь идет о Европе, о которой Пьер Декс сказал, что она одновременно существует и не существует – сегодня она обсуждает свое существование; ее образ существования – не быть в согласии с самой собой и вести споры, достаточно глубокие, чтобы интересовать весь мир.

Мне хотелось бы высказаться по поводу молчаливого спора о «душе Европы» и «ответственности европейца». По-моему, этот спор идет между Хайдеггером и Солженицыным.

Я хотел бы отметить две вещи, чтобы показать, где не идет этот спор. Он не идет в области идей, тем, мнений.

Мнения Хайдеггера и Солженицына могут показаться очень схожими. Оба думают, например, что Бог единственное прибежище от сегодняшних бедствий.

Для Солженицына (вначале он не был верующим – он им стал) Бог есть призыв к ответственности. Со своей стороны, Хайдеггер (он был верующим вначале, в конце он утратил веру) говорит нам: «Только Бог мог бы спасти нас от катастрофы». Для него, и это мало кому известно, Бог есть урок ответственности. Однако оба обращаются к Богу, к глубоким корням своих стран – Германии романтиков, России, какой ее показывал уже Достоевский.

Есть и аналогии – критика Запада, антиамериканизм. Но это мотивы поверхностные. Они знаменуют присутствие хрестоматийной европейской культуры.

Есть и различия, столь же поверхностные. Это различия в существовании.

У Солженицына и Хайдеггера есть опыт притяжения тоталитарной диктатуры. Однако Солженицын принял ее совсем молодым человеком, подростком. Он был сталинцем. Хайдеггер уже сложившимся человеком, написавшим свои основные произведения, принял национал-социалистическую революцию и призвал голосовать за Гитлера и поддерживать его. Следовательно, существование их было весьма различно. Ну, ладно. Есть люди более или менее прозорливые, более или менее

храбрые, и это отличает Солженицына от Хайдеггера в экзистенциальном плане.

Но в плане, который нас глубоко затрагивает, в плане мысли, речь идет вовсе не о разнице мнений или поведения. Речь идет о различиях мысли – различиях духовной стратегии.

Я говорю, что Хайдеггер – это урок безответственности, и что Солженицын – урок ответственности. Я говорю, что Хайдеггер не есть философ, и что Солженицын как раз философ.

Солженицын говорит нам: «Я был сталинцем, это моя неправота, это угрызения моей совести, это мое раскаяние, но эта ошибка открывает мне сознание ГУЛага. Я могу о нем говорить, могу написать „Архипелаг ГУЛаг“, потому что я вопрошаю себя, каким я был, свой вкус к погоням, вкус к власти, вкус к командованию людьми, свое почтение к знанию. Я вопрошаю сталинизм в себе».

Хайдеггеру следовало бы сказать: «Я был гитлеровцем, в этом моя политическая неправота, но в этом и мое философское богатство, потому что, будучи нацистом, гитлеровцем, как любой рядовой немец, я способен, исходя из этой ошибки, понять „Архипелаг нацизма“». Он этого не сказал.

Вот коренное различие. И из него проистекает другое: Хайдеггер приписывает всю ответственность за катастрофу современной технике, понятой как непреодолимый рок. Он умывает руки, он все перекладывает на внешнюю силу – на судьбу развития техники, на участь, которую несет воля к власти. Что делает Солженицын? Прямо противоположное. Он говорит: «Ответственны мы», не техника, не злой гений, не дьявол – все мы ответственны, мы все несем искру, и мы все за нее отвечаем, и если мы даем ей угаснуть, наступает Архипелаг ГУЛаг.

Мне кажется, что эти две позиции делят сегодня европейскую душу: безответственность / ответственность, Хайдеггер / Солженицын, священный союз экологов против технической современности или же союз против всех диктатур, «солидарность потрясенных» (Паточка).

Сократ начал с «Познай самого себя», то есть познай в себе корни ужасов вне тебя. Познай в себе корни ошибок, совершаемых вне тебя, и именно в этом, вопреки Университету, Солженицын – настоящий философ.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СОВЕТСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ СЕГОДНЯ

Я хотел бы немного поразмыслить о судьбе русской интеллигенции. В 50-х годах прошлого века в русском обществе сложился новый слой. Слой без определенной сущности, находившийся в ее идеях, получаемых со всей Европы и накладывавшихся на русскую основу. Эта интеллигенция тут же начала борьбу с государством, которое она хотела разрушить, и гражданским обществом, которое она хотела предать смерти.

В течение всего XIX века интеллигенция боролась против русского государства и в высшей степени его ослабила и воевала с гражданским обществом, от которого она хотела оторвать народные массы и которым сама она так и не была поглощена полностью.

В 1917 году эта интеллигенция при поддержке других классов в феврале разрушила государство, а в октябре – гражданское общество. Однако к власти пришла не она. Власть захватила сформировавшаяся внутри нее идеологическая партия с тоталитарным призывом, которая ставила себе целью подчинить все классы и группы общества, в том числе и интеллигенцию.

Что же стало с русской интеллигенцией?

Одни были ликвидированы физически – голодом, сыпняком и расстрелами. Достаточно вспомнить Гумилева.

Другие были изгнаны из России и обогатили жизнь Европы и Америки. Но большая часть попала в кабалу. Прежде всего мелкая, никому не известная и не имевшая возможности эмигрировать интеллигенция – учителя, земские врачи и т. д. Этот научный плебс пошел на службу советскому государству и был вынужден подчиниться его требованиям.

Остальные были куплены необходимостью делать карьеру, спастись от голода и нищеты, свирепствовавших по всей России. Они нашли прибежище в советских организациях типа Союза художников или Союза писателей, где началось их приручение. Частные пристрастия тому способствовали. Для одних это был русский национализм, ведь, в конечном счете,

он продолжал господствовать повсюду, куда доходила царская империя. Для других – реванш за антисемитизм, ломавший их жизнь и жизнь их предков в течение целого века. Многие верили в социализм, в экономическое развитие России, в успех пятилеток. Некоторые надеялись на окончательный возврат к русским ценностям. Интеллигенцию объединил под своим крылом Максим Горький – верный сталинский Мастер культуры, Инженер инженеров человеческих душ.

Однако посреди этой моральной катастрофы русская интеллигенция сопротивлялась, и нужно сказать несколько слов о мартирологе тел, о мартирологе души и духа.

Среди физически погибших упомянем хотя бы Гумилева, Исаака Бабеля, Осипа Мандельштама и еще сотни писателей – еврейских, украинских, грузинских, армянских, узбекских, татарских, русских. Их просто убили. Но не менее страшным, чем физическое уничтожение, было уничтожение нравственного достоинства, разрушение души.

Многие ли выжили и преуспели в этой обесчещенной жизни? Назову несколько имен: Максим Горький, Алексей Толстой, Илья Эренбург, а за ними все те бесчисленные официальные писатели, которые, по выражению Солженицына, жили по лжи. Эти инженеры человеческих душ сначала разрушали свои души, чтобы затем разрушать души читателей. И все-таки посреди этой катастрофы оставалась малая часть русской интеллигенции, которая играла свою роль, пыталась понять и познать.

Русская литература XIX века очень важна для Европы, но, в конце концов, она лишь крайняя ветвь европейской литературы; советская же литература (я говорю о подлинной литературе) уникальна, поскольку ей пришлось с голыми руками, и притом впервые, встретиться с монстром, какого до сих пор не встречала ни одна другая литература и о котором ни одна другая литература, исключая Орвелла, нескольких поляков и румын, не сказала достойно.

Два великих поколения русской интеллигенции как раз пытались познать зверя и взять его за рога. Поколение первопроходцев 20-х и 30-х годов, еще плохо понимавшее и сумевшее выразить главным образом острую боль: Булгаков, Замятин, Платонов. И тридцать лет спустя, в 60-е годы, – великое поколение, пробившее путь к Западу и всех нас более или менее освободившее, – поколение Солженицына, Ерофеева, Буков-

ского, Шаламова, Зиновьева, тех, что сумели увидеть суть вещей.

Каково же положение сегодня?

В эмиграции, куда попала часть этого великого поколения, Солженицын, Синявский, Максимов, Буковский, Зиновьев согласны лишь по некоторым фундаментальным вопросам. Внутри СССР, как отметил Амальрик в своем первом эссе еще лет двадцать назад, можно обнаружить все течения русской мысли прошлого века. Есть неославянофилы, неонационалисты и даже неочерносотенцы общества «Память». Религиозное возрождение с его величием и его недоразумениями, демократическое движение либералов и западников, есть даже более или менее социалистические течения, а также неоленинцы и неосталинцы. И это нормально – с чего бы интеллигенции быть единоголосной? Любая возрождающаяся жизнь являет нам ту же картину разнообразия, какая присуща жизни в ее развитии.

Какова нынче политика Горбачева по отношению к интеллигенции?

Внутри страны при сознании невозможности реальных действий предлагается верить в реформы. В Советском Союзе, по-видимому, уже понятно, что *гласность*, *перестройка*, *демократизация* обозначают просто линию коммунистической партии, линию Горбачева и ничего больше.

За рубежом Горбачев пытается продать новый облик своей страны, чтобы соблазнить Европу, пока не удастся ее покорить, и соблазнить Америку, пока не удастся изолировать ее от друзей, союзников, от Европы. Сейчас у нас фаза оболыщения, предшествующая фазе запугивания.

Русской интеллигенции Горбачев просто и открыто предложил продаться. У этой интеллигенции, может быть, уже не тот уровень и не те ресурсы, что у интеллигенции хрущевских времен, когда старый мир был еще не так далек, ведь это было уже так давно. Нынешняя интеллигенция выжила в течение долгих брежневских лет. Нуждаясь в искренних лгунах, способных убеждать, и в псевдооппозиции, способной заменить отсутствующую политическую жизнь, Горбачев пытается соблазнить всю русскую интеллигенцию разом. Он, вероятно, думает, что при инертности советского общества интеллигенция уже не так опасна, как в 30-е или 60-е годы, что для нее

можно устроить эдакий парк культуры и делать в нем уступки без опасности для режима.

Каковы приемы этого соблазна?

Прежде всего, символы: издание или переиздание произведений-фетишей, сочинений Пастернака, утративших свою резкость, стихов Гумилева; разрешение на восстановление нескольких церквей, нескольких монастырей с их трогательными куполами. Жизнь писателей тоже улучшается. Как всегда, от пряника недалеко и кнут: интеллигенции предлагается опека государства от возможного разгула страстей народных масс против этих привилегированных слоев.

Эта политика весьма активна по отношению к советским евреям. Государство расшевеливает болото народного антисемитизма, исподтишка направляемого им же самим, и тут же предлагает себя в роли спасательного круга, единственно способного обеспечить евреям более или менее мирное житье.

Этот соблазн будет использовать идеологически уязвимые точки интеллигенции: национализм, патриотизм и столь частую для русской интеллигенции инстинктивную ненависть к беспорядкам в страхе перед народной пучиной. А также тщеславие, свойственное любой интеллигенции, убеждающее интеллигента в том, что он очень важен, несет ответственность общегосударственного масштаба, ответственность перед народом, перед родиной, перед историей и перед человечеством.

Как сопротивляться этому соблазну? Много говорится о нравственном долге, интеллигентов призывают (интеллигенты сами себя призывают!) быть честными и, как говорит Солженицын, жить не по лжи. Мне кажется, что к этим нравственным обязанностям надо добавить скромность и, что очень важно, долг понимания.

Возьмем, к примеру, Солженицына. Этот великий человек занялся колоссальным исследованием прошлого России. Ну почему же он не оценил или просто игнорировал работу западных ученых? Почему рассорился с американским научным истеблишментом, который все-таки немало сделал для познания России? Почему допускал оплошности и дал повод к кампании дезинформации, которая, особенно в Соединенных Штатах, дорого ему обошлась?

Мой вывод: недостаточно быть против советской системы. Эта система не выносит понимания, а страдать еще не значит понимать. Опыт страдания не равнозначен опыту познания.

Меня восхищает долгая просветительная работа польской интеллигенции. Вспышка «Солидарности» не принесла всех тех плодов, на которые можно было надеяться, именно потому, что не доставало той долгой работы по познанию, анализу коммунизма, которая необходима и которую посредством гигантского самиздата, более или менее нелегальных университетов стремится провести польская интеллигенция.

Ложь будет побеждена не *правдой** в русском смысле этого слова, то есть правдой-справедливостью, а *истиной**, то есть позитивной правдой.

От интеллигенции ждут способности к анализу, и эта аналитическая способность будет решающей в борьбе. Следовательно, если у интеллигенции должен быть девиз, то это просто: «За работу».

Оливье Т о д д

ВЬЕТНАМ: МИФЫ

Сартр сказал однажды, что Вьетнам – совесть мира. Это заявление было и двусмысленным, и ложным. Сегодня ясно, что Вьетнам – нечистая совесть мира.

Во Вьетнаме писатели больше не имеют права писать, если они не плывут вместе со всеми по течению соцреализма, который благоденствует вплоть до того, что заседает в высших органах партии. И среди писателей в изгнании вьетнамцы – из самых несчастных и изолированных. На родине у них нет возможности ни свободно публиковаться, ни свободно говорить. Но даже в изгнании, во вьетнамской диаспоре, они работают в исключительно тяжелых условиях. С одной стороны, потому что они рассеяны, с другой – потому что не столь велик круг их читателей, даже в США, где вьетнамцев относительно много.

* По-русски в тексте.

Редкому вьетнамскому писателю, скажем, прозаику, удается пробиться. Сначала напечататься, затем подвергнуться разбору критики и, наконец, заставить себя услышать и понять.

Два примера приходят на ум: Дуен Ан, просидевший долгие годы в тюрьме (его освободили благодаря ПЕН-Клубу) и напечатавший год назад впервые на Западе, в Париже, очень интересный, очень трогательный роман о любви советского гражданина и вьетнамки. Я также думаю о Три Ане, который напечатал полтора года назад в США роман «Blue Dragon – White Tiger», прошедший едва замеченным.

Вьетнамские писатели в изгнании невероятно обескуражены. Больше, чем русские, чехи, может быть, даже больше, чем болгары. Но они до конца не теряют надежды. Для меня одной из самых тягостных встреч за последние два года была встреча с Май Тао, весьма известным в США писателем. Он сказал мне то, что повторяют многие из его собратьев: «Я больше не могу писать, потому что потерял свои корни, потому что я больше не у себя дома и, – добавил он, – я слишком стар. Я не такой, как большинство наших молодых друзей, которые надеются и думают еще когда-нибудь вернуться на родную землю, на землю их работы».

И что бы ни говорили о *гласности*, которая будто бы неким чудом явилась во Вьетнаме, интересная литература в стране выходит только в форме самиздата. Она существует и за рубежом, но недостаточно распространяется.

Напротив, обильная литература занимается Вьетнамом, но это не вьетнамская литература. Это прежде всего англоязычная литература Соединенных Штатов. Произведения иностранцев, затрагивающие иностранцев, редко когда вьетнамцев. Имеется чрезвычайное количество опубликованных документов, интервью, романов, среди которых встречаются высококачественные, как, например, «Despatches» Майкла Херра, но они не выходят за грань того, что я назвал бы мифами.

Я думаю, что все еще нужно развеивать мифы, с которыми мы сталкиваемся каждый день. Например, что эта война была войной пролетарско-деревенского «Давида» против «Голиафа», самой мощной индустриальной державы мира.

Говорят тоже, что это была военная победа северных вьетнамцев над американцами и южными вьетнамцами. Нам

прекрасно известно, что это была прежде всего политическая и дипломатическая победа. Эту войну называют также гражданской, каковой она не была. Говорят, что южные вьетнамцы не воевали, – мы знаем, что это ложь.

Нам рассказывают, что пацифисты укоротили войну, что Юг был намного более коррумпирован, чем Север, но и то и другое – неправда. Чего мы не можем знать – это того, что говорят и пишут по этому поводу вьетнамцы, южные вьетнамцы, что они пытаются сказать, но не в силах полностью высказать ни своим соотечественникам, ни в переводах.

Есть еще одно средство выражения, но оно, как мне кажется, часто используется негативно – это кино. Действительно, кинокамера – одно из новых перьев современного мира, и она много говорит о Вьетнаме, но опять-таки мифологично. Было время не вьетнамского, американского кино, посвященного Вьетнаму, – время фильмов типа «Apocalypse Now», которые, желая дать свободу воображению, не передавали реальности. В то же время вьетнамские режиссеры делали такие фильмы, как «Boat people», но их распространение было связано с большими трудностями.

А потом начался очень странный цикл. Цикл реванша, тоже мифического и фантастического, как в «Rambo II». В какой-то момент мы поверили, что авторы, «пишущие» при помощи камеры, смогут хотя бы частично восстановить реальность войны, которая еще не вся реальность Вьетнама. Но и это была война глазами американцев. Я думаю о фильме «Platoon» – это, по-моему честный и приемлемый фильм, показавший жизнь, кого называли «grounds» – американских бойцов, то есть одного на двадцать-тридцать американских солдат во Вьетнаме.

Сейчас мы наблюдаем чрезвычайно любопытный феномен деформации и ремифологизации. Я лично в полном негодовании от приема, который получил во Франции фильм «Full Metall Jacket». Я говорю не об эстетике этого фильма, а о его политическом содержании: снятый в 1987 году фильм, показывающий южных вьетнамцев в виде двух шлюх и одного солдата-сутенера, – это интеллектуально постыдное упражнение. И меня удивляет, что критики, которые считаются интеллигентами, не отметили этого.

Можно долго рассуждать о судьбе вьетнамской литературы. Как мы знаем, писателей, зарабатывающих на жизнь

своим пером, мало. Но я думаю, что во всем мире сегодня нет ни одного такого вьетнамского писателя. Мы должны постараться приложить свои силы к составлению и изданию антологий лучших произведений, которые показали бы во всем мире, что вьетнамская литература еще жива.

Чтобы показать вьетнамскую действительность, в эти антологии следует включать свидетельства, несущие, независимо от намерений автора, историческое, эмоциональное или даже политическое значение.

Вот вам пример. В апреле 1975 года, незадолго до падения Пном Пеня, посол Джон Дин, прежде чем подхватить подмышку свой флаг и сесть на вертолет, предложил некоторому числу камбоджийских руководителей улететь с ним. Большинство отказалось, и один из них, принц Сирик Матак, написал письмо, может быть, не самым правильным английским языком. Этот совершенно потрясающий документ был бы уместен в подобной аналогии рядом со стихами, рассказами и прочими документами.

Вот что говорил Сирик Матак послу Дину:

«Ваше Превосходительство и Дорогой Друг,

Я Вас искренне благодарю за Ваше письмо и предложение вывезти нас на свободу. К сожалению, я не могу покинуть страну таким трусливым образом. Что касается Вас и Вашей страны, я никогда бы не поверил, что Вы покинете народ, выбравший свободу. Вы отказали нам в Вашей защите, мы ничего не можем с этим поделать. Вы уходите, и я желаю Вам и Вашей стране найти счастье под небом. Но, заметьте, – если я умру здесь, в моей стране, которую я так люблю, – все мы рождаемся и все мы должны умереть, я совершил одну ошибку – поверить Вам и поверить американцам. Примите, Ваше Превосходительство, мой Дорогой Друг, мои верные и дружеские чувства».

Я думаю, что мы, те и другие, из дружбы и верности, из эстетических и политических убеждений, должны помогать вьетнамским писателям, рассеянными по всему миру.

НА «ЛЕСТНИЧНОЙ ПЛОЩАДКЕ» ФОРУМА

«Ум на лестничной площадке» не так уж плох. Лучше слушается. Последняя реплика приобретает вес и объем. Вот, собственно говоря, чего бы они не стоили, размышления, которые наваял мне наш Парижский форум на «лестничной площадке» своего закрытия.

Многие из выступавших здесь, самых блистательных и самых ученых, были когда-то коммунистами или попутчиками компартии. Видимо, стремясь показать, как далеко от этого они ушли, и яснее осудить свое прошлое, они сегодня делают вид, что уже не понимают, чем они тогда руководствовались. Я не уверен, что этим они оказывают нам добрую услугу. Любой анахронизм мне кажется угрозой, любое ложное суждение – опасностью. Нет, не в 1917 году часть человечества сошла с ума. Это произошло за несколько лет до этого – в 1914-м. Если кто-нибудь в этом сомневается, пусть съездит в Верден, где полегло около миллиона молодых людей, в среднем не старше двадцати лет. Они, как французы, так и немцы, являют собой самое прекрасное, самое щедрое, самые цивилизованное молодое поколение мировой истории. В аду окопов и газовых атак – как не мечтать о лучшем мире? Надежда или отчаяние, поднявшие стольких людей на разрушение общества, провал которого ознаменовался трупами, покрывшими всю Европу, привели к куда большей резне, к ряду беспрецедентных бедствий. У истоков катастроф 1917 года стояли правящие лица и классы Парижа, Берлина и Санкт-Петербурга. Эту прописную истину нельзя забывать хотя бы во избежание повторения катастрофы.

Отсюда следует второе замечание. Немало ораторов, прежде «левых», получили теперь ярлык правых и не в силах этого перенести. Они жалуются, что к ним не относятся с прежней симпатией, что они окружены подозрительностью, в то время как левых одевают любовью и с готовностью признают за ними смягчающие обстоятельства, несмотря на преступления, совершенные ими или при их соучастии. Как не видеть, что понятие «левых» соответствует в каждом из нас порыву великодушия и доверия, «правых» – осторожности и мудрости? Будем горды первым и смиримся со вторым. Левые

симпатичны, правые мудры. Но и те и другие проявляют себя слабо.

Может быть, эта ностальгия... – они сошли с ума (однако я был среди них)... явилась причиной того набора ложных вопросов, на которых спотыкались ораторы. Например, искренность Горбачева. По-моему, Горбачев – самый искренний, самый верный, самый горячий сторонник... Горбачева. В этом он похож на всякого, кто стоит у власти. Но Горбачев отождествил себя – да и как может быть иначе? – с определенной политикой. По отношению к ней вопрос об его искренности тем более не стоит. Эту политику он проводит. От нее зависит его судьба. Пока она удается или выглядит удачной, он будет верен ей, как никто. Если она явно провалится, он приложит все силы, чтобы соврать, смошенничать, вывернуться. Однако деформации, которым можно подвергать политику, небеспредельны. В один прекрасный день она сломится. Тогда придется заменить политику и, ради этого, заменить Горбачева – найти другого, столь же искреннего, столь же отождествившегося с навязанной обстоятельствами альтернативой.

Следовательно, задача состоит только в том, чтобы понять, в чем заключается эта политика. Ларчик, кажется, открывается просто. Речь идет о том, чтобы найти и применить средства спасения страны и определенного класса общества. Значит, они в кризисе, и политика должна проводиться с пылом операции по общественному спасению. Как всегда и всюду, интересы правящего класса будут сочтены интересами страны – что хорошо для него, то хорошо и для нее. Однако этот класс чувствует себя в опасности. Несмотря на передышку, которую ему предоставили западные простаки или лакеи, его идеологическое поражение очевидно. Марксистско-ленинская модель котируется нынче лишь на высоких плоскогорьях Анд да на островах Карибского архипелага, и то в таком искаженном виде, что советские правящие круги вряд ли примут ее без оговорок. Тем более, что эти полупоследователи стоят дорого, а страна разорена. Уровень жизни в Советском Союзе один из самых низких среди развитых стран. Да и вообще можно задаться вопросом, место ли СССР среди этих стран и если да, то надолго ли еще... В одном решающем пункте класс, стоящий у власти, ни на йоту не ослаблен, и это именно в вопросе власти. Ни его полиция, за которую можно поручиться, что она первая в мире, ни его армия – надемся,

лишь вторая – не проявляют никаких признаков изношенности или слабости. Тогда встает вопрос, почему этот всемогущий класс решил отречься от «брежневизма», который являлся его полным выражением и учитывал все его интересы.

Уже было сказано: он чувствует себя в опасности. Только это и ничего больше. Явно не произошло никакого нравственного перелома, никакого обращения, никакого пересмотра. Власть неизменна, но ей больше не на кого опираться, как на самое себя. Без двух столпов, экономического и идеологического, она чувствует свою хрупкость. Поэтому она решилась, наверняка против своей воли, на эксперимент Горбачева, завлекающего ее только обещанием спасения, в которое она хочет верить. Единственная миссия Горбачева – спасти правящих класс и сохранить его власть. Все же остальное остается баснями, пустыми рассуждениями, потемкинской деревней, а то и просто похлебкой для домашних животных.

Политика, которую Горбачев предлагает, олицетворяет и должен проводить, чтобы выжить, проста в общих линиях и путана в деталях. После Авторитарной Империи – Империя Либеральная? Предоставлен ряд тщательно отмеренных и взвешенных свобод. *Гласность* включает в себе своеобразную веру в то, что достаточно смены обстановки, настроений, отношений, чтобы встряхнуть общество и спасти погибающую экономику. Но достаточно ли стать вежливым с рабами, разрешить им рассуждать, даже поощрять их к ответу, чтобы рабовладительство стало продуктивным?

Для нас встают два вопроса, включенных в один более общего порядка – вопрос о последствиях горбачевской политики для Запада. Если она проваливается, мы возвращаемся к Брежневу. Но если она хотя бы отчасти будет успешной и продолжительной? Направленная внутрь, обязанная найти здесь и только здесь кризис, для разрешения которого она была задумана и определена, она должна отказаться от идеологических завоеваний и подрывной деятельности, в течение десятилетий угрожавших нашей цивилизации. Цель этой политики – явно сила и господство. Но «горбачевизм» еще больше, чем «брежневизм», является классовой политикой. Спасать надо не коммунизм, а коммунистов у власти. Представляется, что Горбачев, реформатор внутри страны, будет консерватором во внешней политике и, отнюдь не нагнетая существующее на-

пряжение, наоборот, постарается уменьшить его. Можно сделать вывод, что новая политика дает Западу передышку.

Передышка кончится, когда провалится политика. Но если политика будет успешной, она сумеет укрепить экономику и увеличить мощь Советского Союза. Надо все же отметить, что такой успех вообразим только при высвобождении ресурсов и их вкладе в экономику. Проще говоря, при уменьшении военных расходов, что уменьшило бы внешнее и внутреннее давление на наши страны. Из этого как будто вытекает, что Запад должен быть прогорбачевским. Но не является ли это предложением ради благополучия и безопасности пожертвовать основными идеалами, делающими человека человеком? Не должен ли интеллигент быть верным прежде всего этим идеалам и даже им одним?

«Горбачевизм» можно определить как беспрецедентную попытку находящегося в опасности правящего класса перейти (в убеждении, что этот переход – его надежда на спасение) от тоталитарной формы власти к деспотизму или даже к авторитарной форме правления, способной высвободить, не теряя над ними строгого контроля, производительные силы. Расчет прост, циничен и, наверное, обманчив. Но он открывает зоны с неясно очерченными границами – по *man's land*, – где, как сорняк, может прорасти свобода, где людям станет легче дышать. Не исключена надежда, что в этих зонах появятся ростки сопротивления. Ни иллюзии, ни благодарность не ко времени, но похоже, что и тут, то есть в области интересов человечества и проектов его будущего, западной интеллигенции имеет смысл поддержать горбачевскую политику. Условия этой поддержки, средства заставить эту политику спасения одного класса перейти на рельсы либеральной авторитарности – вот вопросы, на которые, мне кажется, нам предстоит теперь дать ответ.

Вот мои, честно говоря затянувшиеся, размышления. Но поскольку я промолчал в течение всего Форума, мне простят болтливость на лестничной клетке.

Перевод с французского Ярослава Горбаневского

Факты и свидетельства

Игорь К о в а л ь ч у к

МЯСО ДЛЯ ШАКАЛОВ

Зовут меня Ковальчук Игорь Леонидович. Мне 27 лет. Я родился в городе Харькове в 1960 году. Я рос, как все советские дети: с семи лет пошел в школу, с азартом поглощал знания и, конечно же, думал, что наша система самая лучшая, самая гуманная на свете, а вот американцы – это самолюбивые, эгоистичные эксплуататоры других народов, которые хотят захватить мир в свои руки.

Шли годы, я становился юношей, формировались взгляды на жизнь, возникали планы, идеи.

Как все молодые люди, я имел множество увлечений, но больше всего я любил поэзию, спортивную стрельбу, историю, музыку и, конечно, девушек. Так вот, с первыми тремя увлечениями у меня не было проблем в нашем свободолобивом обществе. А вот за музыку и девушек мне часто доставалось – меня учили, внушали, говорили... Например, наша классная руководительница Валентина Сергеевна постоянно говорила мне: «Послушай, Игорь, вот ты любишь поэзию, историю – ну, как же ты можешь после этого слушать такую дурацкую музыку в стиле хард-рок?» Я ей отвечал: «Допустим, я восхищаюсь Лермонтовым, но не люблю поэзию Ломоносова, значит, целую жизнь до сумасшествия я должен читать только Лермонтова? Не лучше ли разобрать несколько течений поэзии, даже той, которая не нравится, чтобы вникнуть в глубину, в тот закрытый занавес старой поэзии, и понять душу поэта, как он думал и чем дышал? Так и с музыкой – чтобы любить и понимать, я слушаю разную музыку». Не находя слов для возражения, учительница кивала головой и говорила: «Ну-ну, смотри, дослушаешься».

С девушками было сложнее – эта проблема доходила до скандалов и в школе и дома. На каждом родительском собрании моим родителям говорили, что они должны удержать сына от развращения. Меня стыдили, говорили, как же мне не

стыдно в такие молодые годы не ночевать дома, спать с девушкой. Я взрывался и кричал: «Мне теперь 17 лет, и мне нельзя спать с девушкой, потому что я еще молодой, а когда я буду седой и старый, то все скажут: надо же, какой старый, а за бабами бегает». Весь класс смеялся, а учительница злилась, грозя каждый день позвонить моей матери.

Итак, в 1978 году я окончил десять классов средней школы № 90 города Харькова. Получил паспорт, освоил профессию электромеханика по самолетам и пошел работать на авиационный завод. Дни летели за работой, вечера – за поэзией и стрельбой, я узнавал новых людей, переживал удачи, падения, любовь и рифмовал свои строчки. Я видел наш однообразный, инкубаторный люд, воспитанный мозгами партии. Так прошли два года, и сильная рука системы вклинилась в мою жизнь, разорвала однотонный цвет моего существования и направила меня в ряды вооруженных сил.

На призывном участке нас было 160 спортивных, умеющих стрелять ребят. Я был 120-м по счету команды № 280 особого назначения. Особое назначение – это значит: мы отправлялись служить за границу.

Попрощавшись с родителями, сестрой и друзьями, весной 1980 года я покинул свой родной и любимый город, забрав с собой воспоминания, поэзию и умение стрелять.

Поезд уносил нас на юг. Мы проводили время за картами и водкой. Так прошло 12 дней утомительного путешествия, и мы оказались в Туркменистане. Это был грязный, провинциальный городишко Кызыл-Арват, в котором находился Краснознаменный гвардейский десантный полк, в расположение которого весной 1980 года я прибыл вместе со своими товарищами. Этот полк отличался порядком: сапоги блестели, голубые береты сидели на голове каждого под одинаковым углом, все следили за каждым движением командира и в секунду ловили приказ, задания выполнялись быстро, четко и уверенно. Отнеслись к нам без придинок, но и особого доверия мы не почувствовали. Мы были чужие для этих закаленных ребят, мы еще не умели жить.

Начались тяжелые дни физической подготовки. На каждые десять новобранцев было два сержанта, которые учили нас всему: нападению, обороне, работе штыком и прикладом и, конечно же, стрельбе. Со стрельбой у меня было отлично, но вот с физической подготовкой было сложнее.

Я видел, как постепенно, учась мастерству десанта, мы начинали заслуживать их доверия.

Через два с половиной месяца, приняв присягу, нас всех построили и объявили, что на нашу долю выпала большая честь и партия доверяет нам выполнять наш интернациональный долг в Афганистане. Мы должны будем помочь афганскому народу удержать завоевания апрельской революции и защитить его от кровавой акции империализма, который вторгся на территорию дружественного нам Афганистана, ставя тем самым под угрозу наши южные рубежи. Эти высокие слова дошли в мозг не каждому, все было расплывчато и мутно. Все принялись переспрашивать друг друга: какая акция, какой империализм? «Разговорчики в строю! – загремел свинцовым голосом замполит. – Не понимаете, объясню по-простому. Американские наемные войска пребывают на территории Афганистана и наш долг выбить их оттуда. Понятно?» «Так точно!» – разлетелся громовой глас.

В течение двух дней мы были расформированы. 160 человек разлетелись по земле Афгана и приступили к исполнению своего интернационального долга. Я и двенадцать моих друзей прибыли в расположение разведдесантного подразделения, позывной «Ромашка», которое находилось в 25 километрах к югу от города Мазар-и-Шериф.

В расположение 7-й разведроты я попал после обеда. Капитан Руденко посмотрел на нас и торжественно объявил: «Вот, братва, теперь вы есть мясо, натуральное мясо, предназначенное для шакалов. Запомните мои слова: вы должны стать волками или умереть – одно из двух. Не нюхав крови, не можешь жить, не можешь бегать, тебя загрызут!» Потом капитан позвал старшину и приказал выдать нам оружие. Слова ротного командира впились в мой мозг натуральными волчьими желтыми клыками. Ничего не понимая, я думал: почему он такой злой, что мы ему сделали, за что он на нас набросился? Но уже через месяц я был хуже его.

Получив должность разведдесантника, заслужив доверие старших ребят похабными шуточками, я чувствовал, как меня засасывает огромный кровавый водоворот, в котором я теряю способность думать, а только работаю штыком, прикладом и прицелом. Скоро я потерял своего друга Олега. Потом был Витя. Его голубые, застывшие глаза остались шрамом на моем сердце. Его последние слова были: «Ты знаешь, Гарик,

прожить могли бы по-другому». Я терял контроль над собой, кричал сквозь слезы, поливая местность пулеметным огнем.

Так прошли 6 месяцев службы. Я стал как все – закрывал глаза павшим товарищам без дрожи в руках, курил наркотики, кисло-сладкий запах крови уже не переворачивал мои внутренности тошнотой, при стрельбе в упор глаза не закрывались.

В январе 1981 года я понял слова ротного командира. Я стал пропавший потом, заедаемый вшами матерый волк. Мне было присвоено звание ефрейтора, три месяца спустя – звание младшего сержанта и должность оператора-наводчика БРМ № 376.

Я не знал, чего я хочу. Я был такой и не такой. И только маленькая крупинка поэзии в моих пропитых мозгах отличала меня от моих товарищей. С каждым разом, рифмуя строчки, я замечал, наталкивался на правду. За все время службы под мой пулемет не попал ни один американец. Значит, их нет на этой земле, они честнее нас. Это мы – захватчики. И выходит, все, что нам говорили в школе и в армии, – это пропаганда! Я замыкался в себе, во мне шла борьба правды с ложью, добра и зла, я нервничал, бросал все, курил гашиш, окунаясь в дремоту с кошмарными снами. Просыпался и снова думал: почему бы властям не сказать нам всю правду? Мол, так и так, братва, нужно захватить Афган. Все ясно и понятно. Так нет, обманули нас, своих же солдат, крутят нами, как игрушками, а мыдохнем, как мухи.

Случай, который произошел со мной позже, стал переломным моментом в моей службе и судьбе. Сопровождали мы группу артистов, которые неожиданно свалились на наши головы. Мы только что провели недельную операцию в перулках Айбака и приехали в расположение, чтобы выспаться. А тут на тебе! Звонит начальник штаба и говорит: «Слышь, ребята, тут артисты приехали для афганских коммунистов выступать, так надо их к Джаркундуку подкинуть, да и вам интереснее с бабами проехаться». Хорошо, сделаем. Сели по машинам. Выехали на дорогу, которая соединяла все крупные города Афгана. БРМ № 376, соприкоснувшись стальными зубчатыми гусеницами с асфальтом, взревел, выбросил клубы черного дыма и набирал скорость.

В стрелковом отделении машины находилась молодая певица, прапорщик и я. Прапорщик все приставал к девушке с дурацкими шутками, показывал ей свой пистолет, рассказы-

вал ей свои похождения. Я же поглядывал на нее редко, только в те моменты, когда отрывался от прицела. Она же сидела за пультом лазерного оператора, и получалось так, что мы встречались взглядами. И вот в один момент она говорит мне: «У тебя красивые глаза. Я бы хотела иметь такие, давай поменяемся». – «Слышишь, девушка, оставь меня, если я оторвусь от прицела, то ты и я окажемся на том свете, поняла?» – ответил я ей. Прапорщик кипел от возмущения и говорил певице: «Ну, что ты в нем нашла, он – наркоман, убийца...» – «Пусть, – закричала она, – зато он не такой трепло, как ты, со своим дурацким пистолетом». Водитель услышал этот разговор в гермошлем, обернулся, скаля зубы, на прапора и закричал: «Как она тебе врезала, а? Молодец баба!» В этот момент машина пошла юзом на обочину дороги, туда, где стояли афганские дети в белых одеждах – у них был праздник Рамадан. Акулий нос БРМ, покачиваясь, летел на них. Маленький мальчик успел отскочить в сторону. Перед нами стояла девочка лет 12-ти, широко открытые черные глаза ее в предсмертном крике смотрели мне в прицел, оставляя черно-белую фотографию на моем сердце. Я заорал: «Коля, вправо!!!», но было уже поздно. Левый бок машины слегка качнуло. Я смотрел в зеркало заднего вида и видел мясо. Певица приставала с расспросами, что случилось. Когда мы подъехали к месту, она увидела кровь на носу БРМ и спросила прапорщика, что это. И тот объяснил, что вот, девочку сбили, а она стояла и кивала головой и говорила: да, понимаю, как это печально, ну что ж, война есть война. Повернулась и ушла петь свои дурацкие песни. А я сидел на башне машины с Колей, курил гашиш и проклинал себя, певицу, прапорщика, Колю – всех и вся. Мы виноваты в смерти ребенка, а ведь на ее месте могла бы быть моя сестра, сестра певицы, сестра любого из нас...

И был у меня перелом. Еще не было конкретных планов, но именно после этого случая я решил, что домой не вернусь.

Было лето 1981 года. Палило солнце, смерч крутил обрывки газет, казалось, что люди вымерли. БРМ кровавыми рывками трогались с места, набирали скорость и оставляли за собой клубы пыли – мы ехали на новую операцию в горы Мармоля. Вот они, горы, молчаливые рыцари, хранители тайн, что-то в них есть не родное, не нашенское. Эй, горы, где нас поджидают засады, скажите! А они издеваются над нами, крича в ответ эхом: те... те... те...

Второй взвод разбил свое расположение на маленькой сопочке, к которой прилегала большая гора, переходившая с другой стороны в большое ущелье. Вот на этой горе и была афганская глазница, но мы этого не знали... В два часа сорок минут вдруг диапазон второй запрашивает: «Ромашка, Ромашка, подсобите,дохнем!» Тревога, по машинам. Пока доехали, светало, и было поздно.

Афганцы подошли тихо ночью, сняли часовых и принялись вырезать наших ребят. Ребята спохватились, но их было значительно меньше, да и мы опоздали. Так погиб второй взвод седьмой разведроты 122-го полка.

Старшина спросил ротного: «Скажи мне, кто за них ответит?» Капитан молчал... После этого мне все стало ясно. Гибнут афганцы, гибнем мы, солдаты этой системы, а властям наплевать! Теперь я точно знал, что уйду, если жив останусь.

Осенью 1981 года я был направлен во второй штрафной батальон, который находился в городе Самангане. В декабре 1981 года я оказался в Кундузе. Здесь я написал последнее короткое письмо домой, потом собрал всю свою амуницию и думал, что это будет моя последняя, 17-я, операция. Я проиграл... Меня поймали в селе с тремя партизанами. Я думаю, кто-то предал меня.

Март 1982 года. Кундузская гауптвахта. Я нахожусь под следствием. Майор особого отдела, собрав обо мне все документы, очень удивлялся, как это я, пройдя такую тяжелую службу, отважился перейти на сторону партизан. Я ему ответил коротко и ясно, что не хочу жить в стране, система которой меня обманула. Я не хочу быть игрушкой, и я не встретил в Афганистане ни одного американца. Мои родители помнят Вторую мировую войну, они часто мне рассказывали о ней. Мы на земле Афганистана делаем то же, что фашисты делали на нашей земле. Пускай я буду изменник в твоих глазах, майор, но в глазах друзей и перед лицом Бога я не предатель, – так отвечал я майору особого отдела.

31 июля 1982 года – это был мой последний, 18-й рывок к свободе, и я победил. Славен Бог!

Служа в армии, я не попадал под бомбежки, я их наблюдал издалека. И вот теперь я с афганскими партизанами в деревне недалеко от Кабула. Начинается вертолетный обстрел. Все выскакивают из домов, прячась по оврагам. МИГи-24, срываясь с высоты, поливают местность свинцом. Падают бегу-

щие, истекая кровью, ломаются стены домов, горит солома, трещат ветки деревьев, дохнет скот. Все вокруг стонет, плачет, горит. Я сижу в арыке, где течет мелкий ручей, осколки фугаса падают в воду с шипением. Рядом со мной здоровенный афганский парень. Он вдруг начинает кричать, теряет самоконтроль, бежит куда-то, сломя голову. Его догоняет свинцовая пуля, врезается в спину, разрывает тело на клочья. Рядом в ручье молодая афганская женщина, откинувшись головой назад, молится. На руках у нее ребенок лет шести, он смотрит на меня огромными черными глазами и плачет так спокойно, без крика, у него даже нет сил кричать. Я знаю, что он голоден, и все равно по моему телу идут мурашки от его взгляда. Я невольно вспоминаю глаза той девочки, застывшие глаза моих товарищей. И я проклиная тех, кто затеял эту грязную войну, которая принесла столько чудовищных жертв!

ОТ РЕДАКЦИИ: К своему свидетельству автор приложил подборку стихов. В них, при всем их несовершенстве, чувствуется неподдельная боль и стыд за все, что ему довелось пережить, участвуя в этой вероломной аванюре советского тоталитаризма. Ниже мы приводим часть присланной подборки:

* *
*

Дорога,
Колесом раздавлена душа...
Нервы,
Банку водки пропускаю.
Кошмар,
Куски судьбы.
Я девочку в белом вспоминаю.
Рамадан.
Она так молода,
Через дорогу, словно лебедь, проплывала.
Рывок, толчок, –
Кровавая слеза мне на сердце
По тремплексу спадала.

И только пульс
Налитых кровью глаз,
Свою сестру на место той я ставил.
И снова крик,
Скрипели тормоза,
Тянули жилы,
Ад мне напевали.

РЫВОК

Горячим июлем меня обдает,
Память мозги прочищает в горячке,
Горло в петле, это первый рывок,
Ствол синевою чадит кисло-сладкой,
Смертями, несчастьем несет от него,
Разрушены хаты, разбиты меджеты,
Разогнан весь люд, только смерч в кишлаках
Разносит обрывки афганской газеты.
Сегодня был первый, а завтра второй,
Затянут рывки горло туго петлею,
За каждый прицел сердце шрамом кольнет,
И сколько их бедных от рук наших лягут,
Остнешься жив, память спуска не даст,
Грехи увядание в Аде предскажут
Не очень заманчива должность стрелок,
Кого защищаю по сути не знаю,
На мирные села прицел свой кручу,
Зачем привлечение к смерти невинных,
России оплот стрельцы были давно,
Теперь мы захватчики, время сменилось.

1980. Таш-Курган
Кхолм

* *
*

В кишлак ворвались, бег горячий
Петлею горло зажимает,
ПК смертельной синевою
Чадит, развалины рождает.

Смерчём прокручивался люд,
Патрон в патронник загонялся,
Друзей любимых караван
На том перроне оказался,
Я пью за них, они в земле,
Душа в дыму сгорает мщеньем,
И мой ПК свинцом набит,
Уже не будет мне прощенья.

1980. Таш-Курган

* *
 *
 *
 *

Где выход?
Нет его, есть только вход

Диапазон четвертый крик пробил
Ребята подсобите, что стоите,
Гранаты взрыв на гермошлемах отдало,
И ротный заорал все по машинам.
Рассвет всходил и каждый думал о своем,
Кто вспоминал свой дом родимый,
Кто думал вот обратно бой
Останемся сейчас ли живы,
Движки БРМок зло урча
Водилы во всю мощь топили,
Приехали и восходящем солнце дня
Увидели и все застыли,
Кровавые лучи по бугоркам скользя
Показывали нам картину за картиной,
Пятнадцать душ по двадцать лет
В крови лежат, скажи мне ротный,
Кто за них теперь ответит.

Ответа нет на сей вопрос,
Вступаем в бой в горах Мармоля,
Мой глаз в прицеле смерть ведет
Все тени мертвых собирая,
Стрельба, падения, рожки.

С ума схожу к исходу дня,
Адресовал бы кто-нибудь
К умершей бабушке меня.
Не на того нарвались ГЕЙ.
Сержанта просто не возьмешь (те)
Я с Авадоном встречен был
Рефлексы боя перенял,
Меня спасает ярый бег
В паденьях тактику меняю
Вы открываетесь в стрельбе
И мой рефлекс вас убивает,
Проходит бой я отхожу
Экстаз сменяется уныньем,
Спиртяги с гашем затянув
Встречаю тех, кто пал от ныне,
Валера, Славик, молдаван,
ИХ всех вмочили, видно надо,
Кошмарный сон, коса и жар
Приходит вполночь, Здравствуй Гарик,
Прощенья нет одни грехи
Тебе на душу оседают,
Проснулся в крике, новый день
Мои глаза к прицелу тянет.

1981. Мармоль

КОВАЛЬЧУК Игорь Леонидович. Родился 24. 11. 60 в Харькове. По окончании средней школы в 1978 году работал на авиационном заводе. В марте 1980 года призван в Советскую армию и после трехмесячной подготовки направлен в Афганистан. С июня 1980 года служил в развед-десантном подразделении «Ромашка» на базе № 122 в Мазари – Шериф. В марте 1982 года бежал, был пойман, в течение четырех месяцев находился под следствием. Летом того же года бежал еще вторично со следственной гауптвахты, на этот раз удачно. Четыре года провел в афганском Сопротивлении. С ноября 1986 года живет в Канаде, в Торонто.

Истоки

Юрий Дружников

Осенью 1932 года, в разгар коллективизации, в Сибири был зверски убит мальчик, который донес властям на своего отца. Два года спустя Максим Горький провозгласил на первом съезде писателей, что пионер Павлик Морозов является главным героем литературы и идеальным образцом для подражания. В 1947 году в центре Москвы ему водрузили монумент.

Гласность после смерти Сталина поставила вопрос о Морозове. Но в 1956 году ему официально присвоили звание Героя-пионера № 1. Никита Хрущев написал о нем восторженную статью для Детской энциклопедии.

Сегодня, в разгар следующей гласности, советская печать снова намекает, что в романтизме подвига Морозова имелись моральные дефекты. Но правда об этом мальчике по-прежнему остается государственной тайной.

Московский писатель Юрий Дружников три с половиной года собирал неофициальные материалы об истории этого самого известного советского мальчика и о том, кто, как и зачем создал известный миф о нем. Автор дважды ездил в Сибирь, на родину героя, собрал показания свидетелей и очевидцев, которых ему спустя полвека удалось застать в живых. Среди них мать и отсидевший десять лет брат Павлика, учителя, деревенский осведомитель, уполномоченный ГПУ. Посчастливилось достать секретные документы, которые помогли пролить свет на реальную жизнь и смерть пионера № 1.

Одна из наиболее загадочных страниц истории – связь между мальчиком-доносчиком и гениальным вождем всех времен и народов. Публикуем главу из книги Юрия Дружникова «Вознесение Павлика Морозова», которая скоро выйдет из печати. – Р е д.

МАЛЬЧИК-ДОНОСЧИК И ТОВАРИЩ СТАЛИН

Мы не располагаем письменным указанием Сталина о Павлике Морозове. Сталин часто высказывал мнение устно, и этого было достаточно. О нашем герое такого распоряжения

не могло не быть. Есть косвенные доказательства, что вопросы, связанные с героем-доносчиком, великий вождь решал сам и возвращался к ним неоднократно. «Сталин, конечно, принимал участие в судьбе Морозова, – утверждает Матрена Королькова, соученица Павлика из Герасимовки. – В январе 1934 года меня с группой пионеров привезли в Москву. Мне дали понять, что сейчас отвезут на прием к Сталину, чтобы я рассказала о Павлике. Мне объяснили, что надо говорить и как. Я ждала долго. Потом визит отменили, сказали, что Сталин занят. Меня отправили в пионерский лагерь Артек. Туда мне прислали сто рублей, а потом в деревню еще два раза по 25 рублей».

Наиболее вероятно, внимание Сталина на убитого мальчика обратил кто-то из трех аппаратчиков, занимавшихся делом Морозова по долгу службы: Постышев, Косарев или Поскребышев. Члену Политбюро Павлу Постышеву в 1932 году было 45 лет. Он носил усы, шинель, сапоги и фуражку, полностью подражая облику Сталина. Секретарь Центрального комитета партии, он одно время заведовал двумя наиболее важными его отделами: организационным, а также агитации и пропаганды. Постышев занимался политической кампанией по ликвидации кулачества и контролировал комсомол. Газеты называли его любимым другом пионеров, боевым соратником товарища Сталина. Пионерские отряды носили имя Постышева. О том, какую роль он играл, можно судить по вышедшему в 1932 году в Москве сборнику «О пионерах и пионеродвижении», в котором говорилось, что в нем публикуются речи видных деятелей партии от Ленина до Постышева, а Сталин не упоминался вообще. Постышев успешно осуществлял часть плана по созданию массовой сети всеобщего доносительства через отделы писем и редакции газет в ОГПУ. В речи на XVI съезде партии Постышев сочинил небылицу о том, что кулаки создали свою агентурную сеть внутри большевистской партии.

По прямому указанию Постышева Центральный комитет комсомола и Наркомат просвещения развернули пропаганду подвига мальчика-доносчика. Осуществлял ее Александр Косарев, двадцатилетний генеральный секретарь комсомола, любимец Сталина и правая рука Постышева. Косарев подписывал многие документы о распространении опыта Морозова среди детей. Косарев принял делегацию из Герасимовки,

рапортовавшую ему об успешных донесениях пионеров на Урале. Непосредственно руководили кампанией служащие Косарева: секретарь ЦК комсомола Сергей Салтанов, глава юных пионеров Валентин Золотухин и его заместитель Василий Архипов. Впоследствии Постышева арестовали по доносу его сотрудницы Николаенко, которую объявили героиней. Пионерские отряды имени Постышева переименовали в отряды имени Павлика Морозова. Косарева и Салтанова также арестовали по доносам и расстреляли в лагерях. Уничтожен был и нарком просвещения Бубнов. Согласно одной из легенд, Косарев исчез после того, как написал письмо Сталину против доносов и массовых арестов. Однако и Косарев и Бубнов отправили на смерть многих. Удравший от ареста на фронт Архипов немного спустя погиб.

Прошлое Сталина накладывало отпечаток на его педагогические взгляды и моральные позиции. Мнение о том, что Сталин до революции сотрудничал с охранкой, существует и не опровергнуто, хотя и не доказано. Став Генеральным секретарем партии, он занимался подслушиванием коллег лично посредством специальной аппаратуры.

Систему всеобщего доносительства в Советской республике начал создавать еще Ленин. Анжелика Балабанова в книге «Ленин» рассказывает, как он говорил: «Провокаторы? Если бы я мог, я бы поместил провокаторов в армии у Корнилова». Соратники Ленина вспоминают, что он поручал им писать анонимные пасквилы, чтобы скомпрометировать своих политических оппонентов. Подготовкой показательных процессов Ленин руководил сам, после это делал Сталин. Сталин и Троцкий соревновались в доносительстве друг на друга Ленину, пока Сталин не одержал победы. Троцкий, кстати, был убит по личному указанию Сталина столь же зверским методом, как дети Морозовы.

Ленин назначил Сталина командовать РКИ – Рабоче-крестьянской инспекцией, – в которой собирались компрометирующие сведения о всех служащих госаппарата. В сущности, сталинская РКИ собирала доносы и занималась чисткой.

Сталин еще раньше начал использовать аппарат ОГПУ, чтобы избавляться от неугодных ему лиц. Секретари Сталина получали от ОГПУ основанные на доносах (подлинных и сочиненных) компрометирующие сведения. А Сталин через личных секретарей передавал в комиссию устное указание, какое

вынести решение. Тогда ОГПУ еще не могло арестовывать членов партии – это произошло через десять лет – ко времени убийства Морозова. В это время создается и действует Особый сектор при личном секретариате Сталина. Особому сектору подчиняются спецсекторы в райкомах и обкомах, имеющие своих лиц на всех предприятиях и в учреждениях. Внутри ОГПУ такими подразделениями были ОО – особые отделы и связанные с ними СПО – секретно-политические отделы. Спецсекторы подчинялись напрямую Сталину и больше никому.

Особый сектор возглавлял сорокалетний Александр Поскребышев. Он, по выражению Никиты Хрущева, был преданнейшим псом Сталина. Крупные черты жесткого лица, бритая голова и сталинский полувоенный стиль одежды – таков его портрет. Старые партийные работники, знавшие его в тридцатые годы, рассказывали нам, что Поскребышев, выходец из Екатеринбурга, то есть Свердловска, став тенью Сталина, сохранил прочные связи на Урале. Все акции ОГПУ на Урале проходили под наблюдением Поскребышева. Документы оттуда доставлялись, минуя другие виды связи, прямо ему. Таким образом, система всеобщего доноительства создавала такой аппарат слежки, который нес информацию непосредственно к самому источнику власти, делая Сталин всевидящим. Эта канцелярия, управлявшаяся лично Сталиным через Поскребышева, сделалась в тридцатые годы силой, командующей страной*. Структура СПО нуждалась в миллионах морозовых. Ее каналами шли документы следствия по делу об убийстве Морозова. Было бы ошибкой усматривать в доноительстве одну злую волю Сталина и его аппарата. Кри-

* Жена и сын Постышева были расстреляны (по другим источникам, сын Постышева погиб на фронте – Р е д.), жена Косарева провела треть жизни в лагерях. Когда арестовали жену Поскребышева, он сказал: «НКВД всегда прав». Позже, по распоряжению Сталина, Поскребышеву привезли новую жену – красивую казачку. Свадьбу справили на сталинской даче. А первую жену замучили в лагере. Сам Поскребышев благополучно пережил не только Сталина, но и после-сталинскую чистку. Он умер в 1965 году и с почетом похоронен на элитарном Новодевичьем кладбище. Говорят, лежа в Кремлевской больнице, он писал мемуары. Уцелел и сподвижник Косарева Золотухин. Он стал генералом, заведующим отделом ЦК и при Хрущеве занимался реабилитацией вышедших из лагерей.

зис, развязанный в сельском хозяйстве, и голод привели к недовольству в партии, и ее среднее звено искало выхода. Налицо был страх партии перед возмущением народа и страх вождя перед партией. К трудностям внутренним в 1932 году добавились неустойчивость внешней политики. Шаткость положения толкала Сталина к репрессиям. Известно, что в этот критический год Сталин отсутствовал на заседаниях Политбюро с весны до осени. Вождь сам заявил: «Еще никогда мы не оказывались так загнаны в угол, как теперь». Сталину нужна была информация, чтобы удержаться. Доносительство стало для него практически инструментом ослабления позиций оппонентов и средством укрепления личной власти.

Создавался усовершенствованный механизм политического надзора и контроля над умами людей, целью которого было помогать крепко держать вожжи. Для подчиненных донос стал средством проверки преданности, наиболее верным путем сделать карьеру, заслужить благосклонность вождя.

Донос подавался как новое качество новых людей – их открытость, честность, – как критика, способствующая улучшению жизни, как необходимое средство для достижения великой цели, в которую многие из доносчиков всех возрастов верили искренне. Часть народа шла навстречу предложению, находила сладость в доносе, участвовала в кампании не просто послушно, но и с энтузиазмом. Черное вылезало из души и окрашивалось в красный цвет.

Часто думают, что героев тридцатых годов открывали и популяризировали по сталинской любимой поговорке «Взят из грязи да посажен в князи» или, как пелось в популярном советском шлягере тридцатых годов, «У нас героем становится любой». На деле герои отыскивались нелегко. Отобранный в лидеры человек должен был подходить по многим показателям. На своем этаже такой человек становился единственным кумиром. Культу нужны были культики. Это не новая мысль: помнится, в шестидесятых годах в Москве ходила по рукам работа о том, как в разных областях утверждались микросталины – в науке, культуре, юстиции, даже в области питания. Такими культиками был Горький в литературе, клоун Карандаш в цирке, антигенетик Лысенко в науке, нарком Микоян в колбасном деле (мясокомбинат имени Микояна) и т. д. Не было своего культа лишь у детей. Морозов стал таким культиком. Подсчет показывает, что в 1932-34 годах

имя Морозова встречается в «Пионерской правде» чаще, чем имя Сталина.

Однако, возвеличивая Морозова, авторы, разумеется, восхваляли Сталина, соединяя оба имени кратчайшей прямой. В поэме «Павлик Морозов» Степана Щипачева отобранный у родных и соседей хлеб герой везет с красным знаменем в руках и с мыслью о вожде: «Сталин за это, чего же бояться мне! А тронуть меня попробуют, им не сойдет это так...» Предавая отца, Павлик, по замыслу поэта, понимает, что отец у него теперь будет другой:

Отец – дорогое слово!
В нем нежность, в нем и суровость.
Сталину, совершая
Всей жизни своей поворот,
Любовь свою выражает
Этим словом народ.

Если есть новый отец, Сталин, зачем, с точки зрения Щипачева, Павлу старый отец, который его наказывал? И мальчик выбирает из двух отцов того, который ведет в светлое будущее, а не в хлев – вывозить навоз. Старого же отца следует «пустить в расход», как тогда говорили, не сомневаясь, ведь Сталин освобождает человека от предрассудков и всю моральную ответственность берет на себя. И Павел –

Стоит, как под знаменем, прямо,
Не скрыв от суда ничего.
С простенка, из тоненькой рамы
Сталин глядит на него.

Морозов и уполномоченный ОГПУ мыслят в унисон. У уполномоченного своя программа: ему надо сообщить о доносе Павла в Москву.

Тоненький медный провод
Бежит до Москвы, до Кремля.

И низовой работник мечтает, что в случае удачного доноса его жизнь переменится:

И, может, из мест лесистых,
Дойдет до трибуны в Кремле,
Товарищ Сталин, может,
Увидит...

Отца заменили на вождя, а вождь уже подготовил замену и для матери: «...Будьте достойными сыновьями и дочерьми нашей матери – Всесоюзной коммунистической партии», – писал Сталин («Правда», 9 июля 1932 года). Он призывал поднимать ярость миллионных масс. В стране по его инициативе активизируется деятельность государственного учреждения для сбора доносов: Бюро Жалоб, – своеобразного всесоюзного уха. Фактически сведениями, поступающими в Бюро Жалоб, пользовались прокуратура и ОГПУ.

В биографической хронике собрания сочинений Сталина говорится, что законы в это время гениальный вождь сочинял сам. По ним местные власти начали осуществлять планы уничтожения кулачества. В разгаре этой кампании был поднят на щит Павлик Морозов.

Многие биографы Сталина отмечали его способность приписывать врагам собственные криминальные намерения и рассчитывать политические интриги на ряд ходов вперед. В НКВД работал особый центр, фабриковавший дела типа дела Павлика Морозова. Начиная коллективизацию, вождь уже замыслил последующие массовые акции, для которых система массового доносительства была необходима. Там, в кабинетах, загодя моделировали детали показательных процессов над оппонентами, которые, якобы хотели убить Сталина. Герой-доносчик в этой программе выполнял поистине историческую миссию.

Через год после первого съезда советских писателей Горький писал в отдел культуры и пропаганды ленинизма ЦК партии Алексею Стецкому и Александру Щербакову (последнего Сталин назначил секретарем в Союз писателей): «Обращаю внимание Ваше на тот факт, что до сей поры еще ничего не сделано по вопросу о памятнике Морозову». Одновременно Горький ратовал за памятник Пушкину в Ленинграде, но с меньшей настойчивостью. В речи на совещании писателей, композиторов, художников и кинорежиссеров Горький опять напоминал, что в книгах недостаточно пионеров, которые разоблачают врагов партии. Присутствовавший в президиуме Щербаков вставлял реплики, свидетельствуя, что тема одобрена наверху. Щербаков был «умерщвлен путем вредительского лечения», как сообщила «Правда» 3 января 1953 года. Эта формула применялась, когда жертва была отравлена по личному указанию Сталина.

В январе 1934 года председатель Центрального бюро юных пионеров Золотухин заявил в «Пионерской правде», что вопрос о постройке памятника в Москве разрешен. Он не сказал, кем разрешен, но пояснил, что деньги надо не просить у партии и правительства, а собирать. Не знала, кем разрешен вопрос и Крупская, относясь к памятнику без энтузиазма. В письме редактору газеты «Колхозные ребята» Крупская писала: «Уважаемый товарищ, возвращаю альбом деткоровских проектов памятника Павлику Морозову. Вся кампания, которая проводилась в связи с убийством Павлика Морозова, имела очень большое значение, обостряя вопрос о необходимости повышать политическую активность ребят. Но по части памятников я не спец, больше придаю значения живым памятникам». Письмо это опубликовано в Собрании сочинений Крупской (т. II, стр. 513). Редактор газеты «Колхозные ребята» Татьяна Наумова была одним из энергичных исполнителей кампании, связанной с детскими доносами, в том числе с помпезной выставкой проектов памятника герою 001. Наумова арестована по доносу, погибла в лагерях.

В 1936 году вышла книга поэта Валентина Боровина, в предисловии к которой сообщалось, что имя Морозова «носят тысячи отрядов, звеньев, клубов и домов колхозных ребят не даром, и не даром ему при входе на Красную площадь в Москве воздвигается памятник». Монумент еще не сооружался, но бумажки по канцеляриям ползли.

Тот факт, что памятник мальчику было разрешено поставить у Кремлевской стены, устраняет сомнения в решении этого вопроса лично Сталиным, ибо даже крупнейших деятелей партии и государства замуровывали в стене без памятников. Таким образом, завершилось бы идеальное архитектурное триединство центра страны: мавзолеей основателю, монумент доносчику и лобное место, где по доносам в средние века рубили головы. Книга о Морозове корреспондента «Пионерской правды» Смирнова, вышедшая в 1938 году, заканчивалась так: «Помнит о нем и тот, кто неустанно заботится о счастье народов, – любимый вождь и отец всех ребят товарищ Сталин. (Итак, он один заменил всех отцов страны. – Ю. Д.) Год тому назад товарищ Сталин предложил Московскому совету поставить у Красной площади памятник Павлику Морозову. Лучшие скульпторы, художники, а также сотни пионеров думали над проектом памятника. Теперь проект утверж-

ден. Скоро у Александровского сада, при входе на Красную площадь, будет поставлен памятник. В дни революционных праздников мимо памятника будут проходить тысячи радостных и веселых детей – пионеров и школьников. Они отдадут салют Павлику Морозову и будут петь песни о счастливой жизни, которую создали нам родная большевистская партия и наш дорогой вождь и учитель Иосиф Виссарионович Сталин».

Такие слова не могли быть опубликованы без согласований. Цензура зорко следила за каждым упоминанием в печати имени Сталина. Однако неясности остаются. Памятник поставили спустя еще десять лет, и не у Красной площади. До самого последнего момента было не ясно, где он окажется. Говорят, у Сталина просто боялись спросить. Комсомольский работник и журналист Гусев в книге «Юные пионеры» писал, что открытие памятника состоится недалеко от городского дома пионеров, у Кировских, бывших Мясницких, ворот. А появился монумент в неухоженном сквере одного из самых грязных и бедных районов Москвы, не отстроенном до конца и теперь, на Красной Пресне. Появился там, где Нововаганьковский переулок, неподалеку от старого кладбища, еще в тридцатые годы переименовали в переулок Павлика Морозова.

Почему бронзовый герой был установлен с таким опозданием? В связи с чем Сталин передумал и отправил Морозова с Красной площади на задворки?

Установка монумента затянулась сначала как будто бы по финансовым, затем по художественным причинам и, наконец, в связи с войной. Но более существенно то, что изменилась позиция самого Сталина, иначе он мог бы попросить автора проекта скульптора Иосифа Рабиновича поработать сверхурочно. Не исключено, что дряхлеющий вождь уже готовил место рядом с Лениным для себя. Но имелась и более веская причина.

Ритуал открытия памятника усугубляет подозрения, что отношение Сталина к Морозову изменилось. На открытии присутствовали лица второстепенные. Рассказывая об открытии монумента в декабре 1948 года, газета «Вечерняя Москва» даже не упомянула великого вождя всех народов и заявила: «Мечта Горького осуществлена». Собравшиеся на митинг послали в конце приветствие Сталину. Но то была рутинная. По Москве поползла шутка, что в ней теперь два монумента пер-

вым людям: первопечатнику и первоносощику. Первопечатником в России считается Иван Федоров (XVI век).

Группа писателей в связи с открытием памятника выразила верноподданнические чувства, призвав в «Пионерской правде» всех детей страны продолжать делать то, что делал Морозов. Коллективное обращение подписали самые известные писатели, драматурги, поэты того времени: Александр Фадеев, Леонид Леонов, Самуил Маршак, Всеволод Иванов, Валентин Катаев, Всеволод Вишневский, Сергей Михалков, Лев Кассиль, Анатолий Софронов, Михаил Пришвин, Агния Барто, Сергей Григорьев, Борис Емельянов, Лазарь Лагин. Авторы обращения недвусмысленно говорили, что те дети, которые будут следовать путем Павлика Морозова, станут героями, учеными и маршалами.

За письмом, как ни странно, не последовали обычные отклики прессы. Многие газеты вообще не упомянули о монументе. Такое в Советском Союзе случайно не случается. Мы видели памятник вскоре после его открытия. На цоколе был текст: «Павлику Морозову от московских писателей». Потом эту дарственную соскоблили. Старая волна доноительства тридцатых годов прошла, а новая волна сороковых – пятидесятых, связанная с антисемитизмом и делом врачей, вынесла новую, образованную героиню-осведомительницу – врача Лидию Тимашук, доносицу на своих коллег, имя которой, как писала в «Правде» журналистка Ольга Чечеткина, «стало символом советского патриотизма, высокой бдительности, непримиримой, мужественной борьбы с врагами нашей Родины», и ее наградили орденом Ленина за помощь, оказанную правительству в деле разоблачения так называемых «врачей-убийц».

Оглядывая волны доноительства с исторического расстояния, заметим, что первая волна, разгоревшись в 1932-м, в 1938-м пошла на убыль. Вторая волна (1948-1953) оказалась не столь массовой, и наиболее известные доносчики этих лет были в основном люди взрослые.

Ситуация изменилась, но про нашего героя Сталин не забыл. Через четыре года после установки памятника Павлику Морозову в Москве вождь разрешил построить монумент в Зауралье на родине доносчика. В найденном нами в архиве Соломеина письме заведующий Тавдинским районным отделом культуры Г. Фомин сообщал: «Состоялось постановление

Совета министров СССР, подписанное лично тов. Сталиным И. В., о предоставлении льгот колхозу. Выделено на 1953 год 220 тысяч рублей на строительство сельского клуба им. П. Морозова и 80 тысяч рублей на строительство памятника П. Морозову...» Как видим, собрать деньги на добровольных началах так и не удалось.

Монументы Морозову возводились, но доносительство в стране временно перестало восхваляться. Что вынудило Сталина прекратить кампанию? Доносительство стало неуправляемым. Эпидемия эта просто мешала нормальной деятельности охранительных организаций. Возможно, были приняты в расчет и соображения ставших взрослыми павликов – партийных чиновников третьего поколения. Они уже занимали посты и не хотели, чтобы на них доносило четвертое. Кампания массовых доносов в какой-то степени затронула семью самого Сталина. Вторая жена его, Надежда Аллилуева, покончила с собой как раз в разгар кампании, призывающей расстрелять родственников Морозова. Существуют предположения, что самоубийство произошло от ужаса женщины перед кровавым террором, развязанным ее мужем. Когда Сталину донесли на его сына Якова, что он что-то не то сказал, Сталин, чтобы наказать Якова, посадил его жену. Другой сын, генерал Василий Сталин, донес на своего начальника маршала авиации Новикова, за что тот был предан суду, а оправдан лишь после смерти Сталина. Но, конечно, главная причина отказа от детей-доносчиков – сокращение репрессий, начиная с 1938 года. Приближающаяся война требовала выдвинуть на первое место тип героя, готового пролить кровь в боях за Сталина на фронте, а не в драке с родственниками. Старый герой отошел на второй план.

Как же все-таки сам Сталин относился к Павлику Морозову?

Выдвижение и уничтожение людей было для генсека будничной и обязательной работой. Обязательной потому, что без нее он не удержался бы долго у власти и сам. Досье на тысячи морозовых готовили аппараты всех учреждений и, прежде всего, ЦК партии, ОГПУ, комсомол и их местные органы. Вождю подавались предложения, наиболее выгодные в данный момент не только для него самого, но и для руководителей данного ведомства. Видимо, так был создан и утвержден Морозов – доносчик 001.

Судя по отношению Сталина к другим людям, безраздельно ему преданным, которых он отправил на смерть, этот мизантроп презирал всех без исключения, а приближал и выдвигал тех, в ком в данный период нуждался. Так вождю понадобился и Морозов. Известно, что Сталин легко переводил людей из категории живых в мертвецов. В данном случае был совершен перевод полезного вождю человека из мертвых в живые. Приходится признать, что Сталину и его мафии удалось создать армию подражателей Морозова. Миф стал реальностью советской жизни.

ДРУЖНИКОВ Юрий (р. 1933, Москва) – писатель и историк. Окончил Московский государственный педагогический институт (1955), преподавал литературу и историю, был журналистом, редактором отдела науки газеты «Московский комсомолец», членом Союза писателей СССР.

Автор восьми книг, опубликованных в Советском Союзе (двух романов, сборника рассказов, трех книг о воспитании детей, двух сборников эссе), а также двух пьес, запрещенных в 1977 году, когда Дружников решил эмигрировать. В 1987 году, после публичной выставки в Москве «Десятилетие изъятия писателя из советской литературы», выехал за границу.

На Западе печатается с 1979 года («Вашингтон пост», «Новое русское слово», «Нью-Йорк таймс», «Русская мысль», «Время и мы», «Двадцать два» и др.).

Профессор Техасского университета. Почетный член ПЕН-Клуба.

Живет в Остине, США.

КАК Я СПАСЛА КОЛОМЕНСКОЕ

Это было накануне Всемирного Фестиваля молодежи и студентов в Москве в 1984 году. Москва, столица мира, сгибаясь под тяжестью этого титула, подобного незаслуженному наказанию, готовилась к очередной экзекуции. Казалось, совсем недавно, всего четыре года назад, прогремели последние залпы орудий на стадионе в Лужниках во время Олимпиады, и только-только стали заживать раны на старом теле города, как опять предстояло ему принять на себя огонь оголтелой молодежи. Древняя столица России! Как много ты отражала атак и нападений на протяжении всей истории существования своего: но, наверно, никто из живших когда-либо в Москве не мог себе представить, что в XX веке, в период бурного расцвета цивилизации, в период почти развитого социализма, может произойти второе нашествие «татаро-монголов». От этого нашествия никто не был в состоянии спасти город, – единственное, что утешало патриотов, – то, что долголетнего ига чужестранцев не предвиделось, хватало своего, постоянного.

В то время я работала главным архитектором проектов в институте «Моспроект-3» в мастерской, где выполняли проекты реставрации памятников архитектуры Москвы и Подмосковья – старинных усадеб и парков – Останкино, Кусково, Царицыно, Кузьминки, Лефортово, Воронцово, Коломенское. Это были объекты, над которыми работали я и моя бригада в течение многих лет. Все они были хронически больны забвением, и если удавалось «пробить» какой-нибудь проект реставрации в недоступных стенах советских строительных организаций и банков, у которых никогда для этой статьи бюджета не хватало «лимитов», то кое-что в обрезанном, испорченном экспертизами и прочими нахлебниками, иногда до неузнаваемости, виде появлялось на измученной строителями земле, которую потом приходилось зализывать авторам проекта и энтузиастам-любителям.

Одним из таких счастливых объектов было Коломенское – жемчужина земли Московской, памятник архитектуры и истории XVII века. Каждому русскому знакомо это название –

оно связано с именами царей Алексея Михайловича и Петра I, со всей историей Москвы, начиная с незапамятных времен, а Дьяково Городище, лежащее близ Государева Двора, помнит еще доисторические времена. Сейчас там ведут раскоп археологи и находят предметы быта начала новой эры. Здесь оставили свои следы лошади татарских орд – в лугах Коломенского растут травы, семена которых были занесены и втоптаны их копытами. Богатейший породный состав деревьев и кустарников, трав и цветов, фруктовые сады, которые берут свое начало со времен царей, даже сейчас удивляют ботаников. А церковь Вознесения, шатровый купол которой, пожалуй, единственный, оставшийся неразрушенным, виден далеко за Москвой-рекой; а Дьяковская церковь, которая своим изяществом покоряет сердце; а Передние Ворота, которые помнят послов заморских, приплывающих плотами по Москва-реке; а Государев Овраг, живописнейший оазис, с его источником «живой воды»; а высокий берег Москва-реки, с пластами каменных древних пород; а тихий и далекий правый берег и вдаль виднеющаяся Перерва, – да разве можно перечислить все, что есть Коломенское. Я полюбила его, как больного ребенка, когда впервые пришла сюда и увидела, в каком состоянии находилось это бывшее сердце Московской земли. Сплошной разор и забвение. Деревни Дьяково, Садовники, Коломенское, существовавшие еще при царе Алексее Михайловиче, доживали свои последние дни в страшной агонии запустения и нищеты – там еще копошились люди, жившие в старых полуразрушенных деревянных домишках. Все они казались мне выходцами с того света – с их измученными лицами, в темных, грязных одеждах, – это было очень странно видеть, потому что совсем рядом существовала Большая Москва – огромный жилой район Ногатино с высокими домами, а с другой стороны, у станции метро «Варшавская» – знаменитый онкологический центр, страшный серый гигант, подавляющий своей громоздкостью и значением.

Решение создать исторический заповедник «Коломенское» созревало много лет в кабинетах Московского архитектурно-планировочного Управления и Моссовета, оно рождалось в муках – система охраны памятников архитектуры в Советском Союзе – самая зависимая от настроений в верхах и бесправная. И когда, наконец, родилось это *решение*, выполнить его оказалось невозможно. Кстати, множество решений

Моссовета не выполняется как абсолютно нереальные. Причин было много – слишком большая площадь в центре района, среди окружающей жилой застройки, слишком большая протяженность ограды, на металл которой нужно получать разрешение Госстроя СССР, а это почти невозможно, так как металла в стране мало, слишком большая реставрация деревень, дома которых представляют собой историческую ценность, неразрешимая проблема эксплуатации деревень – Союз художников предложил взять это на себя, организовать мастерские в отреставрированных домах и продать их членам Московской организации Союза художников, но Моссовет испугался этой идеи – создавать общество «лендлордов» у себя под боком – Боже упаси!

Стоимость реставрационных работ и создания заповедника оказалась слишком высокой, и *решение* осталось только на бумаге, красивой фирменной бумаге с печатями и подписями сильных мира сего. А все могло решиться очень просто – нужно было только не побояться отдать это дело на откуп художникам и скульпторам, и нашлись бы сразу и деньги, и средства, и силы.

Но, тем не менее, проект реставрации и создания исторического заповедника нам был заказан, и мы его выполняли в течение десяти лет. По мере готовности отдельных частей проекта с большими трудностями удавалось кое-что воплощать в жизнь – это были крохи, но все же лучше, чем ничего, потому что Коломенское разрушалось на глазах. В деревнях вспыхивали пожары, и дома горели каждую ночь – их поджигали сами жители деревень, узнавшие, что их все равно будут выселять и давать им квартиры в больших домах. Так сгорели все деревянные дома, которые мы хотели сохранить как ценнейший исторический материал. На местах пожарищ стихийно стала возникать и увеличиваться с ужасающей быстротой городская свалка мусора. Высокий берег реки под церковью Вознесения угрожал оползнем, а Государев Овраг держался корнями неизлечимо больных язв – Голландская болезнь съедает все язвы Москвы. На низком берегу реки создали огромную станцию очистки канализационных стоков всей Москвы, по территории Коломенского уже проектировалась прокладка третьего транспортного кольца – скоростной магистрали в непосредственной близости от памятников архитектуры. Западный читатель этому не удивится – ведь рядом с

Кёльнским Собором – железнодорожный вокзал, ну и что – но к Коломенскому эти мерки не применимы – это истинно русский памятник, с размахом окружающего простора, с русской широтой тихих далей и ландшафтов, это XVII век России!

Коломенское нужно было спасти. Это понимали все образованные люди Москвы, и множество писем было послано в правительственные органы с просьбой что-то начать делать в Коломенском, не дать ему погибнуть окончательно.

Под нажимом больших авторитетов и с большим скрипом Моссовет стал выделять небольшие средства на реставрацию. И постепенно, с огромными трудностями, очень медленно, стали проводиться реставрационные работы. Нужно было иметь большое терпение и выносливость, чтобы воплощать наши проекты в жизнь, нужно было пройти через все круги ада – всевозможные экспертизы и согласования – их было около 30-ти, утверждения проекта во всех вышестоящих инстанциях, а их в Москве неисчислимо количество. За десять лет были почти что закончены работы по реставрации церкви Вознесения, Передних и Задних Ворот и некоторых строений на территории Государева Двора, был укреплен высокий берег реки, проведено благоустройство Государева Двора, проложены подземные коммуникации, построено фондохранилище для музейных ценностей. Постепенно Коломенское преображалось, мы выхаживали его как тяжело больного. Правда, работы проводились только в Государевом Дворе, а он составляет всего только одну десятую территории, но это было начало, это была уже почти победа.

Запретили городскую свалку и постепенно очистили территорию от мусора, решение о прокладке третьего транспортного кольца отложили на неопределенное время, расчистили пожарища и переселили жителей деревень, засеяли газоны, посадили деревья, кустарники, проложили пешеходные дорожки, и Коломенское уже начало встречать иностранных гостей, которые с большим интересом взирали на старое, русское, настоящее, как вдруг...

Однажды вечером, в начале апреля, тревожный звонок телефона оторвал меня от книги – прекрасного альбома Бакста, который я часто любила смотреть. Звонил мой друг, архитектор, работавший в системе охраны памятников архитекту-

ры. Он срывающимся голосом сообщил мне, что на завтра назначено совещание по вопросу проведения Фестиваля молодежи на площадях и в парках города и ...в том числе, в Коломенском. У меня остановилось сердце. Я представила себе эту стихийную толпу молодых, здоровых телом, пустоголовых акселератов на хрупких изысканных дорожках усадьбы, выложенных нашими руками. При создании музея мы настояли на том, чтобы посещение его осуществлялось только небольшими группами, обязательно с гидами, по специально проложенному маршруту – в Коломенском существует дубовая роща, возраст которой около 300 лет, а дубы – это самые капризные, плохо реагирующие на антропогенную нагрузку деревья, несмотря на их могучие стволы; в Коломенское свезены старинные деревянные постройки из среднерусской полосы, деревянный домик Петра I, на оползневом склоне у церкви Вознесения, на которую мы боялись дышать, проложены маленькие тропинки, по которым можно ходить только по одному... И все это – под Фестиваль?! Ночью мне приснился хан Батый. А наутро было совещание в Комитете по организации Фестиваля при Центральном комитете комсомола, которому было поручено проведение Фестиваля.

Когда-то, в молодости, я тоже была комсомолкой, и даже активной – в культурно-массовом секторе, но то были другие времена, мы еще во что-то верили и жили, не особенно задумываясь о наших судьбах. Мы многого не знали, от знаний мировых проблем нас надежно охранял тяжелый железный занавес, мы были за кулисами, мы были молодыми...

И вот я встретила с сегодняшними комсомольцами, вожаками. Это были настоящие вожаки, как в волчьей стае, сильные молодые волки, самонадеянные, самовлюбленные функционеры, которым все дозволено под крылышком ЦК партии – это ее смена, ее будущее. В России молодежь, в большинстве своем, наделена комплексами неполноценности, обусловленными множеством причин психологического характера, поэтому молодые люди, особенно в провинции, стесняются, часто краснеют при общении с высоким начальством, ведут себя скованно, не могут свободно высказывать свои мысли. Но не такие их вожаки в центральном аппарате – эти знают себе цену, их будущая карьера обеспечена – и это дает им силу и власть и диктует поведение их в обществе. Они весьма раско-

ваны, для них не существует авторитетов, кроме, конечно, их шефов.

На совещании присутствовали члены ЦК партии, Моссовета, заместитель министра культуры СССР, представители органов и ...я. До этого я успела переговорить с главным архитектором Москвы, Макаревичем и его заместителем Нестеровым, они мне сказали: «Держись, за тобой – Москва. Не позволяй комсомольцам приблизиться и на километр к Коломенскому, защищай свое детище. Мы все – за тобой, за твоей спиной, поддержим. Нам неудобно лезть в драку с Министерством культуры, а тебе терять нечего».

Воодушевленная этим разговором, я решила бороться до последнего, тем более, что терять мне было нечего.

Об Архитектурном управлении комсомольцы и их шефы вспомнили лишь тогда, когда все-таки понадобилось согласовать проведение праздника с органами охраны памятников, согласно государственному закону СССР. Вот тут-то я и почувствовала, что если не встану грудью против этих невежд, то вся наша работа пойдет прахом, а мои шефы уйдут в тень, в кусты – дело в том, что к этому времени, оказывается, было уже подписано правительством решение о проведении Дня фольклорного искусства в Коломенском во время Фестиваля и даже подписано соглашение с иностранными государствами о прямой трансляции праздника по телевидению, конечно, за валюту. А о нас вспомнили, так сказать, постольку-поскольку, – мол, нужно все-таки формально согласовать.

Мои шефы долго ломали голову, как лучше, дипломатичнее решить эту проблему, чтобы овцы были целы и волки сыты. Не хотелось им терять насиженные теплые кресла и тяжелые портфели. И они решили послать меня на бой, на убой. Зная мой бешеный характер и каменную твердость в деле, полученную мною в борьбе с ними же, они мало чем рисковали. Все мои шефы – здоровенные мужчины, и мне показалось забавным, как они все спрячутся за моей неширокой спиной. В то же время мне было интересно испытать свою силу в борьбе против могущественных столпов. И грянул бой...

Я узнала, что место для проведения фольклорного праздника было предложено выбрать Моисееву Игорю Александровичу, руководителю знаменитого танцевального ансамбля. Он объездил всю Москву и остановил свой взгляд на Коломенском – оно действительно останавливает взгляды. Че-

ловек очень энергичный, он круто взялся за дело, написал сценарий проведения праздника с пышностью, размахом, с широкой русской характером, с многочисленными участниками, тройками лошадей, массовыми танцами и плясками на громадных эстрадах и сценических площадках... рядом с церковью Вознесения. Игорь Моисеев – талантливый человек в своем деле, но такой же невежда в знании прочих наук, как и его шефы, работники Министерства культуры.

Да и много ли можно требовать от них, если даже заместитель министра культуры Голубкова, женщина весьма представительная по своим габаритам, в прошлом была работницей системы вторсырья. В Советском Союзе такие явления, такие «болезни роста», когда малограмотные люди становятся большими боссами, благодаря красной партийной книжке и неразборчивому характеру, довольно типичны. Но если босс умный, то при нем всегда специалисты, которых он слушает. Беда в том, что советские боссы в большинстве своем считают себя умнее всех, и их болезненное чувство гордости, за которым прячется неуверенность в завтрашнем дне, не дает им возможности слушать просвещенное мнение других. Это гиперболическое «всезнайство» наделало немало бед в стране. Когда архитекторы шутили сквозь слезы, что вся архитектура Москвы – в руках «главного архитектора города» Гришина, бывшего секретаря Московского комитета партии, и его приспешника Промыслова, бывшего председателя Моссовета, не ведающих, что такое архитектура, и имевших образование ниже среднего, то всем было не до смеха – Москва была испорчена непоправимо благодаря их «стараниям». Но это – целая «история архитектуры», о которой в этом коротком рассказе я говорить не буду. Вернусь к Моисееву. Он с блеском согласовал и утвердил свой сценарий в Министерстве культуры и укатил на гастроли в Италию, оставив вместо себя своего заместителя – режисера Московского цирка, женщину весьма решительную и недалекую. Кстати говоря, Моисеев в Союзе бывает очень редко, он трудится в основном за границей по добыванию валюты, приносит немалый доход государству, поэтому с ним считаются и очень ценят.

Переговорить с ним об изменении сценария не было никакой возможности – он был недостижим в далекой Италии и вернуться должен был только накануне Фестиваля. С женщиной

из цирка говорить было совершенно бесполезно – она размаживала бумагой с подписью министра.

На совещании меня попросили, очень вежливо, ознакомиться с проектом праздника, с режиссурой и макетом, который выполнялся группой художников в городе Львове на Украине, и согласовать проект. Я была очень удивлена выбором города, потому что фольклорные мотивы Западной Украины совершенно отличаются от среднерусских, московских. На мое главное возражение против проведения праздника в Коломенском мне было заявлено, что «поезд уже ушел, валюта получена, решение подписано правительством». Я слишком маленький человек, чтобы идти против правительства, но, тем не менее, я решила найти какое-нибудь решение, чтобы спасти то, что еще можно было спасти. С этими людьми на совещании дискутировать было бесполезно, и я полетела во Львов.

Конечно, в мастерской художников у меня произошел шок при первом взгляде на макет. Эти славные ребята получили заказ на эту работу потому, что они уже подготовили несколько подобных праздников в стране и были отмечены наградами. Они были счастливы, так как сидели без денег, как большинство художников в России. Представления об архитектуре Коломенского, о его истории, о понятии охраны памятника, об увязке оформления фольклорного праздника с общим обликом памятника, о возможностях его территории, об опасностях рельефа, об угрозе церкви Вознесения они не имели ни малейшего. Но макет был готов, очень пестрые, сочные краски, ленты, флаги и стяги, так характерные для Западной Украины, мелькали у меня в глазах до рези. Они с гордостью мне все показывали, а я, онемевшая от ужаса, не могла произнести и слова. Когда я, наконец, пришла в себя, я попросила разрешения позвонить в Москву, но оказалось, что телефона не было во всех мастерских. К слову сказать, когда в горсовете Львова узнали, что приехал какой-то «большой человек из Москвы», на следующий же день бедным художникам поставили телефон, который они ждали много лет. Очень тактично и доброжелательно я начала критиковать их работу, рассказав им историю Коломенского, законы архитектурного ансамбля, особенности русской архитектуры. Для них это была интересная лекция по ликбезу. Но они так яростно защищали свои права, беспокоясь за судьбу их рабо-

ты, которую они выполняли несколько месяцев, что я решила не брать только на себя решение все переделать. Я позвонила в Москву и попросила созвать большой Совет с обязательным присутствием всех ответственных лиц.

Был уже конец апреля, а Фестиваль начинался в середине июля – времени было в обрез. Нам выделили самолет, макет в огромных ящиках был доставлен в Москву, за ночь художники его смонтировали в зале Министерства культуры, и наутро было создано большое совещание.

Это был парад лицемерия. Все восхищались макетом, никто из архитекторов не хотел сказать правду в глаза заместителям министра, которые похвалили работу. Правда, начальник Государственной инспекции по охране памятников архитектуры Савин пытался очень осторожно, деликатно объяснить, что праздник в Коломенском «не желателен», так как это памятник уникальный и т. д. и т. п. Тут я взорвалась, мой профессиональный долг не дал мне смолчать. Я произнесла громкую речь, я бросилась как тигрица на защиту своего дитяти. «Уважаемые товарищи. – (Так принято начинать все речи в стране, хотя никто никого не уважает). – Здесь собрались люди, которые должны охранять историю страны и донести ее до потомков хотя бы в том искаленном виде, какой она осталась после многих катаклизмов. Коломенское, по счастливой случайности, осталось почти не разрушенным, более того, оно только что вышло из-под реставрации, а вы хотите за один день уничтожить все. Правда, вы не увидите плоды своего решения, так как разрушение будет происходить медленно – оползневой слой вместе с церковью Вознесения, после тяжелой нагрузки многих тысяч пляшущих людей будет постепенно разрушаться, Государев Овраг постепенно оползает, дубы постепенно засыхать, – но ваши дети и внуки уже могут не увидеть Коломенского, как не увидят никогда храма Христа Спасителя и многого другого. Валюта оказалась для страны важнее всех культурных ценностей. Мне было сказано, что поздно об этом сейчас говорить, что „поезд ушел“. А раньше-то почему никому в голову не пришло посоветоваться со специалистами? Почему стало принято не считаться с органами охраны памятников, почему игнорируют мнение знающих людей, болеющих за свое дело, желающих спасти остатки истории народа? По проекту Моисеева 15 тысяч человек одновременно будут плясать под церковью

Вознесения на огромной пятиступенчатой эстраде с гигантской Катюшей наверху, и гостей иностранных несколько тысяч. Да это хуже нашествия татарской Орды!» Я объяснила все опасности рельефа, представила официальное заключение оползневой станции, рассказала обо всех трудностях реставрации, через которые мы прошли за эти годы, я бушевала, я открыла кингстоны моего темперамента. Казалось, они были обескуражены таким потоком информации. Голубкова в некотором замешательстве спросила: «А что же теперь делать? Найдите хоть какое-нибудь конструктивное решение». Я попросила пару дней на обдумывание. Два дня мы сидели, не разгибаясь, придумывая, как выйти из этого опасного положения. Решение пришло на месте – в Коломенском, по которому мы уныло бродили несколько часов – большую эстраду перенести вниз, подальше от церкви, и проложить к ней дорогу; ярмарку устроить рядом, чтобы оттянуть массы народа от Государева Двора; Город Мастеров, в котором предлагалось представителям всех 15 советских республик в присутствии гостей производить и продавать характерные для них ремесленные изделия и который Моисеев удобно расположил под старыми дубами, перенести из дубравы к стене; эстрады для народных танцев всех стран мира отодвинуть от склона оврага во избежание опасных инцидентов, маршруты проложить так, чтобы не причинить вреда памятникам и ...сократить число участников праздника вдвое. Мы ждали следующего совещания со страхом. Как посмотрят на наши весьма «конструктивные» предложения наши высокие бонзы, ведающие культурой, но не ведающие культуры.

И вот я уже на трибуне, до этого приняв пару успокоительных таблеток. Голос мой спокоен, убедителен. Все слушают внимательно, но с сомнением и с некоторым опасением. Но после моего бурного первого выступления кое-что дошло до ума некоторых начальников, и они призадумались и засомневались. Мои предложения, которые были согласованы с архитектурными органами, заставили их отойти от стереотипа их представлений. Позвонили Моисееву в Италию, он был в бешенстве и, как мне потом рассказывали очевидцы, – «они очень ругались матом по международному телефону».

Но делать было нечего, шефы-архитекторы, почувствовав слабину в Министерстве культуры, стали уверенней и настойчивей, очевидно, их вдохновила моя храбрость. А я, по-

чувствовав их уже не столь робкую поддержку, стала наглеть, требовать, чтобы все работы по строительству и устройству эстрад и прочих сооружений на территории Государева Двора проводились вручную, заявила, что не пушу ни одну тяжелую машину и строительные краны, которые могут повредить дорогам и зеленым насаждениям.

Это заявление подействовало, как бомба, на строителей, но когда я потребовала сокращение вдвое числа участников и гостей – это уже было похоже на извержение Везувия. Масса хлопотала от возмущения. Один лишь представитель определенных органов был совершенно спокоен – он предложил очень простое решение: раз нельзя, так нельзя, – значит будут только иностранные гости, а советские люди смогут посмотреть праздники и по телевизору. А для того нужно оградить территорию от возможности проникновения «лишних» советских людей. Забор, конечно, не поставишь – будет видно по телевизору, а кордон из милиционеров, одетых в национальные костюмы, будет не так заметен. Это было смешно, если бы не было так грустно. Страсти постепенно стали затухать, особенно после того, как я сказала, что решение перенести большую эстраду вниз продиктовано интересами Москвы не только в вопросе охраны памятников. Когда операторы телевидения будут проводить передачу, то они поставят свои аппараты внизу, и Коломенское окажется на пьедестале, как ему и положено быть, в противном случае, если бы эстрада была наверху, зрители по телевизору увидели бы за Москва-рекой весьма обширную станцию аэрации, – очистные сооружения канализации, а прелесть памятника при съемке на уровне глаз была бы незаметна за пышной яркостью красок Фестиваля.

Это прозвучало довольно убедительно для всех присутствовавших. К концу дня все более или менее утряслось. Осталось решить одно – как успеть все сделать к началу праздника.

Целую неделю каждый день строители ломали головы. Это была нелегкая задача – все строительные организации Москвы настолько не гибки, что сделать что-либо нестандартное почти невозможно. Но дело было международного масштаба, а уж тут пускать пыль в глаза мы умеем. Страна была призвана работать только на Фестиваль – нам дали везде зеленый свет. Зеленый свет дали, но забыли закрыть красный, – мы пробивались сквозь неприступные стены невозможностей – не было материалов, какие требовались нам, не было меха-

низмов, не было квалифицированной рабочей силы, не было кабеля, металла, дерева, красок. Нам пришлось переделывать весь проект, разработанный во Львове, под хилые возможности московских строительных организаций, чего и можно было ожидать.

Каждый день проводились «оперативки» в Главном Управлении капитального строительства Москвы. Участники совещаний выходили из кабинета с красными лицами и принимали валидол. Вел эти совещания страшный «хозяин» Москвы – Антонов, грубиян и наглец, стилем разговора которого был только крик и презрительные издевки. Кстати, таков стиль почти у всех строительных советских начальников. Страсти кипели, как в котлах ада. Много было шума, а дело двигалось очень медленно. Я каждый день ездила в Коломенское и своей грудью отражала нападения строительных кранов и машин, подобных пришельцам из других миров из романа Уэллса «Борьба миров». Я была одна против целого мира строителей, которые осыпали меня потоками ругани, но все-таки ни одна машина не проехала по дорожкам Коломенского. Им пришлось-таки создать строительный отряд студентов, которые на руках перенесли все конструкции эстрад и собрали все сооружения на месте.

Я забывала пообедать, по ночам мне снились кошмары, но я стойко держалась. Когда я просила помощи в Инспекции по охране памятников, они так вяло отнекивались, так редко появлялись на месте строительства, очевидно из-за сознания их бесправности, что мне пришлось одной быть защитницей этого уникального памятника. Это не мания величия, это правда.

И когда уже все было построено, покрашено, припудрено, приглажено, – я сломалась. Наступила реакция безразличия. Мне стало очень обидно – как же так получается, что в стране, где столько умных, образованных людей, всем все равно – бесполезность борьбы за свои права, за свои убеждения, за истину сделали этих людей безразличными. А безразличие, равнодушные порождает снежную лавину катастроф. И тогда бывает поздно...

Религия в нашей жизни

В порядке дискуссии

Томаш М я н о в и ч

К ИСТОРИИ ВОСТОЧНОЙ ПОЛИТИКИ ВАТИКАНА: «ПОЛЬСКАЯ МОДЕЛЬ»

Когда 16 октября 1978 года краковский митрополит кардинал Кароль Войтыла был избран Папой, во многих католических кругах пробудилась надежда на изменение ватиканской восточной политики. Главным фактором ожидаемых перемен должен был стать тот факт, что на престол Св. Петра вознесен кардинал из страны, находящейся под господством коммунизма; новый Папа, по личному опыту зная систему марксизма-ленинизма, должно быть, понимал, опасности, проистекающие из политики «открытости» Католической Церкви к советскому блоку, которая, начавшись при Иоанне XXVIII, достигла апогея в годы понтификата Павла VI. Надежду укрепляла уверенность в том, что кардинал Войтыла – родом из страны, где Церковь всегда противостояла преследованиям со стороны властей, более того, стала главным генератором сопротивления всего общества коммунистическому режиму.

Однако ватиканская восточная политика не претерпела никаких изменений. В немногочисленных работах, посвященных этому вопросу, особое внимание обращает на себя тот факт, что их авторы не в силах найти логическое объяснение такого положения дел. Тому есть ряд причин. Оба партнера: Ватикан и Москва – ведут в высшей степени тайную политику, несравнимую в этом отношении с политикой демократических государств. Следовательно, возникают трудности с источниками и документами. Положение ухудшается еще и тем, что коммунистическая сторона вдобавок занимается дезинформацией и пропагандными маневрами, рассчитанными на то, чтобы сбить с толку противника («партнера») и ввести в заблуждение международных наблюдателей. Однако главная при-

чина рухнувших надежд и ложных толкований состоит в слепоте к тому факту, что ватиканская политика по отношению к советскому блоку с давних пор моделируется по образцу отношений между Католической Церковью и властями в Народной Польше. А широко распространенная на Западе картина этих отношений не лишена далеко заходящих упрощений, ибо ряд исторических фактов, непригодных для общепринятой версии, либо преданы забвению, либо знание их замещено истолкованием.

Затуманиванию картины весьма содействовали события последних лет в Польше – с момента создания «Солидарности». Трудно указать в новейшей истории другую тему, о которой было бы так много написано и при этом высказано столько заблуждений, как о польской «Солидарности». Понятно, что сомнительная ценность большинства анализов связана с сильными пристрастиями авторов, а также с давлением политических расчетов, выходящих за пределы Польши. Интересам всех сторон, участвовавших в событиях (не только властей), нередко служили поверхностные или прямо ошибочные оценки, если только они укрепляли политические выкладки, рассчитанные на сторону, прямо не участвующую в событиях, – Запад.

Создавшаяся у западных наблюдателей схематизация образа Польши в значительной степени относилась и к позициям Католической Церкви. Была принята версия о единстве Церкви и общества (т. е. «Солидарности»), об общей их борьбе за права человека и гражданина, за права трудящихся¹.

Дискуссия о правах человека, шедшая так интенсивно после Хельсинкского совещания, – типичный пример подавления описательной функции языка пропагандной, или психологической функцией. Путаница особенно возросла в последнее время, когда М. С. Горбачев предложил провести в Москве конференцию по правам человека, а поддержку этой идее (хотя и на определенных условиях) оказал самый знаменитый советский правозащитник Андрей Сахаров.

Церковь в Польше действительно защищала права человека, однако она всегда желала играть роль посредника между «Солидарностью» и коммунистической партией, а в момент открытого конфликта оказала политическую поддержку властям. Западные обозреватели обычно не замечали, что именно в последние годы в Польше возникли явления, ранее

не встречавшиеся: акции верующих в защиту священников, репрессированных церковными властями за свою поддержку «Солидарности» (драматическая голодовка в поселке Урсус в 1984 г. в защиту ксендза Новака), серьезные расхождения среди духовенства в оценке поведения Примаса Польши или, наконец, открытая критика компромиссных позиций Примаса на страницах независимой печати. Если на эти факты и обращалось внимание, то всё относили на счет личности кардинала Глемпа, не принимая всерьез заверений его ближайшего окружения, что он продолжает линию кардинала Вышинского².

Автор наиболее весомых работ на тему отношений Церкви и государства в «Народной» Польше, Юзеф Мацкевич, так комментировал их устоявшийся образ:

Если говорить о Церкви в Польше, то правда состоит в том, то правду знать не хотят, либо бегут от нее, либо подменяют своеобразной смесью лозунгов, тактических недомолвок, благих пожеланий, избранных патриотических формулировок. Иногда трудно даже разобраться, что доминирует в первую голову: умышленное незнание, искреннее невежество или искренняя готовность к самообману³.

Высказывания польских авторов, не впадающих в описанную Мацкевичем схему, были немногочисленны. Тем интересней привести две цитаты:

Совершенно ложно часто встречающееся на Западе мнение о том, что Церковь – единственная в Польше оппозиционная сила по отношению к коммунистическому государству, – на самом деле, Церковь от этой роли добровольно отказалась⁴.

И другой автор обращает внимание на ошибочный угол зрения западных наблюдателей:

Наблюдатели извне, внимательно регистрирующие одну за другой фазы антицерковной кампании коммунистического режима в Польше, не заметили, что никогда, ни в один из самых трудных моментов (включая момент ареста кардинала Вышинского), ничто не угрожало Церкви как институту и Церкви как залого общественного порядка. Поначалу незримая, со временем все больше и больше обнаруживалась тождественность структур и целей государственной и церковной власти. Видимые различия не мешали сосуществованию, а то и прямо патологическому симбиозу⁵.

Генезис ватиканской восточной политики лежит в модели отношений Церкви и коммунистической партии в ПНР, и без серьезного исторического анализа этого вопроса нельзя ни

понять цель этой политики, ни произвести ее целостную оценку. Хаммель видит непоследовательность в поведении Ватикана и считает, что существуют две восточные политики Иоанна-Павла II: первая – по отношению ко всем коммунистическим государствам, за исключением Польши, продолжающая линию Павла VI, и вторая, принципиально иная, – в отношении Польши. Тот же автор считает важнейшим результатом нынешнего понтификата «определение наново» («Neudefinitio») отношений между Католической Церковью и коммунистическим государством, что якобы произошло именно в Польше⁶. В действительности же, линия Ватикана по отношению к Варшаве – столь же имманентный, сколь и логический элемент церковной «остполитик», истоки же польской «модели» отношений Церкви и государства относятся к началу 50-х годов.

Как церковная, так и партийная сторона, а также западные наблюдатели, говоря о «польской модели» или о «польской специфике», справедливо подчеркивают исключительность польских обстоятельств. Мацкевич сообщает, что со времен Иоанна XXIII в ватиканских кругах Польшу называют «опытным полем» отношений между коммунизмом и католицизмом⁷. Однако философию «польского опыта», которому позднее предстояло выйти за пределы Польши и решающим образом повлиять на позиции Вселенской Церкви, изложил орган Краковской митрополичьей курии «Тыгодник повсехный» еще 3 февраля 1952 г. пером двух ведущих католических деятелей и публицистов – Станислава Стоммы и Ежи Туровича. Статья, озаглавленная «Польский эксперимент», опиралась на «Соглашение между представителями правительства ПР (Польской Республики)* и Епископата Польши», заключенное 14 апреля 1950 года.

В Соглашении Епископат декларировал полную политическую лояльность по отношению к коммунистическим властям и, «осуждая любые антигосударственные выступления», обязывался «бороться против преступной деятельности банд подполья» (речь шла о еще действовавшей вооруженной антикоммунистической оппозиции), а также «клеить и карать каноническими наказаниями духовных лиц, виновных в участии в каком бы то ни было подпольном, антигосударственном

* Название Польская *Народная* Республика введено только в 1952 г. – П е р.

деянии». «Епископат, – читаем в тексте Соглашения, – разъяснит духовенству, чтобы оно не противилось расширению кооперативного дела в деревне» (речь шла о коллективизации сельского хозяйства).

Коммунистическая сторона декларировала соблюдение религиозной свободы, сохранение обучения закону Божьему в школах, установление равноправия католической печати с другими изданиями, свободу деятельности монашеских орденов и братств «в рамках их призвания и действующих законов».

Стомма и Турович толковали Соглашение как «жизненный компромисс между Церковью в Польше и правящим марксистским лагерем». По мнению авторов, Соглашение, «не исключая идейную борьбу, должно, однако, препятствовать тому, чтобы она перебралась на политическую почву (...), облегчая сотрудничество между католиками и марксистами на благо народа». В статье декларировалась «полная государственная лояльность» и «выработка иммунитета к любым политическим наущениям со стороны внешних и внутренних сил, которые по каким бы то ни было причинам борются против народного государства».

Авторы справедливо подчеркивали «факт неизмеримого исторического значения, а именно: возникновение непосредственного контакта между христианским миром и культурой строящегося коммунизма». Однако они очерчивали сложившееся положение непоследовательно, ибо «Народная» Польша после войны стала крупнейшей католической страной под властью коммунизма, к тому же практически монолитной в вероисповедном и национальном отношении. Быть может, Стоммой и Туровичем руководило желание «не дразнить власти». Так можно объяснить следующее заявление: «Наверное, многие динамичные католики ставят социальный идеал социализма выше капиталистической концепции жизни». Подчеркивая «недоверчивость и недоброжелательность католического лагеря по отношению к капитализму в период его формирования» («известно, что Папа Пий IX объявил войну либерализму, который, как известно, является фундаментом капитализма»), они «в какой-то степени» допускали справедливость упрека в том, что «оппозиция католической стороны по отношению к буржуазной революции, а затем – к капитализму была проявлением социального консерватизма и результатом тесной связи с феодальными формациями». Формулировки

этого типа не согласовывались с тогдашним учением Пия XII. Однако не это главное. Важнее вторая часть статьи, посвященная «указаниям направлений первостепенного значения для будущего Католической Церкви как единого целого». «Польский эксперимент, – писали авторы, – по своей значимости превосходит масштаб проблем одного народа, и результаты его будут оцениваться всей Католической Церковью». Будущую роль «эксперимента» Стомма и Турович видели в «крещении коммуниста», под которым разумелось «соединение социалистической социальной программы с христианской моралью и метафизикой». В заключение они задавали вопрос:

Когда польский эксперимент можно будет в этом универсальном смысле считать удавшимся? Пусть этот вопрос пока останется риторическим. Искать на него сегодня исчерпывающий ответ было бы слишком смело по отношению к истории.

Десятью годами позже орган кардинала Монтини «Италия» писал:

Польша сейчас является той зоной католицизма, которая приносит наиболее ободряющие выводы на тему возможности взаимопонимания между Католической Церковью и коммунистическим правительством, на тему границ этого взаимопонимания (...). Польский эксперимент в этой области является опытом из первых рук, надежно указывающим общие нормы поведения Церкви по отношению к социалистическому обществу⁶.

Полтора года спустя кардинал Монтини стал Папой, приняв имя Павла VI, и приступил к «крещению коммунизма», что сводилось к политике «открытости» в отношениях с советским блоком и к идейному диалогу с силами «прогресса» («*apertura a sinistra*»).

Когда Стомма и Турович печатали свои статьи, со времени подписания Соглашения прошло без малого два года, и каждому было ясно, что коммунисты не только не выполнили принятых на себя обязательств, но ведут последовательную борьбу с Церковью. Откуда же позднейшая карьера «польского эксперимента»? Чтобы ответить на этот вопрос, надо вкратце напомнить, что происходило на «опытном поле» до публикации статьи и что происходило там после.

Репрессии против Церкви в Польше начались на рубеже 1948/49 гг., т. е. как только власти расправились с политической оппозицией, легальной и вооруженной. Еще раньше так

же, как и в других государствах коммунистического блока, коммунисты организовали диверсионное движение «прогрессивных католиков» (прототипом его была «Живая Церковь», создававшаяся в России после большевистского переворота). Однако поначалу оно не угрожало интегральности Церкви, которая даже пользовалась известными привилегиями (выходила католическая периодика, коллективизация не затронула церковных земель, в школах беспрепятственно обучали Закону Божьему, власти оказывали финансовую помощь в восстановлении храмов). Однако уже 12 сентября 1945 г. был совершен акт, на первый взгляд, парадоксальный: коммунистическое правительство в Польше разорвало конкордат (единственный такого рода случай в советском блоке). Парадоксальность состояла в том, что власти тем самым как бы теряли право вето при назначении епископов, а католическое духовенство избавлялось от обязанности быть лояльным по отношению к государству⁹.

Важнее, однако, знать, каковы были обоснования разрыва конкордата, рассчитанные на сильные в обществе антинемецкие настроения: власти утверждали, что конкордат раторг Ватикан еще во время войны, поручив «через посредничество нунция в Берлине административное управление Хелмской епархией гданьскому епископу Каролю-Марии Шплетту» и «назначив апостольским администратором Гнезненской и Познанской епархий немца Брайтингера, с юрисдикцией для немцев». Эти акты, утверждалось, «противоречили интересам польского народа и государства»¹⁰.

Уже доказано, что эти обвинения в свете права были безосновательны¹¹. Но они эксплуатировали объяснимый у поляков антинемецкий комплекс, подготавливали позднейшую кампанию пропаганды против Папы как «врага Польши и друга немецких реваншистов» и, главное, были увертюрой к позднейшим нападкам на Церковь за «измену польским государственным интересам в вопросе Западных Земель». Вопрос о территориях, включенных в границы Польши в результате Ялтинской конференции, позже станет главным фактором, который коммунисты будут использовать, чтобы поддерживать у поляков антинемецкий комплекс, наделять Москву ролью гаранта «территориальной целостности» Польши и отвлекать внимание общества от угрозы советизации¹².

По вопросу о Западных Землях Польская Церковь последовательно стояла на стороне правительства и многократно это провозглашала. Зато Ватикан не признавал новых границ Польши, ибо не признавал совершенный в Ялте передел Европы, в т. ч. и включение в СССР бывших восточных территорий Польши. Немецкие авторы коллективного труда «Церковь при социализме» сообщают, что причиной конфликта кардинала Вышинского с Ватиканом было именно признание границы по Одере-Нейссе в Соглашении 1950 года¹³. Однако, согласно другим источникам, тревогу в Римской курии вызвал сам беспрецедентный факт подписания Католической Церковью договора с коммунистическим правительством¹⁴. Реакцию Ватикана иллюстрирует такой факт: «Получив известие о соглашении, монсиньор Тардини бегал по государственному секретариату, держась за голову и крича: «Mi sono addolorato!»¹⁵.

Соглашение было заключено в период, когда власти открыто вели антицерковную политику. В 1949 г. были изданы декреты, ударившие по католическим ассоциациям, у Церкви отняли больницы, ограничили отправление культа вне стен храмов. Законом от 20 марта 1950 г. власти национализировали церковные земли, не тронув только личные усадьбы приходских священников. С марта 1949 г. шла интенсивная кампания антицерковной пропаганды. В феврале 1950 г. был посажен под домашний арест епископ Ковальский, который пытался исполнять папский декрет об отлучении от Церкви верующих, сотрудничающих с коммунистами. В том же году началась ликвидация занятий Законом Божьим в школах.

Множились процессы священников, обвиненных в оппозиционной деятельности, которые не раз кончались смертным приговором. Нет данных о том, протестовал ли Епископат против приговоров. 13 мая 1951 г. епископы опубликовали меморандум, предостерегающий священников от занятий политической деятельностью.

Потерю права вето при назначении епископов, вытекавшую из разрыва конкордата, режим с лихвой компенсировал декретом «О назначении на церковные посты» от 9 февраля 1953 г., который давал властям право возражать против назначения или перемещения священников. Прецеденты, однако, имелись еще раньше. 26 января 1951 г. власти сняли пять апостольских администраторов на Западных Землях (их назначил еще покойный Примас Польши кардинал Хлонд, пользу-

ясь чрезвычайными полномочиями, полученными от Папы Пия XII). Примас Вышинский, преемник Хлонда, смирился с этим шагом властей и 18 февраля 1951 г. – после разговора с главой партийных властей Берутом – наделил канонической юрисдикцией «епархиальных управляющих», выбранных епархиальными советами. Власти требовали от Примаса создания постоянных епископств на бывших немецких землях. Это означало бы нарушить полномочия Ватикана. 4 апреля 1951 г. Примас отправился в Рим. Вскоре Папа назначил епископов во Вроцлав, Ополе, Гожув, Гданьск и Ольштын. Факт назначения Примас сохранил в тайне, информируя об этом только правительство. Однако коммунисты не допустили постоянных епископов стать во главе западных епархий¹⁶. 16 декабря 1951 г. Примас заявил в интервью «Тыгоднику повсехному», что позиции Епископата и правительства по вопросу о Западных Землях полностью совпадают. 26 мая 1952 г. Примас создает капитул Вроцлавской архиепархии, состав которого согласован с правительством¹⁷.

В конце января того же года власти огласили проект новой конституции, основанной на сталинских образцах. Епископат выступил против отделения Церкви от государства, но конституция ввела это отделение. После ее утверждения «Тыгодник повсехный» (1952, № 31) оценил конституцию как «фундамент национальной жизни», одоблив «общественно-политическую действительность, которую очерчивает конституция».

На 26 октября того же года были назначены «выборы», на которых баллотировался единый список «Национального Фронта». В связи с этим Епископат 19 сентября выпустил заявление, в котором, в частности, говорится:

Польская католическая общественность стоит перед высокой задачей – исполнить обязанности, вытекающие из избирательного права. Епископат Польши констатирует, что из права на голосование вытекает нравственный долг участия в выборах.

Церковь вела политику уступок, а коммунисты усиливали наступление на противника. События стали разворачиваться в быстром темпе. В ноябре 1952 г. власти насильственно сняли трех епископов Катовицкой епархии. На их место капитульным викарием был назначен о. Филип Беднож из прокоммунистического движения «ксендзов-патриотов». 6 декабря он принес присягу в президиуме воеводского совета в Катовицах,

а 16 декабря был законно признан Примасом Вышинским (который с 29 ноября был уже кардиналом).

В декабре 1952 года прошли аресты в Краковской курии – священников обвинили в подрывной деятельности и хозяйственных преступлениях. Епископат откликнулся заявлением о том, что «участие католиков, а тем более, духовенства в подпольной деятельности и в экономических диверсиях не только противоречит благу нации, но и вредит деятельности Католической Церкви в Польше»¹⁸. Одновременно в печати шла кампания обвинений Церкви в нарушении Соглашения 1950 года. Краковский процесс состоялся в январе 1953 года. Были вынесены приговоры на длительные сроки тюремного заключения. Приговоренных осудил «Тыгодник повсехный» в статье «После Краковского процесса» (1953, № 5, 15 февр.):

Всегда, когда люди, в той или иной мере представлявшие авторитет Церкви, допускали поступки, противоречащие уголовному праву и интересам государства, – Церковь несла большие потери. Католическая общественность должна стремиться к категорической ликвидации такого рода опасностей. Участие католического духовенства в антигосударственной конспиративной деятельности – следствие вредной, обращенной в прошлое тенденции вести борьбу со строем. Этим тенденциям, приводящим к роковым для нации и Церкви последствиям, следует противостоять со всей решимостью.

9 февраля власти выпустили вышеупомянутый декрет, дающий им право утверждать кандидатов на все церковные посты и обязывающий священников приносить присягу в «верности Польской Народной Республике». Тем же числом датирована выпущенная Епископатом «инструкция для духовенства», призывающая воздержаться от всяких действий против государственных властей и «теперешней действительности».

Режим усиливал антицерковные репрессии – полицейские, административные и финансовые. 8 марта 1953 г. было приостановлено издание «Тыгодника повсехного» (потом его на три года захватила католическая диверсионная организация «Пакс»). Интегральности Церкви все больше угрожал тот факт, что росло число священников, вступавших в ряды «ксендзов-патриотов» и получавших затем официальные церковные посты. Соповещения Епископата проходили не в полном составе ввиду того, что одни епископы были сняты со своих постов, другие арестованы. Как сообщает биограф Вышинского, Примас все время искал *modus vivendi* и даже удерживал

епископов, намеревавшихся протестовать перед правительством, «рекомендовал умеренность». Автор оценивает эту позицию как «реализм»¹⁹.

Юзеф Мацкевич дает такое определение понятия «реализм»:

Выражение «политический реализм», или просто «реализм» – общеизвестное в человеческой речи – в политическом звучании нашей эры занимает видное место. В повседневном словаре Запада оно на практике означает соблюдение нерушимости коммунистического статус-кво; в словаре советского блока – любой поступок или высказывание, согласующиеся с интересами этого блока²⁰.

Однако 8 мая 1953 г. Епископат направил президенту Беруту письмо протеста, где содержалось знаменитое «Non possumus!». В письме говорилось об административных репрессиях против Церкви, о кампании принудительной атеизации, о жестокой цензуре, о деятельности псевдокатолических группировок. По вопросу о священниках, находящихся в заключении, в письме обращалось внимание только на то, что власти не позволили Церкви ни изучить обвинения, ни встретиться с арестованными. Епископы подчеркивали, что Церковь неуклонно осуществляла Соглашение, и выражали готовность соблюдать его и в дальнейшем. В письме предлагалось соблюдение принципа отделения Церкви от государства (за год до этого Епископат выступил против этого принципа).

В контексте прежней линии Епископата тон письма был, тем не менее, решительным. Партию называли партией, а не, как до сих пор, «правительством» либо «государством». Прозвучали даже слова о ненависти коммунистической партии ко всему истинно католическому. Епископат критиковал присягу, которую священники были вынуждены приносить государственным властям. В первую очередь письмо было направлено против вмешательства в занятие церковных постов и декрета от 9 февраля 1953 года. «Возлагать Богово на алтарь кесаря нам нельзя. Non possumus!»

14-22 сентября 1953 г. проходил показательный процесс келецкого епископа Качмарека, приговоренного к 12 годам тюрьмы. Всего в 1953 г. в тюрьмах находилось свыше 900 духовных лиц, в т. ч. восемь епископов²¹. В ночь с 25 на 26 сентября был арестован кардинал Вышинский. Опубликованное в печати 29 сентября правительственное сообщение обвиняло Прима в «нарушении принципов Соглашения», «проведении

деятельности, разжигающей недовольство и создающей атмосферу брожения», а также информировало о запрете ему «исполнять функции, связанные с его прежними церковными постами». В опубликованном в тот же день заявлении Епископата Польши было обещано приложить старания, «чтобы не допустить в будущем искажения замысла и содержания Соглашения от апреля 1950 года». Решительно осуждались также «достойные сожаления факты, разоблаченные на процессе келецкого епископа Чеслава Качмарека». Председателем Епископата, по предложению властей, был выбран лодзинский епископ Михал Клепач, который стал «доброжелательным партнером „Пакса“»²². 17 декабря Епископат принес «обет верности ПНР», принятый зам. премьер-министра Циранкевичем.

Состоялась полная капитуляция Церкви в Польше. Исторические труды уделяют периоду, охватывающему три следующих года, весьма мало внимания.

Стоит отметить, что как критики кардинала Вышинского, так и его апологеты согласны в том, что Церковь все время хотела компромисса – не хотели его коммунисты²³. «Чем больше доброй воли проявлял Епископат, тем более острый курс брало правительство»²⁴. Добавим: обвиняя Церковь как раз в отсутствии доброй воли.

В поисках компромисса кардинал Вышинский в 1953 году согласился регулярно, раз в две недели, встречаться с создателем диверсионной католической организации «Пакс» Болеславом Пясецким, который исполнял роль связного между властями и Примасом. Пясецкий действовал «с благословения» советской госбезопасности и поддерживал постоянный контакт с министерством общественной безопасности ПНР. После 1956 года функцию такого связного взял на себя председатель депутатской группы «Знак», член Государственного Совета Ежи Завейский.

Не до конца точна распространенная ныне версия об антагонизме между Епископатом и организациями, созданными Пясецким. Последовательным сторонником Пясецкого был епископ Клепач; Примас нередко беседовал с Пясецким, который сыграл важную роль в подготовке Соглашения 1950 года²⁵. Дискуссионно и убеждение в политических различиях между «Паксом» и кругами «Тыгодника повсехного» и позднейшего «Знака». В первой половине 50-х годов в журнале Пясецкого «Дзись и ютро» (запрещенного решением конгре-

гации «Санкта официум» в 1955 г.) и в «Тыгоднике повшехом» писали одни и те же авторы. В 1951 г. в съезде священников, проходившем под эгидой Комиссии творческой интеллигенции при «Паксе», организованном же госбезопасностью, участвовали представители «Тыгодника повшехом». В октябре 1950 г. инспирированный властями «Призыв польских католических ученых и писателей к католической общественности и интеллигенции Франции против ремилитаризации и реваншизма в Германии» подписал среди других главный редактор «Тыгодника повшехом» Ежи Турович.

На позднейшую разницу в оценке роли «Пакса» и «Знака» повлияли события 1956 и последующих лет. Оценки «Польского Октября» и позиций Церкви в этот период определены теми же факторами, что и точки зрения на события в Польше последних лет: эмоции, нежелание замечать одни факты, сознательное или бессознательное преувеличение других и политические выкладки.

Однако еще до того, как во главе партии стал Владислав Гомулка, Болеслав Пясецкий выпустил книгу «Существенные вопросы». Автор превозглашает «агонию капитализма» и «победоносное строительство социализма» в мировом масштабе. В социалистическом мире будет господствовать мирская концепция, однако католики должны видеть в ней своего союзника, ибо социализм осуществляет идею социальной справедливости, а она и является основой христианской доктрины.

Поскольку социалистическое государство позволяет удовлетворить религиозные и культурные потребности верующих граждан, постольку пастырская деятельность духовенства должна прямо или косвенно содействовать прогрессу социалистического строительства. (...) Не только необходима, но и возможна взаимная терпимость в предвидении перспективного распространения обоих мировоззрений внутри социалистической нации (...), общими силами строящей экономическую базу социалистической нации²⁶.

Конгрегация «Санкта официум» включила сочинение Пясецкого в индекс запрещенных книг. Это привело к разоблачению «Пакса» и затормозило деятельность, которую его представители вели на Западе, пропагандируя «польскую модель сотрудничества католиков с социализмом».

1956 год считается великим триумфом кардинала Вышинского, освобожденного из мест интернирования 28 октября.

Он поддержал нового первого секретаря ЦК ПОРП Гомулку, признанного творцом «польского пути к социализму». 56-й год знаменует начало того, что было сочтено дезинтеграцией советского блока путем возникновения «национальных коммунизмов», связи которых с СССР якобы слабеют. С концепцией «национал-коммунизмов» Запад до сих пор связывает политические надежды (особенно они проявляются в американской политике по отношению к Румынии). Как сообщает Голицын, феномен «национал-коммунистических государств» является элементом плана стратегической дезинформации, разработанного советским блоком после смерти Сталина²⁷. Однако его подлинным изобретателем является Ленин, а первые эксперименты по созданию «национальных, хоть и коммунистических государств» были проведены на Украине и в Белоруссии еще до окончания гражданской войны.

В действительности, лишь при Гомулке объявлено *ex cathedra*, что цель ПНР – построение коммунистического общества; в предшествующие годы слова «коммунизм» избегали, пользуясь понятием «социализм»²⁸. Политическая формулировка «польский путь к социализму» была необходима, чтобы избежать введения термина «национал-социализм».

В пылу надежд, сопутствовавших событиям 1956 года, остались незамеченными несколько важных событий в отношениях Церкви и государства. Опубликованное 8 декабря 1956 г. коммюнике о заседании совместной комиссии правительства и Епископата информировало об отмене декрета от 7 февраля 1953 г. о занятии церковных постов, но в то же время в нем говорилось: «Регулирующий эти вопросы новый правовой акт обеспечит влияние государства на занятие постов архиепископов, епархиальных епископов и коадьюторов, а также настоятелей храмов, одновременно соблюдая требования церковной юрисдикции». Соответствующий декрет был выпущен 31 декабря 1956 года. Была сохранена обязанность священников приносить присягу верности ПНР. Эта присяга остается действительной и сегодня и звучит следующим образом:

Торжественно клянусь хранить верность Польской Народной Республике, соблюдать ее правовые нормы и не предпринимать ничего, что могло бы угрожать благу Польской Народной Республики.

Итак, в 1956 г. Церковь согласилась уступить в двух пунктах, которые тремя годами раньше вызвали ее протест. Так

же было и с выборами 1957 года (на которых был выдвинут один список кандидатов, установленный партией): Примас поддержал их даже более последовательно, чем в 1952 году. В 1954 г. Епископат тоже издал аналогичное заявление по поводу «выборов», однако, по словам автора биографии кардинала Вышинского, Церковь к этому «принудили»²⁹. Тот же автор утверждает, что когда Примас прибыл в 1957 г. в Рим, Пий XII принял его необычайно сердечно. Западная печать тех времен писала о «холодном приеме». Расхождения относились не только к соглашению с коммунистическим правительством, но и к поведению Епископата после ареста кардинала Вышинского. Теперь в Ватикане он защищал «интегральность Епископата»³⁰.

В 1956 г. начинают свою деятельность и Клубы прогрессивной католической интеллигенции (позднее ставшими Клубами католической интеллигенции). В этих кругах создается группа «Знак», близкая к Примасу. О политических целях новосозданной группировки так писал ее ведущий деятель Стефан Киселевский:

Вопреки, кстати сказать, оправданному сопротивлению нашего общества, усиленно распространять идею искреннего и сознательного союза с Советским Союзом и странами народной демократии и полной солидарности со всем восточным блоком.

Вопреки тому факту, что большинство людей в Польше – не марксисты и не социалисты, распространять среди них уверенность в том, что отход от форм социалистической экономики также привел бы Польшу к непредсказуемой в своих последствиях катастрофе. («Тыгодник повсехный», 1956, 24 дек.).

Деятели «Знака» и близкой к нему «Вензи» взяли на себя ту роль, которую прежде по отношению к Западу исполняли представители «Пакса», пропагандируя «польскую модель» (во Франции их опекал Морис Воссар, который перед тем импортировал активистов «Пакса»³¹). «Знак» поддерживал также международные цели советского блока:

Мировая американская система постепенно расшатывается. (...) Силу нам может дать только тесный союз с Советским Союзом. («Тыгодник повсехный», 1960, 4 сент.).

Издаваемое властями «Жице Варшавы» так оценивало роль «Знака»:

Киселевский, Стомма, Завейский и другие люди «Знака» ликвидируют за пределами Польши чудовищные предрассудки по отноше-

нию к социализму и сотрудничают в создании атмосферы сосуществования. (1959, 3 февр.).

Политическую философию кругов «Знака» определяла убежденность в том, что судьбы мира будет решать коммунизм. Указания на это можно найти в высказываниях деятелей из этого круга:

Огромные перемены, совершившиеся в Польше после 1945 года (...), мы считаем исторически необратимыми. Их экономическое, социальное и психологическое воздействие мы оцениваем как необычайно важное для нашего народа. Не только потому, что они, как сказано, необратимы, но прежде всего потому, что они поставили народ на универсальный, современный путь развития как в области международных отношений, так и в области производственных отношений³².

В Европе и в мире христианство и коммунизм составляют сейчас два самых мощных идейных течения. На их ложится огромная ответственность за судьбы мира. Отсюда вытекает императив сотрудничества³³.

На Западе «Знак» принято считать оппозицией (иногда говорят «легальная оппозиция»). Ежи Завейский, председатель депутатской группы «Знак», так сформулировал ее роль:

Наша группа не была и не намеревается быть оппозиционной группой. Тем не менее, входя в ФНЕ (Фронт национального единства), т. е. признавая основные принципы социалистической государственности, депутаты «Знака» стилем высказывания отличались от большинства других депутатов³⁴.

Мы отдаем себе отчет в том, что ПОРП – единственная сила, способная руководить судьбами нации. Мы даем ей кредит доверия и желаем с ней сотрудничать³⁵.

Роль «Пакса» и «Знака» детально анализировал в своих работах Юзеф Мацкевич. Краткую их характеристику дал также Август Ян Маркевич:

Вторгшись в Польшу в 1944 году, коммунисты столкнулись с серьезным препятствием на пути к полному господству: с Католической Церковью. (...) Стало необходимым организовать марионеточные группы «католиков», чтобы психологически разоружить общественность. (...) Одна из этих групп, «Пакс», будучи открыто прокоммунистической, вскоре утратила доверие католиков. Другая, «Знак», занимаясь не таким откровенным коллаборанством, иногда с театральным «противостоянием» коммунистическим властям, оказалась для коммунистов более полезной³⁶.

Незадолго до смерти Пия XII с критикой «Знака» выступил представитель Ватикана Ф. Алессандрини:

Завейский хочет, чтобы Престол св. Петра выступил за сотрудничество католиков в построении социализма. (...) Эти высказывания, несомненно, не являются ни католическими, ни христианскими; это скорее образчик интеллектуального конформизма, который много раз в истории Церкви возникал и исчезал. (...) Где же тут отличие от позиций прогрессистов из «Пакса», которые еще вчера такие католики, как Завейский, отвергали?³⁷

Попробуем ответить: кроме разницы в личном составе (хотя не следует забывать, что после 1956 года многие «паксовцы» перешли в «Знак» и близкие к нему круги³⁸) и того факта, что Пясецкий действовал по прямой указке госбезопасности, отличие должно было заключаться в не слишком ясно сформулированной «идейной автономии» или «моральной независимости» кругов «Знака»³⁹. Стефан Киселевский так изложил мне это в частном разговоре: «Политических различий не было. Просто Пясецкий считал социализм делом Св. Духа».

Роль «Знака» в Сейме ПНР была закончена в 1976 году, когда депутатов «Знака» убрал из Сейма первый секретарь ЦК ПОРП Эдвард Герек.

Когда в 1957 г. кардинал Вышинский поддержал «выборы», это толковалось как «акт реализма», направленный на успокоение настроений в стране. Ряд политических акций Примаса в последующие годы, выгодных для коммунистической стороны, не был связан с напряженностью в Польше и даже выходил за пределы страны.

В 1959 г. Папа Иоанн XXIII порвал дипломатические отношения с эмигрантскими правительствами Польши и Литвы.

Ликвидация дипломатических представительств эмигрантских правительств могла быть сочтена шагом к фактическому признанию коммунистических правительств в этих странах. Инициатором этого решения считают кардинала Вышинского⁴⁰.

По сообщению Мацкевича, важную роль в этом решении сыграл также депутат «Знака» Стомма⁴¹.

В 1964 г., после смерти главы польского папства на чужбине архиепископа Гавлины (систему, господствовавшую в Польше, он называл «безбожным режимом», «сатанинским умыслом врагов Господа и Польши»⁴²), кардинал Вышинский достиг ликвидации независимости эмигрантского папства от Епископата Польши (раньше оно подчинялось непосредственно Ватикану). Это произошло вопреки прежним намерениям Ватикана. Такая перемена предвещала переход поль-

ской политической эмиграции на более «реалистические» позиции.

В те времена этот шаг был воспринят как удар по эмиграции, однако ввиду уважения, каким пользовался кардинал Вышинский, польская печать на Западе не подняла обсуждения этой темы. Единственную статью опубликовала Барбара Топорская:

Отмена церковной автономии – удар для политической эмиграции. В будущем она может оказаться также ударом для Церкви в Польше. (...) Священники в Польше приносят присягу на «верность Польской Народной Республике», обязуясь не вредить ее строю. Задача эмиграции – предпринимать все усилия, которые могут содействовать свержению коммунистической диктатуры. (...) Что будет, если коммунисты начнут требовать декларации лояльности и от эмигрантского духовенства – теперь, когда Примас Польши стал его главой?⁴³

Хотя публичной дискуссии избегали, Барбара Топорская получила после публикации статьи ряд писем, в том числе от ведущих представителей польской политической эмиграции. Президент Артур Залеский писал:

Я хочу только строго лично, не для публикации, сообщить Вам, что вскоре после смерти архиепископа Гавлины г-н А. Завиша (тогдашний глава правительства в изгнании. – Т. М.) отправился в Рим, чтобы обсудить вопрос о его преемнике. У него был ряд разговоров в государственном департаменте (Ватикана. – Пер.), и он убедил кардинала Саморе, в полномочиях которого лежало решение этого вопроса, что необходимо сохранить самостоятельную церковную организацию для польской эмиграции.

Однако в то же время в Риме находился кардинал Вышинский. Когда г-н Завиша сообщил ему об этом, Примас возмутился, сказал «все будет совершенно иначе» и прервал разговор. Позднейшая беседа Примаса с Папой привела к установлению нынешнего положения дел.

Опасаясь, что результаты этого принесут ущерб не только эмиграции, но и Польше, а может быть, и Церкви⁴⁴.

Новый делегат Примаса Польши по делам пастырства эмиграции епископ Рубин вскоре после того, как вступил на этот пост, отказался отслужить заупокойную литургию за польских офицеров, зверски убитых в Катыни. Позднее так же поступил Папа Иоанн-Павел II⁴⁵, который возвел епископа Рубина в кардинальское достоинство и поставил его на пост префекта Конгрегации по делам восточных церквей. Стоит отметить, что карьере Владислава Рубина предсказало «Жице Варшавы» еще в ноябре 1969 года:

Мы слышали о растущем личном влиянии прежнего генерального секретаря Синода, нашего соотечественника епископа Владислава Рубина. С удовлетворением можем сказать, что этот церковный иерарх с широкими современными горизонтами и реалистическим образом мыслей, а также патриотически настроенный, вместе с развитием представляемых им функций вырастет в первоплановую фигуру Престола св. Петра⁴⁶.

Опубликованное 15 сентября 1968 г. папское послание Епископата Польши кончалось словами из национального гимна: «К алтарям Твоим возносим мольбу: свободную Отчизну сохрани нам, Господи» (перевод здесь и далее дословный. – Пер.). Однако оригинальный текст песнопения, возникшего в XVIII веке, звучит: «...свободную Отчизну соблаговолити вернуть нам, Господи». Послание подвергла критике эмигрантская печать:

Гимн в его нынешней форме, декретированной иерархией, политически и семантически неуместен. Нельзя же просить о сохранении чего-то, чего нет. Все мы знаем, что наша отчизна не свободна и что ее свобода должна быть сначала обретена, чтобы ее можно было сохранять⁴⁷.

Но, когда в январе 1971 г., вскоре после того, как во главе партии стал Эдвард Герек, Епископат в папском послании ввел «молитвы за тех, кто ныне отправляет власть и отвечает за порядок, мир и справедливость в стране»⁴⁸, откликнулось только одно эмигрантское издание:

...возникло некоторое замешательство в связи с установленными по приказу Примаса молитвами за отчизну; некоторые (особенно за пределами Польши) были убеждены, что молебны служатся за успех партии⁴⁹.

Кардинал Вышинский также положил начало официальным переговорам между властями ПНР и Ватиканом. Импульс этим контактам дал еще в 1957 г. Гомулка⁵⁰; Примас во время состоявшейся в том же году поездки в Ватикан зондировал этот вопрос на аудиенции у Пия XII. Первая официальная встреча состоялась только 27 апреля 1971 года. Престол св. Петра представлял архиепископ Казароли. Эти контакты особенно интенсифицировались во время нынешнего понтификата.

Я посвящаю так много места кардиналу Вышинскому, ибо именно он – истинный создатель «польской модели», а из

оценки его позиций вытекает целостная интерпретация роли Католической Церкви в «Народной» Польше. После того как Церковь поддержала Герека, один из авторов, живущих в Польше, опубликовал в парижской «Культуре» статью с такой оценкой:

Католическая Церковь для режима является таким институтом, который либо является предметом неистовых нападок, либо исполняет функцию «канализирования» большинства опасностей, постоянно подстерегающих коммунистический строй в Польше. (...) Оценка такого положения коммунистами почти близка к идеалу. Они, в принципе, пользуются постоянным алиби, которое позволяет им прятаться за спину Церкви, когда политические обстоятельства требуют этого маскарада. Огромный заряд социальной энергии людей, выступающих против коммунизма, расходуется тем самым впустую. (...)

Католическая Церковь в Польше поддается на политические торги, ставкой в которых являются действительные или мошеннические уступки партии. Такое положение ведет к горестным для всей оппозиции результатам. (...) Церковь в Польше становится фактором, который в моменты кризиса, похоже, спасает коммунистический строй. Будучи противником строя, он подчиняется, как и всё в этой системе, принципам коллаборанства⁵¹.

Церковь в Польше последовательно воздерживалась от любых действий, которые могли бы нанести ущерб власти компартии. Более или менее последовательно она поддерживала цели партии на международной арене. В 70-е годы она защищала диссидентов от репрессий, но всегда отмежевывалась от оппозиции. Этот подход никогда не менялся, хотя после 56-го года Церковь действовала не в атмосфере принуждения. Последние 30 лет отношений Церкви и государства – повторение одного и того же сценария: новый первый секретарь ЦК, нуждающийся в поддержке со стороны Церкви, делает взамен уступки, зато, когда власть партии нормализуется, она пытается ограничить влияние Церкви. Однако, как кажется, Церковь больше теряла, чем приобретала, ибо «приобретения» вытекали исключительно из тактических шагов властей. Трудно согласиться с оценкой английского историка, который пишет:

...иерархия научилась тому, что твердость приносит дивиденды. Нынешнее положение Церкви многим обязано абсолютному отказу кардинала Вышинского идти на компромиссы в фундаментальных вопросах⁵².

Юзеф Мацкевич так оценивал эту проблему:

Польский Епископат не является послушным инструментом коммунистической власти, как Московская Патриархия и в наше время Епископаты в некоторых других странах под гнетом коммунизма. (...) Польский Епископат действительно стремится защищать интересы Церкви, его духовную миссию и христианские нравственные ценности, т. е. «борется» средствами, которые считает доступными для себя. Это значит: «как может». И именно в этом определении (...), т. е. в том, какие средства Епископат считает надлежащими, лежит все существо проблемы.

Епископат, отказавшись от роли политической оппозиции (...), средством дальнейшей «борьбы» за интересы и права Церкви выбрал политику компромиссов, уступок и поисков *modus vivendi* с коммунистической партией, к тому же формально называя ее «государством» и «правительством».

Итак, как правило, компромиссы и уступки стали той реальной ЦЕНОЙ, которую платит Церковь за «спасение католицизма». В этих торгах предметом, естественно, становятся не только идейно-политические ценности, но и уступки в нравственных ценностях, отступления от высказывания вслух «всей правды», т. е. наносится ущерб правдивости, искренности, гласности, ибо утаивания и т. п. сомнительны с точки зрения основ человеческой нравственности, – в результате возникает навязчивый вопрос: не слишком ли высока ЦЕНА за спасение католицизма?⁵³

О бескомпромиссности кардинала Вышинского тот же автор писал:

Польский Епископат остался контрагентом коммунистической партии. (...) Как настоящий контрагент, на торгах с партией Епископат, кроме уступок и компромиссов, выдвигает и свои пожелания, как, например, строительство новых костелов, прекращение дискриминации верующих и т. п. (...) Эти детали из пожеланий Епископата – уже не высказываемых сегодня в других коммунистических республиках, – соответствующим образом комментируемые или преувеличенные, затем служат доказательством особой «бескомпромиссности» со стороны кардинала Вышинского⁵⁴.

Граница политических уступок Церкви в Польше, как и позднее Вселенской Католической Церкви, никогда при этом не была ясно очерчена (границу же догматическую и моральную рассматривали весьма гибко). Зато противник всегда руководствовался ленинским канонам: нерушимая граница любых компромиссов, соглашений, «оттепелей» и «перестроек» – сохранение власти коммунистической партией. И теории «польского эксперимента» Стомма и Турович, выражая готов-

ность сотрудничества с марксистами, забыли, что теория Маркса обогащена практикой Ленина.

Кардинала Вышинского принято включать в группу «непреклонных», вместе с кардиналом Миндсенти, кардиналом Штепиначем, архиепископом Бераном. Между тем, сам биограф Вышинского определяет его позиции как «принципиально отличные» от направленности кардинала Миндсенти⁵⁵. Ханс-Якоб Штеле пишет:

Вышинский столь же мало похож на Миндсенти, сколь мало схоже положение католиков в этих двух странах. (...) Вышинский никогда не произнес бы таких слов, как Миндсенти, заявивший 7 февраля в Вене, что процесс против него 25 лет назад «был устроен в стране, которая в 1945 году обрела свободу лишь в карикатурной форме Ялтинского соглашения»⁵⁶.

А кардинал Штепинач так изложил линию своего поведения: «Моя политика имела и всегда будет иметь одну и ту же цель – спасти души»⁵⁷. Кроме того, он всегда осуждал убийства священников и верующих.

Кардинал Вышинский руководствовался поисками компромиссов, политическими торгами. Как оценивать соглашение Католической Церкви с коммунистическим государством, соглашение, которое Примас Польши ввел на страницы новейшей истории? Вот ответ:

...Нам нужно осознать, что существует другой «современный мир», который придает иной смысл понятиям права, государства, свободы. Речь идет о мире, сформированном согласно принципам «диамата» (диалектического материализма). (...) Соглашение между Церковью и государством «диамата» налагает обязательства на Церковь, но отнюдь не на государство с того момента, как государство достигло своей цели, т. е. поработило Церковь. Подписанное соглашение имеет для государства только практический смысл, нейтрализуя противника, но не обладая для самого государства силой закона.

Наоборот, «противник», т. е. Церковь, должна соблюдать свои обязательства. Таким образом, ни одно соглашение, заключенное с государством «диамата», не приносит Церкви безопасности⁵⁸.

Автор этих слов – кардинал Стефан Вышинский. У него часто проявлялось расхождение между словами и делами. Он стремился создать впечатление бескомпромиссности по отношению к властям, в то время как даже в сталинский период политически помогал правительству ПНР. Общество, однако, нуждалось в другом образе Примаса, и он сам способствовал

возникновению такого образа. С. Киселевский рассказывает, что летом 1970 года в церковных кругах разошлись слухи, что в 50-ю годовщину победы над большевиками («чуда на Висле») состоится большое паломничество и кардинал Вышинский произнесет проповедь. За три дня до назначенного срока Примас сообщил, что проповеди не будет, поскольку он должен уехать⁵⁹.

Последние годы, особенно после разгрома легальной «Солидарности», стали периодом небывалого роста популярности Церкви и укрепления ее позиций перед лицом властей. Орган ЦК ПОРП «Трибуна люду» пишет:

Способствовать этому (сотрудничеству государства и Церкви. – Т. М.) должна, пожалуй, уже окончательная убежденность Церкви в постоянстве принципов религиозной политики ПНР, ни в чем не угрожающих существенным интересам Церкви и, даже наоборот, позволивших ей стать самой цветущей Церковью во всем мире⁶⁰.

Священник проф. Бохенский выделяет три вида тактики коммунистов по отношению к Церкви:

Коммунистическая церковная политика не упускает из виду две цели: во-первых, использовать Церковь на пользу основных целей партии; в этом случае речь идет о целях внешней политики (напр., борьба за мир), но также и о самом распространении коммунистической доктрины. Во-вторых, влияние Церкви должно быть сведено до минимума. Эти две цели не всегда удается согласовать. Ибо чем больше хочется использовать Церковь, тем больше приходится ей гарантировать свободы и возможности существования. (...) Следует выделить три типичных вида тактики:

1. По мнению партии, нет никакой надежды использовать данную Церковь. Тогда, как правило, следует стремиться к ее уничтожению.

2. Партия считает, что данную Церковь можно использовать, а Церковь этому противится. В этом случае следует применить ряд средств, направленных на то, чтобы сломить сопротивление.

3. Церковь может оказаться полезной для партии и готова сыграть эту роль. Тогда партия будет ее поддерживать⁶¹.

Укрепление позиций Церкви ни в чем, однако, не изменяет типичной для коммунизма дехристианизации нравов, что особенно заметно в повседневной жизни граждан. Переполненные костелы – результат поисков альтернативы «психосфере», которую диктует система. Верно, что откровенно политические демонстрации происходили в последние годы чаще

всего после богослужений. Но это шло вразрез с намерениями Церкви: священники всегда призывали расходиться. Церкви было явно не по вкусу соединение религиозного культа и политической демонстрации. В 1984 г. Епископат выпустил инструкцию, запрещающую во время паломничеств нести транспаранты не религиозного содержания (речь шла о транспарантах «Солидарности»). Включение Церкви в сферу открытого общественного сопротивления строю нарушало издавна устоявшийся «симбиоз» между властями и Католической Церковью.

Эти двухполюсные отношения пошатнулись в момент появления третьей политической силы – «Солидарности» (диссидентское движение 70-х годов, защищаемое Церковью от репрессий, не было угрозой для политического статус-кво в Польше). Кардинал Вышинский еще в августе 1980 г., в момент кульминации забастовок, призывал к их прекращению и возврату на рабочие места. В период легального существования «Солидарности»

молодые активисты рабочего профсоюза (...) не приняли во внимание, что Церковь давным-давно согласилась на компромисс в принципах и деятельности и что ей не нужна никакая третья сила, никакой новый партнер, вдобавок молодой, идейно непредсказуемый, готовый на многое – в том числе на крайний риск и опасность.

Поэтому после 13 декабря Церковь предпочла выбрать давно знакомое зло, тем более, что оно камуфлировалось военной силой, а вся операция по ликвидации «Солидарности» (...) была проведена под ширмой грозящего советского вторжения. И только наивностью и молодостью объяснимы надежды – сидящих ли в тюрьмах активистов «Солидарности» или тех, кому временно удалось избежать репрессий, – на то, что Примас Глемп, а за ним и другие епископы более сильно и недвусмысленно выступят в защиту убиваемого профсоюза. Речь идет не о малодушии и не о страхе перед вновь надеваемым на общество ярмом, но о признании за предпочтительную – с точки зрения интересов Церкви – ситуации возврата к двоевластию. Под аккомпанемент гусениц танков страна возвращалась к признанию идейного и морального первенства Церкви, к отдаче в ее власть всей духовной структуры общества за цену ее политического оппортунизма и одобрения власти коммунизма в Польше. В очередной раз Церковь подмахнула выставленный ей вексель, принялась платить по счетам режима (...) и получила за это свою порцию привилегий⁶².

Юзеф Глемп, воспитанник и секретарь кардинала Вышинского, – последовательный продолжатель его линии; уступки

нынешнего Примааса более заметны ввиду иного политического положения. Вышецитированный автор пишет:

Сегодняшние страдания народа менее опасны, чем возможность нарушения статус-кво, неформального договора между коммунистами и Церковью. Эту мысль кардинала Вышинского усвоил и кардинал Глемп⁶³.

Во время пребывания в Бразилии кардинал Глемп сказал:

Теперь можно дать какое-то объяснение тому, что, как говорят, Церковь оставила «Солидарность». Это большое упрощение. Это крупное движение вскоре после своего возникновения перестало быть профсоюзом, а стало политической организацией. (...) Когда «Солидарность» обладала наибольшим влиянием, я сказал, что Церковь будет оказывать ей поддержку, пока она будет верна своим первоначальным замыслам защиты рабочих. Но «Солидарность» отошла от этой цели и уже не защищает рабочий класс⁶⁴.

Иными словами: Церковь готова требовать соблюдения прав рабочих, но не будет поддерживать организацию, которая угрожает политическому статус-кво.

Парадокс состоит в том, что руководство «Солидарности», которая стала «третьей силой» на польской политической сцене, переняло принципы поведения Церкви по отношению к властям.

Несчастьем «Солидарности», трагедией Валэнсы и его простодушия, еще укрепляемого политической наивностью советников (часть которых одновременно является советниками кардинала Глемпа. – Т. М.), было сближение с Церковью, желание включить движение в церковные структуры и признание тождества интересов⁶⁵.

Язык политических деклараций обнаруживает поразительное сходство:

Мы стоим, как стояли, за разумный *modus vivendi*, более того: за разумное взаимодействие на благо страны. Мы считали и считаем, что соглашение лежит в интересах обеих сторон⁶⁶,

– говорил в Сейме ПНР в 1961 г. депутат «Знака» Станислав Стомма. В течение нескольких последних лет точно таков же лейтмотив выступлений Леха Валэнсы.

Результаты того, что руководство «Солидарности» переняло политику Церкви, замечает даже наблюдатель извне:

Похоже, что эта умеренность и мирная настроенность, поддерживаемые церковными иерархами и разоружившие правительство в августе (1980. – Т. М.), что они же привели «Солидарность» к поражению шестнадцатью месяцами позже⁶⁷.

Перед нами интересный феномен – распространение польской модели на другие страны. Вот независимая группировка (которую на Западе считают оппозицией) заявляет – как когда-то депутаты «Знака», – что не является оппозицией и не стремится к изменению системы, но хочет сотрудничать с правительством «на благо народа». При этом поддерживает власти в их деятельности на международной арене (вопрос об американских санкциях против ПНР и принятие ПНР в Международный валютный фонд), одновременно тормозящим образом влияя на общественные настроения. Из тонкой игры, какую Ярузельский годами ведет с независимой интеллигенцией, немалые уроки черпает Горбачев⁶⁸.

В 1987 г. Папа Иоанн-Павел II, один из творцов «польской модели» и один из зодчих соборной «модернизации» Церкви, совершил третье паломничество в Польшу. На Западе поездку Папы оценивали как выражение его поддержки «Солидарности», и действительно Иоанн-Павел II несколько раз подчеркнул ценность идеалов поставленного вне закона профсоюза. Однако этот визит одновременно послужил укреплению – и впервые – международных позиций ген. Ярузельского. Когда Папа принял Ярузельского в Ватикане, парижская «Культура» писала:

...впервые было очерчено столь принципиальное расхождение между Ватиканом и национальными интересами Польши, расхождение, которое может принять опасные размеры⁶⁹.

А после паломничества публицист из Польши оценивал его так:

Впервые настроения и вера масс так радикально разошлись с тем, что нашел им нужным сказать Иоанн-Павел II. Создавалось впечатление, что людям, часами ожидающим прибытия Папы, его проповеди приносили разочарование: они проходили мимо мыслей и чувств, были адресованы иной стране⁷⁰.

Неким символом «польской модели», «симбиоза», в котором Церковь обладает «властью над душами», а партия – политической властью, были совместные действия во время палом-

ничества, направленные на то, чтобы предупредить демонстрации тех, кто остался верен политической оппозиции:

Что еще изменило атмосферу, так это смешение церковных служб охраны порядка с милицией. Это приводило к ситуациям, которые многими воспринимались как огорчительные. Даже пассивное присутствие церковной охраны порядка при конфискации транспарантов «Солидарности» милицией весьма горестно, особенно когда знаешь, что в некоторых костелах основной задачей охраны порядка ставилась защита от появления провокационных транспарантов⁷¹.

Возникает вопрос: что означает для католиков в эсхатологическом смысле сотрудничество с коммунистами? Но эта сфера выходит за пределы компетенции историка и относится, скорее, к компетенции Папы. Раффальт замечает, что последним ватиканским иерархом, который мыслил в эсхатологических категориях, был Пий XII⁷².

Можно все-таки попытаться подвести хотя бы некоторые итоги распространения «польского эксперимента» на позиции Вселенской Католической Церкви по отношению к коммунистическому миру. Период, когда Павел VI усиливал идейную и политическую «открытость» к советскому лагерю, ознаменован глубочайшим кризисом Церкви в нашем веке. Этот кризис проявился в падении числа верующих и идущих в духовенство, утратой авторитета Церкви и расколами в национальных Церквях (после Второго Ватиканского собора наступил открытый церковный конфликт в Латинской Америке). Ни в одном коммунистическом государстве положение католиков не стало таким, как в рамках «польской модели». Зато ее влияние видно в соглашении, подписанном 14 сентября 1964 г. между Ватиканом и Будапештом (вопреки Примасу Венгрии кардиналу Миндсенти): власти утверждают епископов, а епископы приносят присягу коммунистическому правительству. В государствах Азии и Африки, присоединенных в 70-е годы к советскому блоку, миссионерские Католические Церкви были ликвидированы.

О влиянии «польского эксперимента» на страны Латинской Америки писала Барбара Топорская:

Улучшение отношений между Епископатом (Вышинским) и Гомулкой, а затем его преемниками связано с коммунистическим наступлением на страны Латинской Америки. Католической и одновременно преступно отсталой в социальном отношении, за что, кста-

ти, несет вину и Церковь, которая фактически в течение веков управляла этими странами. Таким образом, для лозунгов коммунизма там есть социальная почва, лишь бы доказать, что католической вере населения он не угрожает. Этому служит польская «опытная полянка»⁷³.

Юзеф Мацкевич считал, что «Вышинский опередил Ватикан в концепции „остполитик“ или, во всяком случае, был ее предтечей даже вопреки политике Пия XII»⁷⁴. Но за пределами Польши «польская модель» не принесла Церкви никакой пользы, ибо, по сути дела, практическая реализация этой модели совершается на базе национализма. Из этого вытекает выбор политических решений, не всегда согласующийся с универсализмом христианского подхода. Польские католики – те, что впутаны в политические интриги с властями, – не проявляли особой заботы о катакомбной Церкви, Церкви Молчания. Когда во время заседаний Второго Ватиканского собора была организована выставка о положении Церкви в коммунистических государствах, Ежи Турович писал:

Неприятным фактом стало то, что в рамках выставки в павильоне антикоммунистических «Comitati Civici», в экспозиции, посвященной т. н. Церкви Молчания, правдивая информация перемешана с ложной, а односторонность и тенденциозность экспозиции приводит к созданию совершенно ложной картины. Поэтому польские епископы направили организаторам выставки заявление, что выставка показывает факты вне времени и пространства, деформируя этим картину действительности⁷⁵.

В журнале «Атлантик мансли» Ежи Турович назван «героем нашего времени»⁷⁶. Сам же он говорит:

У нас нет свободы писать все, что мы думаем, но нас никогда не принуждали писать то, чего мы не думаем⁷⁷.

Может ли быть, что творцы «аджорнаменто» и «открытости» Иоанн XXIII и Павел VI не знали правды о тоталитарном характере советской системы? Может ли быть, что, принимая старания воссоединиться с Восточной Церковью, они не знали, что партнер, Патриарх Московский и всея Руси, полностью подчинен коммунистической партии? Может ли быть, что, когда Ватикан и Московская Патриархия в 1973 г. на конференции в Загорске подписали документ с положительной оценкой социализма (Раффальт называет это «коперниковским переворотом» в Католической Церкви), это оставалось

в согласии с энцикликами «*Quam Pluribus*» и «*Divini Redemptoris*», освященными догмой о непогрешимости Папы?

Иоанн-Павел II, некогда духовный покровитель «Тыждника повсехного», тоже понимает природу тоталитаризма; в разговоре с журналистами по пути в Чили, сравнивая положение в этой стране и в Польше, он четко показал отличие авторитарной диктатуры, способной переживать эволюцию, от тоталитарной системы, основанной на неизменных принципах. Но политика Иоанна-Павла II еще в большей степени, чем политика Павла VI, основана на уверенности в том, что для интересов Церкви нет ничего лучше «польской модели». Только незнанию истинной природы этой модели можно приписать растерянность, которую вызвала (особенно в США) новейшая энциклика Иоанна-Павла II «*Sollicitudo Rei Socialis*»: демократия (названная «либеральным капитализмом») приравнена здесь к коммунизму (названному «марксистским коллективизмом») и в равной степени критикуется. По словам Папы, оба блока проявляют «тенденцию к империализму». Новая энциклика – очередное доказательство того, что Ватикан признал устойчивость коммунизма – то, что 30 лет тому назад провозглашали в Сейме ПНР католические депутаты «Знака». Есть смысл сослаться на мнение Барбары Топорской, которая в 1969 г. писала:

Почему Церковь предпочитает не делать ставку на «свободный мир», на демократию, которую упорно называет капитализмом, именно так, как это каталогизируют коммунисты? (...) Самым простым и самым зловещим ответом было бы сказать: прозорливость. Церковь традиционно ищет союза с сильными. (...) Церковь старается гарантировать свои интересы, обрести наиболее сносный *modus vivendi* с теми, кто побеждает⁷⁸.

Подобное мнение высказывает Николс, ссылаясь на церковные источники (как обычно, неофициальные):

В принципе, Ватикан признал бы любое коммунистическое государство, если бы оно гарантировало свободу Церкви. Лишь немногие прелаты в Риме столь наивны, чтобы верить, что коммунизм можно одолеть. (...) Цель – добиться наилучшего положения Церкви и гарантий его сохранения⁷⁹.

Тоже неофициально в ватиканских кругах можно услышать и ободряющее мнение: «Церковь много чего пережила. Переживет и коммунизм». Да только коммунизм как система,

основанная на идеологии – извращенной форме религии, онтологически так же «силен», как христианство. И вдобавок обладает политической властью и самым совершенным в истории полицейским аппаратом.

Экстраполяция «польской модели» отношений между Церковью и государством означает вступление в такие же игры на линии Ватикан-Москва. В ней участвовал кардинал Вышинский⁸⁰, о чем сегодня знать не хотят. Известно, однако, интервью его преемника «Литературной газете». В феврале 1988 г. на экранах западного телевидения можно было видеть, как хор советской армии пел Папе «Калинку». Время покажет, не было ли это пением сирен.

Коммунистический писатель Путрамент, тесно связанный с верхами власти в ПНР, на собрании Союза польских писателей в 1966 г. говорил:

На чем основана польская специфика? Думаю, что единственным существенным элементом польской специфики является вопрос сосуществования коммунизма с католицизмом. Это единственная страна, где такое большое число католиков живет в рамках коммунистического строя, того строя, где власть находится в руках коммунистической партии. Это имеет огромное значение для всего человечества. Из результатов этого польского эксперимента можно было бы извлечь немалые предсказания, касающиеся будущего всего мира⁸¹.

Историка не интересует будущее. Он обязан, пользуясь выражением Леопольда Ранке, установить «wie das wirklich gewesen ist» («как это было на самом деле»). Ватиканскую точную политику нельзя понять без истории «опытного поля» коммунизма – ПНР. Эта история еще не написана.

Перевела с польского Н. Горбаневская

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ См.: W. Hammel: Die Ostpolitik Papst Johannes Paul II. Verlag SOI. 1984, стр. 16 и след.

² См.: Unturbulent Priest. – «The Economist», 1984, 25. 2.

³ J. Mackiewicz. Dla «dobra Kościoła»? – В кн.: Droga Pani. Londyn, 1984, стр. 293.

⁴ W. Jedlicki. Klub Krzywego Koła. Paryż, 1963. Цит. по: J. Mackiewicz. Droga Pani, стр. 293.

⁵ S. Maj. Autokraci i kompromisy. – «Archipelag», 1986, Nr. 7-8, стр. 5.

- ⁶ См.: W. Hammel, цит. соч., стр. 10 и след.
- ⁷ J. Mackiewicz: *Watykan w cieniu Czerwonej Gwiazdy*. Londyn, 1975, стр. 235.
- ⁸ Цит. по: J. Mackiewicz. *W Cieniu Krzyża*. Londyn, 1972, стр. 94. Английский пер.: *In the Shadow of the Cross*. New York, Contra Publ., 1973.
- ⁹ H. Stehle. *Die Ostpolitik des Vatikans 1917-1975*. München-Zürich, 1975, стр. 235.
- ¹⁰ Постановление Временного правительства национального единства от. 12 сент. 1945.
- ¹¹ См.: O. Halecki, J. F. Murray, Jr. *Pius XII: Eugenio Pacelli, Pope of Peace*. Farrar Straus and Young, 1954, стр. 245-246.
- ¹² Влияние разжигаемого властями антинемецкого комплекса на политические настроения польского общества подробно рассмотрел Ю. Мацкевич: *Zwyciestwo prowokacji*. Londyn, 1983, стр. 177-189 (глава «Немецкий комплекс»). Немецкий пер.: *Sieg der Provokation*. Bergstadtverlag Wilh. Gottl. Korn, München, 1964. Русский перевод: *Победа провокации*. Лондон (Онтарио), «Заря», 1983.
- ¹³ G. Barberini, M. Stöhr, E. Weingärtner (hrsg.). *Kirchen im Sozialismus*. Frankfurt/M., 1977, стр. 187.
- ¹⁴ См.: H. Stehle, цит. соч., стр. 307.
- ¹⁵ Письмо о. Э. Домбровского Б. Пясецкому. Цит. по: A. Micewski: *Współrzędzić czy nie kłamać*. Paris, 1978, стр. 47.
- ¹⁶ См.: A. Micewski. *Kardynał Wyszyński. Prymas i mąż stanu*. Paris, 1982, стр. 124.
- ¹⁷ См.: *Słowo Powszechne*, 1952, 3 июня.
- ¹⁸ «Tygodnik Powszechny», 1952, 21-28 дек.
- ¹⁹ См.: A. Micewski. *Kardynał Wyszyński...*, стр. 87 и след.
- ²⁰ J. Mackiewicz. *W Cieniu Krzyża*, стр. 27.
- ²¹ См.: G. Barberini, M. Stöhr, E. Weingärtner, цит. соч., стр. 186.
- ²² A. Micewski. *Współrzędzić...*, стр. 60.
- ²³ См.: J. Mackiewicz. *Dla «dobra Kościoła»?...*, стр. 295; а также: A. Micewski: *Kardynał Wyszyński...*, глава III.
- ²⁴ A. Micewski, там же, стр. 133.
- ²⁵ См.: A. Micewski: *Współrzędzić...*, стр. 46-47.
- ²⁶ Цит. по: J. Mackiewicz. *Watykan...*, стр. 214.
- ²⁷ См.: A. Golitsyn. *New Lies for Old*. New York, 1984 (особенно главы 3-6).
- ²⁸ J. Mackiewicz. «*Własna droga do socjalizmu*» przyśpiesza droge do komunizmu. – «*Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza*», 1959, Nr. 246.
- ²⁹ A. Micewski. *Współrzędzić...*, стр. 61.
- ³⁰ См.: A. Micewski. *Kardynał Wyszyński...*, стр. 170-171.
- ³¹ См.: J. Mackiewicz. *Zwyciestwo prowokacji*, стр. 147.
- ³² *Deklaracja pięciu posłów Koła Poselskiego ZNAK*. – «*Tygodnik Powszechny*», 1961, 28 мая.

- ³³ S. Stomma, J. Turowicz. Pokój i Trzeci Świat. – «Tygodnik Powszechny», 1965, 23 мая.
- ³⁴ *Życie Warszawy*, 26.5.1965.
- ³⁵ Цит. по: J. Mackiewicz. Zwycięstwo prowokacji, стр. 147.
- ³⁶ ZNAK bez maski. – «Ostatnie Wiadomości», 1972, 14 янв.
- ³⁷ Цит. по: «Ostatnie Wiadomości», 1959, 17 апр.
- ³⁸ Среди них: нынешний советник Л. Валэнсы Т. Мазовецкий, депутаты Сейма 60-70-х гг. К. Лубенский и Я Заблоцкий, биограф кардинала Вышинского А. Мицевский.
- ³⁹ См.: A. Micewski. Współrzędzić..., глава II: ZNAK, czyli o niezależności moralnej.
- ⁴⁰ M. Mourin. Le Vatican et l'URSS. Paris, 1965. Цит. по: J. Mackiewicz: W Cieniu Krzyża, стр. 27.
- ⁴¹ См.: J. Mackiewicz. Zwycięstwo prowokacji..., стр. 149.
- ⁴² Цит. по: J. Mackiewicz. Watykan..., стр. 286.
- ⁴³ B. Toporska. Z prośba o odpowiedź. – «Wiadomości», 1966, 6 февр.
- ⁴⁴ Письмо А. Залеского Б. Топорской от 2 февр. 1966.
- ⁴⁵ См.: J. Mackiewicz. Katyn – Ungesühntes Verbrechen. Frankfurt/Main, 1983, стр. 227-228 (послесловие).
- ⁴⁶ Цит. по варшавскому радио, 11 ноября 1969.
- ⁴⁷ J. Mieroszewski. – «Kultura», 1969, Nr. 1-2. Цит. по: J. Mackiewicz. Watykan..., стр. 261.
- ⁴⁸ Цит. по: J. Mackiewicz. Watykan..., стр. 261.
- ⁴⁹ «Polska w Europie», 1971, март.
- ⁵⁰ См.: A. Micewski. Kardynał Wyszyński..., стр. 168.
- ⁵¹ A. Zabrzęski. Patologia opozycji. – «Kultura», 1972, Nr. 3.
- ⁵² N. Davies. God's Playground. A History of Poland. Vol. II. Clarendon Press Oxford, 1981, стр. 614.
- ⁵³ J. Mackiewicz. Watykan..., стр. 254-255.
- ⁵⁴ Там же, стр. 268.
- ⁵⁵ A. Micewski. Kardynał Wyszyński..., стр. 160.
- ⁵⁶ H. Stehle. Die Ostpolitik des Vatikans 1917-1975. Цит. по: A. Micewski. Kardynał Wyszyński..., стр. 161.
- ⁵⁷ Aktualności Krśćanskie Sadašnjosti. Informativni bilten. 1985, Nr. 7.
- ⁵⁸ Выступление кардинала Вышинского на 4-й сессии Второго Ватиканского собора. Цит. по: Cardinal Stefan Wyszyński. Un évêque au service du peuple de Dieu. Paris-Fribourg, 1968, стр. 79-80.
- ⁵⁹ Интервью Стефана Киселевского радио «Свободная Европа» 2 февр. 1988.
- ⁶⁰ M. Jaworski. Kościół i państwo. W poszukiwaniu wspólnego mianownika. – «Trybuna Ludu», 1987, 23 апр.
- ⁶¹ J. M. Bocheński, G. Niemeyer (hrsg.). Handbuch des Weltkommunismus. Freiburg-München, 1958. Цит. по: J. Mackiewicz. Watykan..., стр. 236.
- ⁶² S. Maj, цит. соч., стр. 7-8.

- ⁶³ Там же, стр. 10.
- ⁶⁴ Интервью кардинала Глемпа. – «Jornal o Estado de Sao Paulo», 1984, 2 марта.
- ⁶⁵ S. Maj, цит. соч., стр. 11.
- ⁶⁶ «Tygodnik Powszechny», 1961, 8 янв.
- ⁶⁷ А. Tomsky. Catholic Poland. Keston College, 1982, стр. 19.
- ⁶⁸ К. Волицкий в статье «В захлопнувшейся ловушке» пишет: «...ни одно из „смелых начинаний“ генерального секретаря ЦК КПСС не выходит за рамки практических мер, уже известных и внедренных в ПНР» («Культура», 1987, № 11). Примеры экспериментов, проведенных в ПНР и ныне повторяемых в СССР, приводятся в моей статье «Внуки Мицкевича и дети системы» («Континент» № 54).
- ⁶⁹ «Kultura», 1987, Nr. 3, стр. 78.
- ⁷⁰ M. Zieliński. Inny kraj. – «Kultura», 1987, Nr. 11, стр. 109.
- ⁷¹ J. J. Lipski. O wizycie papieża. – «Kultura», 1987, Nr. 9, стр. 101.
- ⁷² R. Raffalt. Wohin steuert der Vatikan? München, 1973. Цит. по: J. Mackiewicz. Watykan..., стр. 36.
- ⁷³ Письмо Барбары Топорской автору статьи от 17 апр. 1984.
- ⁷⁴ Там же.
- ⁷⁵ «Tygodnik Powszechny», 1962, 16 дек.
- ⁷⁶ J. De Lacy. Someone from Cracow. – «The Atlantic Monthly», 1986, ноябрь.
- ⁷⁷ Там же.
- ⁷⁸ В. Toporska. A faryzeusz idzie mimo zadumany... – «Wiadomości», 1969, Nr. 47.
- ⁷⁹ P. Nichols. The Politics of the Vatikan. London, 1968. Цит. по: J. Mackiewicz. W Cieniu Krzyża, стр. 75.
- ⁸⁰ См.: J. Mackiewicz. W Cieniu Krzyża, стр. 145 и 151.
- ⁸¹ Цит. по варшавскому радио, передача 18 апр. 1966.

ИЗДАТЬ ТРУДЫ Д. М. ПАНИНА

С 1976 по 1980 г. ежеквартальный журнал «Выбор», созданный ассоциацией «Друзья Дмитрия Панина», распространял его идеи и идеи его единомышленников: швейцарского журналиста Д. Пинто, французской писательницы С. Лабен, пастора Ж. Хофмана, польского писателя Ю. Мацкевича, русского журналиста В. Чернявского и других. Дмитрий Панин изложил в этом журнале свою критику марксизма, способ проведения революции в умах, концепцию общества независимых, критику атеизма.

Параллельно выходит его философская работа «Теория густот», где сформулирован открытый им закон движения вещей.

В 1983 г. вышла его работа «Созидатели и разрушители».

С 1979 г. он работал над объяснением природы явлений классической и релятивистской механик и незадолго до смерти закончил последнюю, четвертую часть своей «Механики на квантовом уровне». Труд его увенчался открытием по конструкции легкого лазера, которое он не успел изложить на бумаге: остались лишь расчеты и краткие записи.

Дмитрий Панин был всегда во всех ситуациях человеком мужественным, решительным, бескомпромиссным, глубоко верующим, настоящим рыцарем без страха и упрека. Увы, мир не прислушался к его свидетельству.

Благородство души Дмитрия Панина отражалось и в его внешнем облике.

Остались рукописи социологических, философских, научных работ, наговоренные кассеты – мысли о России, ее писателях, религии. Наш общий долг донести их до читателя, и я призываю всех людей доброй воли помочь их изданию.

*Франсуа Росинье, председатель общества
«Друзья Дмитрия Панина» (Тулон)*

Пожертвования на издание рукописей Дмитрия Панина следует отправлять в нашу ассоциацию (Les Amis de Dimitri Panine – ADP) по адресу:

ADP, BP 79, 75762 Paris Cedex 16.

БЕЗРАБОТИЦА В СССР

У нас нет безработных столько лет, пожалуй, больше пятидесяти.

М. Горбачев

(Из интервью телекомпании «Эн-Би-Си». «Правда» от 2. 12. 1987. с. 2)

Миллион незанятых рук. Чем и как занять их, размышляет экономист.

(«Сельская жизнь», 24. 3. 1987. с. 2)

Экономика советского типа именуется на Западе экономикой дефицита. Не хватает всего – материалов и энергии, оборудования и рабочих, потребительских товаров и продовольствия. Все это верно, если понимать дефицит как преобладающую тенденцию. Он, в общем-то, не исключает излишка: накопления ненужных материалов, неходовых товаров, залежалого оборудования и, конечно же, безработицы.

Для ясности приведем пример положения на рынке потребительских товаров. Здесь на стороне потенциального спроса на начало 1987 года было денежных сбережений населения в сберегательных кассах 243 млрд. руб. и наличными – порядка 70 млрд. руб., итого 313 млрд. руб. Конечно, не на всю сумму предъявляется сразу спрос. Часть денег накапливается для приобретения товаров длительного пользования либо просто на «черный день». И все же реальный спрос оценивается примерно в половину названной цифры, или на сумму в 150 млрд. руб. Этому спросу противостоит предложение товаров, стоимость которых оценивается в советской статистике в 89 млрд. руб. Это запасы в розничной и оптовой торговле и в промышленности. Отсюда очевидно – в целом дефицит! Однако он гораздо больше, чем представляется на первый взгляд. Ведь из этих товарных запасов – часть неликвидов, то есть товаров неходовых и низкого качества. Сколько – трудно сказать.

Но с большой уверенностью можно полагать, что по крайней мере половина. Итак, излишек при колоссальном дефиците.

Не то же ли самое имеет место на рынке труда? До сих пор над этим вопросом мы мало задумывались. Жили мы в больших городах, где висели призывные плакаты с длинными перечнями нужных профессий рабочих. Да и инженеры требовались, требовались, требовались... Слышали, конечно, что где-то в Средней Азии трудно найти работу, но чтобы была безработица... Это просто не приходило в голову. А в статистике отсутствовали какие-либо данные, по которым можно было судить о положении на рынке труда. Слово безработица – даже не упоминалось. Не было такого понятия, забыли. Вместо него в научной литературе употреблялись такие термины как «свободные» либо «избыточные» трудовые ресурсы, либо еще хлеще – «мобильный резерв перераспределения рабочей силы». Сама точка зрения трудящихся не была даже представлена. В Конституции СССР (статья 40) говорилось о праве на труд, проверить же его выполнение не было никакой возможности. Какой-либо регистрации персон, желающих трудиться и не могущих найти работу, не было. Ни в плановой практике, ни в статистике нет показателей, по которым можно было бы судить о реальном положении дел. Все это, очевидно, дало повод М. Горбачеву заявить, что в Советском Союзе нет безработицы. Более того, он пользуется этим представлением как «козырной картой» в пользу наличия реальных прав человека в СССР.

Однако это совсем не так. Отсутствие понятия безработицы в СССР еще не означает, что ее в действительности нет. Об этом свидетельствует уже заголовок советской статьи, приведенный в эпиграфе! Причем речь в ней идет только об Узбекистане. Чтобы полнее понять реальную ситуацию, приведем цифры, характеризующие рынок труда в СССР. Наши долговременные исследования показали, что рынок труда в СССР характеризуется перманентной (возраставшей до 1985 года) несбалансированностью, одновременными дефицитом рабочей силы и безработицей буквально во всех регионах страны. Отличаются регионы лишь перевесом в ту или другую сторону. Если оценивать дефицит рабочей силы в целом по стране по плановым данным, то он не превышает 2-2,5 млн. человек. Измеряемый же в показателях спроса на рабочую силу дефицит достигает 15 млн. человек, а в предположении

роста коэффициента сменности и лучшей загрузки производственных мощностей – даже 19 млн. человек. В то же самое время в СССР имеются огромные нереализованные резервы высвобождения персонала (до 12 млн. человек) и одновременно потери рабочей силы, вызываемые текучестью кадров и прочей безработицей, всего порядка 8,5 млн. человек. Достаточно сказать, что это составляет 6,3% от общего количества занятых в народном хозяйстве и превышает уровень безработицы в США (5,4%). Специфика СССР, видимо, заключается в чрезмерно большой доле временной (2,1 млн. чел.) и скрытой (2,8 млн. чел.) безработицы. Мизерабельность доходов населения предопределяет наличие еще и косвенной безработицы: дополнительно трудиться вынуждены и желают как минимум каждый четвертый работник, имеющий рабочее место, и каждый третий пенсионер!

Эти цифры мы привели не для сенсации, а для восстановления истины. При колоссальном дефиците рабочей силы в СССР имеется безработица, которая превышает ее уровень в США! Положение такое же, как на рынке потребительских товаров. Разница – в достоверности цифр. Положение на рынке товаров, в общем-то, ясно по статистическим данным. В отношении рынка труда – их нет. Положение здесь нуждается в подробном описании, которое невозможно в публицистической статье. Поэтому здесь мы ограничимся иллюстрациями, предварительно указав, что часть сведений почерпнута прямо из советских источников, часть получена расчетным путем.

Временная безработица

Для начала сошлемся на Шмелева, правомерно причислившего людей, меняющих и ищущих работу, к безработным. Он называет даже их долю в общем числе занятых: «...сегодня вряд ли она на каждый данный момент меньше 2 процентов рабочей силы, а с учетом нигде не регистрируемых бродяг доходит, наверное, и до 3» («Новый мир», 1987, № 6, с. 148). Это почти половина названной выше доли безработицы в СССР (6,3%). Автор почти наверняка имеет в виду данные Института социологических исследований Академии наук СССР, согласно которым в стране ежегодно меняют место

работы 25 млн. человек. В действительности, однако, меняют работу лишь 60%, остальные – это, как правило, молодежь, впервые устраивающаяся на работу. В среднем перерыв в труде и поиски работы продолжаются 28-30 дней, так что размер временной безработицы оценивается довольно достоверно в 2.080 тыс. человек, в том числе молодежи – в 830 тыс. («Вопросы экономики», 1987, № 9, с. 30).

Региональная безработица

И здесь доказательств более чем достаточно. Можно даже сказать: ими пестрит центральная и местная пресса! Правда, выражаются люди иногда довольно витиевато. Например, Х. Умаров говорит, что трудоизбыточность в отдельных регионах «находит выражение в высоком удельном весе занятого в домашнем и личном подсобном хозяйстве трудоспособного населения и в превышении числа занятых в общественном производстве работников над количеством общественно необходимых рабочих мест» («Вопросы экономики», 1986, № 9, с. 99). Речь по сути идет об открытой и скрытой безработице.

Узбекистан. Здесь по последним данным, принадлежащим первому секретарю И. Усманходжаеву, только не занятых общественным трудом женщин было 1.120 тыс. человек, причем они составляли 83% этой категории людей («Правда Востока», 1987, 26 апр., с. 1). Значит, в целом число «свободных» трудовых ресурсов в республике достигло 1.350 тыс. человек. Между тем, по данным некоторых опросов, до 80% этих людей выражали желание трудиться («Сельская жизнь», 1987, 24 марта, с. 2). Проблема трудоустройства здесь обострилась в начале 70-х годов. В 1985 году удалось вовлечь в производство и направить на учебу лишь немногим более половины прироста трудоспособного населения, т. е. каждого второго. Если исходить из того, что в 1986 году трудоустроено 150 тыс. человек, а в домашнее хозяйство «осело» еще 100 тыс. человек, то лишь трое из пяти человек молодежи получило работу. Особенно много неработающих людей в Кашкадарье, Ташкенте, Фергане, Андижане, Джизаке («Правда Востока», 1987, 20 марта, с. 2). Остра проблема в Ферганской долине, Самаркандской и Хорезмской областях («Правда Востока», 1987,

22 марта, с. 2). В некоторых районах безработица достигает 40-50%.

Таджикистан. По доле безработицы стоит на первом месте среди союзных республик: численность занятых в личном подсобном и домашнем хозяйстве возросла здесь с 20% в 1975 году до 25% в 1985 году, а в сельской местности составила свыше трети («Коммунист Таджикистана», 1987, 15 янв., с. 2). Положение на рынке труда обостряется с 70-х годов, когда темпы прироста трудовых ресурсов начали опережать темпы прироста рабочих мест. Только за годы одиннадцатой пятилетки трудовые ресурсы республики возросли на 16,9%, а занятость в общественном производстве и на учебе увеличилась лишь на 13,7% («Коммунист Таджикистана», 1987, 20 янв., с. 2). Лишь половина молодежи, окончившей школы, имела шансы получить работу. Ими оказывались в основном мужчины, девушки же сразу пополняли домашнее хозяйство! Из общего числа неработавших 22,9% проживали в городах, 77,1% – на селе. Таким образом, это в основном сельское перенаселение. В Ганчинском, Ходжентском, Исфаринском, Ура-Тюбинском, Тармском, Орджоникидзебадском районах доля занятости в личном подсобном и домашнем хозяйстве составляет почти половину трудовых ресурсов («Коммунист Таджикистана», 1986, 13 дек., с. 2). Это означает, что доля безработицы здесь также приближается к 50%. Каждый второй не имеет работы! Самое интересное – это, конечно же, результаты опроса желающих трудиться. Здесь он был особенно масштабным: из 234 тыс. опрошенных 161 тысяча, или 69% изъявили желание при определенных условиях трудиться.

Казахстан. Здесь только в Чимкентской области численность «свободных» трудовых ресурсов достигла 170 тыс. человек («Социалистический труд», 1987, № 6, с. 73). Доля же занятых в личном подсобном и домашнем хозяйстве Кызыл-Ординской, Мангышлакской, Чимкентской и Джекказганской областей колебалась в 1986 году в пределах 17-23% («Партийная жизнь Казахстана», 1987, № 4, с. 27). Наконец, есть подтверждение Г. Колбина: «Десятки и сотни тысяч людей в ряде отраслей и районов республики еще не в полной мере участвуют в общественном производстве» («Партийная жизнь Казахстана», 1987, № 9, с. 17).

Азербайджан. Об остроте проблемы свидетельствует недавно принятое постановление: «О мерах по рациональному

использование в общественном производстве трудовых ресурсов Лачинского и Джебраильского районов в свете требований XXVII съезда КПСС» («Бакинский рабочий», 1987, 29 марта, с. 2). Очевидно, в этих районах положение хуже всего. В целом же по республике доля занятых в личном подсобном и домашнем хозяйстве долгие годы оставалась практически неизменной – 20%, и лишь в 1986 году численность незанятых уменьшилась на 5,9 тыс. человек. В публикациях признаётся, по существу, наличие безработицы: «...многие трагедии удалось бы предотвратить, не будь в Баку столь много лиц, которым некуда себя девать» («Социалистическая индустрия», 1987, 27 марта, с. 2). Чем интересен Азербайджан, так это конкретным указанием на безработную интеллигенцию. По информации зам. министра просвещения Азербайджана З. Коралова, в очереди за работой в республике стоит 14 тысяч педагогов! Только в Баку (население с пригородами 1,7 млн. чел.) не у дела около восьми тысяч педагогов, причем 3,6 тысяч из них вообще не работают. Кроме того, «на учете по трудоустройству числятся около 1.500 специалистов культуры, сотни врачей... Только немногим больше трети опрошенных работников трудятся в полном соответствии со специальностью, полученной в учебном заведении. Более трети выпускников техникумов и каждый пятый выпускник вуза заняты не по специальности. Многие не работают вообще» («Социалистическая индустрия», 1987, 28 марта, с. 2). С какой из западных стран сравнимы эти цифры, появление которых стало возможным в условиях гласности?!

Если обобщить все данные и провести несложные расчеты, то, по самой осторожной оценке, региональная безработица составляет в Средней Азии – 1.220 тысяч, на Кавказе – 430 тысяч, в Молдавии – 80 тысяч, всего же – порядка 1.730 тысяч человек. Можно предположить также, что число «излишних» педагогов составило в Средней Азии 18-20 тысяч, в Закавказье – порядка 11-12 тысяч.

Местечковая безработица

Под местечковой безработицей мы понимаем здесь отсутствие работы в малых (провинциальных) городах либо из-за жесткого режима и условий труда. Симптомов ее наличия

даже в остродефицитных по труду регионах более чем достаточно. Ее упомянул в своей речи М. Горбачев: «Кстати, у вас уже появляются избыточные трудовые ресурсы в Мурманской области. Их надо занимать. Разве нельзя занять на производстве женщин? Особенно женщин из семей военнослужащих» («Известия», 1987, 2 окт., с. 2). О местечковой безработице, по существу, шла речь за «круглым столом» редакции журнала «Социалистический труд»: «Ежегодно десятки, а то и сотни тысяч людей с Украины, из других регионов отправляются на заработки во временные строительные бригады, на путину, лесозаготовки, различные отхожие промыслы. ...по документам Госкомтруда БССР, в республике около 240 тыс. человек не участвуют в общественно полезном труде. А сколь велики резервы в Российской Федерации!» («Социалистический труд», 1987, № 6, с. 73). Трудность заключается не в иллюстрации, а в подсчете местечковой безработицы. Если принять, что она достигает трети «свободных» трудовых ресурсов, что весьма вероятно, то ее размер составит в России – миллион, на Украине – 750 тысяч, в Белоруссии – 100 тысяч, а всего по стране – порядка 1.860 тыс. человек.

Скрытая безработица

Выше мы говорили о временной, региональной и местечковой безработице. В целом ее интерпретируют еще как явную и открытую безработицу. Мы пришли к оценке ее размера – порядка 5.670 тысяч человек. Но в Советском Союзе существует еще и неявная безработица, когда люди вроде бы имеют рабочие места, но не имеют работы и соответственно – заработка, либо люди имеют рабочее место и даже заработок, но настолько мизеральный или недостаточный, что это принуждает их искать либо желать дополнительной работы. В первом случае будем считать безработицу скрытой, во втором – косвенной. В обоих случаях речь идет – если не по сути, то по масштабам – о специфически социалистических явлениях.

Симптомов наличия скрытой безработицы более чем достаточно. Так, например, Р. Убайдуллаева пишет: «В совхозе „Коммунизм“, как оказалось, не заняты полезным трудом свыше 750 человек, в основном женщины». А чем и как заняты числящиеся на работе: «...как и во многих других

местах, полтора весенних месяца выкармливают гусениц шелкопряда. А чем заняться остальное время?» («Сельская жизнь», 1987, 24 марта, с. 2). Но есть и прямые указания. Так, в 1986 году в Таджикистане в среднем 11%, а в некоторых районах до 30% трудоспособных колхозников не отработали в общественном хозяйстве ни одного рабочего дня («Коммунист Таджикистана», 1987, 17 янв., с. 2).

Как подсчитать скрытую безработицу? Методику расчета косвенно подсказал Х. Умаров: «В 1965-1970 гг. в сельском хозяйстве Таджикистана каждый процент роста фондовооруженности труда приводил к росту производительности труда на 0,32%, в 1970-1983 гг. – на 0,03%. Отсюда напрашивается вывод о том, что без решения проблемы занятости на селе нельзя ждать полной отдачи от мероприятий по повышению производительности труда в сельском хозяйстве и других отраслях АПК (агро-промышленного комплекса. – И. А.)» («Вопросы экономики», 1986, №9, с. 101). А ведь это к тому же недвусмысленное указание на наличие скрытой безработицы. Если принять, что производительность труда в сельском хозяйстве Средней Азии за 1971-1985 годы росла бы на уровне страны в целом, то ему понадобилось бы на 1,4 млн. работников меньше, чем было на самом деле занято в 1985 году. Аналогичный расчет по промышленности дал результат в 470 тысяч «излишних» людей, либо 23% всего персонала. Если эту долю распространить на транспорт и связь, строительство, снабжение и сбыт и прочие отрасли, то получается еще 960 тысяч человек. В целом в материальном производстве Средней Азии оказалось «упрятано» 2,83 миллиона лишних людей, что в 2,3 раза больше, чем показанная выше региональная безработица. Так вот какими методами с ней боролись в последнее время?! Держали людей на производстве, распределяли ту же заработную плату на большее количество людей. Западу бы такие методы!

Косвенная безработица

Симптомов наличия косвенной безработицы тоже достаточно. Ее даже считать не надо. Можно прямо сослаться на результаты социологического обследования, показавшего, что 17% опрошенных в городах Сибири уже имеют дополни-

тельно оплачиваемую работу и еще 27% хотели бы ее иметь («Вопросы экономики», 1987, № 8, с. 61). И это в Сибири, которая испытывает острый дефицит рабочей силы, а работающим предоставляют относительно большой заработок. В других районах страны дополнительную работу имеет, видимо, еще больше людей. И все же, если распространить эту сибирскую квоту (27%), без анализа ее репрезентативности, на все города страны, то мы получим 23 миллиона людей, желающих дополнительно трудиться. Впечатляющая цифра, причем похоже, что мы ее еще занижаем.

Чрезвычайно велика потребность в работе пенсионеров, впрочем, как и домохозяек, студентов и даже школьников старших классов. В советской прессе они начали рассматриваться даже как резервы рабочей силы. Известный советский социолог И. Бестужев-Лада заговорил о третьем жизненном цикле, о праве пенсионеров на заслуженный... труд! По его оценке, желали бы трудиться еще 10-15 млн. пенсионеров по возрасту («Социалистическая индустрия», 1987, 9 апр., с. 4). Журналист Э. Максимовский называет еще большие цифры – 16 миллионов только по РСФСР («Советская Россия», 1987, 24 мая, с. 1). Хорошим потенциалом труда располагает страна: 33-38 миллионов людей в той или иной мере могли бы трудиться. Но... не позволяет, вернее, не позволяла «система».

Итак, приведенных данных и иллюстраций, в общем-то, достаточно, чтобы поверить в наличие колоссальной безработицы в стране, чье правительство считает проблему решенной уже к 1930 году. Безработных оказалось ни мало ни много 8,5 млн. человек. Можно, конечно, спорить, составляет ли открытая и скрытая безработица в СССР 8,2, или 8,8 миллионов, или, того больше, 9 млн. человек. Но все равно она крутится вокруг этой цифры. А мы никак не пытались ее завысить. Можно также сомневаться в сопоставимости этих цифр с западными показателями безработицы. Еще бы! Ведь в Советском Союзе нет не только биржи труда и статистики безработицы, но даже упоминание этого понятия применительно к СССР до недавнего времени было чуть ли не криминалом. Западу бы такой способ ухода от проблемы – исключить из обихода само понятие?! Однако если быть серьезным, то надо указать: независимо от методов расчета получаются близкие цифры безработицы. А некоторые частные показатели просто «выужены» из советских источников. Это касается прежде

всего временной и косвенной безработицы – специфически советского феномена!

Остается последнее замечание. Оно касается роли профсоюзов в СССР. Как это ни странно, но они, в отличие от ученых и журналистов, до сих пор не заметили проблемы безработицы. В речах руководителей профсоюзов нет даже упоминания об этой острой социальной проблеме. Впрочем, не заметили они и роста цен на потребительские товары. Призывов к росту заработной платы в соответствии с ростом стоимости жизни и производительности труда мы тоже не слышали. Так можно ли сказать, что профсоюзы в СССР защищают интересы трудящихся? Началась ли здесь перестройка? Пожалуй, нет! Очевидно, это дело ближайшего будущего.



E. Sztein's Antiquary

PUBLISHING AND INTERNATIONAL DISTRIBUTION
594 CHESTNUT RIDGE RD. ORANGE, CT 06477 - U. S. A.
Phone (203) 387-0597

Издательство «Антиквариат»
радо сообщить о выходе новой книги

ВАДИМ КРЕЙД

«ПРАПАМЯТЬ»

– антология русской поэзии о реинкарнации.

Искусство

Александра Орлова

СУДЬБА СОВЕТСКОГО КРЕПОСТНОГО МУЗЫКАНТА

Мысль об этой статье возникла у меня под впечатлением документальной повести Анатолия Шварца «Жизнь и смерть Михаила Булгакова» («Континент», №№ 53 и 54). Если читатель помнит, есть в ней эпизод, связанный с созданием либретто «Минин и Пожарский» для оперы Б. В. Асафьева.

Располагая значительным количеством писем композитора к моему мужу, музыковеду Георгию Павловичу Орлову (1900 – 1940) – одному из любимых и преданнейших учеников Асафьева, я вспомнила, что там упоминается Булгаков, и решила эти письма перечитать¹. С новой силой охватила меня горечь при воспоминании о том, каким издевательствам подвергались деятели русской культуры, даже те, кто уцелел в страшные времена тотального террора. В отношении к ним было нечто общее: пренебрежение к таланту, неуважение к человеческому достоинству, третирование, а подчас и травля художника.

Разные люди, разные судьбы... И все же...

Сталинская эпоха «прославилась» не только показательными процессами, уничтожением крестьянства и интеллигенции, геноцидом. Вся нравственная атмосфера того времени создавала почву для расцвета зависти, интриг, сведения счетов с конкурентами. И даже лица, которые не карались тюрьмами и лагерями, а, казалось, пользовались почетом и всеми жизненными благами, получая ордена, награды, звания, жили под вечным гнетом и терпели унижения, о которых окружающие часто даже не подозревали.

На первый взгляд может показаться неожиданным, что и народный артист СССР, орденоседец академик Борис Владимирович Асафьев (1884 – 1949) также был жертвой темных махинаций и подвергался унижению и издевательствам.

Ученый-музыковед, автор капитальных трудов, создатель целой русской музыковедческой школы (многие годы он был профессором Ленинградской консерватории), пользовавшийся международной известностью (его книги до сих пор изучаются и переводятся на Западе), прославленный композитор (автор балетов «Бахчисарайский фонтан», «Кавказский пленник», «Пламя Парижа» и др.), Асафьев всю жизнь страдал от дискриминации, от оскорбительных нападок критики и «вышестоящих» чиновников, от того, что многие его сочинения были отвергнуты по неизвестным причинам. Иные считали его излишне обидчивым, мнительным, подсмеивались над ним: о каком, мол, пренебрежении и замалчивании может идти речь, если ряд его произведений исполняется! Просто у высокочтимого мэтра слишком чувствительная натура.

Однако, внимательно присмотревшись к фактам, нетрудно заметить, насколько обоснованы и серьезны были его обиды и тревоги. И дело тут не просто в уязвленном самолюбии. Дело в том, что к нему как к композитору в высоких музыкальных сферах относились явно пренебрежительно и он это остро ощущал.

Так, в письме к Г. П. Орлову от 10 ноября 1939 г. (в дальнейшем цитируются письма только к этому адресату) Асафьев говорит: «...если (...) поняли бы раз навсегда простую вещь: что Асафьев не потому в состоянии свежо осветить своими заметками чей-либо труд, что он – выдающийся музыковед, но что он – талантливый человек в целом и чуткий творческий музыкант, артист, живущий в искусстве. Пока будут делить меня на ученого-музыковеда и глупого эпигона композитора – ничего хорошего для меня (...) не будет».

О мытарствах композитора можно судить хотя бы по одному из его писем (от 17 декабря 1939 г.), целиком посвященному злоключениям оперы, написанной на либретто М. А. Булгакова.

Вот повествование о судьбе моей оперы «Минин и Пожарский». Лето 1936 года в Москве. На одном обсуждении планов репертуара Большого театра, я сказал С. А. Самосуду², что пришла пока сделать в репертуаре акцент на народно-национальной тематике. Как показало близкое будущее, я был прав. Но что сделали со мной, моей идеей, как поблагодарили меня? А вот как. Прежде всего С. А.

ухватился за мою мысль: «Какой же сюжет вы бы выдвинули?» – «Смутное время. Минин и Пожарский, как вожди нижегородского народного ополчения». – «Кто может сделать либретто?» – «Булгаков М. А.» – «В чем действие оперы?» – «Борьба и путь нижегородского ополчения к Москве, для ее освобождения». – «Вы бы взялись написать оперу?» – «Взялся бы. Мне эта тема близка». – «Почему?» – «Это было моей темой по русской истории на университетском гос. экзамене». – «Я вам заказываю оперу. Запросите Булгакова. Только к концу года (1936) нужен уже клави́р». – «Если будет либретто, клави́р будет», – сказал я. Через день после этой беседы Самосуд был со мной у Булгакова, уговорил его, привез в Дирекцию, и с Булгаковым был заключен договор. А потом вскоре и со мной. Это было в начале июня (...) В конце июля Булгаков сдал либретто «Минина» Дирекции. Так как до поздней осени никаких возражений от Дирекции по тексту либретто я не имел, то (...) я стал интенсивно работать над «Мининым». Ухлопал здоровье, обессилел, но слово сдержал. В конце ноября рабочий клави́р оперы был кончен и по снятии копии отправлен в Москву. Я сам, обессиленный, ехать играть «Минина» не мог. За клави́ром приехал ко мне Мелик-Пашаев³. Что было на просмотре, я не знаю (это может рассказать Мелик-Пашаев, ибо он играл⁴), но, судя по скромной заметке в «Советском искусстве» (кажется, в декабре или январе), опера не была отвергнута. Меня, конечно, ни о чем не известили⁵. Но через некоторое время не то из письма Булгакова, не то при встрече с ним в Ленинграде, я узнал, что были высказаны пожелания о ряде переделок и расширений. Тогдашний Комитет по делам искусств через некоторое время подтвердил эти пожелания. Тогда я сделал вторую редакцию оперы, причем была введена Булгаковым новая большая народная сцена в Костроме и ряд других расширений. Не позднее марта вторая редакция клави́ра была сдана в Большой театр. И теперь все смолкло. До января 1938. В январе 1938 я был вызван после долгих настояний в Большой театр. Я приехал, и произошла при свидетелях (...) следующая памятная для меня встреча с Самосудом. Очень настойчиво, повышенным тоном, С. А. обратился ко мне: «Где „Минин“? Вы что шутки шутите? Вы знаете, кто трижды справлялся об этой опере? (было названо очень яркое имя⁶) и т. д. и т. д. Булгаков, помню, робко ска-

зал: «Но мы же ставим „Ивана Сусанина“»⁷. Ему резко ответил Самосуд, и опять упреки ко мне. Помню, я спокойно ответил: «Очень рад, что об опере моей справлялось всем дорожное нам лицо, но, С. А., вторая редакция „Минина“ уже почти год лежит у вас в театре, клавир в библиотеке или у Мелик-Пашаева». Миг молчания, а затем гневный жест и возглас С. А. Самосуда: «И никто мне не сказал!?»... Не помню, что тут было. Но через несколько реплик Самосуд мне сказал: «Ну, ладно. Что было, то было. Нужна новая редакция „Минина“», – и изложил мне ряд категорических требований. То же и Булгакову. Прибавив: «Скорее, скорее» (...) Хотя я и знал, что «Иван Сусанин» переделывается в «мининском направлении»; что моя идея перемонтирована в глинкинскую и хотя я никак не мог понять смысла грозного заседания, но так как было названо имя, на которое зря ссылаться нельзя, то не мог же я не верить происходящему. Словом, я уехал окрыленный. Сделал вскоре же «Болотникова»⁸ и третью редакцию «Минина». Но когда весной 1938 я приехал в Москву на постановку «Кавказского пленника»⁹ и при встрече с Самосудом сказал ему, что все его указания по «Минину» выполнены и третья редакция готова, он не произнес ни слова, словно не слышал!.. И после этого наступило полное забвение, словно оперы нет и не было.

Примечание 1. Когда С. А. Самосуд впервые со мной повел речь о сочинении «Минина», я сказал ему, что ведь есть «Иван Сусанин». Мое возражение он категорически отвел, ответив, что эпоха богатая и что «Иван Сусанин» – совсем другое. Я и сам знал, что совсем другое, но спрашивал, глядя вперед¹⁰.

Примечание 2. В прошлом сезоне, в марте на Ленинградском радио с большим успехом *дважды* исполняли народные сцены из «Минина». Несмотря на живые отклики – после двух исполнений сцены не возобновлены. Мне не сказали ни звука. Никаких мотивировок.

Примечание 3. Когда театры (напр., Горьковский) или организации обращались в Главное управление по делам искусств с просьбой разрешить исполнение моей оперы «Минин и Пожарский» – им отвечали: опера принадлежит Большому театру и пока ее не поставят там – не разрешим. Кроме того, эта опера – *в работе* (такой формулы «в работе» держались в отношении вещи *трижды* законченной).

Примечание 4. Ряд интервьюеров из прессы не раз беседовали со мной о «Минине». Но, кажется, беседы [в печати] не появлялись.

Примечание 5. Клавир третьей редакции я сохранил у себя и в Большой театр не отдал, считая, что раз С. А. Самосуд не заинтересовался – клавир может потеряться. Клавир второй редакции я, кажется, оставил у Н. Я. Мясковского¹¹. Помнится, он хвалил эту оперу.

Примечание 6. Булгаков, по моей инициативе ставший либреттистом, так и остался признанным Дирекцией Большого театра либреттистом (значит, в игре с «Мининым» дело не в Булгакове). Впрочем, он про «Минина» не вспоминает и ни в каких со мной отношениях не находится¹².

Вот, кажется, и вся эпопея. Учтите сложность и трудность работы, и вы поймете, чего все это стоит («Минин», «Болотников», «Разин»¹³).

В дневнике Е. С. Булгаковой имеются записи, касающиеся отношений Булгакова и Асафьева, не затронутых в письме композитора. Датируются они 1937 годом и связаны со временем работы над «Мининым»¹⁴.

«2 июля. М. А. работает над „Петром“ (либретто). 5 июля. Письмо от Асафьева. Благодарит за предложение писать совместно оперу «Петр», тронут тем, что М. А., несмотря на неудачу с «Мининым», обратился опять к нему» (цитирую по документальной повести А. Шварца).

Такова история оперы Асафьева на либретто Булгакова.

Дабы читатели не подумали, что эпизод с «Мининым и Пожарским» – из ряда вон выходящий, приведу еще один, хотя могла бы поведать о мытарствах целого ряда других произведений Асафьева, например, о судьбе его прелестной оперы «Казначейша» на сюжет поэмы Лермонтова. Но ограничусь историей балета «Иван Болотников», которая разворачивалась почти одновременно с работой над оперой «Минин и Пожарский».

Надо сказать, что затравленный за свои музыковедческие труды в годы РАПМа (Российской ассоциации пролетарских музыкантов – аналогия писательского РАППа), Асафьев так, видимо, и не смог оправиться от травмы. Не обладая стойкостью борца, он старался приспособиться к существующему

порядку. Беда его заключалась в том, что порой ему навязывали сюжеты, считавшиеся актуальными, идеологически выдержанными. Отсюда и ряд сочинений на национально-патриотические и революционные темы. Таковы опера на либретто татарского поэта Мусы Джалиля, балеты из истории народных восстаний («Иван Болотников», «Степан Разин»). Большею частью эти произведения оказались мертворожденными, хотя композитор, с присущей ему добросовестностью, погружался в изучение истории и фольклора, работал всегда с увлечением. И вышедшие из-под его пера вещи содержали чисто музыкальные достоинства. Однако некоторые из них не только не попали на сцену, но так и остались неоркестрованными. Лишь балет «Пламя Парижа», где мастерски использованы песни времен французской революции 1789 года, был поставлен и некоторое время шел с большим успехом. Остальные же «актуальные» произведения из-за каких-то непонятных закулисных (не только театральных!) интриг так и осели в архиве композитора.

Но пусть лучше сам Асафьев расскажет о злоключениях балета «Иван Болотников» (письмо от 16 декабря 1939 г.).

В конце 1937 ко мне приехали Ю. Ф. Файер, Р. В. Захаров и М. М. Габович¹⁵, как мне сказали – с официальным поручением от Большого театра. Ввиду очень большого уважения ко мне (и так как, по их словам, Большому театру необходимо возможно скорее иметь политически-содержательный балет), мне предложили: написать большой балет на тему об Иване Болотникове (либретто Габовича). Я стал отнекиваться. Тогда обиделись: «Вот вы не цените Большого театра, не понимаете значения такого обращения к вам» etc etc. Я спросил: «Ну, а заказ, договор?!» – «Ну, что же вы не верите нам, официальным представителям Большого театра». Я робко сказал: попробую. Через некоторое время ко мне опять приехал Габович, и три дня мы с ним работали над точным выяснением деталей либретто и хронометражем. Но задача оказалась очень трудной, и я долго – месяц – не мог вызвать в своем сознании желательной музыки.

В январе 1938 г. я был в Москве, и те же лица настоятельно торопили меня с окончанием музыки, так торопили, что мне стало казаться, что я – невыполнивший обещания надуватель. На вопрос о договоре мне опять сказали: «Ну,

что вы, что вы, как же вы не верите!» Вернулся я в Ленинград в полном отчаянии, как быть. Бросил все дела, наплевал на предостережения докторов и стал работать. 7 февраля я уже послал Габовичу телеграмму об окончании двух актов рабочего клавира. Кажется, в конце февраля музыка громадного балета была записана. В ответ на мою телеграмму выехала ко мне комиссия в составе Габовича, Файера и нескольких артистов балета Большого театра (фамилий не помню). Больной, измученный, задерганный, ибо четыре недели я почти не спал, я эскизно сыграл все четыре акта музыки. Я был почти без сил. Но я просил комиссию о снисхождении, говорил, что я сделаю все переделки, какие понадобятся, что дело очень трудное. Но что я прошу хотя бы заказа. «Да, да, да, etc!» Весной я приехал в Москву на репетиции «Кавказского Пленника» (хотя меня никто не вызывал). На мои вопросы о «Болотникове» меня долго водили за нос, а потом сказали (Захаров, Габович), что никакого заказа не было и не будет, что все это еще надо обсудить, но что я должен без заказа отдать клавир театру в переписку и обработку. Я отказался категорически, сказав: «Я сдержал свое слово, создал музыку, где же заказ?»... Словом, после этого – «Болотникова» как не бывало, а Ю. Ф. Файер с тех пор даже всякое общение со мной прекратил. Но не то в конце 1938 г., не то в начале 1939 г. был у меня в Ленинграде Габович. Сказал, что ему нужен клавир «Болотникова», что он опять подымет речь об этом балете. Горечь моя к этому времени смягчилась, и я имел неосторожность отдать клавир. С этого момента кончилось все: ни звука от Габовича, ни Габовича, ни клавира (единственный экземпляр!!). Два раза ездили в Москву мои родственники, просили Габовича вернуть клавир – не вернул. Так уважают композиторский труд, я уже не говорю обо всем остальном (...).

Вот вся история. Уверяю Вас, в «Болотникове» много музыки значительно высокой. Но где мой клавир? Вероятно, его изучали, обсуждали? Или бросили? А за что же меня заставили потерять время, силы, здоровье? Я же не навязывался и никогда не навязываюсь. Вот вся история.

В начале этого письма Асафьева есть такая горестная фраза: «...ведь я *театральный* композитор, всегда имеющий успех. Нонсенс в том: за что меня наказывают!?!?..» А еще

раньше (1 сентября того же года) он писал: «Дело, Георгий Павлович, не в том, что я обижен (...) значит, я в чем-то перед родной страной виноват или ей не нужен. Вот в чем ужас».

Не напоминает ли положение советского музыканта времени крепостного права?!

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Извлечения из переписки Б. В. Асафьева с Г. П. Орловым опубликованы мной в 1975 г. в журнале «Советская музыка» (№ 10). По чисто цензурным соображениям, там полностью отсутствует предлагаемая сейчас тема. Все цитируемые здесь письма и отрывки из них публикуются впервые.

² Самосуд Самуил Абрамович (1884 – 1964) – в 1936 – 1943 главный дирижер Большого театра.

³ Мелик-Пашаев Александр Шамильевич (1905 – 1964) – 1931 – дирижер Большого театра, а в 1953 – 1962 главный дирижер. Согласно дневнику Е. С. Булгаковой, опубликованному А. Шварцем («Континент» № 54), к Асафьеву за клавиром вместе с Мелик-Пашаевым приехал также Булгаков. 29 ноября ночью в 2 часа он позвонил по телефону жене и сказал, что музыка Асафьева ему очень понравилась.

⁴ В дневнике Е. С. Булгаковой (записано со слов М. А. Булгакова) указано, что на просмотре оперы играл пианист Васильев.

⁵ Асафьева явно «не известили», как происходило обсуждение. Судя по рассказу М. А. Булгакова жене, обсуждение носило разгромный характер. Вероятно, Булгаков, щадя Асафьева, ничего ему об этом не говорил.

⁶ Имеется в виду, конечно, Сталин.

⁷ Готовилась постановка оперы Глинки «Жизнь за царя» («Иван Сусанин») по новому либретто Сергея Городецкого.

⁸ О балете «Иван Болотников» см. ниже.

⁹ Балет-поэма «Кавказский пленник». Либретто Н. Д. Волкова. 1936.

¹⁰ Выше сам Асафьев рассказывает, что он предложил С. А. Самосуду сюжет для оперы. Видимо, предложив, он тогда же высказал сомнение – пройдет ли эта тема, поскольку существует опера Глинки.

¹¹ Мясковский Николай Яковлевич (1881 – 1950) – композитор.

¹² Очевидно, Асафьев не знал, что в это время Булгаков был уже смертельно болен.

¹³ Балет «Степан Разин». Либретто Н. Д. Волкова. 1939.

¹⁴ Записи Е. С. Булгаковой в дневнике – публикация А. Шварца (цит. изд.).

¹⁵ Файер Юрий Федорович (1890 – 1971) – в 1923 – 1963 дирижер балета Большого театра; Захаров Ростислав Владимирович (р. 1907) – в 1936 – 1956 балетмейстер и оперный режиссер Большого театра; Габович Михаил – солист балета Большого театра.

Издательством «Поиски» переиздана книга
незаслуженно забытого
крупнейшего российского ученого-экономиста

Б.Д.Бруцкуса

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Теоретические мысли по поводу русского опыта

С предисловием, комментариями и послесловием

В.Сорокина и Д.Штурман,

статьей лауреата Нобелевской премии

по экономике **Ф.А.Хайека**

В начале 1920-х гг., когда на Западе голословно рассуждали о «великом социалистическом эксперименте», закрывая глаза на трагическую подсоветскую действительность, Б.Д.Бруцкус, проследив первые шаги советской государственной экономики, осветил ее фундаментальные черты и предсказал дальнейшую судьбу страны и народа, попавших в тоталитарную ловушку. В течение истекших десятилетий его прогнозы подтверждались неоднократно — и не только на примере СССР.

Сегодня, когда советское руководство пытается (в который раз!) заставить подвластную ему экономику стать по-рыночно-продуктивной, меняя и перестраивая только формы ее монопаратократической централизации, эта старая, но не устаревшая книга приобрела новую актуальность.

Заказы направляйте по адресам:

Victor Sorokine — 5, bd. de la Gare,

94470 Boissy-St.-Léger, FRANCE, и S. Tictin, Greenspan Str., 12/6,

Misrakh Talpiot 422, Jerusalem 93802, ISRAEL.

ПАНОРАМА

крупнейшее независимое еженедельное издание
на русском языке

Издается с 1980 года в Лос-Анджелесе

Главный редактор А. П о л о в е ц

ПОСТОЯННЫЕ РУБРИКИ ГАЗЕТЫ

Глобус. Обзор и комментарии к событиям международной и внутренней жизни.

Публицистика. В числе постоянных авторов газеты – обозреватель телевизионных программ ABC, бывший руководитель Информационной службы правительства США Б. Хершензон, известные журналисты русского зарубежья Т. Шуман (Лос-Анджелес), П. Вайль, А. Генис, С. Довлатов, В. Козловский, Б. Парамонов, М. Поповский, Григорий Рыскин (Нью-Йорк), М. Лемхин (Сан-Франциско), Д. Савицкий (Париж), Е. Фиштейн («Европейская хроника»), З. Копелиович (Израиль) и др.

Литература. В «Панораме» впервые публиковались отдельные произведения Василия Аксенова, Юза Алешковского, Эдуарда Лимонова, Саши Соколова, Льва Халифа, А. и Л. Шаргородских и ряда других писателей и журналистов, живущих в США и других странах.

Голливуд. Рецензии на новые фильмы и театральные постановки, интервью с работниками театра и кино, обзоры событий в киномире США и других стран.

Юмор. В этом разделе публикуются произведения авторов, пишущих на русском языке, а также переводы юмористических и сатирических произведений с других языков.

«Панорама» имеет постоянные представительства
в Сан-Франциско и Нью-Йорке.

ALMANAC, P. O. Box 480264, Los Angeles, Ca 90048, USA

Прошу подписать меня на газету «Альманах-ПАНОРАМА»
на срок 12 мес. на срок 6 мес.

Газету прошу направлять по адресу:

Литература и время

Ирина Муравьева

РЕКВИЕМ ДЛЯ БЕДНЫХ

Несколько недель назад я случайно очутилась за одним столом с приехавшей из Москвы женщиной. Милой, пожилой, кудрявой. Разговор зашел о литературе.

– Что сейчас читают? – спросила я.

– Сейчас? – она аккуратно откусила кусочек конфеты «Белочка» из русского магазина. – Многое... «Дети Арбата», например.

– Жаль, – сказала я. – Слабая книжка, правда? Плохая.

– Нет, ну почему? По-моему, хорошо, что ее читают. Я имею в виду массовое чтение, понимаете? Она заменила прежнюю «модную» литературу. Раньше в трамваях и электричках мусолили Пикуля, Юлиана Семенова, а теперь Рыбакова. Пусть уж лучше так. Неважно, какая это литература: мастерская, немастерская... Важно, что тема другая. Направление мыслей у людей изменится.

Это неожиданное высказывание заставило меня задуматься. А задумавшись, я пришла к парадоксу: лучше Пикуль! Лучше Юлиан Семенов! Тут уж, по крайней мере, всё ясно: макулатура. Вспоминаю, как в обмен на настоящую макулатуру выдавали в специальных пунктах книжки в дешевых обложках: за «Семнадцать мгновений весны» столько-то потрепанной «Правды» и прокуренных «Известий», за «Женщину в белом» – столько-то... Макулатура за макулатуру.

Берегите лес, пионеры и школьники! Ведь из одной елки... Вы даже не представляете себя, сколько арбатских детей можно настругать из одной елки!

А теперь? У людей меняется направление мыслей, и из этих мыслей варится каша. Готовьте ложки! Что у нас сегодня? Набоков, Рыбаков, «Доктор Живаго», Вознесенский, Ахматова? Всё в одном котле! Хлебникова не забыли? А Гумилева с Граниным? Ишь, запузырилось, запенилось! «Перестраивается»...

Грустное явление – безразборчивость. Совсем не безобидное. Эпоха Горбачева открыла «зеленую» улицу детям Арбата и героям «Реквиема».

А если им не по пути?

Но не будем забегать вперед. Тем более, что я не журналистка, не публицистка, не политический деятель. В дипломе моем написано: «специалист по русскому языку и литературе». То есть, проще говоря, литературовед, филолог. Попробую-ка я оправдать эту фразу и проанализировать роман Рыбакова без всякой предвзятости, с точки зрения десятилетиями складывавшихся критериев искусства. С первых страниц в душу закрадывается некоторое недоумение: неужели это пишет профессионал, автор нескольких больших и с успехом прошедших произведений? Что-то тут не так. Либо и те произведения были не «ах», либо он теперь писать разучился.

Я еще ничего не знаю о героях и готовых развернуться в книге событиях. Я просто слушаю язык. Поначалу удивляюсь – до чего бедно! Потом начинаю раздражаться – до чего плоско! Бросившееся в глаза отсутствие красок постепенно сменяется нарастающей «антикрасочностью», почти мертвенностью, прозаическая беспомощность достигает странных размеров: похоже, что пишет один из справедливо забытых людьми и культурой авторов старинного журнала «Пробуждение», на страницах которого и серенький современник Чехова Потапенко был в числе самых талантливых.

Отчетливей всего то, что Рыбакову не удался ни один образ. Живого человека у него просто нет. Есть множество наспех набросанных роботов, ни один из которых не вызывает ни сочувствия, ни интереса. Автор, к сожалению, отказался даже от речевой характеристики, важнейшего принципа создания персонажа в художественном произведении, оттого и положительный герой Саша, и отрицательный Юрий Шарок мыслят и говорят одними и теми же, вялыми, небрежными, казенными фразами, нарушающими психологическую логику характера. Трудно представить, например, что жестокий, примитивный карьерист Шарок в свои двадцать лет поднимается до таких вершин самоиронии и цинизма, что может оценить столь банальную ситуацию, как обращение с просьбой о распределении к влиятельному лицу, живущему на улице Грановского, с ядовитой остротой замаскированного Мефистофеля: «Он ощутил свою силу, свое превосходство и над теми в ин-

ституте, и над этими здесь, в Пятом доме Советов. Эти властные интеллигенты всегда лишь снисходят к нему. Обратись к Будягину с такой просьбой Сашка Панкратов, Будягин бы ему отказал – работать надо там, куда посылает партия! А тому, кого не уважаешь, можно бросить кусок!»

Роман Рыбакова – явление парадоксальное. Автор своих героев не просто не любит, он их не терпит. Если вдуматься, о каждом он пишет так, словно с трудом подавляет раздражение, поэтому все они – хорошие и плохие – оказываются для нас, читателей, одинаковыми и плоскими. Но не только автор не любит своих героев (может, и хотел бы, да не умеет. Это ведь особый талант – любовь!), интересно, что и герои связаны между собой холодной нетерпимостью и равнодушием, образуют озлобленную, недоброжелательную массу. Много тому примеров, до обидного много. Почему, например, оставшиеся без родителей сестры Варя и Нина должны непременно ненавидеть друг друга? В чем секрет их истерической агрессивности?

«...дома Нина встретила Варю сердитым взглядом... Варя не стала объяснять, почему опоздала... Варя приоткрыла дверь так, чтобы стоять не спиной, а боком к свету, и начала переодеваться, и это тоже раздражало Нину... Нине не хотелось давать свои единственные выходные туфли, но не терпелось, чтобы Варя, наконец, убралась... Варя нанесла Нине удар инстинктивно, но точно...»

Сын не любит отца, отец не любит сына. Даже общее несчастье – арест Саши – не смягчает клокочущих ненавистью отношений между родителями. Соседи не переносят друг друга. Дядя разом отступает от дорогого племянника, племянник, слепо верящий в партию, почему-то легко мирится с мыслью, что взят по вине славного партийца-дядюшки, который, может быть, сидит в той же тюрьме, что и он. Дружба, как доказывает роман, давно отжила свое, любовь... О любви придется сказать особо. Рыбаков, очевидно, понимал в глубине души, что столь славное сочинение нужно непременно нашпиговать определенным количеством любовных коллизий, но что это такое, он, похоже, просто не знает. Лена и Шарок. Прослеживаю с самого начала. Во-первых, совершенно непонятно, чего хочет автор от Лены. Невольно вспоминается знаменитое высказывание Пушкина о грибоедовской Софье: «Софья начертана неясно: то ли б..., то ли московская кузина».

Девочка выросла за границей и после революции вернулась в Россию, «нетвердо зная русский язык». Восстанавливаю хронологию: сколько лет могло быть этой девочке, когда она вернулась в Россию, если в тридцать четвертом ей двадцать два? Не больше семи-восьми, верно? Но в свои двадцать два она все еще «старалась четко произносить окончания слов, обдумывая ударения, и говорила медленно». Трогательно, конечно, но, может быть, у девочки просто замедленное развитие? Или маститый писатель не знает, как легко, всеми порами, впитывают дети даже совершенно незнакомый язык? Но это еще не всё. Подобно братьям Киреевским, она была «болезненно чувствительна ко всему, что казалось ей истинно народным, русским». Читаю и диву даюсь: опять Татьяна Ларина!

«Родители Юры тоже казались ей необыкновенными. Отец – красивый представительный мастер, мать – богомольная старуха, патриархальный уклад жизни – совсем другой мир, народный, простой, настоящий». И это девочка, выросшая в семье оголтелых большевиков, воспитанная советской школой! Дальше, правда, следуют психологические нарушения, настолько грубые, что по сравнению с ними эти сентиментальные слезинки на снегу – просто мелочи: «Она уходила от него поздно ночью, разреши он, не уходила бы совсем». А как же патриархальные родители? Спят, наверное. Дело житейское... Отрицательный герой должен, разумеется, подтвердить свою зловещую отрицательность, и на этот случай мировая литература располагает мощным сюжетным средством: «...я беременна...» Остановлюсь на этом драматическом узелочке, тем более, что и сам автор нет-нет да возвращается к нему с нескрываемым удовольствием.

Герой и разлюбленная им поклонница русского фольклора, надевшая «красные рукавички» (где ты, тройка с бубенцами?), встречаются на Никитском бульваре. Лютый патриархальный мороз щиплет их за комсомольские щеки. Решают (по подлому желанию Шарока!) убить невинное дитя в самом зародыше.

«Потерпим, подождем, будут у нас дети», – лицемерно говорит он, наклоняясь к ее пахнущему заграничными духами лицу. Но дальше происходит что-то совершенно непонятное: только что он мечтал поскорее от нее избавиться – «Хватит! Хорошеньких девочек полна Москва... Его охватил страх

перед тем, что могло произойти. Через восемь или семь месяцев, сам того не зная, он стал бы отцом...» Как, кстати, можно стать отцом, «того не зная»? Любимая женщина-то ведь на соседней улице! Может быть, «того не желая»? Так вот: только что герой был готов, закрыв глаза, бежать куда подальше от этой любительницы «сердечной, темной старины», как вдруг, «сама того не желая», я читаю: «Такой ночи у них еще не было... Ее покорность умиляла его, наполняла его гордостью, он был с ней нежен, старался еще больше расположить к себе, привязать, сделать совсем послушной... Не надо усложнять жизнь, летом они поедут в Сочи, говорят, там теперь первоклассный курорт, он хоть море увидит, что он видел, кроме Москвы? Лене хорошо – объездила мир, а он?

Юра задел в ней самую чувствительную струну, его доводы казались ей исполненными простого трезвого народного смысла».

Ну, уж если вмешался «народный смысл», спорить не приходится. Может быть, коварный Шарок опомнился? Может быть, добрые чувства взяли верх? Похоже, что так: «То, что случилось, сблизило их. Никогда он не был таким ласковым, искренним и таким слабым... Утром он дремал, положив руку ей на грудь, и она берегла его сон. Раньше он не задерживал ее, отправляя незаметно ночью, а сегодня не отпускал. И когда отпустил, наконец, проводил до двери не так, как всегда, на цыпочках, а открыто, громко с ней разговаривал, не думал о скрипе дверей, шуме замка (что такое, кстати, «шум замка»? Замок, вроде, не море!), улыбнулся, прижался щекой к ее щеке».

Роман Рыбакова доказывает, что самое сложное для автора – запомнить только что тобой написанное, и, понимая это, умиленный покорностью герой, едва успев оторвать свою щеку от щеки героини, взрывается внутренним монологом, подтверждающим заложенный в нем «народный смысл»: «...а эта неженка, маменькина дочка, ничего не знает, ничего не умеет, заграничная штучка, чёрт бы ее побрал! Если он не развяжется с ней сейчас, то никогда не развяжется. Хотя бы выкинула!»

Устроив любимой (прошу прощения – разлюбленной?) женщине горчичную ванну, вызвавшую кровотечение, которое едва не отправило ее на тот свет, зверь Шарок недели через три-четыре после случившегося звонит ей по телефону,

корыстно прощупывая ситуацию. Удивительно: его поведение не вызывает у нее даже недоумения (кажется, неполадки с речью были у этой девочки все-таки не случайно!).

«Наконец-то. Я так волновалась за тебя.

– Это я волновался за тебя.

– Я всё время думала: как ты это переживешь? Почему не приходил?

– Каждый день звонил, справлялся.

– Да? – радостно переспросила она. – Сегодня ко мне собираются ребята, может быть, приедешь?

– Не хотелось бы в такой куче.

– Я тебя понимаю, а когда?

– Позвоню».

Больше он, разумеется, не позвонил. И ни слова о ее переживаниях, о реакции родителей на случившееся, ни одного звонка, ни одного ее вопроса, ни одной слезинки, ни тайной, ни явной.

Думаете, легко быть роботом? Да еще если автор о тебе периодически просто забывает? И поделом – сколько людейшек разбежалось по этому вполне эпическому повествованию, разве всех упомнишь! К слову замечу, что многих своих героев Рыбаков действительно только набрасывает слегка, а потом о них и не вспоминает. Висят на стене ружья, не выстреливают...

Но возвращаюсь к этой, столь драматически оборвавшейся любви. Проходит полгода, и переменчивый, как ветер, негодяй в корне переоценивает ситуацию. «Вошла Лена в красном цыганском сарафане на бретельках, с обнаженными плечами и спиной. Эффектная женщина. Роскошная и большая. То, что надо Шароку». Без малейшего усилия со стороны автора парочка оказывается на пляже: «...они лежали на песке, подставив солнцу голые спины. Положив голову на сплетенные руки, она сбоку поглядывала на него, и ему снова казалось, что она любит его по-прежнему». Не вдаваясь в ненужные подробности, Рыбаков простодушно заявляет: «Она действительно любила его. Может быть, потому, что эту любовь не заменила никакая другая. И она была чувственна, а Юра первый и единственный мужчина в ее жизни». Нет, не было на русском языке ни «Анны Карениной», ни «Дамы с собачкой», ни «Белых ночей», ни «Доктора Живаго»! Был только «Кортик» и «Бронзовая птица».

Но, может быть, я несправедлива? Может быть, только эта любовная интрига не удалась автору? К сожалению, не только эта. Саша Панкратов – главный герой – поначалу вроде бы встречается с деревенской девочкой Катей, от которой в тот единственный раз, когда она появилась в романе, «попахивало вином». Но, судя по всему, Кате, которая ни сама Сашу не любит (звонит раз в три – четыре месяца!), ни Саша ее, вылезши из постели, больше не вспоминает, – судя по всему, этой Кате больше здесь делать нечего. У арбатских детей своя компания, у нее – своя. Зря только побеспокоили. Затем в романе начинается более чем небрежно, с элементарно-профессиональной точки зрения, написанная линия Вари Ивановой. То она влюблена в Сашу, то у нее появляется жених Серафим, к которому она собирается ехать на Дальний Восток, но вскоре автор забывает о Серафиме, и с непонятной целью в повествование зазскальзывает архитектор Игорь Владимирович, который заставляет было читателя разинуть рот в ожидании, ведет себя достойно и ненавязчиво, словно копит силы для того, чтобы распрямилась какая-то мощная лирическая пружина, но вдруг, не выдержав роли, кричит на проститутку в ресторане визгливым голосом и этим совершенно дискредитирует себя в глазах героини: «Овца и трус к тому же... Так что с Игорем Владимировичем они квиты». И мы – квиты. Иди налево, французская королева...

Да, чуть не забыла: в промежутках между благородной помощью Саше и ссорами с сестрой Варя успевает еще и замуж выйти. За бильярдного игрока Костю. Вроде с размахом задуман парень – щедрый, с трудной судьбой, ни на кого не похожий, надломленный, но и ему не дают развернуться: оказывается этот Костя, в конце концов, обыкновенной ресторанной швалью. С трудом удалось из квартиры выжить. Комнату освободить.

А Саша тем временем в ссылке тоже не скучает: появляется у него некая Зида, деревенская учительница, о которой очень изящно сказано, что была она «восточная женщина, покорная, страстная, заходила (?!) от первого Сашиного прикосновения...» Но вот что заставило эту, столь темпераментную Зиду, оставить шестилетнюю дочку и отправиться в глухую сибирскую деревню, покрыто мраком неизвестности.

«– Почему ты здесь, Зида?»

Она опустила голову, молчала, не отвечала.

– Я спрашиваю: что тебя сюда занесло?

Она прошептала: „Я тебе этого никогда не скажу“».

И ведь не сказала! Так мы ничего и не узнали.

Нелюбовь автора – тяжелое явление, рождающее нравственную неопределенность героев и общую фальшивость повествования. Иногда Рыбаков словно бы спохватывается, хочет написать о людях что-то хорошее, но посмотрите, как неискренне и аляповато это получается: «И вот они сидят за столом, покрытым белой скатертью. Во главе стола – Нина, справа от нее Максим, Саша, Варя, Серафим. Слева Вадим, Лена, Юра и Вика. Все блестит и сверкает, все расставлено, вкусно пахнет, вызывает аппетит, возбуждает веселье. За окном морозная ночь, а им тепло, девушки в фильдеперсовых чулках, в туфлях на высоких каблуках... Они молоды, не представляют себе ни старости, ни смерти, они рождены не для смерти, не для старости, а для жизни, для молодости, для счастья». Общие трескучие фразы, однако, не спасают положения: люди, рожденные для молодости и счастья, надев фильдеперсовые чулки и поев селедки под горчичным соусом, не стали относиться друг к другу лучше: «Ссора произошла неожиданно. Юра и Вика вышли в коридор, и это взорвало Нину... И наступил тот переломный час новогодней ночи, когда все уже устали, хотят спать и раздражаются по пустякам».

Всё, как обычно. Мелькнула полоска робкого света и исчезла. Недобрая книга «Дети Арбата», мутная... Она льется непроцеженным потоком по плоской поверхности, и все попытки автора изменить ее течение натываются на корявые плотины собственной беспомощности и внутренней недоброжелательности.

Памятен эпизод со священником, отцом Василием, которого Саша встречает по пути в ссылку. Ничего, кроме хорошего, сказать об этом человеке Рыбаков вроде бы не хотел, но, будучи лишен художественного такта, переборщил, как сказал бы Гоголь, «переложил сахару», и получилось липко, неверно, нарочито. «Отец Василий принес котел горячей воды, таз, дал мыло и полотенце. Саша опустил ноги в горячую воду, ощутил мгновенную слабость и блаженное чувство освобождения от усталости». Всё вроде нормально. Священнику двадцать семь, человек он явно хороший, и пусть они с Сашей поговорят. Так нет же!

«– Вы их мыльцем, мыльцем, вот я вам намылю, – отец Василий взял мыло и мочалку.

– Что вы, что вы, не надо, я сам! – испугался Саша.

Но отец Василий уже обмокнул мочалку в воду, наклонился, намылил ее и начал тереть Сашину ногу.

– Не надо! Что вы в самом деле! – закричал Саша, пытается вырвать ноги и боясь в то же время расплескать воду.

– Ничего, ничего, – ласковым голосом говорил отец Василий, растирая Сашину ногу, – вам неудобно, а мне удобно.

– Нет, нет, спасибо! – Саша наконец отобрал у него мочалку».

Не зря Саша испугался. И любой бы испугался. Опомнитесь, господин Рыбаков! Священник ведь не банщик, и для того, чтобы сказать о нем, как о хорошем человеке, не нужно делать из него юродивого! Если же автор переосмысливает здесь евангельскую притчу, это вышло у него довольно пошло.

На мой взгляд, в этом романе автору не удалось самое главное: внутреннее движение характеров и логика сцепления внутреннего движения с происходящим во внешнем мире. И чем больше попыток предпринимает Рыбаков в этом направлении, тем отчетливее его несостоятельность. Все так называемые «внутренние монологи», обильно рассыпанные по страницам «Детей Арбата», ярко обнаруживают, с одной стороны, психологическую невежественность и доходящую до абсурда небрежность пишущего, а с другой – запрограммированность действия, мертвенную статичность характеров. У Рыбакова много описаний, много разговоров, много *поведения*, но нет ни одного симптома душевного состояния, выражаемого жестом, улыбкой, взглядом. В свое время, анализируя античный эпос, М. М. Бахтин писал о полноте воплощения внутреннего мира человека в его внешних проявлениях – словах, позах, изменении лица, жестах. «Всякое бытие для грека классической эпохи было и зримым и звучащим. Принципиально (по существу) невидимого и немого бытия он не знает...» Русская литература издавна усвоила эту традицию, и оттого в ней, как правило, речь героя и его телесный облик всегда являют прямую душевную характеристику. К сожалению, и в этом смысле роман Рыбакова начисто лишен какой бы то ни было преемственности.

Давно мне не попадались такие плоские, заштампованные и неумелые портреты, словно бы списанные из старательного школьного сочинения, как, например, этот: «Густая черная борода не помешала ему увидеть юное, прекрасное лицо, исполненное чести, мужества и глубокой порядочности». Или тот же уровень трескучей банальности, но на сей раз на нитку фразы нанизаны глаголы, ибо речь идет об эмоциональном состоянии человека: «Ее слова перешли в рыдания, она *изнемогала, умирала* (!), перебирая эти вещи, вещи ее мальчика, которого отрывают от нее, уводят в тюрьму».

Всё это я написала не оттого, что мне доставляло странное удовольствие выискивать примеры, подтверждающие, что роман «Дети Арбата» – беспомощное, с профессиональной точки зрения, произведение. Это так, но само по себе это еще ничего не значит. Грустно, но не страшно. Страшно другое. Литература существует ведь как отчетливое словесное воплощение смысла нашей жизни, ее сокровенного содержания, и не случайно, что подлинный писатель относится к своему творчеству с ответственностью и волнением. «Литература, как сила, как особенное явление, как средство», – набросал Достоевский в своей Записной книжке сразу вслед за словами о народе: «...у него нет наук, нет искусств, но он отстоял свои начала, а следы его мысли виднее нам, нежели другим». Кому – нам? Творцам, пишушим. А как отчаянно боялся Толстой сказать хоть малейшую неправду, как мучительно проверял себя в каждом слове, каждом повороте сюжета: «Мыслитель и художник, – читаем мы в толстовском дневнике, – должен страдать вместе с людьми для того, чтобы найти спасение или утешение. Кроме того, он страдает еще и потому, что он всегда, вечно, в тревоге и волнении: он мог решить и сказать то, что дало бы благо людям, избавило бы их от страдания, дало бы утешение; а он не так сказал, не так изобразил, как надо... а завтра, может, будет поздно – он умрет».

Мне почему-то кажется, что такого рода переживания писателю Анатолию Рыбакову незнакомы, иначе он не допустил бы ту заметную невооруженным глазом небрежность и искажение фактов, которые насквозь пропитывают его книгу.

Обидно, что люди, которые не имели доступа к самиздату, не познакомились в свое время с произведениями Шаламова и Солженицына, получили теперь, по официальному разреше-

нию свыше, роман «Дети Арбата», эту неловкую имитацию правды.

Пушкин говорил, что есть три Истории России: одна для гостиной, другая для гостиницы, третья для гостиного двора. К какому разряду отнести Рыбакова?

Гостиная? Да, вполне подходит. «Дети Арбата» – произведение официальное. Оно свободно могло появиться в хрущевскую эпоху, оно появилось при перестройке. Не заключая в себе никакой взрывной силы, оно прекрасно уместается в границы дозволенного. Что нового сказал этот роман сейчас, в конце восьмидесятых годов, людям, пережившим «Архипелаг ГУЛаг», «Всё течет...», «Колымские рассказы»? Ведь по сравнению с этими книгами «Дети Арбата» – все равно что построенный ребенком из речного песка домик по сравнению с крепостью или небоскребом. Более того: во времена, когда «Доктор Живаго», произведение, философски неприемлющее большевизм, наконец напечатано в России, когда напечатана в ней повесть Приставкина «Ночевала тучка золотая», кожу содравшая с молчаливого детского рта и обнажившая крик советских сирот, в разгаре войны брошенных любимой партией на произвол судьбы, когда черной птицей распластался в небе ахматовский «Реквием», стоит ли вообще останавливаться на косноязычном шепоте этого романа, давшем осторожнейшую, наиоглядчивейшую интерпретацию тридцатых годов?

Взбираясь по «выщербленной лестнице» своей истории, Рыбаков старательно удерживает в равновесии весь набор «хромающих истин»: на верхней ступеньке ее в романтической дымке подлинного, но скромного величия расположилась фигура Ленина, который всё знал, всё предвидел и во всем был прав: «Когда в итоге оказывалось, что Ленин прав, а он всегда оказывался прав, Сталин объявлял себя его единомышленником... Однако вместо социалистической демократии, которой добивался Ленин, Сталин создал совсем другой режим».

По логике Рыбакова, произошло как бы трагическое недоразумение: доверчивые и легкомысленные люди не прислушались к тонкому пророчеству Ленина и предоставили Сталину возможность занять пост Генерального секретаря. Тем самым партия наказала и себя, и народ. Кровавые репрессии, по сути дела, рассматриваются Рыбаковым с точки зрения нарушения партийной дисциплины. Сталин, фигура зловещая,

честолюбивая и аморальная, противопоставлен какому-то почти мифическому существу – партии, в которой нельзя сомневаться, ибо в основе она кристально чиста и бескорыстна. Низкий человек Сталин, естественно, окружил себя палачами, трусами и карьеристами, оттеснив на задний план лучших представителей этой самой пресловутой партии. Будь на посту Генсека благородный Киров или вспыльчивый, но хрустальной души Орджоникидзе, ничего подобного не случилось бы. Ответственность за происходящее целиком падает на конкретных людей – или мучеников догмы, жертв века, или откровенных подонков, вроде Шарока. Остальные оказываются на положении попавших в ловушку невинных страдальцев.

«И вместе с тем выступить против Сталина нельзя, – рассуждает про себя Киров. – В этом вся трагедия. Его методы неприемлемы, но линия правильна. Он превратил Россию в могучую индустриальную державу». Не исключено, исходя из логики всего романа, что за этими словами Кирова стоит сам автор, который, хоть и скорбит по поводу происходящего, тем не менее, относится к нему, как к *фатальной случайности*. Неужели ему, прожившему долгую жизнь и, без сомнения, читавшему роман Достоевского «Бесы», не приходит в голову, что речь может идти только о *фатальной неизбежности*? Что и Ленин, и Сталин, и Берия, и Вышинский *не могли быть* роковой случайностью, как не были роковой случайностью ни Гитлер, ни Муссолини?

Я еще ни разу не произнесла слова «подмена», хотя мне кажется, что романом «Дети Арбата» осуществляется именно *подмена* истории и жизни, как она в действительности совершалась и кровоточила. Один из простейших примеров такой подмены – характеристика, данная бывшему председателю Губчека Березину: «Березин исповедовал дух революции, работу в Чека считал своим революционным долгом. Будучи в годы гражданской войны председателем Губчека, он осуществлял *красный террор* (!), но мог и отпустить на все четыре стороны (?!) *незадачливого либерала* (?!) или *перетрусившего буржуя* (?!), если видел, что они для революции не опасны (?!)».

Думаю, что эту цитату даже и комментировать лишнее: уровень авторского проникновения в существо дела слишком очевиден.

Или другой пример о том, как возводили домну на Урале: «...как работали, добивались чести назвать эту вторую домну комсомольской! Пищу варили тут же на кострах. Лошади вязли в глине, тачки срывались с мостков, главное орудие – лопата, главный транспорт – конная грабарка, котлованы, котлованы, горы земли, пыль до самого неба, шум, грохот, вот из какого хаоса возник величайший современный завод. И эти молодые люди, юные энтузиасты, не щадили себя, не рассуждали о трудностях... Они понимали, что создают бастион социалистической индустрии, преодолевают вековую отсталость страны, укрепляют ее обороноспособность, ее экономическую независимость, строят новое, социалистическое общество».

Может быть, мне возразят: «Да ведь это же голос примитивного хозяйственника Марка Александровича, набор газетных штампов, забивших его бедную «передовую» голову! Да? Но тогда почему же автор, столь лихо раздающий прямые плоские характеристики своим героям, как то: «интриган Шарок», «дрянные (?) белесые глаза», «она была чувственна», почему же автор, столь отчетливо ощутимый во всех своих оценках и актентах, не дает читателю ни малейшего основания заподозрить его в четком понимании того, что индустриализация, как она шла в тридцатые годы, была не меньшим злом и варварством, чем коллективизация? Для последней-то у него, к счастью, нашлись живые слова: «И все это овчинное, лапотное, не привыкшее к передвижению, деревня с ее растерянностью, тоскливой нищетой и захудалостью, крестьянская Россия, переворошенная, сдвинутая с земли».

Сердце щемит, как подумаешь, как представишь все это...

Есть ли живые человеческие страницы в этом романе? Да, есть. Куски про переселенцев, рассказ Петра Кузьмича о том, как сын его пострадал за кусок сала, присланный ему сердобольной матерью, несколько довольно точных разговоров между ссыльными... Иногда чувствуется, что Рыбакову хочется сказать что-то значительное, настоящее, провести ладонью по крылу ускользающей Вечности, может быть, заикнуться даже о Боге, прямо его не называя... Но, честно говоря, плохо у него это получается. Улетает из рук Жарптица и перышка не роняет:

«С горы далеко была видна Ангара, она катила свои воды средь скал и лесов из неведомых земель в неведомые земли.

На горизонте вода становилась такого же цвета, как небо, сливалась с ним, будто не создал бог* еще тверди, чтобы отделить воду от воды.

Что-то горькое и радостное пронзило Сашу. В тоске и отчаянии стоя на заброшенном кладбище, он вдруг совершенно ясно ощутил незначительность собственных невзгод и страданий. Эта Великая Вечность укрепляла веру в нечто более высокое, чем то, ради чего он жил до сих пор. Те, кто отправляет людей в ссылки, заблуждается, думая, что таким образом можно сломить человека. Убить можно, сломить нельзя».

Я бы вообще не стала останавливаться на этом отрывке, настолько он скомкан, психологически необъяснен и ничем внутренне не продолжен, но, на радость нашу, есть в русской литературе пример сюжетно похожей ситуации. Но как это написано! Сколько широкого и свободного света, сколько напрягшейся и вырвавшейся к чему-то самому важному,стой и твердой мысли:

«Ха, ха, ха! – смеялся Пьер. И он проговорил вслух сам с собою: – Не пустил меня солдат. Поймали меня, заперли меня. В плену держат меня. Кого меня? Меня? Меня – мою бессмертную душу! Ха, ха! Ха, ха, ха! – смеялся он с выступившими на глаза слезами.

.....

Прежде громко шумевший треском костров и говором людей огромный нескончаемый бивак затихал, красные огни костров потухали и бледнели. Высоко в светлом небе стоял полный месяц. Леса и поля, невидные прежде вне расположения лагеря, открывались теперь вдали. И еще дальше этих лесов и полей виднелась светлая, колеблющаяся, зовущая в себя бесконечная даль. Пьер взглянул в небо, в глубь уходящих, играющих звезд. „И все это мое, и все это во мне, и все это я!“ – думал Пьер».

Заканчивая статью, я хотела бы обратить внимание автора на проблему творческого наследия. Поймите, мы читали «Войну и мир», и мы читали «Бесов», и мы читали «Жизваго», и Гроссмана, и Солженицына. И оттого мы не хотим подмены и не согласны глотать полуправду. Нас оскорбляет пресное благополучие Вашего эпилога: «Но если отпустит

* Слово «Бог» написано в книге с маленькой буквы.

мне судьба еще несколько лет, я надеюсь довести повествование до 1956 года, когда были возвращены к жизни тысячи ни в чем не повинных людей и вернули честные имена тем, кого вернуть к жизни уже было нельзя».

Дай Бог, чтобы судьба отпустила Вам еще много, много лет и в последующих книгах Ваших дети Арбата – повзрослели.

РУССКАЯ МЫСЛЬ

Главный редактор
Ирина И л о в а й с к а я - А л ь б е р т и

LA PENSEE RUSSE
217 rue Fb. St. Honoré, 75008 Paris, France
тел. 45 63 21 83, 45 63 94 47, 45 61 05 79
телекс 64 98 13 Pensrus

**Крупнейшая русская еженедельная газета
в свободном мире**

**Информация о событиях в Советском Союзе, в
странах коммунистического лагеря, в странах
свободного и Третьего мира**

**Тексты авторов из СССР – самиздатские и напи-
санные специально для газеты**

**Аналитические статьи по политике и экономике,
литература, мемуары, статьи и заметки по лите-
ратуре и искусству**

Об условиях подписки справляться в редакции

ПИСАТЕЛЬ В РОССИИ ДОЛЖЕН ЖИТЬ ДОЛГО

К 70-летию В. Д. Дудинцева

Друзьям Владимира Дмитриевича Дудинцева известно, что он происходит из семьи небогатого помещика Харьковской губернии, который был офицером царской армии, принимал участие в Белом движении, но в 1919-м году в нем разочаровался и решил выйти из схватки, вернуться домой. Поезд был остановлен в пути красными, Дмитрия Дудинцева опознали, вывели из вагона и расстреляли – на глазах жены, матери писателя.

Эти факты до времени приходилось скрывать, но они, несомненно, производили свою работу, откладываясь в характере писателя и в его творчестве. Мне кажется, Дудинцев был с детства на всю жизнь ранен и оскорблен, но и на всю жизнь получил грозное предостережение. В нем причудливо сочетаются отзывчивость и скрытность, непокорство и робость, ненависть к насилию и готовность подчиниться порой глупейшим установлениям, любовь к земле, к дому, к семье, к детям, к животным и страх расплаты за эти простые человеческие радости; честолюбие и желание укрыться от мира в глуши, в «своей норе».

Десятилетним мальчиком он испытал «зуд писательства» и познал литературный успех. Он принял участие в конкурсе на лучший рассказ, объявленном «Пионерской правдой», и получил первую премию. Это было замечено Исааком Бабелем, который пригласил юного автора в свой кружок литературной учебы и возился с ним вплоть до своего ареста. Дудинцев считает себя учеником Бабеля – и в самом деле, точность и острота глаза, почти восточная образность мышления, живописность в сочетании с лаконизмом изобразительных средств показывают, что это так. Вспомним начало «Не хлебом единым», знаменитые апельсиновые корки, небрежно бросаемые в снег Дроздовым, «оранжевое чудо», на которое тут же набрасываются поселковые ребяташки, – кажется,

жизнь поселка уже достаточно видна, а ведь читатель еще не вступил в него! Точности в деталях немало способствует знание техники, с которой Дудинцев страсть как любит возиться. От Бабеля же у него страх перед листом бумаги и связанная с ним неплодовитость. Надо полагать, и страшный конец, коим завершился блистательный путь учителя, оставил свой след в душе ученика...

К началу войны стать писателем Дудинцев не успел, а лишь закончил юридический институт. Как он рассказывает, к правовым наукам повлекли и «жажда справедливости», и желание накопить побольше «человеческого материала», который юристу более доступен. В начале войны его мобилизовали и направили на полуостров Ханко, где располагалась база Балтийского военно-морского флота. Он принял участие в ее героической обороне, а в ноябре, при эвакуации базы морем, подвергся налету немецких бомбардировщиков. Судно затонуло, погибли сотни людей и лошадей, но Дудинцеву, отличному пловцу, в числе немногих удалось достичь берега. После этого он воевал на Ленинградском фронте – командиром роты, затем батальона, был тяжело ранен и контужен, перешел на работу в военную прокуратуру. После войны – стал разъездным корреспондентом «Комсомольской правды». К 1952-м году «человеческого материала» у него, по-видимому, накопилось столько, что он, еще при Сталине, задумал одно из самых ярких анти-сталинистских произведений – роман «Суровые вёрсты», ставший известным миру под названием «Не хлебом единым».

Должно сказать, внешне ничто как будто не предвещало такого романа. До 1956 года Владимир Дудинцев был известен как автор газетных очерков, малозаметных литературных рецензий и небольшого сборника рассказов («Станция Нина» и другие), к которым внимание читателя обратилось лишь после «Не хлебом единым». Эти рассказы отлично написаны – и мертвы. Дудинцев, как и другие, испытал на себе губительное влияние т. н. «теории бесконфликтности», тогда усиленно проповедуемой и навязываемой писателям в качестве обязательного закона «отображения советской действительности». Суть этой «теории» состояла в том, что в советском обществе, где исчезли основные, классовые, противоречия, нет повода для коллизий, характерных для критического реализма XIX и начала XX веков; единственно возможный конфликт – «хоро-

шего с лучшим». Нетрудно предположить заранее, что такого рода установка губительнее всего скажется не на халтурщиках и приспособленцах, а на поборниках реализма и правды, на тех, кто озабочен высказать читателю наиболее и тревожащее. Не имея возможности говорить правду, Дудинцев не говорит и лжи, в его рассказах присутствует несомненная точность детали, верные и любопытные наблюдения, строгость и известное благородство письма, однако – этого мало для прозы, нужны еще характеры, а их невозможно изобразить вне схватки, конфликта. Ни один из персонажей – среди которых, разумеется, нет ни одного отрицательного, – не запоминается, сюжет не движется, сцены безнадежно статичны. Другие авторы, при некоторой ловкости рук и явном мошенстве, право же, достигали большего успеха. Не случайно, когда в редакции «Нового мира» хвалились, что у них в портфеле появился замечательный роман, и называли автора, верилось в это слабо: «Чей роман? Володи Дудинцева?! Быть не может...»

Мало кто мог себе представить, что уже 38-летний, всем примелькавшийся и все же малоизвестный писатель, обремененный семьей*, что-то себе там поскрипывающий перышком в крохотной 2-комнатной квартирке, вскоре удивит всю Россию, прогремит на весь мир. Самое любопытное, что и он себе такого не представлял. Г. Владимов, которому выпало быть редактором этого романа в «Новом мире», рассказывает, что не раз задавал Дудинцеву вопрос: как вообще могло прийти в голову написать такое, подрывающее самые основы системы, еще при Сталине? И это подтверждено документально, сохранились же копии договора и авторской заявки. Дудинцев отвечал простодушно, что задумал этот роман «из самых лучших, из комсомольских побуждений», – и это, наверно, так. Он годами возился с бедолагами-изобретателями, писал о них статьи и очерки, не содержавшие обобщения, а только имев-

* Жена Дудинцева, Наталья Федоровна Гордеева, многократный соавтор его литературно-критических статей, по профессии учительница географии, получавшая жалованья 60-70 рублей, и трое дочерей; четвертый ребенок – сын – появился вскоре по выходе романа. О том, что «голод имеет вкус нечищенной медной ложки», знал не только Лопаткин, но и создатель его; радость от случайно обнаруженных в хозяйственной сумке нескольких картофелин знавали и Дудинцевы. – Н. К.

щие целью помочь конкретному человеку в конкретной ситуации, а между тем копил материал для «принципиального выступления», которое, как ему казалось, будет иметь значительные *практические* последствия – т. е. будут приняты какие-то решения об изобретательстве в СССР на уровне правительства или ЦК КПСС. Он даже мечтал успеть с этим романом к I-му съезду изобретателей СССР, намеченному на осень 1956 года, где должны были прозвучать резкие критические претензии в адрес зажимщиков творческой инициативы. Сознанием он не слишком отделял произведение художественное от своей же рутинной публицистики, но рука мастера подвела его – в лучшем смысле этого слова.

Не столько даже судьба Лопаткина, трудная и горестная, определила поистине «уголовный» успех книги, сколько изображение противостоящего ему чиновного «Китеж-града», точно бы вышедшего из повиновения автору и зажившего своей причудливой жизнью. Сказался удивительный, редкостный даже для русских классиков, а не только советских писателей, дар Дудинцева – живописать не только человеческие характеры, но – типы. В этом он – истинный наследник Гоголя. С первых же читательских писем (а было их несколько тысяч) персонажей Дудинцева называли с маленькой буквы и во множественном числе – «дроздовы», «шутиковы», «тепикины», «невраевы», – лучшей похвалы нельзя придумать для автора, который так спокойно, эпически, почти даже без гнева, скорее – с садистическим удовольствием, нарисовал нам этот злобный и смертельно страшный мир. Это-то и было истинное «срывание всех и всяческих масок», куда более убийственное, чем все громокипящие восклицания и проклятья. «И у нас есть такой дроздов», «И у нас есть такой шутиков», – писали читатели и далее приводили схожие, или с некоторыми нюансами, случаи из собственной практики. И становилось ясным, что не в одной живописности этих портретов дело, не в одной этой, щедро представленной галерее лиц, на всю жизнь врезающихся в память – от прелестного Вади Невраева, «барометра министерства», до министра Дядюры, «похожего на портрет Бетховена», – а в том, что Дудинцев их показал как явление, для советского общества закономерное, всевластное и – неискоренимое. Он показал и механизм уничтожения этим миром неугодного ему человека – в данном случае: инженера Лопаткина, которому лишь *случайное стечение случайных*

обстоятельств позволило выжить и спасти свое творение. Итак, закономерность страшного «Китеж-града» – и случайность выживания под ним всего инакомыслящего, творческого, желающего своему народу блага, – вот два мотива книги, поставивших ее на линию огня, в центр внимания читающей России (как говорили тогда: «от Хрущева до последнего дворника»).

Естественно, само время способствовало оглушительному успеху романа – XX съезд, начало «оттепели», массовая реабилитация безвинно репрессированных, разоблачение сталинских преступлений... В 1970 году переиздание «Не хлебом единым» в полном его объеме уже не произвело такого впечатления. Недавно я этот роман перечитала – он не утратил для меня обаяния крепко сделанной вещи, и я думаю, что и сейчас, в период «гласности», он бы не прошел бесследно. Тогда же, в 1956-м, ему досталось особенно много похвал, но и сверх меры – поношений.

В 1956 году, на пике своей славы, при обсуждении романа в московском Доме литератора, Дудинцев сказал, что он, как танк, прорвался через полосу заграждений и расстрелял свой боекомплект, теперь он вправе рассчитывать на помощь соседей и призывает их наступать дальше. Может быть, то был не просто щедрый пригласительный жест фаворита, а пророчество солдата, уставшего в боях и ощутившего всю тяжесть, непосильность задачи?

Как уже сказано было, Дудинцев к успеху книги и к ее неожиданному эффекту не был готов. На нескольких читательских конференциях, где мне пришлось побывать, он пытался ввести бурные страсти аудитории в русло обычного, не тревожащего начальство, обсуждения; это не удавалось ему – и более того, аудитория, в особенности студенческая, видя, что он явно уклоняется от роли политического вожака, против него же обращала невыкипевший гнев: «Вы, поди, сами – Дроздов!..» Многие ему и советовали вообще воздержаться от публичных выступлений, – достаточно было сказано самим романом, – да не всякий выдерживает испытание медными трубами, видом аудиторий, ломающихся от наплыва людей, укрощаемых нарядами милиции. Между тем, в самом разгаре были Венгерские события, и потревоженный реальный «Китеж-град» не мог не предпринять контрнаступление. Утвердившийся в «Литературной газете» Всеволод Кочетов уверенно

начал травлю романа, подхваченную и другими газетами и журналами. Этот «пролетарский писатель», «певец рабочей темы», не упускал случая высказаться и по поводу Лопаткина, «энтузиаста более производительного выпуска канализационных труб», и поносить в статьях и романах (!) «Новый мир», колыбель идеологической скверны. В июле 1959 года, на III Всесоюзном съезде писателей, непостоянный Никита Хрущев по существу оправдал позорное изничтожение «Не хлебом единым», хоть сам его поругал довольно миролюбиво, даже заметил благосклонно, что читал этот роман «без булавки» – в других случаях, чтоб не заснуть при чтении, приходится себя ею взбадривать.

Внешне расправа с Дудинцевым выглядела респектабельно, по нормам «оттепели». Роман вышел книгой в «Советском писателе» 30-тысячным тиражом, автор получил от Союза писателей новую квартиру, купил машину, с ним заключали договоры об экранизации и т. п. Даже отречение главного редактора «Нового мира», Константина Симонова, носило характер скорее ритуальный. Отречение это произошло на пленуме Правления Московской писательской организации; выступив сразу же после Дудинцева, Симонов поведал о своем неожиданном прозрении, о том, что только сейчас, слушая речь автора, он осознал, какую совершил ошибку, печатая этот политически вредный, искажающий нашу действительность роман, – а на другой день, как ни в чем не бывало, через своего заместителя А. Ю. Кривицкого, заключил авансовый договор на следующий роман.

Позднее, однако, стало известно, что стояло за этой респектабельностью. Половина тиража, как сообщили автору наборщики типографии, была пущена под нож. Никто не собирался экранизировать роман, никто не ждал следующего, главная цель всех милостей была – отвести от крамольного автора, в пору его высшей популярности, ореол мученичества. В 1957 году, накануне Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве, Дудинцева попросили на время уехать из столицы – «чтобы не создавать нездорового ажиотажа вокруг Вашего имени». Он подчинился, полагая, что «дисциплинированность» ему зачтется в плюс. Вероятно, в его отсутствие было удобнее оборудовать пост наблюдения за его квартирой. С некоторых пор стал его вызывать на душевительные беседы «ведающий литературой» полковник КГБ. Однажды, –

с целями, верно, педагогическими, – дал прослушать запись – о чем Дудинцев разговаривает с женой... Несколько лет спустя Дудинцев признавался: «Ничего страшнее я в жизни не испытывал».

Накатила, однако, новая волна «оттепели», поставившая во главе журнала «Новый мир» А. Т. Твардовского, которому Дудинцев и принес свою новую вещь – правда, не договорный роман, а небольшую повесть-аллегорию «Новогодняя сказка». Некоторым почтителям Дудинцева она даже больше понравилась, чем «Не хлебом единым», хотя шума произвела гораздо меньше. Все же было отрадно видеть, что огонь на уничтожение не уничтожил писателя, он не сдался, работает в том же направлении, он по-прежнему зубаст и задирист, и гоголевская сторона его таланта воплотилась в аллегорической форме не менее успешно, нежели в суровой реалистической прозе. «Новогодняя сказка», вещь поллуштливая, язвительная и мудрая, затрагивает темы весьма глубокие и кровоточащие – об ответственности ученого перед самим собою и обществом, о выборе между истинным служением науке и приспособленчеством. Она откровенно перекликается с «Не хлебом единым», продолжает его центральную тему и в этом смысле является достаточно четким и дерзким ответом на критику романа. Вместе с тем, она намекает на сильное продолжение, которое непременно последует. Писатель как бы позволил себе отдохнуть, побаловаться неистраченной силой, чтобы двинуться дальше, к новой, неведомой вершине. Держа в руках первый номер «Нового мира» за 1959 год, никак не думалось, что следующий роман Дудинцева мы прочтем почти 30 лет спустя...

С конца 50-х – начала 60-х годов вниманием читателя завладело «четвертое поколение», – сейчас разгромленное и разогнанное: Анатолий Кузнецов с «Продолжением легенды», Василий Аксенов с «Коллегами» и «Звездным билетом», Георгий Владимов с «Большой рукой», Владимир Войнович с рассказами «Хочу быть честным» и «Расстояние в полкилометра», Анатолий Гладилин с «Первым днем нового года», Владимир Максимов с повестями «Жив человек» и «Мы обживаем землю». В конце 1962-го грянул с «Иваном Денисовичем» Солженицын – и уже о нем, как прежде о Дудинцеве, стали говорить, что «после него уже нельзя так писать, как до него». Стало быть, и Дудинцев с его «Не хлебом единым» и «Ново-

годней сказкой» остался по ту сторону проведенной черты. Однако ж, его почин, его влияние еще много значили: стоило Солженицыну выступить с рассказом «Для пользы дела», как вспомнили, что где-то все это уже было сказано, только объемнее и мощнее – в том же «Не хлебом единым»... Все-таки место Дудинцева в литературе не было занято, от недавнего триумфатора ждали следующего шага.

Между тем, было известно, что Дудинцевы, получив в наследство маленький деревянный домик с участком близ Волги, в 130 километрах от Москвы, строят каменный дом – своими руками. Что ж, он давно мечтал о доме, где его семье будет просторно и хорошо и где он, построив материальную базу (надо полагать, имея в достатке теперь картошки и овощей), осуществит все свои замыслы – не спеша, один за другим. Сказывался, видно, и комплекс расстрелянного отца, владельца небогатого поместья. Здесь я не буду рассказывать, как трудно в России с частным строительством, с добыванием материалов, рабочими руками, помощью каких-то организаций, сколько это требует усилий и времени. В 1971 году, спустя 10 лет, этот дом представлял собою кирпичную коробку, еще не подведенную под крышу, сам строитель жил в дощатом сарайчике, заставленном бочками с цементом, ящиками с гвоздями и скобами, бетономешалками, сварочными трансформаторами. И – усиленно переводил казахов...

Тема казахов в русской литературе (киргизов, туркмен, чукчей и пр.) заслуживает отдельного исследования. Подозреваю, вся эта грандиозная фикция – «всемерное развитие национальных культур»* – нарочно придумана для погубления русских писателей соблазном больших и безотказных денег. Фактически эти «национальные литературы» и создаются русскими писателями, вкладывающими в беспомощные сумбурные подстрочники все силы мозга и души – в обманчивой надежде обеспечить себе возможность когда-нибудь писать свое. По существу же, они и пишут *свое*, доводя до кондиции чужие книги, которые затем переводятся обратно – и становятся

Надеюсь, читатель понимает, что речь не о таких писателях, как Тимур Пулатов или Грант Матевосян, Олжас Сулейменов или Атаджан Таган, – эти-то пишут сами и многое привносят в русскую литературу, – имеются в виду местные классики, партийные «баи» и «беки».
– Н. К.

классикой. Этот соблазн погубил прекрасного писателя Юрия Казакова, который, конечно, не мог просуществовать своими короткими и редко издававшимися рассказами. Можно представить себе, насколько поддался этому соблазну Дудинцев, получивший первую премию – за количество и качество переводов. А дом, эта ненасытная прорва, все требовал новых вложений – и кажется, он и сегодня еще не пригоден для жилья...

И все-таки время от времени голос Дудинцева еще прорывался – не в прозе, так в критике. Привлекла внимание его большая статья в «Литературной газете» о повестях В. Катаева «Святой колодезь» и «Трава забвения», статьи в «Литературном обозрении» о прозе Ю. Трифонова. Старый боец еще показывал зубы – темпераментно и доказательно выявляя неосновательность претензий, политическую и гражданскую импотентность тех писателей, которых прочат в общественные лидеры, в кумиры и законодатели общественного мнения*. Эти выступления, казалось, не только стравливали накопленную бойцовскую злость, но и обещали продолжение и развитие в собственной прозе.

Что же обещанный долгожданный роман? В 70-е годы Г. Владимов и я много общались с Дудинцевым, он охотно пересказывал отдельные эпизоды и сценки, говорил, что весь роман у него «записан на карточках», но, казалось, не спешил облечь его в законченную форму. Писатель гражданского темперамента, сторонник прямых ответов на вопросы, не мастер лавирования, эзопова языка, он и думать не мог издать «Неизвестного солдата» (таково было рабочее название «Белых одежд») в стылую брежневскую пору. Между тем, в том, что мы слышали, было что-то подозрительно знакомое. Новый роман – о засилье в биологии политиканствующих проходимцев-лысенковцев, о напряженной борьбе с ними истинных ученых, порою с трагическим для последних исходом, – по конструкции, по основным мотивам, по расстановке противо-

* Не могу не привести по этому поводу цитаты из В. Кардина, из его статьи «Времена не выбирают» («Новый мир», № 7, 1987 г.): «Не должно складываться впечатления, будто Трифонова вечно травили, критики шли на него стеной. Не надо думать, будто каждый в чем-либо не согласный с ним или принимавший его с оговорками – литературный ретроград. Ю. Домбровский и В. Дудинцев не потеряли в моих глазах из-за того, что не восторгались какими-то вещами Трифонова». – Н. К.

борствующих сил не обещал стать слишком крупным шагом от изображения подобной же ситуации в среде трубопрокатчиков. Казалось нам, в этом смысле забитый критикой, задавленной властью, измученный материальными заботами автор несколько запоздал – уже появились разоблачительные исследования и о советской биологии: хотя бы о Лысенко – Ж. Медведева, о судьбе Вавилова – С. Резника, М. Поповского, много и журнальных статей. Вместе с тем, иную меру откровенности, иную степень правды о жизни России предложили авторы Самиздата и Тамиздата. Уже не разоблачения были нужны ради разоблачений, не ответ на извечный русский вопрос «Кто виноват?», но на другой вопрос, столь же извечный и русский: «Что делать?» Речь шла о *положительной* программе – здесь, казалось, Дудинцеву нечего предложить радикально нового. Читая «Белые одежды», мы счастливы были, что ошиблись, – с *философским романом о Добре и Зле опоздать невозможно*, как и с поэмой о любви. Впрочем, это тема отдельной моей статьи.

Приезжавший недавно в Германию Андрей Битов на мой вопрос о Дудинцеве так ответил: «Он повторил свой подвиг предыдущей оттепели». Я думаю, он свершил большее – выдержал испытание застоем. А все ли смогли сохранить вертикальное положение? «Железный маршал» Жуков – и тот не устоял, дал вписать себе в мемуары, как он – практически Верховный Главнокомандующий! – ездил советоваться насчет политической работы в войсках с полковником Брежневым, да того, к сожалению, на месте не оказалось... После такого маразма – много это или мало, если битый, травленный литератор остается самим собою, не оскверняя себя ни в жизни, ни в творчестве никакой ложью? не дает себя включить ни в какую группировку, мафию, «бандочку», могущую защитить, пособить, обеспечить благами, выдвинуть на премию? не обременяет коллег своих просьбами о помощи и заступничестве – потому что это бы значило взять и ответное обязательство, чего кормилец большой семьи, пожалуй, не вправе себе позволить? Впрочем, когда посадили в психушку биолога Жореса Медведева, Дудинцев позволил себе быть среди первых, кто кинулся в Обнинск его выручать. И разумеется, не найти нам подписи Дудинцева в числе «инженеров человеческих душ», клеймящих очередного «отщепенца», – и никто не посмел за него эту подпись поставить.

И разве не знаменательно, что одной из первых ласточек новой «оттепели», гласности, стал роман Дудинцева «Белые одежды», с главной его мыслью, что нельзя пассивно цепенеть перед Злом, надо не уступать ему до последнего – даже когда сопротивление безнадежно? Воистину, писатель в России должен жить долго – чтобы успеть высказаться. Эту мысль Юрия Трифонова я бы дополнила: и перестрадать должен, чтобы иметь право выговорить обществу свой горький упрек. Да сама писательская судьба Владимира Дудинцева стала таким упреком. Жаль нас, тогда отступивших, жаль общество, равнодушно позволившее ломать хребет своему тогдашнему любимцу и кумиру. Усвоим ли мы наконец этот урок – что никакой сегодняшней жертвой не откупимся мы от жертв завтрашних и послезавтрашних, но с нее-то, с этой первой жертвы, и начинается отступление?

Между тем, Владимиру Дмитриевичу Дудинцеву – 70 лет. Даже один его тогдашний подвиг – литературный и нравственный, его великолепный прорыв к правде – никогда не забудется. Вспомним пароль тех лет: «Скажи мне, как ты относишься к Дудинцеву, и я скажу, кто ты». Счастлив писатель, переживший такой час.

**Новая книга
Д. А. АНТОНОВ
НАДЕЖДА**

Повесть о первой любви, – о русской литературе.
Издательство «Чеховград», 1988. Цена 16 нем. марок.
Заказы принимаются во всех книжных магазинах, а также на Фракфуртской книжной ярмарке и по адресу:
ФРГ, д-р Бройде: **Tschechowgrad Verlag**
Rückmühlenweg 2
6483 Bad Soden-Salmünster
Telefon: 0 60 56 / 29 82

Литературный архив

ВОСПОМИНАНИЯ

О Коктебеле, о Максимилиане Александровиче
Волошине и о его жене Марии Степановне
за период с 1925 г. по 1940 г.,
написанные *Лидией Аполлоновной Аренс*
спустя почти 45 лет (сейчас, в декабре 1970 г., мне 81 год)

В 1925 году мне очень хотелось поехать на отдых в Крым. Весной, идя по Невскому проспекту, встретила одну соученицу по гимназии, которая была в дружбе с Марусей Заболоцкой, моей одноклассницей.

В разговоре узнала, что Маруся вышла замуж за поэта Волошина и живут они в Коктебеле в своем доме на берегу моря и что Маруся очень хотела, чтобы к ней приехали ее подруги по гимназии.

Я сейчас же написала Марусе и очень быстро получила ответ. Она звала нас к себе.

Первая поехала Ксения Эдуардовна Монтвид (ее девичья фамилия), а я была задержана работой и приехала в Коктебель уже после ее отъезда.

Меня очень интересовало, как это Маруся могла выйти замуж за поэта, так как весь ее внешний вид не предполагал мысли, что ею может увлечься поэт. Я стала расспрашивать всех, кто хоть что-то мог знать о том, как выглядит этот поэт и т. д., но получала весьма странные и невразумительные разъяснения, что он ходит в коротких штанах и длинных рубашках и с венком на голове, что ему 45 лет, что его сейчас не издают, и чтобы я ехала, потому что у них есть где жить, к ним приезжает много народа, а пляж там чудесный.

Из Феодосии я подъехала на линейке к самому дому. Встречать меня вышла Маруся, и мы обнялись и расцеловались. Чуть погода подошел и Максимилиан Александрович. Среднего роста, не широкий в плечах и полный, с крупной головой и уже седеющими пышными волосами, обстриженными в скобку. Одет в сандалии, длинную рубаху с круглым вырезом у ворота, из белой льняной ткани, подпоясанную

ремешком и из той же ткани короткие штаны, застегнутые на пуговицу за коленом. Лицо породистое и было бы красиво, если бы не было слишком полным и обросшим бородой и усами. Рот небольшой и очень изящного рисунка, так же, как и нос. Глаза серые, умные и очень холодно-внимательные.

Максимилиан Александрович был очень вежлив, я бы сказала, изысканно вежлив, всегда и со всеми. Даже кошку Ажину он просил освободить стул, но не согнал ее, и когда я удивилась этому, то он сказал: «Ведь она же женщина...» Никогда не повышал голоса, не раздражался и не сердился, за очень редкими исключениями.

Когда приезжие рассказывали ему о том, что они слышали о нем и об образе жизни у него в доме и даже такие выдумки, как его (Максимилиана Александровича) право «первой ночи» с приезжавшими к нему, о том, что он ходит голый в венке из роз, что все живущие в доме одеваются в «пол-пижамы», кто в нижнюю часть, а кто в верхнюю, и это в лучшем случае, что женщины ходят в трусиках и зовут их «храбриками», а бюстгалтеры надевают только изредка и т. д. и т. п., Максимилиан Александрович все это слушал с явным удовольствием и никогда ни слова не возражал, как будто все это так и было.

Мне все казалось, что Максимилиан Александрович создал себе те качества, которые считал нужными иметь, и как бы сделал себе маску, которую и носил, не снимая, пряча под ней свои подлинные чувства и мысли, которые не всегда совпадали с теми, какими он хотел, чтобы они были.

Очень редко Максимилиан Александрович забывал об этой идеальной маске и нарушал созданный им образ, и это всегда в порыве сильных чувств, которых он не смог сдержать, и мне так казалось, что он сам себе не прощал этих порывов, нарушений созданного образа.

Однажды я была свидетелем такой сцены на террасе, где обедало человек тридцать.

Еще утром Александр Георгиевич Габричевский показал мне рисунок, сделанный им с Марии Степановны, разговаривающей с какими-то татарами на вышке дома. Она сидела в очень характерной для нее свободно-гротескной позе, и нельзя даже было этот рисунок назвать карикатурой. «Тебе нравится?» – спросил Саша. «Да, очень похоже, очень хорошо». – «Ну, ты Марусе не говори, а то она обидится». За обедом

Маруся обратилась к Саше, сидящему почти против нее, и сказала: «Саша, покажи мне, какую это карикатуру ты на меня нарисовал?» Саша немедленно вынул из блокнота листок и протянул его Марусе. Макс наклонился к Марусе, и они вместе рассматривали рисунок. Вдруг Маруся громко сказала: «Какая гадость», – и быстро разорвала рисунок, и тут же раздался крик боли, потому что Макс схватил ее руку и укусил ее, крикнув: «Как ты смела разорвать произведение искусства?» Маруся выскочила из-за стола, понеслась наверх в кабинет, а за ней вслед Максимилиан Александрович. Несколько минут мы все сидели молча, а потом сверху стали слышны спорящие голоса Макса и Маруси, а у нас поднялись бурные дебаты.

У Марии Степановны Заболоцкой было трудное, тяжелое детство. Отец – поляк, квалифицированный рабочий, а мать из староверческой семьи, которая ей не простила брака с чужим по вере человеком. Отец рано умер, и мать из милости пустили какие-то дальние родственники жить «в углах». Был брат Степан, но он ушел в беспризорники и где-то, видимо, пропал. Мать была туберкулезная, и трудно ей давалась жизнь. Маруся обожала мать и стала думать, как ей помочь, и решила, что если она отравится, то матери одной будет легче прожить. Марусю брала к себе какая-то добрая женщина-врач на побывки у нее, а Маруся исхитрялась и крала у нее яд. Когда ей показалось, что его хватит, чтобы отравиться, она забралась на чердак того дома, где жила, и отравилась. Кто-то услышал ее стоны, и ее отходили в больницу. Поразило всех, что самоубийство совершила девочка 12 лет, чтобы облегчить участь матери, и об этом случае было напечатано в газетах.

Начальница нашей гимназии Мария Николаевна Стоюнина прочла в газете об этой девочке и поехала узнать, как и чем можно ей помочь. Она устроила Марусю жить в одной знакомой ей семье и стала готовить ее к поступлению в гимназию. Готовили ее бесплатно наши же учителя. К нам она поступила в 5-й класс уже хорошо подготовленной, была старше нас на два года и отличалась ярко выраженным характером и самостоятельностью своих мнений. Нам она нравилась, и мы завели с ней дружбу. Жила она тогда уже в пансионе Екатерины Ивановны Шмидт, где жило много девочек, учащихся старших классов. Мать Маруси умерла от туберкулеза еще до поступления ее в гимназию. К концу учебного года Маруся стала хворать, и вскоре мы узнали, что наша начальница отправила

ее в Ялту, где она жила и училась. Мы писали ей письма и получали от нее.

Однажды приходит утром в класс наша одноклассница Лиза Лебедева и держит в руках письмо и со слезами читает нам то, что пишет Маруся, а вот она докончить письмо не смогла, и твердым почерком взрослого приписано, что Маруся скончалась тогда-то.

Мы пришли в волнение, многие поплакали, и, когда пришел батюшка на урок Закона Божия, мы ему сообщили, что умерла Заболоцкая. Он расспросил, что и как, и сказал, чтобы мы остались после уроков, что он отслужит панихиду.

На панихиду пришло много учениц старших классов, знавших ее по пансиону, и мы остались всем классом. Пел гимназический хор, мы же дружно плакали.

Но дети есть дети, и постепенно все забывалось. Прошло недели две, и к нам в класс входит наша начальница и говорит, что Маруся шлет всем привет и цветы, что она провожала ее на поезд из Севастополя. Но тут мы все закричали: «Она ведь умерла. Мы панихиду отслужили». Все это, то есть письмо от Маруси и т. д., было проделкой младшей сестры этой Лизы Лебедевой, но она в этом призналась не скоро.

Марусе мы писали письма – «вот как хорошо, что ты не умерла, что ты жива», – чем очень ее напугали.

Вот говорят, что если отслужить панихиду по живому человеку, не зная, что он жив, то ему обеспечено долголетие. Маруся жива и сейчас, ей 83 года, пережить ей пришлось немало, и не раз она была очень близка к смерти.

* * *

Помню такой случай: в Коктебеле в небольшой пристройке к дому жила женщина по фамилии Кармен с сыном-подростком Романом (теперь это известный кинооператор и режиссер). Однажды утром Маруся зашла к ним в домик и увидела кучи скопленного мусора, как в доме, так и за домом, и закричала на Кармен: «Вас тут сто человек, а я одна, и вы все только грязь разводите, а убирать за собой никто не хочет. Надоело мне все это, сожгу дом... надоела вся эта грязь, сожгу дом». И стала выгребать граблями весь мусор к дверям этой

мазанки и запалила его. Огонь взметнул высоко и начал лизать крышу. Бедная Кармен, как испуганная курица, носилась кругом Маруси и только умоляла ее: «Мария Степановна, вы же дом сожжете. Мария Степановна, побойтесь Бога, что вы делаете?» А Маруся, подкидывая мусор в костер, кричала: «И сожгу дом, и сожгу дом».

Я была во дворе, но останавливать Марусю, зная ее характер, не стала, а быстро побежала на пляж, где были все наши мужчины, и закричала им: «Скорее, скорее бегите заливать пожар». Все вскочили в трусики и побежали во двор, а огонь уже перекинулся на крышу той хибарки и действительно грозил дому. Устроили быстро цепь из мужчин, и ведра с водой из колодца пошли по рукам. Вскоре все было в порядке.

Во время всей этой истории Максимилиан Александрович, услышав крики Маруси, вышел во двор и очень спокойно расхаживал по нему, наблюдая происходящее, но не принимая в нем никакого участия.

Как-то, вижу, подъезжает линейка с вновь прибывшими, и я вышла на балкон нашего «геникея» (столовая Маруси), где жило нас четыре одиноких женщины (я, Гуна, Любочка и Леночка), смотрю на приехавших и думаю-загадываю – вот этот мужчина сыграет роль в моей жизни, а он сидит спиной ко мне. Встает он и здоровается с Марусей и Максимилианом Александровичем, и я вижу уже немолодое лицо, рот с какими-то длинными зубами, очень видными в глуповатой улыбке, очевидно, плохо слышащего человека. Потом узнаю, что это большой и очень известный специалист по книжному делу, профессор Алексей Алексеевич Сидоров. Конечно, он в моей жизни никакой роли не сыграл, но запомнился мне навсегда.

Как-то днем он неожиданно вошел к нам в геникей. Я лежала с книжкой в руках, и была еще Леночка, которая, увидев его, как всегда, хорошо одетого, то есть в брюках, пиджаке и рубашке с галстуком, дерзко сказала ему: «Алексей Алексеевич, скоро ли вы снимете штаны?» А он, ухмыльнувшись во весь рот, страшно вежливо ответил: «Я часто буду менять галстуки», – причем вид у него был идиотский. Я захотела так, что уткнулась в подушку, чтобы не было слышно моего смеха, но потом всем рассказывала, как отличился Профсид – мы его так прозвали. Все очень потешались над неожиданно проявленным им остроумием.

Как-то ставили шараду «Коктебель», и очень интересно поставили.

Первое – «Кок». Это было целое представление: на палубе корабля, на коврах, в роскошном наряде лежал восточный принц (Сергей Васильевич Шервинский), и его развлекали танцами и всяким угощением, и где-то между прочим появлялся корабельный кок, подносящий принцу какие-то яства.

Второе – «Теб». Парижская известная предсказательница «мадам де Теб», ее комната со всеми атрибутами гадалки, и к ней приходят узнать свою судьбу отдельные лица и влюбленные пары. Сыграно это было прекрасно, и ее (прозвище «Суперфлю») предсказания были не только забавны, но и умны, и остроумны. В зале стоял сплошной смех.

Третье – «Ель». Был дан заграничный портовый кабачок, в который приходит «дама в черном» (это была Наталия Алексеевна Габричевская) и с «ним» пьет ель, и они танцуют танго под знаменитый тогда романс, и, кажется, он убивал ее.

А «целое»? Вышли все участники игры и попросили подойти поближе Профсида. Тогда они дружно проскандировали: «~~Раз~~ два, три, когда вы снимете штаны?» Все в зале засмеялись и закричали: «Коктебель, Коктебель». Отлично была разыграна и прекрасно закончена эта шарада.

Все хорошо, но я вижу, что у Профсида обиженное лицо и он бочком пробирается к выходу и исчезает.

Протискиваюсь к Марусе и шепчу ей, что Профсид обиделся и ушел, что надо что-то предпринять. Она беспечно говорит мне – скажи об этом Саше, он затеял и пусть улаживает. Я нахожу Сашу Габричевского и говорю ему: «Иди, найди Профсида, он ушел обиженный, надо как-то поговорить с ним». – «Вот дурак, неужели обиделся?» – и уходит его искать. На другой день он мне сказал, что целый час доказывал ему, что его никто не хотел обидеть, но что это так характерно передавало дух Коктебеля и что все это поняли, а он тут ни при чем, над ним никто не смеялся.

Шарады очень любили и затевали их, к ужасу Маруси, довольно часто, а у нее выворачивали весь гардероб в поисках нужного и делали изумительные костюмы из ничего. Рукава буфф делались из двух трусиков, роскошная обстановка – из портьер и скатертей и т. д.

Помню еще шараду «Лампада», которая была тоже разыграна как целое представление.

Первое, «Лампа», – было поставлено по пьесе «Синяя птица» Метерлинка. В кроватках лежали Титиль и Митиль, и они тушили лампу после длинного разговора о том, что они пойдут сейчас навестить бабушку и дедушку.

Второе, «да», – было разыграно как венчание, где жениха и невесту водили вокруг аналоя и держали над ними венчальные короны, и священник в облачении (Бог его знает, из чего сострипанного) спрашивал их согласия на брак, и они по очереди отвечали – да.

А целое, «Лампада», – было сыграно как сцена в монастыре, где молится монахиня, но ее одолевают грешные мысли о том, что она обещала ему сделать лампадой знак в окно и тогда он придет и возьмет, украдет ее из монастыря. Колебания монахини кончаются тем, что она берет лампаду и делает ею условный знак, и тогда в окно влезает очаровательный испанец (это была Мирель – дочь Мариэтты Шагинян) и увлекает монахиню.

Ставились и живые картины, в которых иногда участвовали и Максимилиан Александрович и Мария Степановна.

Я помню их в виде Филемона и Бавкиды, смотривших умильно друг на друга и отрывавших ягоды винограда от большой кисти, которую держал Максимилиан Александрович.

Ксения Эдуардовна рассказала мне о шараде «Навуходоносор», где Максимилиан Александрович, изображая «целое», стоял на четвереньках и делал вид, что ест сено. Предание гласит, что этим кончил царь Навуходоносор.

В это лето жил Михаил Булгаков с женой, Леонов, часто приезжал из Старого Крыма Александр Грин.

По вечерам Булгаков читал свои вещи: «Собачье сердце», «Роковые яйца» и другие.

Как-то во время общей трапезы Максимилиан Александрович задал такой вопрос, на который каждый должен был ответить отдельно и обосновать свой ответ – «доволен ли своим полом, если нет, то почему?» Причем сам на этот вопрос он не ответил, а я думаю, что Максимилиан Александрович мог бы ответить отрицательно, то есть был бы недоволен своим полом. Когда я случайно вошла в комнату, где мыла его Маруся, то он сказал мне: «Как же ты такходишь – ведь я же девушка». Габричевский сказал, что он хотел бы быть гер-

мафродитом, а женщины (за исключением Ксении Эдуардовны, довольной своим полом) все хотели бы быть мужчинами.

Ксения Эдуардовна прожила в 1930 году у Максимилиана Александровича и Маруси весь февраль и говорит, что зимой у них были тяжелые условия жизни. Топили всего одну комнату, и в ней все жили.

Была снежная зима, и ежедневно надо было отгрести снег, чтобы выйти из дома. Осенью у Максимилиана Александровича был удар, и он был на строгом пищевом режиме, что было ему очень тяжело – он любил покушать и «вкусненькое».

В прежние годы часто Максимилиана Александровича звали к кому-нибудь в комнату и тайно от Маруси кормили его чем-либо вкусным и угощали конфетами, и он не отказывался, а Маруся, узнав об этом, жестоко корила Макса и ругала тех, кто его угощал и этим причинял ему вред.

Приезжавшие и жившие бесплатно, а бесплатно жили все в домах, принадлежавших Максимилиану Александровичу, всегда привозили в подарок хорошие конфеты, шоколад и т. д. Маруся все это забирала под ключ в комод, и если мы летом (не имея возможности купить в Коктебеле) уж очень приставали к ней, чтобы дала что-нибудь «вкусненькое», то она вытаскивала со дна ящика комода коробку уже весьма состарившихся конфет и давала уже слегка заплесневелый шоколад.

Я не помню всех шарад, я не помню всех спектаклей, их было очень много. Но вот одна оперетта, «Саша-Паша», мне очень запомнилась, потому что я сама играла в ней одну из жен – «суффражистку» и пела отличные куплеты, сочиненные Гуной (Ксенией Павловной Девлет), которая не только писала остроумные стихи, но еще, обладая прекрасным слухом, являлась из года в год на всех представлениях «оркестром», аккомпанируя всем на рояле и иногда с интересом ожидая, в какой тональности запоет стоящий на сцене «артист», и, в случае чего, моментально переключалась на то, что надо.

Пьесы не было, на всех репетициях все живо творилось и каждый раз углублялось и расширялось, украшалось всякими деталями, а пьесу не писали и учили только свои стихи и куплеты. Принцип был такой: смысл спектакля ясен каждому участнику, и каждый делает возможно лучше то, что мог и умел,

к чему подходил, а общую режиссуру вел Сергей Васильевич Шервинский, поэт, прозаик и переводчик.

Вот «Саша-Паша» был Саша Габричевский, и было семь женщин, желавших попасть к нему в гарем.

Я – суфразистка, скажу я вам,
Я окна бью, курю, свищу,
Ни в чем мужчинам не спущу.
Я – суфразистка, скажу я вам.

Одета я была в короткие брюки-гольфы, белую рубашку, пиджачок и кепку и выходила с папиросой под бурный аккомпанемент рояля и всяких криков и шумов, издаваемых свободными в этот момент артистами.

Мужчина женщиной рожден,
Ей всем обязан он,
Так почему ж он наш господин?

Я что-то подзабыла куплеты, а их было немало, и были относящиеся к тому, что гарем подходящее место, чтобы в нем поднять восстание и развивать науку.

Была «советская девчонка», певшая чудные куплеты на мотив «ах, шарабан мой в красну клетку», другого она не могла бы спеть, потому что, вроде меня, петь не умела.

Была «невинность», которая мечтала о детях, не совсем понимая, как они появляются на свет.

«Я была гимназисткой когда-то», – пела Наталия Михайловна Михайлова – томный, длинный вальс, и очень хорошо пела, обладая слухом, кое-каким голосом и красивой внешностью. Она же исполняла роль влюбленной в «Сашу-Пашу» и хорошо, с огоньком, пела куплеты «„Саша-Паша“, я пред тобой стою, едва дыша. Твой взор, твой взор ловлю как светлый метеор» и т. д.

Восточную женщину играла и танцевала бывшая балерина Зинаида Ивановна Елгоштина.

«Цветную» женщину играла Наталия Алексеевна Габричевская, которая и увлекала «Сашу-Пашу» (своего мужа), и они танцевали очаровательный танец любви.

Начиналось все это представление с того, что с «палубы» (так назывался потом этот балкон) корабля сходили иностранцы и им гид показывал Коктебель и рассказывал о всех знаменитостях, живущих в нем. Англичанина, мистера Хью,

играла с большим шиком и в интересном мужском костюме художница Елизавета Сергеевна Кругликова.

Зрителей было очень много, не менее 300 – 400 человек. Пришли почти все из домов отдыха, в те времена немногочисленных и сравнительно малолюдных, да у нас в домах жило более ста человек. Сидели немногие, а остальные стояли. Все происходило на воздухе, где делалась временная сцена-подмости между двух домов.

Когда готовилось наше представление, то мы заранее решили, что есть такие эффектные места, что без аплодисментов не пройдут, а на спектакле все зрители молчали, и тишина была необыкновенная.

В антракте я пробралась к знакомым и спрашиваю, почему нет аплодисментов, отчего так тихо? А они отвечают – так интересно, что боимся слово пропустить. Правда, потом стали бурно реагировать, и мне, в частности, так аплодировали, что я повторила последний куплет, сразу забыв от волнения все предыдущие.

Таким образом получались и прозвища, которые оставались за людьми на многие годы, если не навсегда. Была Валкирия (по живым картинам, где она ее изображала), а ее сын звался «Трюфель» после того, как он был изображен в этом виде. «Психур» – соединение Психеи и Амура. Это прозвище получил очень красивый, молодой профессор Жинкин. «Монгол» – Николай Григорьевич Хлопин, «Казуары», «Измюмка», «Примус» и т. д.

Сам Максимилиан Александрович не принимал участия в больших постановках на его именины 17 августа – это была, так сказать, кульминация летнего сезона, – но он обожал всякие такие развлечения и с наслаждением их смотрел. Максимилиан Александрович не обладал музыкальным слухом и присутствовал на вечерах какого-либо пианиста или певца по обязанности хозяина, а любил он устраивать чтения, состязания в сочинении «буриме», стихов на разные заданные темы и т. д. Сам читал и другое, как, например, монографию о художнике Сурикове, статьи об искусстве и т. д. Читали свои произведения отдохнувшие у него в доме поэты и прозаики. А иногда молодежь просто затевала танцы, и этому тоже никто не мешал, также стихийно возникавшему самодеятельному оркестру, в котором «играла и звучала» вся посуда, взятая на кухне, а солисты выступали на гребенках за скрипки и виолончели

и достигали большого искусства, а весь оркестр – большой слаженности.

Каждый вечер был занят чем-то новым, а жить среди скопления высоко интеллигентных людей было необыкновенно интересно и очень много мне дало, и на всю жизнь остались дружба и знакомство с такими людьми, как Анна Петровна Остроумова-Лебедева, Елизавета Сергеевна Кругликова, Зоя Петровна Лодий, Габричевские и многие другие.

Иногда устраивались очень интересные прогулки под руководством Максимилиана Александровича, великолепно знавшего все окрестности, историю Крыма и т. д. Я вообще не знала отрасли знания, в которой Максимилиан Александрович ничего бы не понимал. Он был необыкновенно широко образован и начитан: У него был несколько склонный к парадоксальности острый и блестящий ум.

Как-то Максимилиан Александрович организовал прогулку в «каньоны» и повел нас сам, идя впереди с посохом в руке и в своей белой одежде, напоминая апостола. За ним шла, не преувеличивая, сотня людей всех возрастов и обоих полов, то есть буквально все – и мал, и стар пошли, а в домах остались только те, кто готовил пищу на ужин.

Максимилиан Александрович также не раз возглавлял походы в Старый Крым, на Карадаг и всегда очень интересно рассказывал о прошлом Крыма, которое блестяще знал, так же, как и все дороги и тропинки.

Ходить Максимилиан Александрович очень любил. Он ежедневно гулял по несколько часов или совсем один, или с кем-либо из интересных ему для собеседования людей.

Максимилиан Александрович не любил детей, считал их разрушителями, и только терпел их, как неизбежное зло, и говорил, что воспитание детей есть самозащита взрослых. Но к детям был приветлив и очень вежлив, а ценил общение только с взрослыми людьми.

Лично у Максимилиана Александровича была очень хорошая библиотека на русском и французском языках. Если кто-либо просил у него что-либо «почитать», то он отсылал в общую библиотеку, составленную из книг, оставленных и подаренных уезжающими. Но если кто-то просил его дать «прочесть» что-либо и по какому-то определенному вопросу, то он очень внимательно подбирал нужное и охотно давал читать.

Я приезжала в Коктебель с 1925 по 1940 год девять раз и жила по месяцу и по два-три месяца, но ни разу не была зимой.

В 1930 году зимой у Максимилиана Александровича был первый удар, то есть кровоизлияние в мозг, но оно как будто совсем рассосалось. Я приехала в 1932 году и не сразу заметила перемену в Максимилиане Александровиче, а он, видимо, потерял дар творчества и даже рисовать стал, разграфливая лист бумаги на 4-6 или 8 рисунков-акварелей и делая их трафаретно, сначала в одну, а потом в другую. А раньше ведь Максимилиан Александрович ходил гулять и смотрел вокруг, а рисовал по памяти всегда разное и часто говорил, что ему рисунки подсказывают камни, и все его акварели были какие-то свои, особенные и неповторимые.

В 1927 году Максимилиан Александрович и Маруся приехали в Ленинград и остановились у меня, а у меня была отдельная квартира из двух комнат на Невском пр., 84, во дворе, во втором этаже. Не очень светлая, без телефона и ванны, она этим уже была им не очень-то удобна, но зато в центре. Максимилиан Александрович вскоре простудился и заболел и почти две недели безвыходно сидел дома.

Устраивалась выставка акварелей Максимилиана Александровича, и я, в частности, много бывала на Фонтанке, в помещении Клуба журналистов, где она и открылась и где я помогала ее устраивать.

Я что-то забыла, сколько времени была открыта эта выставка и сколько времени прожили у меня Максимилиан Александрович и Маруся.

С выставки в подарок от Максимилиана Александровича я получила очень хорошую акварель по своему выбору, и она висела у меня в большой комнате, но пропала в 1941 году, когда я была арестована и отправлена в Сибирь.

Когда и как в 1932 году заболел Максимилиан Александрович, я не помню. Знаю только, что у него началось ползучее воспаление легких, что врачи вводили ему ежедневно камфору, а Максимилиан Александрович всегда благодарил за укол и поражал всех вежливостью и исполнительностью. Болезнь тянулась и затягивалась. Максимилиан Александрович как-то слабел, за ним нужен был уход. Он не мог лежать, потому что задыхался, и сидел в кресле. Маруся сбилась с ног, страшно волновалась и уставала, и решили завести дежурства живущих в доме как по ночам, так и днем в помощь Марусе.

Я видела, что Максимилиан Александрович не сопротивляется болезни, что он не хочет жить. Когда приехал из Феодосии его друг художник Богаевский, то Максимилиан Александрович захотел остаться с ним наедине и явно с ним прощался.

Творчество ушло, и жить Максимилиану Александровичу было незачем. Зачем ему было жить? И он стал умирать, совсем не сопротивляясь болезни.

Я как-то дежурила у Максимилиана Александровича ночью и он вдруг спросил меня: «Скажи, Лида, на какую букву легче дышать?» Нам запрещалось с ним разговаривать, и я, удивленная его вопросом, подумав немного, ответила «не знаю». Прошло, наверно, около часа, когда Максимилиан Александрович вдруг сказал «на букву И». Сразу я даже не поняла, а потом сообразила, что он передышал на весь алфавит и сделал вывод.

Умер Максимилиан Александрович днем 11 августа 1932 года и был положен на стол в столовой, и сразу же послали в Феодосию за льдом, и он был им кругом обложен. Стояла жара, и решили хоронить 12-го, на другой же день.

Маруся была вне себя и то падала на пол, раскинув руки крестом, и голосила, как простая баба, причитая «на кого ты меня оставил», «зачем покинул» и т. д., то лежала часами молча, то была окружена людьми, то прогоняла всех... Был создан комитет по организации похорон, и все быстро и четко делалось.

После смерти Максимилиана Александровича в доме настала какая-то странная и жуткая тишина, все сидели по своим углам.

Я поднималась к себе на чердак уже под вечер, и вдруг выходит на лестницу Маруся и говорит мне: «Иди помочь формовщику снять с Макса маску». Я пошла. Темно, электричества не было. Зажгли фонарь «летучая мышь», и его держала дрожащими руками Александра Михайловна Миклашевская. Маруся бросилась лицом вниз на кушетку в углу, а я стояла рядом с формовщиком и делала все по его указаниям. Надо было смазать вазелином брови, усы, бороду и края лица у волос и трогать лицо, все время трогать его. Потом был разведен гипс и начали заливать лицо ровным слоем с носа на бок. Когда формовщик сказал, что можно снимать маску, то снять ее было нельзя из-за того, что многие волоски из бороды и

усов все же попали на гипс и тянулись за маской, не давая ее снять. Лицо разогрелось под гипсом, стали открываться глаза и рот, лицо стало теплое и мягкое. Я занервничала и говорю формовщику, что я возьму ножницы и буду подстригать те волосы, что попали в гипс. От этой «летучей мыши» плохо все видно, бегают тени и как-то жутко делается. Я храбро стала стричь все, что держало маску, и мы быстро справились с этим делом. Маруся не раз хотела подойти, но я не пускала ее и уговаривала не мешать нам, а тихо лежать в отделении. Признаться сказать, я устала, как-то нервы измучались, и обрадовалась, когда мы все закончили и убрали. Была ночь уже, и я ушла спать к себе на чердак.

Я не видела маски, но слышала, что она плохо вышла. На другой день похороны были назначены около 6 часов вечера. Поставили гроб на телегу, запряженную одной лошастью. Все мы, и масса народа из всех домов отдыха, и вся деревня пошли огромной толпой на верх горы, где сам Максимилиан Александрович выбрал себе место для могилы. Лошадь не могла донести до самого верха горы, и тогда мужчины подняли гроб, и понесли его, и поставили у вырытой могилы.

Солнце садилось и освещало лицо Максимилиана Александровича в гробу, и Марусю, и всех, кто стоял кругом, и всю огромную толпу, и чудесный вид оттуда.

Все ждали, кто что скажет или что будет. А прочли всего два стихотворения: одно Максимилиана Александровича Волошина «Коктебель», а второе (пропуск в рукописи. — Р е д.), и больше ничего. Так было решено, и так и сделали. Чувствовалось, что многие были разочарованы, ждали чего-то большего, но этого не надо было, и сделано было верно.

Я стояла рядом с Марусей, пока засыпали могилу, а потом отошла, и так было тяжело, грустно, что я, горько плача, побежала с горы вниз.

Потом, приезжая к Марусе в «Дом поэта», я всегда ходила к Максимилиану Александровичу на могилу, и был такой обычай, что кто идет туда, тот несет с собой какой-либо красивый камень, и вот из этих камней и сделана могила-насыпь, но надо бы плиту с надписью. А будет ли она?

15. 12. 1970

Колонка редактора

ПРОЩАЛЬНОЕ ОБЪЯСНЕНИЕ

Недавно, в одном из номеров эмигрантского журнала, мне на глаза попались заметки известной правозащитницы о некоторых событиях, происходящих в наши дни в Советском Союзе. Меня в особенности поразило следующее ее свидетельство:

«Вспоминаю 12 июня этого года, когда на Пушкинской площади тоже было побоище демонстрантов. В сторонке скромно стояла группка молодых людей, держа лозунг с требованием создать мемориал жертвам сталинизма. Мимо этой группы энтузиастов антисталинистов милиция и гебисты волоклом волокли людей в арестантские автобусы. Антисталинисты смотрели и молчали...»

Этот эпизод с поразительной наглядностью обнажает механизм происходящего сегодня в нашей стране процесса. Охотники очистить свою больную совесть комфортабельной (с разрешения властей!) борьбой со сталинизмом размножаются у нас на глазах буквально в геометрической прогрессии. Дошло до того, что на страницах либеральнейших «Московских новостей» эту давно умолкшую амбразуру бросилась закрывать собой даже Тамара Мотылева. Людям, хотя бы в общих чертах знакомым с профессиональной биографией сей воинственной матроны, после этого остается вместе со мной только развести руками.

Выясняется также, что Иван Стаднюк начал свою битву с «культом личности» еще в романе «Люди не ангелы» и что единственным тираноборцем, подхватившим из охлаждающих рук Александра Твардовского антисталинский «Новый мир», был Аркадий Сахнин.

Но что распространяться о фигурах столь одиозных, когда и лучшие ведут себя на том же, примерно, уровне. Имя им уже легион: залыгины, рыбаковы, айтматовы и прочие евтушенки ринулись вкривь и вкось толковать о совести, морали, нравственности и чувстве вины, не стесняясь при этом помянуть еще и Христа. Любопытно, за что в сталинские, волюнтаристские и застойные времена на всех на них сыпа-

лись ордена, премии, материальные блага? Может быть, за их выдающиеся литературные заслуги или мужественное противостояние насилию? Но ведь жили (а иные и живут еще!) одновременно с ними художники, о литературном и нравственном уровне которых они могут только мечтать – Ахматова и Мандельштам, Платонов и Булгаков, Бродский и Солженицын, Владимов и Войнович, Аксенов и Домбровский, Вениамин Ерофеев и Марченко, – но почему-то барской благосклонностью не пользовались. Тогда за что же? Ответу без обиняков: за идеологическую лояльность, за рабскую покорность каждому очередному временщику и его «партийной линии».

Тем не менее, в подавляющей части их теперешних литературных упражнений довольно откровенно проступает одна общая для всех них мысль: режим, установленный после Октября, в общем-то неплох и даже, более того, хорош, но вот исторически детерминированная сущность русского народа (заметьте, прежде всего русского, остальные как бы и не в счет!) помешала его гармоничному развитию к всеобъемлющей свободе.

В связи с этим, они всерьез пишут романы о принципиальной разнице между двумя партийными паханами, вроде Сталина и Кирова, осуждают суровые репрессии против Максима Литвинова, переведенного из народных комиссаров аж в заместители и официально отпетому не в Колонном зале, а всего лишь в скромном Доме ученых (рядовому рабочему с колхозником или Осипу Мандельштаму с Анной Ахматовой их бы заботы!), взывают к совести народа, не спешащего ставить памятник палачу кронштадтских матросов и тамбовских крестьян Михаилу Тухачевскому, скорбят по поводу «погибшего от руки бериевских палачей верного сына партии Павла Постышева» – сталинского гауляйтера, организатора коллективизации и искусственного голода на Украине, в результате которого погибло более семи миллионов крестьян. (Мне скажут: приказывали. Эйхману, между прочим, тоже приказывали.)

Самое страшное для меня в этих их словоговорениях, что они искренни в своих эмоциях. Оказывается, шкала ценностей, навязанная обществу кучкой политических заговорщиков, совершивших государственный переворот в демократической к тому времени России, остается для них абсолютно неизменной. Тогда, спрашивается, при чем же здесь народ, к которому, судя по их сочинениям, у них так много претензий?

Разве народ, а не они создавали во славу Ленина, а затем последовательно – Сталина, Хрущева, Брежнева, а теперь вот уже и Горбачева, – поэмы и романы, песни и кантаты, скульптуры и киноленты, полотна и публицистические панегерики? Я не имею в виду худших, им при их полной аморальности, как говорится, сам Бог велел. Я имею в виду самых что ни на есть утонченных и либеральных, так сказать, цвет нашей интеллигенции. Разве в рабских недрах народа родилась написанная в самый разгар террора «Песня о Встречном» или позднее – музыка к «Падению Берлина», «Песнь о лесах», «Марш милиции»? Разве колхозник написал самую талантливую поэму во славу коллективизации и прочувствованные стихи на смерть Сталина? Разве народ поставил в кино «Ленин в Октябре» или «Тринадцать»? Разве люди улицы на протяжении семидесяти лет ежедневно и ежечасно со страниц газет и журналов, по радио, а затем и по телевидению, с кафедр лекционных залов и университетских аудиторий заплотняли страну беспардонной ложью? Нет, уважаемые неуважаемые, это делали вы – мастера советской культуры, доведя в конце концов наш народ до полного духовного и материального обнищания.

И если иные из народа, подписывая состряпанные за них разоблачительные тексты, порою даже толком не знали, кого они клеймят, то вышеозначенные мастера прекрасно ведали, что творят, когда ставили свои имена под кровавыми призывами к беспощадным расправам. Рискуя сильно разъярить слабонервных, я все же осмелюсь назвать хотя бы несколько имен, ставших теперь для многих почти священными: Андрей Платонов (к слову, один из моих любимых писателей), Николай Вавилов, Илья Сельвинский, Николай Асеев, Бруно Ясенский, а также калибром поскромнее, вроде Всеволода Иванова, Игоря Грабаря, Давида Ойстраха и Переца Маркиша. Вот, к примеру, хотя бы стишок тех лет «За все мы воздадим», принадлежащий перу последнего:

На бойни гнать бы вас с веревками на шее,
Чтоб вас орлиный взор с презреньем провожал
Того, кто родину, как сердце, выстрадал в траншеях,
Того, кто родиной в сердцах народа стал...

Трогательно, не правда ли? Но, если судить по литературным упражнениям его сыновей спустя пятьдесят лет, то оказывается, что в успехе кровавых вакханалий «кавказского гор-

ца» виноваты не сочинители подобных стишков, а рабская психология русского народа. Тут уж поневоле сплунешь в сердцах: чума на оба ваших дома!

(Поговаривают, правда, что за некоторых подписи ставили, не спрашивая их согласия. Не знаю, может быть. Но об опровержениях по этому поводу ни в то время, ни позже не было слышно, а молчание в таком случае, согласитесь, тоже форма соучастия.)

Нет, я далек от мысли снять с себя свою личную вину за все случившееся с нашей страной: мол, вы все в дерьме, а я в белом. Не уверен, что на месте тех, кого упомянул выше, я вел бы себя честнее или отважнее. Мало того, я мог бы вести себя много достойнее и в куда более травоядные времена. Единственное мое отличие от советских коллег по цеху в том, что я в меру своих понятий о морали и отпущенных мне литературных способностей откровенно рассказал об этом в своей автобиографической книге и никогда не забываю возвращаться к этому при любой возможности. И если у меня нет права судить кого-либо за прошлое, у меня есть основания настаивать на покаянии нашей отечественной интеллигенции перед тем самым народом, который она годами околпачивала, а порою и продолжает околпачивать в соответствии с очередными колебаниями партийной линии. В противном случае ее нынешней антисталинской отваге грош цена!

Пусть, к примеру, поведают своим читателям Сергей Залыгин и Чингиз Айтматов, под какими пытками заставляли их обливать помоями Андрея Сахарова и Александра Солженицына. Пусть откроет нам Анатолий Рыбаков, какая страшная кара грозила ему, не выступи он против Владимира Войновича. Пусть выложит советской общественности Алесь Адамович, какая смертельная опасность ожидала его, если бы он все-таки ответил на письмо, полученное им от дочери его переводчицы Зои Крахмальниковой, загнанной в горно-алтайскую ссылку за свои религиозные убеждения? Пусть, наконец, объяснит страждущему человечеству Александр Борщаговский, что, какие репрессии вынудили его в застойные времена активно участвовать в травле инакомыслящих писателей? А остальные расскажут, почему при этом скромно помалкивали?

Но, думаю, это им просто ни к чему. Шкала ценностей, которой они руководствуются, не знает никаких постоянных величин. Завтра, если понадобится, они будут проклинать

все, что воспевают сегодня с той же искренностью, с какой вчера кляли позавчерашнее. И так до бесконечности.

К сожалению, наша культурная эмиграция оказалась плоть от плоти своего советского отечества. Так же ничего не забыла, так же ничему и не научилась. Так же продолжает славные традиции своих предшественников. Одна окололитературная дама, издающая за рубежом собственный журнальчик откровенно просоветского толка, с присущим ей кухонным простодушием так и заявила недавно, что, де, наша эмигрантская среда тоже разделилась на две силы: перестройки и торможения. Ей, при ее сугубо тоталитарной психологии, просто невдомек, что на свете могут существовать люди, не принимающие советской цивилизации вообще. Вместе со всем ее содержимым, включая перестройку и торможение. Этого наша журнальная Пассионария просто не может в себя вместить.

Дама эта, опять-таки к несчастью, не одинока. Поэтому я считаю необходимым раз и навсегда определить свои взаимоотношения с этой публикой:

– Уважаемые неуважаемые господа! Время наконец-то показало, что у нас с вами нет никаких, ну, абсолютно никаких разногласий. Нам не о чем спорить и нечего обсуждать. Мы с вами просто-напросто живем в двух разных измерениях. Вы были и остались детьми дорогого вашему сердцу ленинского Октября и после некоторого перерыва обрели наконец доброго царя, то бишь, вождя. Вперед, заре навстречу! А я в другую сторону. Минуй меня пуще всех печалей и барский гнев, и барская любовь, без которой вы, к сожалению, жить не можете, ибо, по рабской своей сущности, не закона жаждете – милости. Полемицировать с вами бессмысленно. Только не впутывайте вы, Бога ради, в свои холуйские игры ни в чем не повинный народ, давно уставший от этих игр. Верю, придет время, когда он наконец освободится и от вас, и от тьмы, вас породившей. «Рабы, сверху донизу все рабы». Это не о «народе» – о вас, об интеллектуальной черни – сказано. И к этому мне нечего добавить.

Р. С. После того, как я уже написал эту свою колонку, мне на глаза попала статья Леонида Никитского из тридцать второго номера «Огонька» под названием «Беспредел». Статья посвящена кровавому бунту «мужиков» – лагерной массы – против местной беспредельщины, то есть, блатных, попирающих даже собственные законы. В одной из бытовых колоний

Латвии. Материал написан безукоризненно со всех точек зрения, с фактической – в особенности: в ранней юности мне пришлось испытать все это на собственной шкуре. К счастью, что случается крайне редко, бунт закончился победой «мужиков». Правда, торжество это увенчалось лишь приходом к власти в зоне более справедливого пахана по кличке «Медвежонок», которого лагерь, по общему признанию, просто боготворит.

И что же?

Здесь я предоставляю слово автору:

«„Ворам“ дали по шее, самые „борзые“ отправились в следственный изолятор и за пределы республики. Ну, вот тебе, „мужик“, кровью оплаченная победа: бери теперь власть в свои трудовые руки, организуй новую трудовую жизнь на коллективных, демократических началах. Пусть все работают, пусть все будут равны, пусть не будет притеснений и обид – ведь чего и делить-то? Казалось бы.

Но уже через месяц-другой из прежних равноправных, бившихся за равенство „мужиков“ выделились новые „авторитеты“, и все пошло-поехало по-старому: воры, шустрилы, пацаны, ну а „парафинов“ и „петухов“ и при бунте-то никто за людей не считал. Опять одни бездельничают и „борзеют“, другие батрачат, опять в моде дележка и ложки неодинаковой величины.

Все возвратилось на круги своя, и этого следовало ожидать, потому что у ящерицы, покуда она жива, сколько угодно раз вырастает новый хвост.

Эх, мужики, мужики (кстати, для сведения русофобов: „мужики“ в этом лагере, по свидетельству автора, в значительной степени состоят из прибалтов и кавказцев. – В. М.) ...Жизнь без „заправилы“ они себе попросту не мыслят. Все их мечты в социальном плане сводятся к надеждам на доброго, справедливого заправилу».

Не правда ли, что-то родное, знакомое, сегодняшнее простиупает перед нами сквозь этот текст?

Не могу отказать себе в удовольствии привести заключительные строки из этой, прямо скажем, удивительной статьи:

«Несомненно, умный парень. (Это о Медвежонке. – В. М.) Но вряд ли случайно, что Медвежонок, пришедший в колонию из тюрьмы, куда его еще Захарутин уцек на три года, так быстро выдвинулся в седьмой. Очень может быть, что

Медвежонок – он не просто так Медвежонок, не сам по себе, вполне возможно, что у него есть „мандат“ на управление колонией от больших воров, о чем бы он мне в любом случае не сказал. Воровские „законы“ и „понятия“ идут оттуда, от „больших воров“. Для прибалтийских юнцов это жестокая и экзотическая игра в небогатой развлечениями зоне, а для иных, кто сидит подальше и поглубже, это *способ рекрутирования в армию преступности* (выделено мною. – В. М.).

Пока что Медвежонок отвечает чаяниям зоны о справедливом заправиле. Это не его слова, это мнение всех заключенных, с которыми мне удалось поговорить. Его принципы таковы: „Дышать воздухом надо“, „Бить голову не надо“, надо „слова говорить“. Что ж, так-таки „бить“ голову совсем никому не приходится? Нет, приходится, если не помогают „слова“.

Вот рай-то наступил за забором! Ой, не верьте, мужики, ой, не обольщайтесь. Конечно, „заправила“ может быть лучше или хуже по своим чисто человеческим качествам, конечно, с „магазина“ можно отдавать пять пачек „Памира“, а можно и две, но логическим завершением этой по-своему стройной системы все равно будет беспредел. Система осталась нетронутой, вы в ней по-прежнему не люди, никто, и хвост ящерицы растет».

Как говорится: умри, Денис! Или: тут ни прибавить, ни убавить. Или еще: томов премногих тяжелей.

Э Р МИ Т А Ж

ВЫ МОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ В НАШЕМ ИЗДАТЕЛЬСТВЕ

- АВЕРИНЦЕВ, Сергей. Религия и литература. (Статьи, 143 с.)
АКСЕНОВ, Василий. Право на остров. (Рассказы, 204 с.)
АЛЬТШУЛЛЕР, М., ДРЫЖАКОВА, Е. Путь отречения. (350 с.)
ВИЗЕЛЬ, Эли. Завет. (Роман Нобелевского лауреата, 280 с.)
ВОЛОХОНСКИЙ, Анри. Стихотворения. (160 с.)
ГИРШИН, Марк. Убийство эмигранта. (Роман, 145 с.)
ГОРЕНШТЕЙН, Фридрих. Искупление. (Роман, 160 с.)
ДОВЛАТОВ, Сергей. Заповедник. (Повесть, 128 с.)
ДОВЛАТОВ, Сергей. Зона. (Повесть, 128 с.)
ДОВЛАТОВ, Сергей. Чемодан. (Рассказы, 112 с.)
ДРУСКИН, Лев. У неба на виду. (Избранные стихи, 230 с.)
ЕЗЕРСКАЯ, Белла. Мастера. (Сборник интервью, 120 с., илл.)
ЕЛАГИН, Иван. Тяжелые звезды. (Избранные стихи, 360 с.)
ЕРЕМИН, Михаил. Стихотворения. (Сост. Л. Лосев, 160 с.)
ЕФИМОВ, Игорь. Архивы Страшного суда. (Роман, 320 с.)
ЕФИМОВ, Игорь. Как одна плоть. (Роман, 120 с.)
ЕФИМОВ, Игорь. Кеннеди, Освальд, Кастро, Хрущев. (340 с.)
ЕФИМОВ, Игорь. Практическая метафизика. (Философия, 340 с.)
ЖЕМЧУЖНАЯ, Зинаида. Пути изгнания. (Мемуары, 288 с., илл.)
ЖОЛКОВСКИЙ, А. и ЩЕГЛОВ, Ю. Мир автора и структура текста.
ЗА ЧЕЙ СЧЕТ? (Статьи, составитель Ю. Фельштинский, 190 с.)
ЗАЙЧИК, Марк. Феномен. (Рассказы, 184 с.)
ЗЕРНОВА, Руфь. Женские рассказы. (160 с.)
ИВАНОВ, Георгий. Третий Рим. (Избранная проза, 380 с.)
ИЗБРАННЫЕ РАССКАЗЫ ШЕСТИДЕСЯТЫХ. (352 с.)
КОРОТЮКОВ, А. Нелегко быть русским шпионом. (Роман, 140 с.)
ЛОСЕВ, Лев. Закрытый распределитель. (Очерки, 190 с.)
ЛОСЕВ, Лев. Чудесный десант. (Стихи, 150 с.)
МЕРЕЖКОВСКИЙ, Д. Малая Тереза. (Жизнеописание, 204 с.)
МЕРЕЖКОВСКИЙ, Д. Реформаторы. Лютер, Кальвин, Паскаль.
ПОПОВСКИЙ, Марк. Дело академика Вавилова. (280 с., 20 илл.)
ПОЭТИКА БРОДСКОГО (Статьи, ред.-сост. Л. Лосев, 256 с.)
РАТУШИНСКАЯ, Ирина. Сказка о трех головах. (Русск. и англ., 128 с.)
РАТУШИНСКАЯ, Ирина. Стихи. (На русск., англ., франц., 140 с.)
РЖЕВСКИЙ, Леонид. Звездапад. (Повести, 270 с.)
РОЗИНЕР, Феликс. Весенние мужские игры. (Пов., расск., 208 с.)
РЫСКИН, Григорий. Осень на Виндзорской дороге. (2 повести, 200 с.)
СВИРСКИЙ, Григорий. Прорыв. (Роман об эмиграции 1970-х, 560 с.)
СВИРСКИЙ, Григорий. Прощание с Россией. (Повесть, илл., 140 с.)
СУСЛОВ, Илья. Мои автографы. (Рассказы, 200 с., илл.)
СУСЛОВ, Илья. Рассказы о т. Сталине и других товарищах. (140 с.)
ТЕЛЕСИН, Юлиус. 1001 советский политический анекдот. (180 с.)
ТИМОФЕЕВ, Лев. Последняя надежда выжить. (Очерки, 200 с.)
ТРОЦКИЙ, Лев. Дневники и письма. (Составитель Ю. Фельштинский)
ЧЕРТОК, Семен. Последняя любовь Маяковского. (128 с., илл.)
ШТЕРН, Людмила. Под знаком четырех. (Повести, 200 с.)
ШТУРМАН, Дора. Земля за холмом. (Статьи, 256 с.)
ШУЛЬМАН, Соломон. Инопланетяне над Россией. (208 с., илл.)

Заказы отправлять по адресу: Hermitage, P. O. Box 410, Tenafly; N. J. 07670, USA
При покупке 3-х и более книг – скидка 20%.

Наша почта

Уважаемая редакция!

В 54-м номере журнала «Континент» в разделе «Наша почта» я прочитала отклик С. Чертока на мою статью «Эйзенштейн, промеренный на аршин Чертока» («Синтаксис», № 17), написанную в полемике с его работой «Урок Эйзенштейна» («Континент» № 46).

Сразу хочу оговориться, что статья моя была поначалу предложена редакции «Континента», от которой я, увы, не получила никакого ответа. Это меня удивило, потому что (даже, если предположить, что во всех пунктах и положениях статьи С. Чертока редакция «Континента» была полностью солидарна со своим автором) я указывала и на беззастенчивый ПЛАГИАТ, обнаруженный мною в его работе. До сих пор я, очевидно, наивно полагала, что плагиат, уголовно наказуемое деяние, должен получить, по крайней мере, моральное осуждение со стороны редакции, которую С. Черток, попросту, как говорится, «водил за нос». Но оказалось, что редакцию нимало не смутила некоторая «двусмысленность» ее этической позиции в этом вопросе – очевидно, тому были более высокие «идейные» соображения (в качестве которых я и попытаюсь разобраться), хотя мне всегда казалось, что «цель» в любом случае не «оправдывает средств»...

С. Черток сразу признается, что, оказывается, «стиль» моей статьи «не позволяет ему вступить со мною в полемику по существу» – даже по поводу плагиата С. Чертоку мешает объясниться мой «стиль»? Я, очевидно, менее разборчива и старомодно педантична, ибо, пренебрегая «стилем» С. Чертока (о котором я предоставляю судить читателю), я все-таки попытаюсь разобраться в существе им написанного и адресованного мне...

Впрочем, я была неточна: был еще один адресат... мой отец(?!), которому С. Черток послал то же самое письмо в... Москву (!!!) – зачем? чтобы меня поругали? Честное слово, можно только подивиться такому «стилю» поведения...

Но теперь немного о «стиле» его аргументации.

С. Черток пишет, что моя статья – «пространные уверения в том, что автор (С. Черток. – О. С.) следует утвержден-

ной агитпропом „генеральной линии“ в оценке творчества Эйзенштейна». Правильно. И разве это не удивительно? И отчего же *только* «агитпропом»? Я настаивала в своей статье на том, что «утвержденное агитпропом», увы, не стало достоинством только истории (статья С. Чертока еще одно тому подтверждение!), отошедшей в прошлое вместе с агитпропом, – отсюда возникал риторический вопрос в моей статье: «Чего только стоит одна формулировка у С. Чертока, что, де, «картины Эйзенштейна не для широкой публики, а для эстетов». Да разве таким именно обвинением не стращали тех же Тарковского, Параджанова и, наконец, самого Эйзенштейна? Неужели стоило пересекать столько границ, чтобы и отсюда крикнуть художнику эту поистине бессмысленную с точки зрения имманентного развития искусства фразу?» («Синтаксис» № 17, стр. 162)

Только еще и еще раз могу высказать свое удивление в адрес С. Чертока, а вслед за ним и редакции «Континента», столь решительно взявшей его под свою защиту: сегодня журнал справедливо пишет о трагической судьбе Тарковского, Параджанова и Любимова, а рядом, тут же и с тех, буквально до смешного тех же позиций разоблачают С. Эйзенштейна, которому в той же стране в свое время не дали довести до экрана *ни одной картины* в течение восьми лет («Броненосец „Потемкин“», 1925) – «Александр Невский» (1933) (так в тексте письма. – Р е д.)! И, если сегодня скорбят о преждевременной кончине Тарковского, подозревая, что его конец ускорен тяжелыми обстоятельствами его творческой судьбы, то почему же не ужаснуться и преждевременной кончине С. Эйзенштейна, погибшего от сердечного приступа в период работы над «Иваном Грозным» после «недовольств», высказанных Сталиным в адрес его картины?!

Мое утверждение, что трагические обстоятельства творческой судьбы одного из крупнейших режиссеров мирового экрана и до сих пор не получают полного и окончательного освещения на страницах советской прессы, снова подтверждается в статье о нем в последнем «Кинословаре», выпущенном в СССР.

Иронию судьбы (так в тексте. – Р е д.) именно этот «Кинословарь» прорецензирован С. Чертоком в том же номере «Континента», где помещен и его отклик на мою статью. Буквально арифметически *пересчитывая строки*, посвященные

тому или иному кинематографическому деятелю, но (перефразируя известное выражение), «считая между строк», С. Черток негодует: «самая большая из биографических статей – об Эйзенштейне: 354 строки (о Чаплине – 252)». Но, если бы С. Черток, не считая, прочитал то, что написано в этой «ужасных» размеров статье, то он мог бы получить кое-какой не только статистический, но и содержательный материал для своей рецензии, озаглавленной им «Границы гласности». Но одна ложь, допущенная автором в его статье об Эйзенштейне, тянет за собой другую его недобросовестность.

Почему бы ему в контексте этой своей рецензии ни порассуждать о том, например, что и сейчас еще в этом самом «Кинословаре» черным по белому написано: «Работа над сценарием А. Г. Ржешевского „Бежин луг“ (1935-37) о гибели пионера от руки отца-кулака закончилась неудачей. Стремление создать высокую трагедию об антагонистической борьбе нового со старым было расценено как непонимание агитационных задач искусства; незаконченный ф. был подвергнут резкой критике и снят с производства... Выход из творч. кризиса был найден в работе с писателем П. А. Павленко над ф. „Александр Невский“ (1938, Гос. пр. СССР, 1941)» (выделено мною. – О. С.)? Да разве не на тему статьи «Границы гласности» ложится этот во многих отношениях знаменательный итог, подводимый в энциклопедическом издании в 1986 году, где ничего не разъясняется по поводу того, что фильм «Бежин луг» снимался Эйзенштейном два года, где «неудачей» режиссера называется буквальное физическое уничтожение его работы, а последствия этой расправы, учиненной над художником, именуется переживаемым им «творческим кризисом»?

Да, конечно, ложится на тему этой рецензии С. Чертока, но, увы, находится в вопиющем противоречии с тем, что доказывал он в своей статье «Урок Эйзенштейна», уверяя своих читателей в том, что Эйзенштейн находится в каком-то привилегированном положении не в силу его действительной художественной значимости, а в силу своеволия ЦК, постановившего однажды «безудержно его восхвалять». На основании этой произвольно возведенной С. Чертоком конструкции, показавшейся ему почему-то эффектной, но не подтвержденной у него никакими фактами, он пытается противопоставлять С. Эйзенштейна В. Мейерхольду, в то время как оба они, на

самом деле, прошли тот же крестный путь, что и вся русская советская культура.

Эйзенштейн может нравиться или не нравиться – мы спорим не о вкусах. Я бы с интересом выслушала любую точку зрения С. Чертока, если бы в свою концепцию он «уложил» все те известные, а тем более, если бы он к ним добавил еще и неизвестные нам пока «кирпичики», из которых складывается такое явление, как ЭЙЗЕНШТЕЙН. Но он пошел путем невежественного небрежения накопленными по этому вопросу знаниями. Ему показалось достаточным, заслышав фразу, брошенную Бажановым или Н. Мандельштам, легкой кавалерией пройти по костям своего «героя», пустив пыль в глаза только тем, кто совершенно незнаком с литературой по этому вопросу; этим же объясняется и беззастенчивый плагиат у своих бывших советских коллег, давно уже исследовавших и «Александра Невского» во всех его слабостях и просчетах и даже проанализировавших цитату из «Последнего дня Ивана Денисовича» (так в тексте. – Р е д.) относительно «Ивана Грозного».

С. Черток упрекает меня «ВГИКовским» (т. е. киноведческим) образованием – звание кандидата искусствоведения, очевидно, в глазах С. Чертока еще более усугубит мою «неблагонадежность», на которую он все время намекает – но разве отсутствие элементарного профессионализма, которое обнаруживает С. Черток на каждом шагу, так подводит его в этой работе? Увы, даже самых скромных, но *профессиональных* знаний по этому вопросу достаточно, чтобы не «приписывать» С. Чертоку столь польстившей ему «чести первооткрывателя нового взгляда на Эйзенштейна». Более того, я настаивала в своей статье на том, что даже освоить и добросовестно, грамотно изложить чужую точку зрения он, оказывается, не в силах!

Я предлагаю, например, С. Чертоку разобраться в том, почему идеи и темы, простые и ясные в своей агитационной направленности, получали у С. Эйзенштейна то *трагическое* измерение, которому нет места в рамках господствующего метода «социалистического реализма», как это случилось с «Бежиным лугом» или «Иваном Грозным»... А С. Черток отвечает мне на этот и многие другие вопросы, заданные ему мною, совершенно в духе известного анекдота – «А у вас зато негров линьчуют»!

Итак, С. Черток отвечает мне:

1) что я «советская гражданка, проживающая в Голландии» – надеюсь, что акцент, проставленный мною, не искажает мысли моего уважаемого оппонента? Это надо понимать так, что С. Черток, благодаря своему израильскому гражданству, имеет некоторую охранительную грамоту, заведомо данное ему преимущество перед всеми советскими гражданами? А как же быть с советским гражданином А. Тарковским или А. Сахаровым? Наверное, С. Черток лукавит, и дело вовсе не в гражданстве, а еще раз в прозрачном намеке-предостережении, высказанном С. Чертоком в мой адрес персонально: я ведь несу, по его словам, еще и «первородный грех» своего рождения...

2) ...потому что статья моя, написанная в полемике с С. Чертоком, оказывается, «повторение» того, что пишет «золотое перо партии» Е. Д. Сурков, бывший многолетним редактором журнала «Искусство кино». И – кстати, добавлю, потерявший этот пост в связи с получением его дочерью, Сурковой О. Е., голландского гражданства. И дела нет С. Чертоку, что Е. Д. Сурков никогда ни слова не написал не только об С. Эйзенштейне, но и вообще по вопросам истории кинематографа... Но подброшена, как представляется С. Чертоку, «определенная» пища для «определенных» размышлений – только я ведь под псевдонимом не пишу и ни от кого не скрываюсь.

Также я не собираюсь скрыть от С. Чертока, что мне не по вкусу те методы, которыми он вооружен в своей «критической» деятельности. Они из арсенала другой профессии и сильно напоминают те времена, когда, вопреки официально провозглашаемому лозунгу, «дети» были все-таки «за отцов в ответе». Но я постараюсь следовать лучшей традиции тех лет, как и библейской традиции тоже – так что даже в угоду С. Чертоку не стану отречься от своего отца. Да. Я его дочь, какие бы аллюзии ни попытался вложить С. Черток в это мое заявление.

Каждый из нас имеет свою биографию. Каждый из нас написал и сделал то, что он написал и сделал. Кто-то писал «золотым пером», кто-то корябал ученическим... И эти наши действия, хотим мы того или не хотим, будут однажды подвергнуты непредвзятому людскому суду. А, если я не всегда верю в праведный суд людской, то, во всяком случае, бесконечно верю в Высший суд, а потому никакой цинизм для себя не

приемлю. Другим же оставляю возможность самим решить этот вопрос.

С. Черток делает еще одно в высшей степени заинтересовавшее меня признание. Он говорит, что теперь ему «понятнее, почему А. Тарковский снял имя О. Сурковой в качестве своего соавтора». Но тогда у меня возникает вопрос: значит раньше, до того, как я с ним поспорила, С. Черток, зная наши взаимоотношения с А. Тарковским еще с Москвы, все-таки недоумевал, удивлялся? Видно, были у него причины для удивления?

Я благодарю С. Чертока за единственное откровенное признание, сделанное в мой адрес, но, к сожалению, не могу подтвердить его заявления, что даже в этом вопросе, как мне кажется, тоже очень далеко отстоящем от проблемы трактовки творчества С. Эйзенштейна, ему что-то стало «понятнее». Ведь чуть ниже он делает прямо противоположное заявление: оказывается, уже «Тарковский не пожелал ставить свое имя рядом с именем О. Сурковой». Разве С. Чертоку известна книга, вышедшая под именем О. Сурковой, на которой А. Тарковский не пожелал ставить своего имени? С. Черток пишет, что «О. Суркова упоминает о своем сотрудничестве с А. Тарковским», но разве не за это сотрудничество А. Тарковский благодарит меня в предисловии к книге «Запечатленное время»?

Что же касается моих взаимоотношений с А. Тарковским, то я вынуждена настаивать на третьем варианте, документально подтверждаемом моей перепиской с английским издательством этой книги «The Bodley Head»: я сама сняла свое имя с обложки книги «Запечатленное время». А как и почему это произошло, я надеюсь объяснить в своей книге, над которой я сейчас работаю и которая, надеюсь, кое-что прояснит не столько в наших взаимоотношениях с А. Тарковским, но, прежде всего, в его собственной творческой судьбе, какой она мне видится сегодня.

Что же касается еще и попытки С. Чертока намекнуть на мой «антисемитизм», отождествив вдруг мою статью с одиозно-знаменитым письмом В. Астафьева, то, как говорится, Бог ему судья... Провокационная нелепость этого заявления столь отвратительна, что я не считаю для себя возможным в моральном отношении что-то прояснять в этом контексте... или тем более оправдываться... в чем?.. что я «не верблюд»?..

И последнее.

С. Чертока оскорбляет рефрен, который ему слышится в моей статье: «А кто ты такой, чтобы замахиваться на Эйзенштейна?» Что ж? Не скрою, что вопросом этим я задавалась, когда читала его статью «Урок Эйзенштейна», да только не потому, что заранее лишала С. Чертока или могу лишить кого-либо права «замахиваться» на кого угодно, а потому, что качество статьи С. Чертока подталкивало меня к подобного рода размышлениям. Можно отстаивать любую точку зрения, самую парадоксальную и абсурдную, и сделать это так, что после прочтения именно эта точка зрения покажется единственно приемлемой и органичной. Можно с точкой зрения оппонента не согласиться, но уважать ее и с нею считаться. Вопрос, действительно, заключается в том, что за личность, творческая личность со своей позицией просматривается в той или иной точке зрения, изложенной на бумаге.

Похоже, что в данном случае новоявленный исследователь Эйзенштейна и впрямь не уверен, «по Сеньке ли шапка?» Ибо вместо того, чтобы укрепить и подтвердить свою позицию по сути впрямую заданных ему вопросов, С. Черток спешит «оправдаться» тем, что он, де, не первый замахнулся на «знаменитого режиссера тоталитарного искусства». Полноте, не стоит оправданий: я как раз доказывала обратное, что в статье нет ни одной оригинальной впрямую или косвенно незамысловатой мысли. Только и чужие идеи надобно уметь акцептировать, а не просто «холодную роскошь деталей и нищету мыслей», подхваченные у Н. Мандельштам из ее характеристики искусства Эйзенштейна, превратить незаметно в «свое» ощущение от его лекции: «интереснейшие детали, а в целом скучно, не о чем»... И расписаться: «С. Черток». А затем постараться скрыть концы в воду за развязностью тона.

С удовольствием, однако, отмечаю, что теперь С. Эйзенштейн все-таки назван у С. Чертока «знаменитым» кинорежиссером – значит не зря я высказывала недоумение, к чему понадобилось ему писать целую статью о «позабытом режиссере, чьи фильмы, – по его же прежнему утверждению, – проверку временем не выдержали». Зато теперь мне неясно, что такое «тоталитарное искусство»? Боюсь, что на этот раз, наконец, можно говорить о собственном изобретении С. Чертока. Это что-то вроде «сухой воды» – субстанции, мне лично

неизвестной. Ибо «искусство», напрямую выполняющее заказ тоталитарной власти и этим заказом исчерпывающееся, всегда было эрзацем подлинного искусства, пробивавшегося точно ростки через асфальт в самые тяжелые периоды тоталитарного давления.

Когда уважаемый историк М. Геллер, цитируемый С. Чертоком, пишет об Эйзенштейне, что «он выполнил первую заповедь воспитания ненависти – лишить автора человеческих черт», то я посоветовала бы С. Чертоку не просто довериться цитате, а сопоставить ее с проблемами «дегуманизации искусства», выдвинутыми как раз учеными «свободного мира», с таким благоговением упоминаемыми С. Чертоком.

Даже ссылка на Геббельса, призывавшего создать «подлинно нацистский фильм, взяв за пример „Броненосец <Потемкин>“», вовсе не кажется мне такой убийственно обличительной, как это представляется С. Чертоку. Разве не памятен ему пример великого Ницше, варварски протитуированного в идеологических целях германского фашизма?

Что же из того, что А. Тарковский или Н. Мандельштам не любят С. Эйзенштейна и не скрывают своего раздражения его фильмами? Толстой, как известно, не любил Шекспира, а Чехов не слишком жаловал Достоевского, полагая его «нескромным». Это ничего не убавило ни от значения Шекспира, ни от значения Достоевского, ни от значения Эйзенштейна, наконец, но многое добавило в характеристике высказывающихся, потому что еще раз подчеркнуло и проявило, сделало еще более отчетливыми и осязаемыми их собственные творческие позиции и «законы, ими над собою принятые» – там, где проходит линия размежевания крупных творческих индивидуальностей, устанавливаются пределы из собственного художнического мира.

Также далеко не все характеристики, даваемые Надеждой Мандельштам, должны быть восприняты как бесспорные и не нуждающиеся в комментариях – напротив, в них много субъективного, окрашенного ее темпераментом, ее складом характера – но именно поэтому ее книги представляют бесспорную ценность, написанные крупной, независимой и своеобразной личностью, ставящей свой диагноз своему времени и своим современникам.

Конечно, и журналист – тоже человек; и в своих статьях может проявиться личностью не менее крупной, чем та же

Надежда Мандельштам – как говорится, путь никому не заказан... Может высказать качественно новые идеи, которые благодарное человечество сохранит в своей памяти, но это должно проявиться, прежде всего, в свободном полете мысли... Иначе, действительно, рискует без ответа остаться вопрос: «А кто ты, на самом деле, такой, чтобы замахиваться на Эйзенштейна?»...

Ольга Суркова

ОТ РЕДАКЦИИ: Мы не беремся защищать С. Чертока от обвинений в плагиате, оставляя это право за ним самим. Что же касается статьи как таковой, ее пафоса и содержания, то мы целиком и полностью разделяем точку зрения ее автора. Мало того, считаем, что он в своих оценках роли С. Эйзенштейна в истории советского кинематографа излишне мягок и лицеприятен.

И еще два замечания по существу письма: 1) Параллель между судьбами Эйзенштейна и Тарковского, на наш взгляд, более чем сомнительна. 2) Ко времени публикации статьи С. Чертока в «Континенте» Тарковский уже отказался от советского гражданства, о чем автор письма в редакцию, присутствовавшая на пресс-конференции кинорежиссера в Милане, прекрасно осведомлена.

Глубокоуважаемый г-н редактор!

С интересом прочитал я письмо, приписываемое А. Рубинштейном Н. И. Бухарину («Континент», № 55, 1988, стр. 223 – 246). Это действительно любопытный документ эпохи.

Нет никаких сомнений в том, что М. Геллер прав. Прежде всего стилистически это не Н. И. Бухарин. Я чуть в меньшей мере согласен с М. Геллером в том, что это не Бухарин психологически (М. Геллер считает, что в 1924 году Бухарин искренне верил в идеалы коммунизма). Потому что политика, как сказал Сталин Жданову-сыну, – дело грязное. Так что эта грязь вряд ли оставляла реальному Бухарину место для иллюзий на седьмом году советской власти.

Но дело даже и не в этом. М. Геллер все равно прав. Ибо, как сказал Наполеон одному генералу, который хотел пере-

числить несколько причин своего поражения: «Одной достаточно».

Но главное в том, что и циничный, грамотный, тертый «Бухарин» звучит психологически неубедительно. Описывая события X съезда партии в 1921 году, дискуссию о профсоюзах между Лениным и Троцким, «Бухарин», с одной стороны, очень тонко и правильно оценивает суть этой дискуссии. Закончилась Гражданская война, и Красная Армия, как и всякая армия, в точности отражала внутривнутрипартийные группировки. Или даже наоборот: группировки отражали положение в армии и в ГПУ. И как в партии Троцкий при всей своей внешней популярности не имел реального веса, так было и в армии. Достаточно вспомнить, как нахально вел себя с ним Сталин, поддерживаемый Ворошиловым и Буденным и в Царицыне, и под Львовом. У Троцкого своих Ворошиловых и Буденных не было.

«Бухарин» в связи с этим вряд ли прав, приписывая какое-то большое значение загадочному молчанию главкома Красной Армии царского офицера С. С. Каменева (стр. 233). Каменев был техническим исполнителем, не более. А солдаты Красной Армии не могли смотреть на этого беляка и золотопогонника иначе как с ненавистью. Другое дело свой брат Ворошилов и Буденный.

Да и С. С. Каменев был назначен на пост главкома вопреки Троцкому. Все главкомы – Бонч-Бруевич, Вацетис, Каменев – назначались вопреки Троцкому.

Не имея влияния в армии и уже не нужный там в связи с окончанием Гражданской войны, Троцкий, естественно, пытался найти себе другую работу. Искать далеко не было необходимости. Ленин как государственный деятель явно был не создан для поста премьер-министра. Он утопал в мелочах, это было видно невооруженным глазом современникам, на эту тему есть статья Ю. Ларина, написанная вскоре после смерти Ленина, это видно и сейчас.

X съезд, как правильно пишет «Бухарин», под видом профсоюзной дискуссии и решал вопрос, кто будет председателем Совнаркома: Ленин или Троцкий. Но решался одновременно и вопрос о том, кто будет первым заместителем нового председателя Совнаркома, если такой будет. И поскольку профсоюзной платформе Ленина и Рудзутака противопостав-

лялась платформа Троцкого и Бухарина, то так писать о Троцком, как пишет «Бухарин», реальный Н. И. Бухарин не мог.

Но «Бухарин» совершенно прав: под видом дискуссии о теоретическом тряпье решался вопрос о власти. Предсовнаркома Ленин или предсовнаркома Троцкий, назначенный Лениным.

Было ли действительно так, что выигрыш был у Троцкого в руках, но он перепугался и ушел в кусты? Возможно. Психологически это действительно похоже на Троцкого. В некоторых отношениях он действительно был невинной девушкой, переполненной грешных желаний: «И хочется, и колется, и мама не велит». Но, скорее всего, он просто трезво взвешивал свое еврейство (еврею быть диктатором в России – не то, что грузину), а главное – свою чуждость в ленинской партии.

Линия поведения Троцкого на X съезде сводилась, вероятно, к тому, чтобы убедить Ленина в необходимости добровольной передачи власти. Этого не получилось. А без Ленина Троцкий был, как правильно говорит «Бухарин», нуль. Большой нуль, талантливый нуль, но нуль.

«Бухарин», увы, ничего не говорит о еще одном важном событии X съезда в 1921 году. И это и есть несомненное подтверждение того, что это «Бухарин», а не Бухарин. На X съезде по инициативе Ленина было принято секретное постановление о фракциях. Фракции отныне запрещались под угрозой вывода из руководящих органов партии или даже исключения из партии. Для участника X съезда Бухарина этот секрет, конечно, не был секретом. Для «Бухарина» – был.

Принято считать, что постановление о фракциях было направлено против Троцкого (надо бы добавить: и Бухарина). Но действительность всегда сложнее историографических штампов. Ленин на X съезде, как и всегда, вел борьбу на несколько фронтов. Не только против Троцкого и Бухарина, но и против Зиновьева, Каменева, Сталина.

Результатом этой второй борьбы было поражение Ленина, которое через полтора года, в середине декабря 1922 года, приобрело трагические для него размеры: поражение Ленина при выборах секретариата ЦК, куда были выбраны престалинцы Молотов, Ярославский и Михайлов, и назначение Сталина в апреле 1922 года генсеком по инициативе Зиновьева и/или Каменева. Этот триумвират поддерживал Дзержинский.

Ленин потерпел на X съезде еще одно поражение, слабо зафиксированное историками. Поражение против Сталина по национальному вопросу. Наркомнац Сталин на кавказском коне шел к власти над единой и неделимой Россией (а не над союзом равноправных республик, как вынужден был формулировать свою платформу более осторожный и более гибкий словесно Ленин). Это поражение Ленина от Сталина зафиксировано как поражение Сафарова против Сталина.

Но Сафаров, если не считать временного союза со Сталиным на VIII съезде в рамках военной оппозиции (обидно было старому социал-демократу уступать Красную Армию царским офицерам, «за что боролись»), был в остальном человеком Ленина, долготетним эмигрантом, многими годами эмиграции связанным с Лениным, даже приехавшим в Россию в апреле 1917 в знаменитом ленинском немецком вагоне. И Ленин вынужден был перевести Сафарова, дискредитированного на X съезде Сталиным, в Туркестан, где он, Ленин, пытался противопоставить сталинскому Кавказу ленинский Туркестан, послав туда еще одного своего сторонника, Рудзутака, и троцкиста, но антисталинца А. Иоффе.

Таким образом, не исключено, что, принимая решение о запрете фракций, Ленин уже в 1921 году планировал большие перемены в руководстве страной. Он отразились и в письме Ленина к Г. Шкловскому 1921 года, и в «Письме к съезду» 1923-24 годов, где он дезавуирует именно тех, от кого предполагал избавиться: Сталина, Троцкого, Зиновьева, Каменева, Бухарина, Пятакова. Именно поэтому он столь хитроумно, а на первый взгляд столь неожиданно напоминал о недостатках этих ведущих деятелей партии.

Очевидно, что новых людей, которых намечал Ленин, надо искать либо на периферии этого списка: Бухарин, Пятаков (если они покаются и пообещают вести себя как хорошие мальчики), либо за его пределами. Похоже, что большая роль в планах Ленина отводилась Рудзутaku, которого, судя по многочисленным слухам (см. А. Рыбаков, «Дети Арбата», Рой Медведев, Петренко в альманахе «Минувшее» и т. д.), Ленин прочил в генсеки вместо Сталина. Рудзутак был одним из вождей профсоюзов, главный соперник Томского (который тогда склонялся к Сталину). У Рудзутака были свои люди. Их Ленин осторожно называет в «Письме к съезду». Это те самые профессиональные рабочие, не занимавшие до этого пар-

тийно-государственных постов, которых надо ввести в ЦК, которыми надо расширить ЦК (чтобы потом его сократить за счет неугодных Ленину).

Понимая, что он действительно не справляется с работой Председателя Совнаркома, опытный политикан Ленин все-таки пытался и на елку влезть, и ничего не уколоть. Поэтому он не раз после X съезда предлагал способному администратору Троцкому стать своим заместителем. Но Троцкий, естественно, хотел все сейчас или ничего до тех пор, пока Ленин сам не поймет, что пора на дачу, на отдых.

Таковы некоторые дополнительные доказательства того, что «Бухарин» – не Бухарин. Они лишь подтверждают правильность главного вывода М. Геллера.

Несколько чисто технических замечаний А. Рубинштейну, который нашел этот интереснейший документ эпохи, написал легко читающееся вступление, а главное – пробил публикацию. Упомянутый на стр. 236 «бескорыстный Жоржик» – вряд ли давно уже покойный Георгий Валентинович Плеханов, который никакого отношения к Кремлю не имел. Скорее всего, это Георгий Леонидович Пятаков, человек, судя по мемуарам, действительно бескорыстный. Фамилия «Коллонтай» (стр. 228) пишется с двумя «л».

Я споткнулся на фразе «...государственные игорные приемы, организованные нам мужем жены нашего Левушки, „красным Распутиным“, Мишкой Разумным» (стр. 239). Примечание к слову «Левушки» – Лев Троцкий – не сразу помогает. И лишь потом я сообразил, что речь, возможно, идет не о церковном муже Натальи Седовой (такого у нее не было), а о законной, не гражданской жене Троцкого, Александре Соколовской, у которой, выходит, был второй муж. Так?

И наконец последнее предложение-замечание, которым я обязан вступлению А. Рубинштейна. Вполне возможно, что авторство этого письма устанавливается очень просто. В далекие времена сосланный в Сибирь Троцкий выбрал себе свой первый псевдоним «Антидот», «противоядие». Конечно, решив остановиться на этом псевдониме по семантическим причинам, он не мог не заметить, что там есть многие буквы его отчества и фамилии: А, И, Д, О, О, Н, Т, И, Н, (Лев) ДА(в)ИДО(в)И(чБр)ОН(ш)Т(е)ИН. Не говорит ли сам автор первой публикации письма «Бухарина» Илия Британ, он же Илия Б. и И. Б., кто подлинный автор этого письма? Потому

что слова «Ибо я – большевик!» содержат в себе, как и имя «Илия Британ», буквы И, Л, И, Я, Б, ИБояБоЛьшевиК. В результате получается Илия Б., или И. Б., т. е. Илия Британ.

Пытаясь способствовать большей популярности своей брошюры, Илия Британ опустил в списке кремлевских мечтателей имя Бухарина. На эту удочку попался Жорж Удар, автор перевода брошюры на французский язык в 1928 году. Илию Британа Жорж Удар, вероятно, знал, но не настолько, чтобы Британ с ним откровенничал. Как свидетельство Британа, этот документ в 1928 году уже не имел большого веса. Совсем иное дело, если это письмо было написано самим Бухариным. Для Бухарина «Ревю универсель» нашел место. Но это был не Бухарин.

С искренним уважением

Ваш Соломон Иоффе

Уважаемый Владимир Емельянович!

Это письмо послано в «Литературную газету». Однако публиковать его не хотят, так же, как отказали в этом и ряд других газет и журналов. Причин можно усмотреть две. Первая – С. Залыгин пользуется покровительством со стороны *Е. К. Лигачева*, именно ему он обязан получением звания Героя соцтруда. Указ об этом поразил читателей, так как никто не видел в С. Залыгине известного писателя, да и общественных дел он также никаких не делал. И особенно обескураживало то, что Указ этот был подписан почти за десять месяцев до юбилея (его 75-летие только в декабре 1988 г.), чья-то рука поспешила венчать героя, дабы не опоздать. Вторая – состоит в том, что из тех, кто топтал писателя Б. Пастернака и других честных людей, еще многие здравствуют. Много их и среди мастеров пера, у руля прессы, на идеологических постах. Вот и становится на этом примере понятным то, что у перестройки, гласности очень много реальных, облеченных властью и славой врагов и побороть их вряд ли удастся быстро, видимо, нужна смена поколений.

С. Залыгин свою миссию выполнил, он развязал погромный поход против «перебросчиков» в духе худших сталинских

времен: с ярлыками, обвинениями в экономической диверсии, с требованием расправы. И хотя теперь это несовременно, он еще надеется на успех, авось что-то еще раз удастся *повернуть*.

И. Р.

ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ ГЕРОЯ «ПОВОРОТОВ» ПИСАТЕЛЯ СЕРГЕЯ ЗАЛЫГИНА

Последний ли это был «поворот» в его жизни, он не может знать, но точно не первый – хотя известно это не многим. И хорошо.

Но, все-таки, когда же был первый? Давно это было, лучше не вспоминать, ведь утверждают, что и затаенные мысли рано или поздно выявляются в поступках. Да, тот, пожалуй, первый поворот был очень важным. Грянула война. Почти все однокашники и окончившие чуть позднее молодые мужчины-выпускники гидромелиоративного факультета Омского сельхозинститута им. С. М. Кирова выстроились у дверей военкомата – добровольцами на фронт. А вскоре эшелоны с сибиряками двигались к Москве, чтобы стоять насмерть и защищать столицу Родины. Все, да не совсем. Тут-то и был сделан нужный поворот, ведь на обском севере, в Гидрометслужбе тоже нужны здоровые мужики; холодные, суровые края, но спокойно, не стреляют, и бронь! А то, что ты не гидролог, а гидротехник, не имеет значения. А для будущего писателя еще и жизненный опыт.

Как ни тяжелы были испытания для страны, и сколь ни велики потери ее, но жизнь возвращалась к мирному укладу. Везде нужны были специалисты, крепкие руки. Опыт работы агрономом (еще до института) и знания инженера-гидротехника были бесценны для сибирского села. Но и здесь можно было выбирать, делать свой поворот в жизни. И он сделал – снова в институт, и вот через три года на стол положена кандидатская диссертация и уже на второй день – иное положение, большая зарплата. Выбор оправдался снова, поворот удался. Вот только раздражающе действуют встречающиеся ветераны войны и их еще совсем уж выгоревшие и застиранные гимнастерки или пиджаки с орденскими колодками. Уже напи-

саны первые рассказы, уже вылиты много верноподданического еля великому кормчему страны на страницах омского и новосибирского издательств, уже давно пора закреплять жизненную позицию вступлением в Союз писателей и в партию. Но ожидание возможных вопросов все дает о себе знать, так и чудится грубоватый голос секретаря местного райкома: расскажите, почему вы, здоровый мужчина, не были на фронте?

Позже биографы, тактично обойдя этот период биографии, отметят, что писатель состоялся после 1954 г. Наступало новое время, но еще не время «Нового мира». Как на этом новом отрезке жизненного пути определить свой путь, ведь любые эпохальные события раскрывают возможности или ставят перед необходимостью выбора. Нужен очередной поворот. И он сделан. Шел 1957 год, за границей издан роман Бориса Пастернака «Доктор Живаго», в 1958 г. переведенный на многие языки, удостоенный Нобелевской премии. В среде писателей были знакомы с этим произведением, не пропущенным нашей цензурой к публикации. Надо было «доказать», «убедить» советских людей, что этот роман вреден социалистическому обществу, людям. И за эту работу активно берется наш писатель. Вот текст письма, подписанного им и некоторыми другими в 1958 году и опубликованного тогда же в ж. «Сибирские огни», № 11 (1958) «Предательству – позор и презрение».

В качестве образчика приведу лишь заключительные строки этого шедевра стилистики и нравственности:

«...Великие писатели всех стран и народов приветствовали Октябрьскую революцию как светлую зарю нового мира. Анатолий Франс, Анри Барбюс, Ромен Роллан, Теодор Драйзер и многие другие лучшие сыны своего времени преклонялись перед подвигом советских людей.

И все это подстрекаемый мировой контрреволюцией Пастернак вздумал очернить своим зловонным пером.

Предательство Пастернака трижды омерзительно. Живя среди нас, нося высокое звание советского писателя, получая все жизненные блага от народа, он давным-давно был моральным эмигрантом, далеким от народа и враждебным ему.

Климу Самгину, которому подобен Пастернак, кто-то из народа сказал: „Уйди! Уйди с дороги, таракан“.

– Уйди! – говорим мы вместе со всем советским народом Пастернаку.

Не место Пастернаку в нашей стране.

Он не достоин дышать одним воздухом с советским народом.

А. Высоцкий, С. Залыгин и другие.»

Готовил и подписывал это уже не начинающий, а умудренный жизнью сорокапятилетний ученый, член Союза писателей.

И опять на какое-то время этот «поворот» оказался удачным; его творчество благосклонно обсуждается в Союзе писателей РСФСР, у него большие возможности писать и печататься. И только позже придет горькое осознание, гнетущая тяжесть от всего этого и желание как-то, хотя и с большим опозданием, но доказать людям, что он не был таким, такой была жизнь. И, видимо, все отчетливее понимая, что такие повороты непоправимы и неисправимы, и что даже всеобщее всепрощенство и отпущение грехов за прошлое друг другу и всем миром разом не облегчают его состояния, а только конкретнее высвечивают жившее в нем стремление «поймать свой ветер в паруса».

Как утверждает теперь с сожалением писатель, «надо было пораньше признаться самому себе в том, что литература – твое призвание» и «укоротить» свой путь в литературу. А это значит – раньше отречься от занятий, связанных с профессией инженера-гидромелиоратора. Но, видимо, неспроста привязанность к профессии писатель сохранял долго, да и сохраняет сейчас. И здесь, как оказалось, можно извлечь много полезного, в т. ч. для личной карьеры. Вот пример с обсуждением проекта Нижне-Обской ГЭС, грозившей большими затоплениями территории, в т. ч. перспективной для нефтедобычи (что было известно и правильно оценено и тогда). При рассмотрении в 1968-1969 гг. на разных уровнях и форумах проектного задания по этому объекту (докладывал А. Н. Чемин), с первых же шагов возникли возражения о целесообразности создания водохранилища из-за больших затоплений. Многие ныне здравствующие ученые и крупные инженеры хорошо помнят это время и активно содействовали тому, чтобы не допустить разработку рабочего проекта (была подготовлена первая стадия – проектное задание); это – старейший гидролог

страны профессор С. Л. Вендров, крупнейший специалист по водохозяйственным расчетам Д. В. Коренистов, профессор А. Б. Авакян, автор этой статьи и многие другие. Живы некоторые участники рассмотрения этих материалов в Сибирском отделении АН СССР, в специальной секции под председательством проф. М. Ф. Менкеля и на бюро Тюменского обкома КПСС, на других совещаниях. Были протоколы и решения, вот не было только среди оппонентов нашего писателя, не слышал никто его страстных слов по защите земель или активной деятельности по принятию решений против ГЭС. Да и собственные публикации писателя по этому вопросу не говорят об этом. Вот что писал он в 1970, когда все выяснилось и решение об отклонении проектного задания состоялось: «Эту ГЭС можно рассматривать только как самую последнюю, заключительную ступень каскада всего бассейна, последнюю и по значению, и по срокам исполнения». Как видно, автор не усмотрел тогда и даже позже всей пагубности от создания водохранилища, все это он «осознал» задним числом в восьмидесятые годы, но время для поворота к теме выбрал удачное: историю вопроса стали забывать, а о вреде водохранилищ стали говорить много. И вот уже писатель не оспаривает, когда ему услужливо приписывают лавры почти единоличного борца против Нижне-Обской ГЭС, и, наконец, сам заявляет на совещании в ЦК КПСС об этом геройстве.

А теперь пора вспомнить о том самом решительном «повороте» писателя, в котором он после решения политбюро ЦК КПСС активно восстал против переброски части речного стока с севера на юг страны, возвысив тему до глобальных масштабов борьбы с бюрократизмом и ведомственностью в защиту природы и прогресса. Этот «поворот» писатель направил против ученых и проектировщиков, коллег по профессии, но прежде всего для пользы собственной. И вновь, как и в других поворотных моментах жизни, расчет был на удачу, на забвение прошлого другими, на великое безмолвное всепрощение в нашем народе в случае неудачи. Как писатель и кандидат наук, всю энергию он прежде всего направил против тех инженерных решений и приемов, за которые недавно ратовал как научный работник: против развития орошения земель в Средней Азии, строительства каналов и водохранилищ. В этих объектах он увидел зло, которое привело наше хозяйство к неисчислимым бедам. И в своих убеждениях он не остано-

вается на малом, с трибуны авторитетного совещания беды от гидротехнического строительства он расценил пострашнее, чем от Чернобыльской аварии. Конечно, в писательской фантазии ему не откажешь. Вот только жаль, что неведомо ему как специалисту, что решающими средствами ликвидации последствий аварии в Чернобыле и прилегающих районах стали гидротехнические сооружения: обвалование, плотины, дамбы, водохранилища, дренажные системы и т. п.

Еще совсем недавно писатель в роли ученого доказывал необходимость развития мелиораций в Сибири и на Иртыше, строительства водохранилищ на реках, каналов для переброски сибирского стока. Он писал в 1970 г.: «И все виды водных мелиораций крайне необходимы...» «Конечно, водохранилища на Оби, по-видимому, рано или поздно возникнут. Рано или поздно вода Оби должна быть использована для орошения Кулундинской, Прииртышской степи и даже пустынь Средней Азии. Но вот там – действительно будет „восстановление“ земель, которые без воды представляют собой бесплодную пустыню». Немало сказано в трудах писателя и такого, с чем сегодня вполне могут согласиться специалисты. Но писатель от всего этого теперь отрешивается, отрекается, приписывая проектировщикам не переброску части стока Оби, а ее поворот. Это, разумеется, абсурд, но на читателя действует впечатляюще! Если говорить о переброске стока, нельзя забывать надвигающуюся катастрофу Арала. Единственным средством предотвратить ее будет переброска части стока Оби и Енисея. Пройдет немного лет и эту проблему придется решать срочно – методом ликвидации аварии в Чернобыле ... Но как быть? Но благо писатель сделал свой очередной поворот и хотел бы, чтобы с ним его разделили все. Но это, видимо, уж слишком! Ведь не разделяли с ним его поворота в отношении Б. Пастернака в 1958 г. многие, и не только писатели (так и хочется сказать подавляющее большинство, но нет статистики). Потребовалось почти два десятка лет, чтобы и писатель набрался смелости сказать об этом вслух, но делает это он тогда, когда это сделали все и без его помощи, а сказав это, он «забыл» самое главное: окончательный ли и последний ли это «поворот» в его жизни?

Надо отметить, что и последний поворот начался для него удачно: писатель перехватил инициативу некоторых выступлений и уже как специалист, со «знанием дела» представил

обобщение и выводы, скорее напоминающие прокурорскую речь (сравните с речами Вышинского!). Правда, как тут же выяснилось, и не только среди специалистов, все его обобщения – профанация, а все аргументы – грубое невежество и фальсификация. Но об этом в прессу почти ничего не просочилось: друзья помогли создать надежный заслон. Правда, часть материалов пришлось выпустить, точнее, настойчиво порекомендовали из ЦК КПСС опубликовать. Причем, сделано это было на основе рассмотрения документов, представленных в ЦК КПСС и показавших недобросовестность аргументов писателя. Но ведь об этом мало кто знает! А прибегнув к очередному «повороту», правда на этот раз «мини», писатель даже с выгодой подал общественности факт публикации в журнале «Новый мир» (№ 7 за 1987 г.) нескольких статей сторонников территориального перераспределения части речного стока: во-первых, здесь же их снова оболгал, во-вторых, друзья тут же помогли выдать публикацию за большой демократизм писателя и его смелое вступление в полемику.

Вот только, когда его действительно приглашают для встречи специалисты, он упорно и под разными предлогами уклоняется: не пошел он в коллектив Института водных проблем АН СССР в январе 1987 г., не приехал на V Всесоюзный гидрологический съезд в Ленинград в августе 1986 г., не явился в 1987 г. ни на одно заседание комиссии Совета министров СССР по Аралу (где значился членом), не был ни на одном из нескольких десятков совещаний специалистов, обсуждавших проблемы, судьей для которых он себя назначил. Хотя при этом писатель продолжает публично утверждать, что он за открытое обсуждение и готов на встречи (правда, как он заявляет: «не при закрытых дверях с коллективом института (?!), а перед экраном телекамеры»). Да и легко понять писателя, нужны были большие силы и много времени для закрепления сделанных фальсификаций: в многочисленных сборниках, журналах, газетах переиздавал свои утверждения, давал интервью, организовывались многочисленные поддержки в газетах, по радио, телевидению... И, вопреки восточной пословице «сколько раз не повторяй слово „халва“, „халва...“, во рту слаще не станет», в головы многих удалось поселить вместо реальных оценок событий – ложные, вздорные или умышленно извращенные. Примеров, к сожалению, тьма. Вот один недавний и самый массовый. По телевидению в «Прожекторе

перестройки» 13 февраля первая программа показала передачу о Волге. Среди прочих несуразиц и просто умышленной дезинформации есть реплика ведущего корреспондента о том, что у нас в стране затоплено водохранилищами 10-15 млн. га лучших земель. Несколько позже там же ак. Д. С. Лихачев замечает, что площадь затоплений равна территории Франции. Загляните, любознательный читатель, в соответствующий справочник и увидите, что площадь Франции 551,6 тыс. кв. км, более 55 млн. га. И посмотрите в специальные выпуски ЦСУ или книги о водохранилищах СССР и мира, и вы увидите, что затоплено в СССР всего земель сельхозпользования – 3,1 млн. га. Кому же нужны эти преувеличения (если их можно так назвать), и для чего в уста очень уважаемых, авторитетных людей вкладывают такую ложь? Имеет ли этот пример отношение к нашему писателю? Самое прямое: ранее он писал такие же неверные цифры и те же бранные слова огульно многократно высказывал в адрес водохранилищ.

Но, возвращаясь к результатам последнего «поворота», все-таки надо еще раз сказать, он пока удался автору: общественное мнение сместилось в его пользу, доверилось этой «информации» из уст специалиста, сработало это и «наверху», результаты – на лацкане пиджака. Правда, не всё до конца получилось: очень хотелось в академики. Почтение чинов и званий, как оказалось, у писателя весьма глубокое, как у гоголевских героев. Вот, например, когда «перебросчики» к фамилии одного академика не приписали его высокие звания, каким окриком городничего осадил он забывшихся! Однако в арсенале отличий и отметин у государства есть еще многое, нужно только вовремя потребовать, именно потребовать. Это с внешней стороны для доверчивой общественности все выглядит как пришедшее по заслугам от благодарного общества. А в действительности-то человек и в самом деле хозяин своей судьбы, надо лишь вовремя уметь делать «повороты», опираясь на «нужных» людей, которые снабжают «горе-публициста и мелиората» С. Залыгина подходящей информацией. Страна должна знать их. Это, прежде всего, академик-геолог А. Л. Яншин, академик химик-технолог Б. Н. Ласкорин и академик ВАСХНИЛ В. А. Тихонов, профессор-экономист М. Я. Лемешев – создатели самозванной неформальной так называемой «мелиоративной комиссии», с помощью которой пресса изобилует безграмотными, подтасованными и лживыми материа-

лами по проблеме водообеспечения, что отнюдь не помогает вести перестройку в деле водообеспечения народного хозяйства страны и особенно Среднеазиатского региона.

И. Русинов

Заслуженный мелиоратор РСФСР, ветеран Великой Отечественной войны, председатель Совета войны и труда Всесоюзного объединения «Прогресс».

ОТ РЕДАКЦИИ: В силу своей некомпетентности в области мелиорации мы не можем принять позиции той или другой стороны в споре о переброске рек, но, тем не менее, считаем, что право высказаться имеют обе. К тому же, на наш взгляд, страна должна знать своих героев разминированных полей – «прорабов перестройки», в ряду которых Сергей Зальгин занимает сегодня одно из первых мест. От себя процитируем только дополнительный образчик эпистолярного наследия этого плодовитого писателя:

«В нынешний исторический момент, когда происходят благотворные перемены в политическом климате планеты, поведение таких людей, как Сахаров и Солженицын, клеветующих на наш государственный и общественный строй, пытающихся породить недоверие к миролюбивой политике советского государства и, по существу, призывающих Запад продолжать политику «холодной войны», не может не вызвать никаких других чувств, кроме глубокого презрения и осуждения».

Правды ради, должны оговориться, что письмо состряпано в соавторстве с друзьями по перестройке: Айтматовым, Быковым, Салынским и прочими представителями «нового мышления», а также их нынешними оппонентами.

ПОПРАВКА

В № 56 нашего журнала в рецензии В. М. на книгу Сергея Оболенского «Жанна – Божья Дева» допущена фактическая ошибка: французский химик Лавуазье назван математиком. Приносим свои извинения читателям.

Критика и библиография

КТО СДЕЛАЛ РЕВОЛЮЦИЮ?

Об этом говорят и спорят вот уже восьмой десяток лет. Спорят страстно, запальчиво, как говорится, не взирая на лица. Советская пропаганда утверждает, что сие действие осуществил в братском союзе с многомиллионным крестьянством российский рабочий класс под мудрым руководством партии большевиков. Эмигрантская публицистика доказывает, что это набезобразничали масоны, евреи и прочие инородцы. Западная советология глубокомысленно выводит, что во всем виноваты рабские инстинкты русского народа. Воистину, выбирай на любой вкус – не ошибешься.

Книга князя Владимира Андреевича Оболенского «Моя жизнь, мои современники» в известной мере обстоятельно отвечает на этот сакраментальный вопрос. Автор – отпрыск одной из лучших аристократических фамилий, выпускник Петербургского университета, в молодости социал-демократ, а затем один из основателей Союза освобождения, из которого впоследствии родилась кадетская партия, где он долгие годы состоял членом центрального комитета, довольно бесхитростно описывает свой долгий жизненный путь, но, сам того не подозревая, как бы восстанавливает перед читателем биографию революции.

Оставим в стороне анализ разрушительной работы различных радикальных групп (эта работа достаточно широко освещена даже в советских исследованиях), приведем лишь выборочный список участников первого заседания Союза земцев, которое практически заложило основу конституционно-демократической партии России:

«На меня оно произвело импонирующее впечатление. Впервые, казалось совершенно невероятным, что в эту пору самой крупной реакции многочисленное собрание в огромном зале барского особняка откровенно обсуждало вопросы борьбы с существующим строем в присутствии избранной

В. Оболенский. Моя жизнь, мои современники. Париж, «ИМКА-Пресс», 1988.

публики, сидевшей вдоль стен. Было странно также видеть среди членов этого нелегального общества людей уже немолодых, известных своими умеренными взглядами и совершенно не приспособленных к какой-либо конспиративной деятельности...»

И далее следуют фамилии. Даю их, как я уже отметил, лишь выборочно, иначе это заняло бы слишком много места: граф Гейден, князь Волконский, Кузьмина-Караваева, князь Шаховской, Кокошкин, князь Павел Долгорукий, фон Рутцен, князь Петр Долгорукий, Протопопов, князь Трубецкой, Петрово-Соловово, профессор Карышев и так далее, как говорится, и тому подобное.

А затем на протяжении всей книги перед читателем проходит целая вереница этих самодеятельных любителей поиграть в ниспровергателей основ и государственных деятелей: полицейские чины и университетские светила, священнослужители и салонные барыньки, губернские и уездные предводители дворянства вкупе с банковскими воротилами и крупными шинкарями.

Характерна в этом смысле фигура дмитровского исправника Иваненко, о котором автор повествует с нескрываемой симпатией:

«Это был довольно грузный старик, добродушный и хлебосольный, но вместе с тем культурный и интересный собеседник. Был большим книголюбом и собрал хорошую библиотеку, в которой, между прочим, имелось полное собрание сочинений Герцена, запрещенного тогда в России. Иваненко очень любил Герцена и с увлечением о нем говорил. Такого исправника я встретил в первый раз в моей жизни и поинтересовался узнать у него – «как он дошел до жизни такой». Он охотно рассказал мне о себе. Он был помещиком Курской губернии и завел в имении «образцовое» хозяйство, которое оказалось, однако, убыточным. А когда сверх того пустился в аферы и сделался участником каких-то промышленных предприятий, то разорился вконец. Имение было продано за долги, и он с семьей оказался без средств».

Согласитесь, если уж полицейские исправники из глухой российской тмутаракани начинали тогда зачитываться Герценом, то нашей государственности оставалось вскоре приказать долго жить. И другого исхода, кроме того, что оказал себя в семнадцатом году, быть не могло.

Самое печальное в этих воспоминаниях, что, написанные уже в эмиграции, они не содержат в себе никаких попыток осмыслить пережитое и сделать соответствующие выводы: ни тени раскаянья, чувства вины или хотя бы сожаления о роковых для страны ошибках. Все, по мнению автора, как он это мнение излагает в книге, было в его жизни абсолютно безукоризненным, что называется, и лицо, и душа, и одежда.

Чего стоит одна только фраза из вводного объяснения к главе о японской войне и земском движении, посвященной событиям 1904 – 1905 годов: «Мы с М. К. Мурзаевым, Л. С. Заком и В. А. Могилевским раскачиваем революцию в Симферополе».

Господи, сколько за годы моей, теперь уже почти пятнадцатилетней эмиграции пришлось мне прочитать воспоминаний участников и свидетелей трагических событий русской революции. От Зинаиды Гиппиус и Антона Деникина до Нины Кривошеиной и Владимира Набокова – отца нашего нынешнего классика. И все они, за редчайшим и счастливым исключением, написаны по одной и той же схеме: если бы да кабы, да во рту б росли грибы. Послушать каждого такого автора, то все объясняется очень просто. Если бы на всех путях своего предреволюционного, революционного и послереволюционного развития русское общество внимательно отнеслось бы к его, этого автора, указаниям и советам, все бы в России пошло бы самым наилучшим образом. Но, к сожалению, общество преступно манкировало, и вот результат.

Примерно на таком уровне политической культуры они и действовали всю свою сознательную жизнь. И, подвизаясь на общественном или политическом поприще и думской России, и после Февраля, и в Октябре, и в перипетиях Гражданской войны, и, что еще печальнее, уже в эмиграции.

Да, да, оставив у себя за спиной раздавленную и обесцеленную страну, они и на чужбине продолжали свои самоубийственные игры в «левые» и «правые», «реакцию» и «прогресс», сводили друг с другом счеты, не гнушаясь порою даже «мокрыми» способами: вспомним хотя бы убитого в таких вот дебатах старшего Владимира Набокова. Ничего не забыли, но, к несчастью, ничему и не научились.

Книги «Всероссийской мемуарной библиотеки», основанной Александром Солженицыным, служат, на мой взгляд, хорошему службу в деле восстановления нашей исторической

памяти. Но, по моему глубокому убеждению, гораздо важнее, усвоит ли наш читатель столь судьбоносные для всех нас уроки истории. Судя по всему происходящему у нас в стране и в эмиграции, пока еще слабо. Мы, как это ни грустно, продолжаем славные традиции своих предшественников. Дай-то Бог, собственный опыт заставит нас поумнеть.

«„Да, я люблю Керенского“, – ставя это восклицание в кавычки, заканчивает воспоминания автор, – что в их, – он имеет в виду своих собеседников, – представлении означало, что я люблю свободу и демократию. Конечно, не формы демократии – не „Керенского“, „четырёххвостку“ и парламентаризм, а дух и смысл исконных идеалов человечества – Свободы, Справедливости и Любви. Эти идеалы, ныне отвергаемые идеологами тоталитарных режимов, я воспринял с раннего детства от своей матери в чтении Христа».

Здесь так и хочется воскликнуть: грешить грешите, вам самим отвечать за собственные грехи, но оставьте при этом в покое хотя бы Христа!

Хочу закончить стихотворением Максимилиана Волошина «Мир», которое можно было бы поставить эпиграфом к этой книге:

С Россией кончено... На последях
Ее мы прогалдели, проболтали,
Пролузгали, пропили, проплевали,
Замызгали на грязных площадях,
Распродали на улицах: не надо ль
Кому земли, республик да свобод,
Гражданских прав? И родину народ
Сам выволок на гноище, как падаль.
О, Господи, разверзи, расточи,
Пошли на нас огонь, язвы и бичи,
Германцев с запада, монгол с востока,
Отдай нас в рабство вновь и навсегда,
Чтоб искупить смиренно и глубоко
Иудин грех до Страшного Суда!

В. Максимов

ЛЕТОПИСЬ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Документально-биографический жанр, как известно, популярен во всем мире. Особый спрос на него – в Советском Союзе. Знаю, с какой быстротой разлетаются книги воспоминаний с прилавков московских книжных магазинов. Успех в основном приходится на долю бравурно-победных мемуаров видных вначале чиновников, видных государственных деятелей и деятелей культуры. Однако приоткрыта сейчас в СССР и иная тема – лагерная. Увы, книгам воспоминаний двух бывших узников ГУЛага не нашлось, да и вряд ли найдется место в советских издательствах.

Случилось так, что эти книги я прочел вместе, в том порядке, в каком их выпустило парижское издательство «Atheneum». Это – книга Олега Волкова «Погружение во тьму» и два тома воспоминаний «Семейная хроника» Татьяна Аксаковой-Сиверс. И случилось так, что судьбы их авторов словно бы соединились в моем представлении. Иначе, впрочем, и не могло случиться. Писателю, журналисту и переводчику Олегу Васильевичу Волкову, которому сейчас восемьдесят шесть лет и который поныне живет в Москве, и Татьяне Александровне Аксаковой-Сиверс, также, кстати, занимавшейся переводами, в девяностолетнем возрасте умершей в 1982 году в Советском Союзе, выходцам из семей русской интеллигенции, пришлось испить общую чашу. Общую для целого поколения их современников-соотечественников, а, в частности, для того сословия, с которым после революции 1917 года новая власть повела беспощадную, уничтожающую войну.

Почти впрямую пересеклись их судьбы. Почти накоротко замкнулись. Отсюда и переклички в их воспоминаниях, отсюда и то впечатление, будто их книги – одна книга.

Аксакова-Сиверс, дочь известного ученого-генеалого Александра Александровича Сиверса, родилась в Петербурге, жила в Москве и в Калужском имении в небольшом селении Аладино, была связана со многими именитыми людьми своего времени. Она вполне могла бы избежать ГУЛага: дважды

Олег Волков. Погружение во тьму. Из пережитого. Париж, «Atheneum», 1987.

Татьяна Аксакова-Сиверс. Семейная хроника. В 2-х кн. Париж, «Atheneum», 1988.

после революции уезжала за границу, однако возвращалась. Вернулась из Франции и во второй раз, оставив там мать и сына. Очень скоро оказалась сначала в ссылке, затем в тюрьме, затем в лагере и наконец – в новой ссылке. Возможность избежать будущих мытарств предоставлялась и Олегу Волкову в то время, когда «начался великий исход российской интеллигенции за рубежи ощетинившейся отчизны». Однако отец его не решился покинуть Россию. «И, быть может, милостью Божией, – пишет Волков, – был для отца сердечный приступ, унесший его в могилу... Он увидел только цветочки, еще мог держаться слабой надежды... Ягодки завязались через десяток свирепых и кровавых лет». То было в девятнадцатом году. Отец Аксаковой-Сиверс лишь чудом избежал в восемнадцатом году «смертной баржи», когда арестованных петербургских интеллигентов и чиновников грузили у причалов Петропавловской крепости и отправляли на смерть в Kronштадт. Но не избежал лагерей.

Московская жизнь Олега Волкова, как говорит он в своих воспоминаниях, «оборвалась внезапно» и, как оказалось, надолго пасмурным февральским днем двадцать восьмого года, когда посреди улицы подошел к нему человек и незаметным движением вытащил красную книжечку ГПУ.. Грозилы ему на Лубянке: «Сгноим в лагерях». «Ведь и вправду едва не сгноили», – восклицает автор «Погружения во тьму». На целых тридцать лет пришлось «погрузиться во тьму» лагерей. После камер Лубянки и Бутырок он прошел все круги ада, «через которые прошло за советские годы в России больше народу, чем, вероятно, за всем земном шаре за всю историю человечества». На Соловках он отбыл «два неполных срока» и находился на этом острове «Пыток и Слез», как раз в то время, когда там прогремели выстрелы Варфоломеевской ночи – массового расстрела заключенных, среди которых погиб и брат Татьяны Александровны Аксаковой-Сиверс – Александр Сиверс. Смерть последнего, по словам одного из соловецких узников, приводимым автором «Семейной хроники», заставила вздрогнуть весь лагерь: достойнейший человек Александр Сиверс и умирал достойно...

Вина подавляющего большинства жертв и тех, кто проходит перед мысленным взором читателей на страницах «Семейной хроники», и тех, кто проходит на страницах пережитого «Погружения во тьму», – одна: происхождение. Это люди «бе-

лой кости». Против них прежде всего и обрушился слепой безудержный народный гнев.

Жизнь, переживаемая изнутри, по замечанию М. М. Бахтина, не трагична и не прекрасна. Я хотел применить эти слова к воспоминаниям Волкова и Аксаковой-Сиверс, однако если они применимы к литературе, к художественному творчеству, то с жанром мемуарным, биографическим они все-таки вступают в противоречие. Во всяком случае, трагизм пережитого авторами «Семейной хроники» и «Погружения во тьму» очевиден. В кратком отзыве вряд ли имеет смысл пытаться воспроизвести эпизоды из этих книг. Однако, прочитав эти книги, снова и снова возвращаюсь к их страницам...

После первого срока на Соловках Олега Волкова снова арестовали в Ясной Поляне. Добивались от него в камерах тульского НКВД признания в шпионаже, будто бы он «приехал в Тулу, чтобы выведать секреты Оружейного завода и передать их иностранной разведке». Чередовавшиеся друг с другом следователи грозили «шлепнуть», «дать вышака», «отправить на луну», «пустить в расход» или «на распыл». «Один из них разыгрывал в дымину пьяного. Он неправдоподобно раскачивался, и рука с пистолетом, каким он тыкал в меня, ходила ходуном. Второй, за столиком, уговаривал товарища повременить, а меня, пока не поздно, признаться». А дальше опять: решение Особого совещания, «пресловутой Тройки», и снова – этапы, снова путь на Соловки. «Как-то под утро, – рассказывает Волков, – я был разбужен шумом. Со двора доносился топот множества ног по гулким доскам, крики, особенно разнузданная, кощунственная брань. Я выглянул из тамбура. В неясном предутреннем освещении по линейкам грузно бежали, в одиночку и группами, серые тени, грохоча башмаками и запаленно дыша. Вдоль мостков, неподалеку друг от друга, стояли охранники с «дрынами» – увесистыми березовыми дубинками, какими они с размаху лупили отстающих, а то и просто удобно подвернувшихся зэков». Это лишь одна сцена «забав» вертухаев, тех, кого уже невозможно назвать людьми. Впрочем, даже и зверьями нельзя назвать (инстинкт зверя – это не жестокость). Одна из сцен. А сколько их в томе воспоминаний Олега Волкова! На любой странице, на какой ни раскроет читатель «Погружение во тьму», как в кошмарном сне, всюду подстерегают его ужасы. И ведь это же все была реальность, правда. Это же все не придумано. Это же не

плод досужего вымысла, писательской фантазии. Ну вот, казалось бы, самое безобидное – описание труда, того, как лучше делать запил, в какую сторону валить дерево, и вдруг замечание: «Кубометры урока – как наведенное на тебя дуло пистолета. И только подумать, что находились ликующие перья, писавшие об этом, как о трудовом подъеме!»

Воспоминания Аксаковой-Сиверс существенно отличаются от воспоминаний Волкова. В какой-то мере они даже противоположны. «Хроника» повествует не только о лагерях: оставаясь в полном смысле хроникой, она рассказывает о судьбах тех, кто так или иначе попадал в поле зрения ее автора. Двухтомник «Семейной хроники» можно назвать своего рода энциклопедией дворянской жизни на рубеже XIX и XX столетий, а в конечном итоге – и своего рода энциклопедией уничтожения дворянского сословия после революции.

Аксакова-Сиверс сдерживает гнев, о своих мытарствах говорит порой с оттенком иронии, которая, впрочем, ничуть не заслоняет от читателя горечи происшедшего – того же абсурда и ужаса действительности. Я приведу вроде бы забавный эпизод, происшедший с Аксаковой-Сиверс в одной из ссылок, которых, кстати, было у нее три, помимо двух арестов, двух тюрем и одного лагеря. В Алма-Ате, когда внезапно обрушились на этот город снежные бури, в прямом смысле прозябая от холода и голода, Аксакова-Сиверс решила продать любимую собаку, дала объявление в газете. Однажды примчал к ней чекист, набросился, допытываясь, что это она тут продает. Ответ, что продается собака, привел его в ярость: «Что вы мне голову морочите? Что я, не знаю, что бульдог – это пистолет!» – закричал он. Тогда она вырвала из его рук газету и, потрясая ею, в свою очередь спросила: «А при чем тут „самка“, если это пистолет?» Позже и сама Аксакова-Сиверс посмеялась над этим эпизодом, однако в то время, как говорит она, ей было не до смеха.

Лагерные воспоминания в «Семейной хронике» занимают малую толику, быть может, лишь треть двухтомника. Но именно к этим страницам через все повествование, словно бикфордов шнур, тянутся нити родословных, линии судеб (к родословным Татьяна Александровна питала явную страсть, вероятно, унаследованную от отца), обрываются на них, отзываясь взрывом чувств в читательской душе. Что там говорить: невеселое занятие писать воспоминания, если их и читать прихо-

дится, чувствуя ком, подступающий к горлу. Ведь не одни же только «милые образы», говоря словами Аксаковой-Сиверс, приходилось воскрешать в памяти, а еще и «милые» лица надзирателей, «милосердных» следователей, лица уголовников, которые резали и калечили себя и других. Вспоминать страдания и муки – значит заново страдать и заново мучиться.

И Татьяна Александровна Аксакова-Сиверс, и Олег Васильевич Волков приняли на себя эту муку, отдав воспоминаниям не столько годы труда, сколько огромный заряд душевных сил, упорства, воли, мужества. Но ради чего? – может спросить читатель. Ведь о лагерях мир уже достаточно знает после Солженицына и Шаламова!

Разумеется, этот вопрос вставал и перед авторами книг воспоминаний. А ответ на них один: «Воспоминания... в первую очередь, – как говорит О. Волков, – выполнение долга перед памятью бесчисленных тысяч замученных русских людей, никогда не возвратившихся из лагерей». То же сознание долга руководило и Аксаковой-Сиверс. «Хотя я и старалась, – говорит она в предисловии ко второй части «Семейной хроники», – ограничить себя рамками «истории одной семьи», не вдаваясь в излишние рассуждения, но сознаю, что в наших судьбах, как в капле воды, отразились события мирового значения».

Нет смысла пересказывать содержание книг «Погружение во тьму» и «Семейная хроника». Сколько бы ни был подробен пересказ, все равно будет ощущаться неполнота рассказа. Да и кто может лучше рассказать о пережитом, как не сами участники и жертвы событий? Важно отметить другое.

До самозабвения в бравурной советской критике любят летописи: «Летопись пятилеток», «Летопись героических лет», «Летопись побед» и т. д. и т. п. О каких бы победах, – мнимых ли трудовых или действительных ратных, доставшихся реками крови, ни писали ликующие перья советских литераторов, – все приравнивается к эпохальным событиям, все меряется масштабом эпохи, для которого подходит единственный жанр – летописи. Недостает в советской документалистике одной летописи – летописи преступлений, унесших десятки миллионов жизней. Страницы воспоминаний Аксаковой-Сиверс и Олега Волкова восполняют пробелы этой, ставшей известной нам по «Архипелагу ГУЛаг», летописи.

И важно особенно сейчас подчеркнуть, что террор, репрессии, массовые ссылки, массовые аресты и расстрелы, как свидетельствуют о том авторы только что вышедших книг, начались не в годы «культы личности», а сразу после залпов «Авроры». По сути, гражданская война, утихнув на действительных полях сражений, переметнулась в застенки ЧК, за колючие проволоки лагерей. «Сталин, – как пишет Олег Волков, – лишь продолжил политику и приемы, перенял принципы (вернее, беспринципность!), завещанные основоположником». Он лишь «расширил и углубил кровавые методы, разработанные Лениным для удержания власти в руках партии». Завершая свои воспоминания, он заключает:

«Упомянув о подвиге и жертвах народа во Вторую мировую войну, большевики любят повторять: „Никто не забыт и ничто не забыто“. Отрекаясь от мстительных чувств и злопамятства, я хочу их повторить в ином толковании. Для блага и возрождения России необходимо, чтобы они были произнесены вслух в отношении жертв не фашизма, а большевиков на Соловках и Колыме, в Ухте и Тайшете – во всех бесчисленных островах архипелага ГУЛаг, которыми они задушили страну».

Н. Т.

СТРАННЫЙ БУНТ

За последние годы в эмиграции возникло писательское поколение сорокалетних – прозаиков и поэтов, родившихся в СССР после войны, успевших получить там образование, минимум писательской практики, но начавших активно печататься только за границей. Из прозаиков, наиболее, так сказать, приметных, назовем Эдуарда Лимонова, Дмитрия Савицкого, Сергея Юрьенена и Юрия Гальперина. Каждый из них резко индивидуален, но в чем-то и схож – общностью жизненного пути, среды и влияний, а также направленностью тенденций. Основная из этих тенденций – это оторванность истоков от нынешнего течения и бытие вне родины, составившей ядро мировосприятия, но мало-помалу становящейся абстракцией.

Юрий Гальперин. Русский вариант. Берн, «Чердак», 1987.

Юрий Гальперин пишет в довольно устойчивых реалистических традициях и менее всего подвержен капризам модернизма и стилистической моды. Он лирик по натуре и наделен даром психологически остро схватывать приметы бытия. Лучшее из его произведений, повесть «Играем блюз», как раз и отмечено приметливостью эмоциональной памяти, жадным вниманием к миру и умением слышать музыку, которая пронизывает жизнь. Повесть строилась на основе родной автору интеллигентской ленинградской среды семидесятых годов.

Роман «Русский вариант», наряду с повестью «Играем блюз», одно из наиболее жанрово-значительных произведений Гальперина и тоже основывается на привычном и знакомом советском материале. Роман тоже относится к годам семидесятым. А может, к восьмидесятым?.. С этой временной стертости и начинаются натяжки. Кстати, почему роман? По объему, охвату событий, разветвленности сюжетных линий и обрисовке персонажей «Русский вариант» вполне укладывается в рамки повести и в этом смысле примыкает к первой.

Правда, повесть «Играем блюз» отмечена очень личностным и бурно-спонтанным началом. В романе же трактуются гораздо более общие проблемы, в частности, нынче широко обсуждаемая проблема возникновения гомо советикуса, человека-винтика в общем государственном механизме. Гальперин развивает интересную тему – попытку одного из этих винтиков вырваться из проклятого круга и стать личностью. И автору бы это удалось, не будь он так отстранен от живого источника, от несущей боль, но мятущейся и необходимой действительности. Но этого не было, и роман получился в чем-то искусственным и схематичным, с коллизией не выношенной, но заданной и придуманной от начала и до конца.

Главный герой – неприметный инженер неприметного учреждения, некто Лешаков, которому автором дана фамилия, конечно, не без умысла. Это не то помесь осла с лошастью – тягловое животное лошак, не то угрюмый домосед, чуть одичавший леший. Обоими качествами Лешаков наделен в полной мере. К тому же он был зауряден, «мыслей супротивных не имел» и покорно катился в общем потоке.

Эта обыденная жизнь была взорвана пустячным, в общем-то, обстоятельством – лишением героя туристической путевки в Польшу. Лишь это злосчастное лишение стало роковым в судьбе Лешакова и завело сюжетный мотор романа. Для тра-

гедийных перемен в жизни маленькому человеку, как известно, немного и надо. Башмачкину, к примеру, хватило украденной шинели. А Лешаков задвинулся с путевкой, но у него это осложнилось еще страхом преследований со стороны КГБ, хотя эпизод с мнимым обыском все же представляется хитроумной выдумкой самого автора.

Он хочет нас убедить, что утраченные с путевкой стимулы и надежды и отсутствие хотя бы незначительной привилегии вдруг привели Лешакова к какому-то новому знанию и превратили серую лошадку в совершенно подготовленного оппозиционера. Как с потолка, на него свалились идеи о мессианском призвании России и ее спасительной для человечества миссии: ведь она первая заразилась марксизмом и теперь обладает необходимым для ее призвания иммунитетом. А он, Лешаков, станет каплей, которая камень точит, и, мало того, той каплей, которая этот камень разобьет. Как бы то ни было, маленький инженер почувствовал в себе не только способность, но и необходимость бунта.

И еще: отказанную начальством путевку в Польшу Лешаков подтверждает идеологической формулой, которая сводится к тому, что мы (читай – русские) *предназначены* оставаться. В эту же формулу вписывается вынесенная в заглавие фраза: «Наш вариант, он без вариантов... Податься некуда. Одно слово, русский вариант». Подобная безвыходность рождает и действие, столь же фантастическое, сколь и абсурдное: Лешаков размножает тысячи листовок с текстом: «Человек! Не верьте ни во что, никому, никогда, нигде, ни за что, ни при каких обстоятельствах», – и собирается разбросать эти листовки на максимально большой площади.

Однако получилось противоречие, которое вполне толковый инженер Лешаков должен был предугадать: ведь убеждая не верить других, он добивался, чтобы ему-то поверили! Как пишет сам автор, «подменяя одно отражение другим, он просто потерялся в зеркалах». Противоречие произошло потому, что образ Лешакова оказался не сотворенным, а сконструированным, наподобие того, как он сам конструировал свою метательную машину. Из-за того главный поступок его жизни потерял простое логическое основание.

Любопытно, что второстепенные персонажи романа, номенклатурный работник и актер Валечка, и даже третьестепенные – швейцар в пивной или председатель месткома – полу-

чились гораздо более живыми, чем центральный герой. Все эти люди органически вписываются в карнавал житейской советской круговерти и создают ее горький трагикомический фон. И они, как и миллионы других, «тесно сплетены в единую судьбу страны и народа, от которых зависели многие остальные судьбы и, может быть, судьба Земли, пока еще живой и теплой...»

Писатель мягкой, лирической окрашенности, Юрий Гальперин способен подыматься до высот истинной поэтичности. Об этом свидетельствует и его повесть, и многие рассказы. Однако в «Русском варианте» подобные прорывы редки и, наоборот, чаще можно встретить языковую безвкусицу («он стиснул чувства в кулак», «от мыслей бросило в жар», «свет головокружительного отчаяния» и т. д.). Такая небрежность у опытного автора не может ли быть следствием приглашенного творческого импульса?

Майя Муравник

ЕЩЕ ОДИН ЗАБЫТЫЙ ПРОРОК

Редакция отвела мне аж шесть страниц на эту рецензию, но попробую покороче. Да и с трудом подбираю слова, чтобы передать восхищение, печаль, стыд.

Восхищение тем, что был, оказывается, экономист, который все (про)видел, ясно понимал, что социалистическая экономика по самой своей идее не может работать успешно. По собственным словам, его мысли «сложилась... в страшные годы строительства социализма в России». Он выразил их «в собрании изможденных и истомленных петроградских ученых» в августе 1920, опубликовал в журнале «Экономист». В 1922 «выехал по приказу ГПУ в Германию», где этот текст составил книгу. Смело рекомендую ее всем интересующимся *современной* советской экономикой. Вот еще цитаты, лучше Бруцкаса сказать не берусь:

В. Д. Бруцкас. Социалистическое хозяйство. Теоретические мысли по поводу русского опыта. Изд-во «Поиски», Париж, 1988 – перепечатка работы, опубликованной первоначально в Берлине в 1923 (сопровождена комментариями Д. Штурман и В. Сорокина).

«Если глава крупнейшего предприятия в социалистическом хозяйстве ведет его без надлежащего учета и расчета, то он может жить совершенно спокойно, как бы руководимое им предприятие, вследствие нерациональной организации производства, ни расточало производительных сил общества» (с. 28);

«...трудовой учет (эта Марксова теория до сих пор – краеугольный камень советского ценообразования. – И. Б.) ...совершенно бессилён дать какие-либо... указания о том, выгодно ли вообще данное предприятие или нет» (с. 36);

«...даже во всеоружии теоретической науки и громадного статистического аппарата социалистическое государство не в силах измерить, не в силах взвесить потребностей своих граждан, а в связи с этим оно не может дать надлежащих директив производству... у социалистического хозяйства, в действительности, нет никакого механизма для координирования каждого отдельного производства с народным хозяйством... экономическая система, которая не располагает механизмом для приведения производства в соответствие с общественными потребностями, несостоятельна» (с. 47, 49, 50);

«Социалистическая организация хозяйства, если бы ей наконец удалось отлиться в устойчивые формы, отличалась бы громадным консерватизмом и инерцией. Ничего, подобного вечно изменчивой хозяйственной жизни капиталистического общества, социалистическое общество не представляло бы... авторитарное (т. е. без капиталистического рынка. – И. Б.) распределение хозяйственных благ отрицает свободное удовлетворение не только наших материальных потребностей, но и наших высших духовных потребностей, ибо и они нуждаются в материальном субстрате... за отсутствием экономических предпосылок индивидуальной свободы в социалистическом обществе, в нем не может быть и речи о политической свободе» (с. 65, 67, 69);

«...существует ли у коммунистов уверенность в том, что в социалистическом обществе, в верхах коего экономическая власть над производительными силами народа достигает максимальной концентрации... возникновение классовых противоречий невозможно?... если олигархия завладеет подобной всемогущей властью, то какова же будет судьба социалистического общества?» (с. 71);

«Интеллигенция в истории Европы естественно являлась первым борцом за свободную человеческую личность... Та часть интеллигенции, которая в пылу борьбы во имя интересов определенного класса (имеется в виду пролетариат. – И. Б.) отказывается от принципа свободной личности, изменяет своему назначению» (с. 72-73).

Цитаты можно продолжать бесконечно: эта маленькая книга удивительно содeржательна, оригинальна, ярка.

Печаль – потому, что, как столько уже раз в истории, пророка не услышали, и маются, открывают заново давно уже продуманное, сформулированное, напечатанное. К примеру, борзо славят Бухарина, подняли из небытия Чаянова. Что касается академика Бухарина, конечно же, он был образованнее Сталина и помягче (но даже в «завещании» возносит Железного Феликса и славные органы). И вроде бы не совсем соглашался с *методами* коллективизации. Но ведь в спорах с Вовкой-морковкой он на него *слева* напрыгивал. Вина Бухарина в разрушении нормальной экономики, в изничтожении капитализма, который (при всех пороках) только и дает народам жить по-человечески, – никак не меньше, чем других главварей октябрьской контрреволюции. А экономические труды Бухарина (недавно внимательно их посмотрел), опять-таки, – интеллектуальнее достопамятных сталинских «Экономических проблем социализма в СССР», все же скучны, доктринерски-прямолинейны, в лучшем случае тянут на публицистику, но никак не на теорию. Если Горбачев будет впрямь руководствоваться экономическими лозунгами Бухарина, продолжать «совершенствовать» социалистическую экономическую систему, страна покатится еще дальше вниз. Другое дело, что имя Бухарина разыгрывается как карта в сложной политической игре.

Не принципиально лучше обстоит дело с Чаяновым. Специалист, безусловно, серьезный, образованный, не чета недавним, да и иным нонешним действительным (хотя бездействующим) членам Академии наук СССР по Отделению экономики. Все же, опять и опять, он ведь искал способы именно социалистического устройства экономики, в частности – кооперативной организации сельского хозяйства.

Нет, нет, я не против чтения Чаянова и даже Бухарина*, но Бруцкаса надо читать вне всякой очереди, тем более, что в книжке он оспаривает и того, и другого. А читать надо в первую голову тем, кто озабочен переустройством стран, мучающихся в тисках социалистических экономик.

Стыд – потому что считаю себя экономистом, уже столько лет здесь, в мире без спецхранов, но не поискал сам, и имя Бруцкаса для меня открытие. Где-то недавно читал, как Сергей Вавилов (брат знаменитого биолога, а сам – крупный физик, впоследствии президент Академии), сказал, что ему стыдно быть академиком, когда Ландау там нет. По этому благому примеру: не тратьте время на мои книжки, статьи да рецензии, лучше читайте великолепную книгу Бера Давидовича Бруцкаса.

Игорь Бирман

* На самом деле читать надо экономистов «с раньшего времени»: Струве, Туган-Барановский, С. Н. Прокопович. По-своему очень любопытны Крицман и Преображенский.

Коротко о книгах

Борис БОЧШТЕЙН

ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ КРЕМЛЕНОЛОГИЯ

США, «Эрмитаж», 1988

Редкую историю из этой книги не приходилось мне слышать в Москве. Задолго, разумеется, до того, как эта книга появилась в свет.

Приходилось слышать о том, как Ираклий Андроников, известный имитатор голосов, а также и до некоторой степени литературовед, на вопрос Сталина: «А что, Ираклий, я слышал, вы умеете и моим голосом говорить? Скажите что-нибудь!» – будто бы ответил: «Могу, но нэ смею». В книге этот эпизод приводится несколько в иной редакции. Совпадение с известной байкой лишь в словах Сталина: «Да, Ираклий Луарсабович, я хотел напомнить. В Советском Союзе голосом Сталина может говорить только один человек».

Приходилось слышать и о том, как священнослужитель, архиерей (согласно молве, то был будущий Патриарх Московский и всея Руси, а не грузинский епископ, однокашник Кобы по семинарии), явившись в Кремль в светской одежде, а не в облачении, услышал именно те самые слова, которые Сталин говорит в новелле «Встреча однокашников»: «Бога нэ боишься, меня боишься, да?» Слышать приходилось и о сказочной алчности богатейшего Демьяна Бедного, и о тупости Ворошилова, и о жесточайшем цинизме Ленина, и т. д. и т. п. Что же касается «Дела Бонча» – Бонч-Бруевича-внука, насмерть сбившего по пьянке на автомобиле двух прохожих, но, благодаря заступничеству могучих покровителей и имени, связанному с именем вождя пролетарской революции, отделавшегося отсидкой в комфортабельной психушке, то автору этой рецензии привелось, работая в «Литературке», время от времени иметь дело с героем рассказанной истории, и – не как медик, разумеется, – могу засвидетельствовать, что за Бончем-внуком никто не отмечал никаких психических отклонений, которые могли бы послужить веским основанием для освобождения от ответственности за совершенное преступление, тем более при отягчающих вину обстоятельствах. Последнее, таким образом, косвенно подтверждает достоверность и других историй, рассказанных автором «Занимательной кремленологии».

Персонажи книги известны: Ленин, Дзержинский, Сталин, Хрущев, Буденный, Ворошилов, Тухачевский, Брежнев, Сулов, Микоян, Подгорный, Булганин, Гришин, Малиновский, Гречко, Щербицкий, Рашидов и т. д.; продолжая перечень всех, кто попал в поле зрения сатирика и юмориста, пришлось бы назвать едва ли не всех членов политбюро или президиума ЦК партии чуть ли не с двадцатых годов до нынешних, вплоть до нынешнего генсека.

Вроде бы из шуточных историй читатель узнаёт об очень серьезных вещах: о том, как достаются дипломы кандидатов и докторов наук сильным мира *того*, как поджигаются войны и затеваются широкомащтабные авантюры, которые едва ли не приводят на грань мировых катастроф, как (на уровне правительства) переманиваются лучшие бомбардиры футбола или хоккея, перетасовываются спортивные команды, а также о том, что в закрытых спецстоловках «полпорции борща» не дают.

Трудно быть строгим к книге, в название которой вклинивается не совсем серьезное, как бы требующее снисхождения слово – занимательная. «Кремленология» – это серьезно и ответственно, а вот занимательная кремленология – это уже как бы что-то, освобождающее от ответственности, как, скажем, и занимательная математика или занимательная физика. Но в то же самое время, как и эти точные науки, кремленология, хоть и занимательная, не находится в противоречии с законами кремленологии далеко не занимательной и неразвлекательной. Книга отражает действительные законы, согласно которым действуют рычаги управления государством, большой и малой, внутренней и внешней политики.

Книге Бориса Бочштейна, бывшего советского журналиста и фельетониста, печатавшегося в «Смене», «Огоньке», «Крокодиле», «Юности», «Литературной газете», заведовавшего секцией фельетонов «Московской правды», а ныне работающего в газете «Новое русское слово», – вряд ли суждена такая уж долгая жизнь. Это не литература, но и не журналистика. Однако пока жива память, чаще недобрая, конечно, о тех кремлевских вершителях судеб, чья жизнь сокрыта от внешних, посторонних глаз туманом таинственности и о чьей действительной жизни можно судить лишь по бытующим в молве анекдотам и слухам, – к фельетону «Занимательной кремленологии» будет притягиваться читательское внимание.

Она не свободна от налета банальностей, вроде «закона чередования» в советском управлении «лысых» и «волосатых», не свободна и от азарта неприязненных оценок и язвительных замечаний, не всегда нужных, принижающих как достоинство книги, так и достоинство

автора; наконец, наводит она и на мысль о том, что ее можно было бы дополнить, а может, и дать варианты различных историй, что, на наш взгляд, не столько обогатило бы ее, сколько придало бы ей больше свободы и раскованности. Но, так или иначе, «Занимательная кремленология» прибавляет к образам ее персонажей, к нашему знанию о них дополнительные штрихи. Пером сатирика и юмориста далеко не в шутку, а всерьез дорисованы портреты советских вождей и лидеров.

Н. Т.



Израильский журнал на русском языке не только для евреев. Каждую неделю: Интервью с политиками, экономистами, эмигрантами и новоселами. – Обзор израильской печати («Маарив», «Едиот ахронот», «Ха-арец», «Джерузалем пост» и т. д.) – Лучшее из журналов Свободного мира. – Самиздат. – Роман в продолжениях. – Письма читателей. – Дискуссии без цензуры. – Новые рассказы и повести несветских русских авторов. – Что происходит по ту сторону кордона и др.

К тысячелетию
Крещения Руси

Издательство
«Антиквариат»

Владимир
Максимов

СЕМЬ ДНЕЙ
ТВОРЕНИЯ

Обложка и рисунки
Виталия Стацинского

Издание четвертое

Заказы направлять по адресу:
E. Stein, 594 Chestnut Ridge Rd.,
Orange, Conn. 06477, USA.

По страницам журналов

ЗОВ КРОВИ ИЛИ ЖАЖДА КРОВИ?

Полемические заметки

Питаю некоторую слабость к журналу «Молодая гвардия». Не часто, но все же время от времени раскрываю его – и не без неудовольствия. Даже с замиранием, с предвкушением. Во всяком случае, с ожиданием: обязательно, всенепременнейше порадуют его страницы новизной каких-нибудь открытий! Конечно, не стихи, не проза привлекают меня, да и, думаю, многих читателей, а – литературная критика, граничащая по своей воинственности с публицистикой...

На всякий случай оговорюсь: я – русский. К масонам никакого отношения не имею, да и, признаюсь, не знаю, кто это такие вживе, ибо, хотя и прожил в той самой среде, где они должны были бы кишмя, что называется, кишеть, все же ни одного масона не встретил. Надобность в этих оговорках, надеюсь, будет понятна из предмета разговора.

Ну, а теперь – к делу, то есть к журналу «Молодая гвардия».

Открыв третий номер этого журнала, органа ЦК ВЛКСМ, сразу наткнулся на одно из тех открытий, которыми так изобилуют страницы его литературной критики.

Публикуя очерк об одном русском советском писателе (опять-таки подчеркиваю – русском, ибо для «Молодой гвардии» это чрезвычайно важно!), журнал предваряет очерк кратким, но эмоциональным, восторженным вступительным словом. Вступительное слово названо звучно: «Из рати подвижников». А прочесть читателю предстоит буквально следующее: «Жизнь писателя оборвалась на космической высоте народной любви, народного признания».

Как вы думаете, о ком это? О Гоголе? О Достоевском? О Толстом? Или, быть может, на худой конец, о Твардовском или Шолохове? Нет, ни о том, ни о другом, ни о третьем... Но, прежде чем раскрыть скобки, сообщить имя писателя, снискавшего «космические высоты народного признания и любви», позволю себе привести еще несколько эпитетов, от которых автора вступительного слова просто распирает. Здесь есть и «титаническая собирательно-исследовательская работа», и «философское осмысление», и «наступательная пламенная публицистичность». Он, тот писатель, оказывается, про-

рывался «в неведомое». Остались после него ученики и проч. и проч. Одним словом, вы, читатель, вероятно, сами того не ведая, стали счастливецом, потому что жили в одно время с величайшим человеком, титаном мысли. Впрочем, если бы во вступительном слове, интригуя читателя, убрать некоторые приметы (не говорить о том, что герой предлагаемого очерка – писатель), можно было бы решить, что речь о самом Ленине. Пожалуй, только о нем в таких тонах пишут в советской прессе.

Мы, однако, не будем далее утруждать читателя ненужной интригой. Скажем: это – о Владимире Чивилихине, авторе исторического повествования «Память» да еще нескольких книжек, названия которых читатель вряд ли вспомнит – «Серебряные рельсы», «Про Клаву Иванову», «Елки-моталки». Простите некоторую неблагозвучность названия последней: не я придумал, а именно писатель, достигший «космических вершин народного признания»...

Если верно, что о мертвых плохо не говорят, то должно быть справедливым и другое: мертвым раздавать незаслуженные похвалы – это тоже оскорбление памяти мертвых. Но автору вступительного слова, заместителю главного редактора журнала «Молодая гвардия», равно как и самому журналу, чувство меры и чувство такта, по всей видимости, незнакомо. Да оно, собственно, им и не нужно. Зачем, собственно, утруждать и себя, и читателя предрассудками?

Давно, признаюсь, не приходилось читать ничего подобного. Хотя, видимо, надо почаще заглядывать в «Молодую гвардию».

Надобно заметить, что в сегодняшней критике фигура Вячеслава Горбачева, автора вступительного слова, достаточно одиозная. Около года назад со страниц той же «Молодой гвардии» раздался залп по «перестройщикам», то есть по тем, кто, почуяв волю, слишком много стал себе позволять: в статье Горбачева, опубликованной в «Молодой гвардии», досталось сразу и «Огоньку», и «Новому миру», и «Московским новостям», и «Знамени». Надо сказать, «Правда», хотя и попыталась тогда сыграть роль посредника, однако предпочтение отдала все-таки «Молодой гвардии».

Критика в СССР находится в плену пристрастий групповых: так называемые почвенники или неославянофилы бранят так называемых западников. Эти пристрастия апогея своей остроты, даже болезненности, достигают во времена «оттепелей». Но если бы только в плену пристрастий находилась критика, а то ведь отводится ей роль самая неблагоприятная – общественного доносительства. Мы хорошо помним, как в свое время сгруппировавшимся вокруг кочетовского «Октября» и софроновского «Огонька» писательским силам с успехом

удалось потопить и Твардовского и его «Новый мир». Следует напомнить, что под письмом «одиннадцати», по сути, под письмом-доносом, в «Огоньке» стояли подписи ныне активно функционирующих, вроде П. Проскурина и А. Иванова... Сейчас «Огонек» и «Октябрь» вышли из сферы влияния этих сил. Они, эти журналы, уже не их, что, согласитесь, обидно. Но зато двойную роль той самой силы общественного доносительства взвалила на себя сейчас «Молодая гвардия». Она и занимается разжиганием страстей. Причем, с литературой, с творчеством эти страсти имеют весьма мало общего. Кипят они вокруг другого: вокруг *к р о в и*... Заходит ли речь о романе Анатолия Рыбакова «Дети Арбата», заходит ли речь о творчестве Юрия Трифонова или о прозе Булата Окуджавы, – вопрос о крови ставится во главу угла.

Позволю себе маленькое отступление. Однажды в кругу единомышленников преподающая в одном из солидных московских вузов литературная дама восторженно отзывалась о стихах Беллы Ахмадулиной, пока ей, зная ее «пунктик» по поводу «крови», шутки ради не намекнули, что поэтесса Белла Ахмадулина якобы не той «крови». Надо было видеть выражение лица и степень разочарования спорщицы, когда она поняла «намек». Восторгов от нее больше не услышали. Более того: она заявила в конце концов, что стихи Ахмадулиной – поделка. Умелая, но все-таки поделка...

Конечно, одно дело, когда о литературе судит околολитературная дама, другое – когда рассуждает о ней критик. Но и критик критику рознь. Одно дело, когда берется судить о литературе, скажем, Вячеслав Горбачев, у которого, судя по его статьям, о художественном творчестве весьма смутные представления. И, конечно, совсем другое, когда судит о ней критик, от которого читатель вправе ждать, если не объективности, то по крайней мере основательности и, разумеется, добросовестности. Имею в виду в данном случае Михаила Лобанова, напечатавшего в том же номере «Молодой гвардии» (№ 3, 1988) статью «История и ее литературный вариант».

Автор статьи вызывался защищать историю (русскую историю – заметим в скобках) вообще, а в частности русскую классику, от нападок расшалившихся литераторов, слишком вольно обращающихся с конкретными историческими личностями. Достается в первую очередь здесь Булату Окуджаве, которого Лобанов, видимо, вкладывая в это уничижительный смысл, называет то поэтом-песенником, то сочинителем. Достается и Юрию Трифонову. Но достается, эдак походя, как бы ненароком, и Марселю Прусту и Кафке.

Вот здесь-то как раз вопрос о «крови» встает во всей обнаженности, во всей неприкрытости, а значит, и во всей непривлекательности. На первых же страницах критик объявляет довольно простой принцип: своих не трогать. Да-да, представьте, именно так! «По себе знаю, – замечает он, – как трудно здесь найти общий язык, того и гляди, угодишь в недруги: „своих бьешь?!“ Нет, лучше уж иметь дело с явно неприемлемым для тебя, но вполне определенным (хотя и маскируемым), с теми, кто знает, чего они хотят, какую цель преследуют».

Вот так: просто и откровенно! То, что «одна из девяти муз Апполона – муза Истории Клио, – говоря словами Лобанова, – упорно соблазняет представителей разных жанров литературы» «из своих», это ничего, какие небылицы они бы ни сочиняли. Им простительно. А вот те, «кто знает, чего они хотят, какую цель преследуют», хоть и маскируются, – чужие, этим не пристало бы заигрывать с музой Клио. Важнее ведь не истина, не литература, и даже не соблазнительница Клио, а то, чья кровь в жилах. Да и то правда: своих трогать – не оберешься потом, запишут еще в масоны. В этом стоит согласиться с Лобановым...

Спешу оговориться: вольное, а тем более кощунственное обращение с историческими личностями, действительно снискавшими народную любовь и народное почитание, оправдать ничем нельзя. И справедлив гнев критика, когда он обрушивается на кощунственную стихотворческую «Повесть о мощах Александра Невского», принадлежащую перу Павла Антокольского. Кто дерзнет возразить Лобанову? Ибо справедлив его гнев на то, что «старый поэт так энергически, в передовом духе разделался, так сказать, с мракобесием и предрассудками прошлого». Справедлив его гнев и когда говорит он о стихах неназванного поэта, приславшего ему книжку, в которых со вкусом рифмуются «глупые», вернее, скабрзные выдумки об Андрее Рублеве. Разумеется, нечем крыть возмущенному оппоненту Лобанова и в том, когда он говорит о сравнении у Окуджавы «общедоступной полковой маркитантки» с просвиркой, «которую еще предстоит делить». Крыть тут действительно нечем.

Но ведь каждая строчка статьи Михаила Лобанова дышит иными обидами. Причем обидами далеко не всегда справедливыми, а чаще, как раз наоборот, несправедливыми и не такими уж благородными, как это может показаться на первый взгляд.

Михаил Лобанов обиделся, например, на Залыгина. Правда, в статье его имени он не называет. Предпочитает называть его просто: «известный писатель». Уж не потому ли, кстати, что, быть может, «своей крови»? Или, тоже предположить уместно, что он все-таки

«начальство»: главный редактор, да к тому же – секретарь! А известно же по Достоевскому: русский либерал так и ищет, кому бы сапоги вычистить! Но именно за Достоевского и обиделся критик на Залыгина. За то, в частности, что в предисловии к журнальной публикации повести Андрея Платонова «Ювенильное море» «известный писатель» «объявляет схожими гениями Кафку и Достоевского». «Заметьте, – провоцируя читателя сделать далеко идущие выводы, говорит критик, – впереди ставя Кафку».

Смею уверить: Залыгин сделал это без всякого умысла. А если и с умыслом, то вовсе не с тем, какой мнится критику: мол, и тут унижают русскую классику, вот до чего дошли! Критик явно передергивает, утверждая, будто у «известного писателя» было намерение противопоставить Кафку Достоевскому. Если читатель обратится к предисловию, то он легко заметит, что «известный писатель» говорит о неповторимости «системы языка» у Платонова, Кафки и Достоевского, о своеобразии способа и системы мышления. «Выходит, борец за экологию среды, – негодует по этому поводу критик, – еть непротиленец в экологии духа, ибо так же иначе понимать восхваление того самого Кафки, который с брезгливой немощью смотрел на человека как на мерзкое насекомое (рассказ «Превращение»), для которого Дон-Кихот был демоном, прирученным Санчо Пансой, и что общего между этими миазмами «нигилятины» (слово Достоевского) и мучительными думами великого русского писателя о борьбе добра и зла, его верою в высшее назначение человека». Призывает далее критик: «Вообще об этих вершинах надо бы нам почаще задумываться...» Что же, ничего не скажешь: и это справедливо. Надо бы задумываться...

А уж как обиделся Лобанов на покойного Юрия Трифонова. Опять же за классику. Опять же за Достоевского. В частности, на его воспоминания, напечатанные в журнале «Огонек» (№ 44, 1986). Цитирует он из воспоминаний Трифонова следующие, конечно, возмутительные строки: «Кроме того, мне непонятно высокомерие, с каким иные литераторы говорят о западной литературе – какой бы высокой и значительной она ни была – все же чем-то ниже отечественной, мол, там чтиво, а здесь пицца мозгам; там стиль, а здесь коряво, но правда. Все это ползет от непереваренной почвеннической фанаберии девятнадцатого века, не принесшей русскому искусству особых достижений, зато обольстившей наших мыслителей великим множеством приятнейших, душегрейных рассуждений: от гениального Достоевского до Шевцова. Пусть простят меня почитатели великого писателя за то, что соединяю его имя в одной фразе с графоманом, но делаю так лишь затем, чтобы показать, сколько

необъятна эта система и как много в ней всякого рода, всяких масштабов орбит».

Нет, напрасно просил прощения покойный Юрий Трифонов у почитателей великого писателя. Не простили. Как раз к этой фразе и прискрелись, хотя и ясно же, какой смысл вкладывал в эти строки Трифонов. Как раз они и вызвали сарказм Лобанова. Да что сарказм! Бурю гнева! «Вы посмотрите, какой апломб! – восклицает он. – Добро бы, если бы книги самого Трифонова превосходили по литературному уровню книги Шевцова, ведь не превосходят же!»

Вот так. Иронизируя над Шевцовым, Трифонов, как то видно невооруженному глазу, не имел ни малейшего намерения иронизировать над Достоевским, а соединил в одной фразе имя гения с именем графомана лишь для того, чтобы подчеркнуть неприемлемость «почвеннической спеси», «фанаберии». Заметьте: не самой идеи, а спеси, под ее – идеи – знаменами процветающей. И попал туда же – в графоманы. Будь, конечно, Трифонов «по крови своим», ему можно было бы и неприятие «почвеннической фанаберии» простить. Можно было бы зачислить и в разряд тех, кто достиг «космических высот народной любви, народного признания».

Как бы ни относиться к Трифонову, все же поставить его книги на одну доску с книжками графомана Шевцова (может быть, читатель помнит его романы-доносы «Тля» и «Во имя отца и сына»? Они вызвали бурю негодования в среде интеллигенции во время «первой оттепели» и даже среди «своих по крови» их не удалось использовать ввиду полной их низкопробности и непригодности), – так вот, поставить книги Трифонова на одну доску с книжками графомана Шевцова, значило бы, либо совсем не разбираться в литературном ремесле, чего о Лобанове подумать все-таки нельзя, либо преследовать какие-то свои, говоря его же собственным языком, «маскируемые» (впрочем, так ли уж маскируемые?) цели... Последнее предположение, конечно, вернее. Ибо далее критик делает уж вовсе сногшибательные обобщения: «Чем же она, бедная русская литература провинилась? Уж не тем ли, что слишком светит миру и с этим нелегко справиться? Что ее нельзя взорвать, как храм Христа Спасителя, повернуть вспять, как северные реки?»

Во как! Это, оказывается, Трифонов поджигал бикфордов шнур, который тянулся к тысячам тонн динамита, подложенным под основание храма Христа Спасителя! Но хочется спросить, где же были вы, радетели русской культуры, тогда, когда взрывали храм? Где были, например, Фадеев или Шолохов? А когда составлялся проект поворота северных рек, где вы были? Не говорю о Георгии Маркове или

Сартакове – какой с них спрос! А где был тот же Михаил Лобанов? Или Сергей Викулов, главный редактор «Нашего современника», – тоже защитник и русской культуры, и экологии? Почему молчали?

Если бы позволительно было сравнивать писательскую деятельность с высокой миссией пророка, то надо было бы здесь привести слова из Евангелия: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что строите гробницы пророков и украшаете памятники праведных, и говорите: «если бы мы жили во дни отцов наших, мы не были бы сообщниками их в крови пророков» (Мф., гл. 23, ст. 29-30). Впрочем, что тут рассуждать. Сошлюсь лишь на один пример из опыта своих наблюдений.

Чуть больше трех лет назад автор этих строк предложил для публикации в журнале «Наш современник», а именно – главному редактору (Сергею Викулову) «Ювенильное море», одну из не опубликованных в СССР повестей Андрея Платонова: одну, следует подчеркнуть, из наиболее «проходимых», которые оставались в архиве писателя. Сергей Викулов, повторяю, тоже считает себя одним из самых последовательных радетелей русской культуры. Уж куда там, ни на шаг в сторону: ни-ни! Только русская культура... Но, увы, напечатать «Ювенильное море» духу у него не хватило. А это было, между прочим, уже тогда, когда в гонг гласности ударил «Огонек», нежданно-негаданно опубликовав подборку стихов запрещенного, расстрелянного белогвардейского офицера Николая Гумилева. Не хватило духу Сергею Васильевичу Викулову. Напечатал повесть другой журнал – «Знамя», как раз тот, которому, с точки зрения неославянофилов, если и есть какое-либо дело до русской культуры, так лишь только то, чтобы всеми способами вредить ей, уж коли действительно нельзя взорвать, как храм Христа Спасителя.

Поистине: не ведает правая рука, что делает левая! В одном и том же номере «Молодой гвардии» Михаил Лобанов негодует по поводу «тех, кто переводит стрелку с магистральных путей литературы – ее народности – на другое направление», смещая «ценности в литературе», под чем понимаются сколько-нибудь благожелательные или даже просто терпимые отзывы о «Прусте, Кафке и т. д.», а рядом превозносятся до небес некто Владимир Чивилихин. Да еще в каких выражениях! Позволю себе процитировать приводимые в очерке о Чивилихине слова того же «неославянофила», «неопочвенника» Сергея Викулова: «Острый ум, постоянная эмоциональная заряженность, железная логика в суждениях, энциклопедическая образованность делали его увлекательнейшим собеседником...» Куда тут Платонову рядом с ним, когда соперничества с Чивилихиным не выдержать ни Достоевскому,

ни Толстому. А между прочим, и сам герой очерка, если судить по собственным его высказываниям, не отличался «ложной скромностью». «Я напишу такой роман, который удивит всех...», – такие слова вкладывает в его уста автор очерка и, как сообщает читателю журнал, один из учеников и последователей покойного ныне писателя.

Да полно! Добро бы письменности не было, добро бы еще только-только с дерева, по Дарвину, слезли. Еще можно было бы и удивить и удивиться. А то ведь за спиной те самые вершины, про которые почаше вспоминать призывает критик Лобанов...

Магистральные пути литературы, ее народность волнуют «молодогвардейцев». Так и хочется вместе с Андреем Платоновым воскликнуть: «Не путайте себя с человечеством!»

«Наш современник» может поставить себе в заслугу то, что он не погнался за дешевым успехом, подобно «Новому миру», который опубликовал «Доктора Живаго», как не погнался за дешевым успехом и в другом: отказавшись печатать повесть Андрея Платонова «Ювенильное море». Нечего говорить о «Котловане» и «Чевенгуре»: они достались как раз тем – «чужой крови». Но если с Платоновым ясно: наш он, наш! – то как быть с Пастернаком? Признать – отступником прослынешь среди своих. Не признать – прослынешь ретроградом. Подвигом, героизмом, по всей видимости, надо считать то, что Лобанову все-таки удастся выдать из себя: «Да и у Б. Пастернака могли бы поучиться его поклонники (часто мнимые) – не только культуре его стиха, но и культуре духовной, исторической, знанию истории России, и того, между прочим, что „позорно, ничего не знача, быть притчей на виду у всех“».

Последнее: «ничего не знача» – относится, конечно, к Окуджаве. Ему за его «исторические водевили» достается от Лобанова больше всех. Опять придется делать оговорку: не могу упрекнуть себя в симпатиях к прозе Окуджавы. Хотя и не вызывает она у меня такой активной неприязни (тем более – отвращения), как у Лобанова, все же признаю: вторична, литературна. Но постойте, постойте-ка: разве ее вторичность, литературность навлекли гнев критика? Да, конечно, он тщательно, что называется, по косточкам разложил эту прозу. Все ее недостатки выявил и обнародовал. Не они же, не недостатки до такой степени раздражают критика, что он уже называет не «историческими водевилями» романы Окуджавы, а пасквилями. Нет, конечно!

Видите ли, Окуджава безнадежно болен маниакальной идеей ненависти к русской крови. Видите ли, Россия XIX века на страницах «пасквилей» Окуджавы – «не мировая держава с мировой культурой, а

какая-то помойка, которую соорудил автор». Видите ли, на страницах этих «пасквилей» «ни одного нормального русского человека, все уроды, тупицы, доносчики, пьяницы». А если и имеются порядочные герои, «то кто угодно – немец, полька, французенка, грузин и т. д. – только не русский». «Очернительство!» – негодует Лобанов. Простите, а в «Мертвых душах» есть хоть один порядочный русский? Есть ли, если не считать несчастного капитана Копейкина?

Ах, да! Нехорошо ссылаться на Гоголя: чего доброго и Окуджава вообразит, что его с Гоголем ставят на одну доску!

«И вот эти пасквили, – восклицает Лобанов, – теперь уже собранные воедино, в двух томах, тиражом 200 тысяч экземпляров каждый, выходят в скором времени в московском издательстве в качестве истории России, что ли? Благо, читателю труднодоступны правдивые труды русских историков и довольно с него „перипетий“ Окуджавы».

НВ. Почему бы радетелям русской культуры не приложить усилия для того, чтобы правдивые труды русских историков действительно сделать легкодоступными? Благо время такое, когда и это возможно!

Но репутация музы Истории – Клио, как уже отмечалось, не очень беспокоит критика. Иную цель преследует он: разжигание страстей далеко не литературных. Вернее даже, тут сразу несколько целей, причем одна достойнее другой. Во-первых: подобного рода статья – это все тот же жанр политического доноса, как и письмо «одинадцати» против Твардовского и «Нового мира». Во-вторых: это и своего рода призыв к массовому читателю. Доколе, мол, будем терпеть «инородцев» и «масонов». Спят и видят «неославянофилы-неопочвенники» одних масонов вокруг.

Не в прямом смысле, конечно, а в переносном пронизаны подобного рода статьи не зовом, а жаждой крови. Впрочем, как знать: найдутся, возможно, и такие, кто поймет призыв Лобанова буквально! Ведь черным по белому написано: «Для нас, русских, прошлое – это не культурная дань истории, а наше насущное, наше настоящее, наше будущее. Если даже взять одну литературу, историю ее – то и здесь затронь только нерв – и уже будет не до литературы».

В самом деле: «затронь только нерв...» Ведь нервы взвинчены до предела!

«В конце января 1987 года, – сообщает Лобанов читателям, – по советскому телевидению выступала группа „возвращенцев“ (бывших эмигрантов, вернувшихся в СССР), говоривших о том, насколько сильно, в массовом масштабе распространена в США русофобия».

Один из выступавших даже заявил, что это больше всего угнетало его там, за океаном. Массовая информация, *которая вся в руках сионистов* (выделено мной. – Н. Т.), – об этом тоже говорили „возвращенцы“, – интенсивно обрабатывает своих читателей, зрителей в духе ненависти к нашему народу, его истории. И невольный вопрос к местным нашим сочинителям всяческих „старинных водевилей“: не добавляют ли они, мягко говоря, антипатии к русскому в глазах зарубежного обывателя?»

Отвечу Лобанову однозначно: нет, не добавляют.

На этом можно было бы поставить точку. Но одна странность, одна загадка в статье Лобанова остается нераскрытой. А именно: статья посвящена в основном русской культуре, обидам за нее, и вдруг – некоторое отступление к «урокам Армении», к ее, разумеется, истории. С чего бы это? Критик воздает должное книге армянского поэта Геворга Эмина «Семь песен об Армении» и все же в «Песнях» улавливает некий диссонанс. Говоря о национальной трагедии – «геноциде армянского народа», он, Лобанов, столь щепетильный в отношении того, чтобы к собственной истории не прикасались «инородцы», упрекает армянина Эмина в незнании им истории Армении. Казалось бы, будь до конца последовательным: позволь армянам разобраться в своей истории. Так нет же, без подсказки «старшего брата» армянам, видать, не разобраться. Называя имя Талаат-паши, «главного палача армянского народа», которого, в свою очередь, называет и Геворг Эмин, сообщает Лобанов, что этот палач, равно как и другие, принадлежал к фримасонским ложам. Но и это не главное. «Интересна такая подробность, – как бы между прочим проговаривается Лобанов, – в 1916 году Карл Радек жил на квартире Талаата в Берлине, был солидарен с ним в армянском вопросе».

Из этой, брошенной скороговоркой фразы следует: то, что сегодня армянский народ снова едва ли не подступил к пропасти геноцида, – дело рук масонов, жидомасонов – теперь именно это слово чаще всего срывается с языка «защитников» России. Да-да, именно: дело рук жидомасонов, а не коммунистов.

Как видим, тут уж и в самом деле не до литературы.

Отступление к «урокам Армении» во всяком случае представляет весьма оправданным в свете трагичных событий «вокруг Нагорного Карабаха». А может, ради этого отступления и разгорелся сыр-бор? Не единственно, конечно, ради него, но в качестве одной из целей.

Что же касается игры в великих, то гигантомания – та же болезнь, что и графомания. Раздувая несуществующие величины, критика

оказывает таким образом дурную услугу читателям. И, конечно, неважно, кто подвержен этой гигантомании, из какого лагеря...

В БЛУЖДАНИИ ЗА ПРАВДОЙ

Скажите, пожалуйста, какое событие произошло? Что случилось в современной советской литературе? Да нет! Не в советской, а в мировой. Мир обрел нового Достоевского или Толстого? Явился миру новый Данте или Гомер?

Страницы журнальной критики захлестнул настоящий бум. Его породил выход романа в Советском Союзе (пока мы его называть не будем). Солидную дань этому буму отдал и американский журнал «Тайм». Страницы литературной критики советских журналов, кажется, всецело заняты феноменом этого чуда. Одни говорят о нем с явным восторгом, другие, правда, – с раздражением и ожесточением. Причем и те, и другие в одинаковой степени подогревают атмосферу ажиотажа вокруг феномена, вокруг «чуда».

О чем речь? О каком новом явлении или открытии? Прежде чем ответить на этот вопрос, следует обратиться к журналу «Тайм»: добрая треть его июньского номера за этот год как раз ему и посвящена.

На обложке – изофотографический монтаж, изображающий двух возмутителей литературного спокойствия последних приблизительно полутора лет. Один из них – автор, другой – его персонаж (в нем-то, в персонаже, и все дело). Один, убежденный, как говорят, сединой, смотрит на читателя ясными и как бы мудрыми, как бы испытующими глазами, держа в руках раскрытую книгу, обложка которой представляет собой картонный профиль усатого человека: профиль которого нам так же хорошо известен, как и профиль Гитлера. Это и есть персонаж. Усатый человек в военной фуражке, с прямым подбородком, – в недобром разрезе его глаз... Впрочем, не будем закручивать спираль интриги. Ее и без того туго закрутил «Тайм». Умеет журнал создать, так сказать, паблисити.

Пора и нам раскрыть действующих лиц литбума: Анатолий Рыбаков и Сталин.

Литературных оценок «Детям Арбата» журнал избегает. Не пытается втиснуть автора романа в ряды классиков. Однако статистика, которой перенасыщены отведенные «Детям Арбата» страницы, сполна заменяет оценки. Так, сообщается, что сразу по выходе романа

в «Дружбе народов» цена этого журнала на «черном рынке» подскочила до уровня среднемесячной зарплаты рабочего (видимо, советского, т. е. до двухсот долларов); что первый полумиллионный тираж отдельного издания, появившегося в феврале этого года, разлетелся в два дня, а к концу года его тираж достигнет 2,4 миллиона экземпляров. Кроме того, сообщается, что роман переводится «по меньшей мере на двадцать языков, включая английский, французский, немецкий и японский...»

Ага, а вот и оценка (все-таки без оценки не обошлось): «*Это замечательное литературное событие* – (выделено нами. – Н. Т.) – „Дети Арбата“ семидесятисемилетнего Анатолия Рыбакова». Более того: «Тайм» утверждает устами профессора Принстонского университета Роберта Тэккера, ведущего специалиста «по сталинской эре», что это «одно из очень немногих правдивых важных произведений исторической прозы, вышедших в наше время», по глубине «нравственных проблем» приближающееся к шедевру Бориса Пастернака «Доктор Живаго». Во, куда загнул профессор Принстонского университета, а вместе с ним и журнал «Тайм»! Ни больше, ни меньше: Анатолий Рыбаков = Борис Пастернак...

Впрочем, ничего удивительного нет в том, что романы и повести иных современных советских писателей (речь не об одном лишь Рыбакове) привлекли к себе столь пристальное и, прямо скажем, явно преувеличенное внимание. «Виновато» в том время второго «тура» разоблачений культа личности Сталина. Споры о повестях и романах, пришедшихся на волну разоблачений, в Советском Союзе больше напоминают дуэль, а скорее все-таки драки: «стенка на стенку», как выразился, выступая в Париже, критик Игорь Виноградов. Благо, время подходящее: хотя бы вполсилы развернуться можно. По одну сторону: Б. Сарнов, Ст. Рассадин и вся так называемая либеральная критика; по другую – В. Кожин и критика «почвенников», смыкающаяся с лагерем отъявленных сталинистов, вроде Михаила Алексева, Петра Проскурина, Анатолия Иванова, Ивана Стаднюка и прочих...

Зарубежная пресса, понятное дело, питается вдохновением советской критики, а советская критика (имеется в виду, конечно, либеральная), взбодороженная новыми веяниями, с придыханием говорит о всяком произведении, страницы которого отводятся развенчанию давно уж развенчанного культа Сталина, всякому произведению, где есть хоть крупинка правды.

Перемены в современной советской литературе заметны. Официозно-парадной литературе (ее еще называют «секретарской», поскольку ее представляют влиятельные секретари Союза писателей)

пришлось потесниться. На ее место пришла литература непарадная. Два года назад журнал «Знамя» опубликовал роман ныне покойного писателя Александра Бека «Новое назначение» (давно вышедший в тамиздате) о судьбе «солдата партии» Онисимова. Действовали там Сталин, Берия, Орджоникидзе, выведенный под вымышленной фамилией, но легко угадываемый розовощекий писатель Александр Фадеев, другие реальные лица, либо названные прямо, либо слегка закамуфлированные. Тогда выход романа представлялся тоже едва ли не событием. Во всяком случае, это была первая попытка, если можно так выразиться, прорыва к правде о прошлом. Появились затем и «Дети Арбата» Рыбакова, и «Белые одежды» Вл. Дудинцева, и «Ночевала тучка золотая» Анатолия Приставкина, и «Зубр» Даниила Гранина, и др. Они теперь в фокусе литературной критики.

До некоторой степени им не повезло: задержались они в редакционных портфелях. Пробились к читателю тогда, когда открылась гряда вершин классики XX века: «Ювенильное поле», «Котлован» и «Чевенгур» Андрея Платонова, «Доктор Живаго» Пастернака, «Роковые яйца» и «Собачье сердце» плюс пьеса «Багровый остров» Булгакова. Если к этим вершинам прибавить вершины поэзии, то оказываются повести и романы большинства названных писателей как бы в тени. Во всяком случае, говорить об их художественных достоинствах не очень удобно. Советская критика, таким образом, тоже оказалась в некотором затруднении: не заметить произведений живых писателей нельзя, однако же нельзя и сделать вид, будто уровнем они ничуть не ниже классиков XX века, чьи произведения живее произведений живых...

Есть род литературы, которая существует не сама по себе, а за счет реальных персонажей. Книга не продержалась бы на поверхности читательского внимания ни одного мгновения, если бы не привлекла нас к себе личность персонажа – действительная, конкретная историческая личность. Но очень часто встречается, что реальная личность заслоняет собой ее литературный вариант. Книжный персонаж становится интересен лишь в силу того, что за его, часто едва лишь прорисованным силуэтом маячит фигура историческая (неважно в данном случае, добрая или злая).

Благополучно отсиджавшаяся все застойное время, а теперь вдруг осмелевшая либеральная критика в лице Сарнова, Рассадина да еще Евгения Сидорова и Валентина Оскоцкого подняла на щит повесть Гранина «Зубр». Слабая, рыхлая повесть (написано много, а сказано мало) «Зубр» привлекла к себе внимание главным образом судьбой реальной фигуры Николая Владимировича Тимофеева-

Ресовского, крупного ученого-генетика, о котором в Советском Союзе мало кому было известно. Замените в совбестселлере Рыбакова «Дети Арбата» имя Сталина на какое-нибудь вымышленное имя, так же как и подлинные имена действующих лиц из его окружения, и роман потеряет свое значение, а читатели утратят к нему всяческий интерес. А если забыть о нелепых «с точки зрения здравого смысла» «государственных акциях по пресечению опытов над мушкой-дрозофилой», «гражданской и прочей казни генетики», то есть о борьбе с лысенковщиной, чему посвящены «Белые одежды» Дудинцева, то роман всё-таки вряд ли будет прочитываться, по уверению критики, «как фантастический».

Критика, между тем, обладает удивительной способностью выкручиваться из любых затруднительных положений.

«Дружбе народов», где и были напечатаны «Дети Арбата», неловко говорить о художественных достоинствах романа: своеобразный юбилей, годовщину его появления она отметила иначе, поместив подборку читательских откликов. Среди них есть письма сталинистов, проникнутые духом ностальгической тоски по «порядку» и по хозяину. Подавляющее же большинство писем – антисталинистские. «Вот по каким романам, повестям, стихам и рассказам мы изголодались!» – восклицает один из читателей. «Потрясен вашим романом „Дети Арбата“ до глубины души...», – пишет в редакцию «Дружбы народов» другой читатель. Примечательней всего, однако, в этом отзыве то, что под ним стоит подпись: «чекист». Дорого признание обычных читателей, изголодавшихся по правде, кольми паче признание чекиста. Между тем, уместно задаться и таким вопросом: до какой степени был бы потрясен читатель-чекист, если бы «Дружба народов» или какой-либо другой журнал опубликовал «Архипелаг ГУЛаг» Солженицына или если бы литература осмелилась приоткрыть завесу, скрывающую преступления не только сталинского, но и ленинского террора?

Да, но как же действительно все-таки быть? С одной стороны, и роман Рыбакова «Дети Арбата», и роман Дудинцева «Белые одежды» всколыхнули антисталинский дух, как, впрочем, подстегнули и сталинистов, а с другой, – романы все-таки, мягко говоря, слабоваты. Советская «либеральная» критика для себя решает эту задачу просто: не замечать слабых сторон. У нее двойной подход к литературе, то есть тот же партийный принцип. Влюбленный в образ Сталина посредственнейший писатель Иван Стаднюк написал в романе «Москва. 1941», что у обожаемого им генералиссимуса «золотистые глаза». И это, конечно, плохо, очень плохо. Стаднюку писать плохо

нельзя (а иначе он просто не умеет). Рыбакову – он тоже иначе не умеет – можно. И если нельзя считать, как утверждает критик Игорь Дедков в «Знамени», что «желтые тигриные глаза» (все того же Сталина, но уже кисти другого художника – Рыбакова) – «описание безупречное», то все-таки «за ним – действительное состояние раздраженного, едва скрывающего свой гнев персонажа». «Задумаемся, – глубокомысленно замечает, обозревая прозу 1987 года Игорь Дедков, – может ли истинный художник изображать крупное историческое лицо как бы в отдельности, вне нравственной и этической связи с тем, что происходит с народом, которым это лицо руководит?» Разумеется, согласимся: нельзя. Но выходит, что Иван Стаднюк – художник не истинный (и с этим, конечно, трудно не согласиться!), а Анатолий Рыбаков – истинный художник.

Делается скидка Рыбакову. Делается скидка Дудинцеву. «Наметанный глаз заметит в „Белых одеждах“ несовершенство стиля, те или иные непреодоленные писательские затруднения. Кто-то из героев написан лучше, ярче, кто-то лишь намечен. – (Слышите, какая теплота в голосе, какая забота. – Н. Т.) – Все так, – продолжает критик, – но для меня затруднения и неловкости Дудинцева дороже и выше той бойкой, витиеватой, многословной болтливой «художественности», за которой только и видишь претензии, претензии, да самодовольство... Роман Дудинцева свободен от суеты словоблудия и гордыни, в нем дороже оплачены слова, они труднее достались». Кто же спорит: кому нужна многословная, болтливая «художественность» да тем более в кавычках. И дороговизна оплаченного слова читателю понятна и близка. Но, с умилением склоняясь перед выстраданной правдой и правом на правду, все же о взыскательности не следовало бы забывать. «Простим роману, – призывает между тем Дедков, – мелодраматические повороты сюжета, эти светлые волнения и светлые слезы, – зачем пренебрегать ими? Время от времени они подступают к горлу жизни, их тоже надо услышать».

Что ж, в самом деле: зачем же быть взыскательным к «белым одеждам» черной правды? Она, правда, все искупит, мол. Искупят «волнения и светлые слезы», подступающие, по слову критика, «к горлу жизни». Но нет, не искупает ни та правда, к хождению за которой призывает критик Дедков, ни подступающие к горлу «волнения и светлые слезы».

Что такое «Белые одежды»? Почему Дудинцев назвал так свой новый роман? На это делает упор Дедков: первоначально Дудинцев «назвал роман – „Неизвестный солдат“, но передумал», говоря далее, что «побеждающие духом, не избывшие в себе скорбь потерь, взыску-

ющие справедливости и отмщения – вот о ком он писал». «Белые одежды» побеждающих у Дудинцева впрямую связываются с образом «белых одежд» в «Апокалипсисе». А позволительно спросить: не слишком ли дерзко? Горькие мытарства героев Дудинцева, их «хождения за правдой» и их победы ничего общего не имеют с хождением за Истиной. Их заботы – сиюминутные, а не вечные; их правда – социальная правда, а не та, которая озаряется светом Истины.

Никто не спорит: Владимир Дудинцев выстрадал право на правду. На правду, рвущуюся из глубины души, из сердца. Никто не отрицает и той роли, которую, по всей видимости, суждено сыграть его «Белым одеждам» в современном противостоянии общественных сил в Советском Союзе. Однако участие в противоборстве этих сил не дает основания забывать о том, что литература меряется, по слову Бахтина, мерой большого времени. Той мерой, эталоном которой является классика.

Художественная литература в СССР живет сейчас старыми запасами, открытиями двадцати-, тридцатилетней давности. По крайней мере, новая оттепель пока не порадовала таким обилием дарований, сколько-нибудь заметных явлений, какие наблюдались во времена первой, хрущевской оттепели. «Деревенская проза», похоже, выговорилась, устала. Писателям городским так, пожалуй, и не удалось сказать своего весомого слова. Деление, конечно, условное, приблизительное, однако происшедший раздел существует (литературе он, понятно, не на пользу!). Причем во всех бедах «деревенщички» обвиняют писателей-«горожан», «горожане» – «деревенщичков». Одним словом, Иван кивает на Петра, что касается разлада не только на почве литературных дел и забот...

Вырвалась вперед публицистика. Появилась документалистика – редкостная по своей силе. Они завладевают умами, и чем далее, – тем настойчивей, упорней. Опубликовал в «Новом мире» Василий Селюнин очерк «Истоки». Казалось бы, экономика, не для массового читателя, а для специалиста, но читать его, говоря словами очеркиста, «судорога сводит скулы». Судьба многострадального народа на страницах очерка предстает во всей своей трагичности. Страницы «Воспоминаний о „деле врачей“» Якова Рапопорта, одного из тех, кто едва не стал жертвой очередного готовившегося и уже разворачивавшегося во всю мощь злодеяния, невозможно читать без той же «сводящей скулы судороги». Публикует «Огонек» полукритические, полупублицистические обзоры-передовицы, и на их страницах все то же сталинское прошлое сталкивается с настоящим, настойчиво звучит тревога за завтрашний день. «Спорят сталинизм и ленинизм», – утверждает «Ого-

нек». Но нет, не спорят они, как не спорят бесы в «Бесах». Это – одно. Одна система взглядов. Перечитайте хотя бы «Мою маленькую лениниану» Венедикта Ерофеева или самого Ленина: никакого расхождения. Какие вопли маньяка! «Христа ради, посадите Вы в тюрьму хоть кого-нибудь!» «Дорогие товарищи!.. Если не будут приняты героические меры, я лично буду проводить в Совете обороны не только аресты всех ответственных лиц, но и расстрелы». Близнецы они, «два сокола», как в песне, которую пели до двадцатого партсъезда: «Один сокол – Ленин, другой сокол – Сталин». Заметим, кстати: опубликованную «Континентом» «Маленькую лениниану» Ерофеева можно было бы дополнить выдержкой из письма Ленина Луначарскому, приводимой на страницах журнала «Наш современник» в разгоревшемся споре о роли наркома просвещения в судьбе Александра Блока: «Сегодня выслушал доклад Виноградова о бюстах и памятниках, возмущен до глубины души; месяцами ничего не делается; до сих пор нет ни единого бюста, исчезновение бюста Радищева есть комедия. Бюста Маркса для улицы нет, для пропаганды надписями на улицах ничего не сделано. Объявляю выговор за преступное и халатное отношение, требую присылки мне имен всех ответственных лиц для предания их суду. Позор саботажникам и ротозеям...» Вот где правда! А еще многими выдержками можно было бы дополнить «Маленькую лениниану»...

Обозревателя «Огонька», пытающегося отделить ленинизм от сталинизма, понять можно: с кляпом во рту, который семьдесят лет вбивали (уж до печенок дошел), не многое скажешь. Но кричат строки воспоминаний Заболоцкого, опубликованные в «Даугаве» и приводимые «Огоньком» в качестве возражения тем, кто и сталинизм хотел бы обелить: «Меня жестоко избili, пинали ногами. Я был потрясен и доведен до невменяемости, физически измучен истязаниями, голодом и бессонницей...» Это при Сталине. Однако же другого поэта, Николая Гумилева, не удалось вырвать из цепких рук Ленина и Дзержинского. Расстреляли...

Представление о мировом зле настолько прочно срослось с фигурой Сталина, что она заслонила собой другую фигуру – фигуру «кремлевского мечтателя» (по Герберту Уэллсу) Ленина. Ведь культ Сталина явился порождением продолжающегося и поныне культа Ленина. Обожествляемый и обожествленный в СССР Ленин неприкосновенен для критики. О жертвах не сталинизма, а ленинизма, счет которых идет на те же миллионы, вспоминать не принято. Сталин для литературы оказался фигурой более податливой, более подходящей, чем Ленин. Не бледнели так перед Лениным, как бледнели перед Сталиным, лишаясь дара речи, к примеру, «инженеры человеческих душ», о

чем рассказывается в воспоминаниях Капицы, бывшего сотрудника «Звезды», свидетеля того, как происходил в сорок шестом разгром журналов «Звезда» и «Ленинград», как шельмовали Ахматову и Зощенко (воспоминания напечатаны в «Неве»). Заметим, что книжный Сталин, трафаретно-отрицательный, Сталин романистов Бека или Рыбакова, так же как и трафаретно-положительный Сталин романистов Стаднюка или Чаковского, – лишь слабое подобие того, каким он был в жизни, в действительности, каким он предстает со страниц более или менее объективной мемуаристики. Но действительно: в Сталине ли дело? Этот вопрос сейчас все чаще и чаще задают в Советском Союзе, робея, конечно, перед ответом, упираясь в тупики догм в блуждании за правдой по лабиринтам недавнего прошлого, тщетно пытаясь отыскать болеутоляющее средство от ран, так до сих пор и не зарубцовывающихся.

В чем причина? В чем корень всех зол? И где она, правда? Где ее искать?

В одном из номеров журнала «Знамя» напечатан рассказ Гранина «Запретная глава». Это, конечно, тоже страничка воспоминаний, документ, а не рассказ. Если он и представляет какой-либо интерес, то потому, что приоткрывает завесу тайны, окутывающую действующих лиц исторической драмы более близких к нам по времени: о том, как автор брал интервью у молчаливого Косыгина.

Когда бывший премьер рассказывал эпизод, свидетельствовавший о подозрительности Сталина, сорвалось у Гранина: «Хорош Сталин,.. на каждом шагу подозревал своих верных соратников». Сдержанный, словно робот, лишенный каких-либо чувств Косыгин «померчал и вдруг смаху ударил ладонью по столу, плашмя, так что телефон подпрыгнул. – Довольно! Что вы понимаете!

Окрик был груб, злобен, поспешен. Весь наш разговор, – повествует Гранин, – никак не вязался с такой оплеухой...»

Вот так, мол, мы с вами, холопами! Хоть вы и «инженеры человеческих душ», да все равно: что вы понимаете!

Эпизод по-своему драматичный. Паралич страха, о котором пишет Гранин, «сковывал самых честных, порядочных», к кому он причисляет и Косыгина. Был ли Косыгин сталинистом? – спрашивает Гранин, невольно, неосознанно подступив к самому важному, к тому, что сталинизм и коммунизм – одно и то же, ибо корень у них один: гордыня исключительности. Вспомним знаменитые когда-то слова Сталина: «Мы, коммунисты – люди особого склада...»

Память о книгах хотя и драматичных тем, однако же разрабатываемых не то чтоб уж так модно или спекулятивно, но, во всяком случае, с мнимой значительностью, важностью, на сквозняках истории выветривается быстрее, чем выпадает в осадок «тяжелый песок» тем пусть «мелких», но, с другой стороны, раскрывающих беспредельные глубины трагедии человеческого существования.

В свое время (а именно: на первом писательском съезде) молодой, почти еще юный писатель-маринист Леонид Соболев произнес сильно полюбившиеся Максиму Горькому слова, смысл которых заключался в том, что партия, как говорил Соболев, дала нам все права, отняв единственное право писать плохо. Разумеется, советская официальная литературная критика последовательно придерживалась этого принципа: «Кавалер Золотой Звезды», «Как закалялась сталь», «Чапаев» и проч. – хорошо, а Платонов, Пастернак, Зощенко, Булгаков – плохо. Увы, и в теперешней литературной критике легко прослеживается та же тенденция двойного подхода к литературе.

Вернемся, однако, к журналу «Тайм».

Публикует журнал фрагменты из романа Рыбакова, портреты Рыбакова, портреты Сталина, портрет Рыбакова в молодости, портрет Сталина в молодости, фотоснимки, на которых Сталин в окружении своих сподвижников, снимок Сталина, на котором он держит на руках Светлану-подростка, снимок Рыбакова с женой во время работы над романом в писательском городке Переделкине, снимки Арбата тридцатых годов, а также и нынешнего Арбата, снимки манифестаций на Красной площади с портретами Сталина, и наконец – исторический снимок: «два сокола».

«Тайм» сообщает в числе прочего, что Анатолий Рыбаков в 1951 году, т. е. всего за каких-нибудь два года до смерти Сталина, получил Сталинскую премию. «Два года назад, – также отмечает „Тайм“, – поэт Евгений Евтушенко предсказал, что если роман будет когда-либо опубликован в Советском Союзе, то это изменит страну». Почему? Отвечая на этот вопрос, журнал говорит о том, что в Советском Союзе до сих пор не было основательной биографии Сталина, «человека, который безраздельно правил страной на протяжении четверти века»...

А уж тут советскую литературную критику понять можно: она – пленница, и не все ей позволено – не позволено то, что позволено свободному журналу «Тайм», который прекрасно знает и о правде «Архипелага ГУЛаг», и о правде «Колымских рассказов», не говоря уж о правде той богатейшей мемуарной литературы, которая с боль-

шой полнотой воспроизводит облик Сталина, да и его ли только. Как будто невдомек журналу «Тайм», что «Дети Арбата» и «Белые одежды» понадобились в СССР, чтобы подменить подлинную правду полуправдой и опять-таки провести читателя. Чтобы не подумал он чего-нибудь большего. Чтобы не приблизился к опасной черте обобщений.

Николай Тюльпинов

«ЭТОТ ЮМОР РАСКРЫВАЕТ МИРИАДЫ ИСТИН»

Рональд Рейган

Д. ШТУРМАН и С. ТИКТИН

**СОВЕТСКИЙ СОЮЗ
В ЗЕРКАЛЕ ПОЛИТИЧЕСКОГО АНЕКДОТА**

**Издание второе,
исправленное и дополненное**

ВЫШЛО В СВЕТ

В книге 543 стр. Она содержит около 1750 анекдотов с 1918 по 1987 гг. включительно, разбитых по 44-м тематическим разделам, и иллюстрирована 45-ю рисунками. Каждый раздел имеет аналитическое вступление. Имеется также общее введение. В начале книги помещена переписка президента США Рональда Рейгана по поводу анекдотов из коллекции авторов книги.

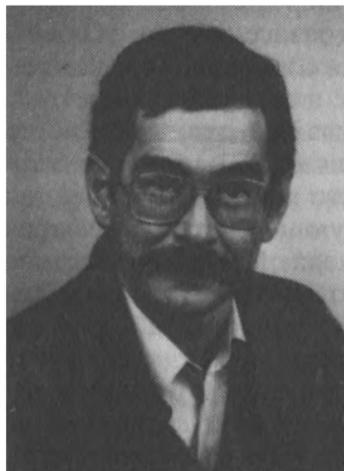
Заказы следует посылать по адресу:

**S. Tictin
Greenspan Str. 12/6
Misrakh Talpiot 422
Jerusalem 93802
Israel**

Наша анкета

ИНТЕРВЬЮ С АЛЕНОМ ГИЙО

– Ален, каждый во Франции знает ваше имя. Телевидение, радио, газеты много говорили о вас, о сфабрикованном против вас деле, передавали всё, что удавалось узнать об условиях вашего заключения в Кабуле. Ну а уж после вашего



недавнего освобождения вы просто стали героем дня. Однако, согласившись дать интервью для «Континента», вы обрекли себя на подробный рассказ для читателей внутри Советского Союза, да и рассеянных по всему миру, о том, что с вами произошло во время последней поездки в Афганистан.

– Начну по порядку. Я – профессиональный независимый журналист, т. е. я делаю фоторепортажи и документальные фильмы по заказам различных изданий и пресс-агентств. В 1987 г. агентство «Сигма» заказало мне фильм об Афганистане, точнее, о войне в Афганистане, и я поехал его снимать.

– Вы поехали с согласия кабульских властей?

– О, это была уже девятая моя поездка в Афганистан, и сценарий каждый раз был одинаковым. Я просил визу у кабульских властей, в визе мне отказывали, и тогда я ехал в Пешавар и переходил границу вместе с отрядами афганского сопротивления.

– Значит, вы все-таки совершали незаконный, с точки зрения афганской администрации, акт...

– Да, я действительно не желал подчиниться отказу властей пустить меня в страну. В Афганистане идет гражданская война, война между кабульским режимом и силами сопротивления. Соответственно, есть два лагеря, и пресса должна иметь доступ к обоим лагерям. Для того, чтобы получить доступ в правительственный лагерь, нужна виза. Но такую

визу получают лишь журналисты, дружественные режиму, советские, например. Мне же, как и многим моим западным коллегам, оставалось только довольствоваться освещением положения из другого лагеря – лагеря муджахиддинов. И хотя я не связан особо с каким-то одним движением сопротивления, я перебивал у всех.

– *Как же произошел ваш арест?*

– Мой арест, как ни странно, произошел именно из-за моего желания все-таки вступить в контакт с правительственными силами. Я провел два дня с офицером местной милиции на севере Афганистана. И этот-то офицер арестовал меня спустя несколько дней в районе Фариаб, в оазисе, вблизи от советской границы. В течение 15 дней меня содержали в заключении на месте. Я думаю, что афганские и советские секретные службы колебались, убить ли меня и свалить ответственность на сопротивление или пытаться использовать меня в политических целях. Очевидно, было принято второе решение, так как меня перевели в Кабул, и последующие четыре месяца я провел в руках афганского КГБ, Кхада. Меня непрерывно допрашивали, полностью отрезав от внешнего мира. Эти допросы были, разумеется, полным театром абсурда. Я пытался объяснить следователям Кхада, что такое работа журналиста, как функционируют западные средства информации, что такое свобода прессы. Но для них все это было китайской грамотой. Именно потому, что я был независимым, что я зарабатывал на жизнь съемкой документальных фильмов и продажей сделанных мной фотографий, меня обвинили в том, что я – агент французского правительства, шпион. Я объяснял Кхаду, что в принципе не люблю огнестрельного оружия, не выношу грохота пушек и не получаю удовольствия от разрывов бомб, хотя мне и случалось попадать под бомбежки и артобстрелы. В результате, меня обвинили в том, что я – торговец оружием. Как и многие на Западе, я – противник такого дикого способа ведения войны как минирование гражданских объектов, полей и т. п., когда гибнет гражданское население. И что же? Меня обвинили в терроризме! Это – типичный метод кабульского режима: все ставить с головы на ноги, выдавать правду за ложь, а ложь – за правду. Во время допросов у меня быстро сложилось убеждение, что мне «шьют» политическое дело. Не забывайте, что Афганистан – страна, разрушенная десятью годами войны. Кабульский

режим весьма успешно устранил всех, кто обладал хоть каким-то уровнем образования. Эти люди были или уничтожены физически, или принуждены эмигрировать. Нынешние афганские кадры обладают исключительно низким интеллектуальным уровнем, а их образовательный уровень едва ли превышает уровень 12-летнего западного ребенка. Это – люди, добровольно отбросившие свою традиционную культуру, которая в восточных обществах составляет костяк индивидуума, или лишенные ее. Они попытались приспособиться к чужой культуре, а именно, к культуре марксистской, которая по существу является западной, продуктом индустриальной революции. Эта культура имела своей целью организовать рабочих, трудящихся, на сопротивление хозяевам-капиталистам, которые располагали слишком большой свободой и имели тенденцию эксплуатировать рабочих и обращаться с ними как со скотом. Но Афганистан – это сельскохозяйственная цивилизация, в которой нет никаких традиций рабочего класса. Скопировать марксизм-сталинизм или марксизм-ленинизм (называйте как хотите!) в такой стране – просто неделовость. Структура афганского общества не согласуется с идеологией, призывающей к союзу трудящихся, ибо люди работают, как правило, внутри своих семей или своих кланов. Мои следователи обладали крайне ограниченными сведениями об окружающем мире и, что меня поразило, не знали ничего о том, что происходит в их собственной стране. Информация, которая была им доступна, была не информацией, а пропагандой. Офицеры Кхада ничего не знали даже о своем собственном народе, о том, что с этим народом происходит. Впрочем, по моему совету, они начали слушать Би-Би-Си, но это никак не отразилось на абсурдности их расследования.

– *Расскажите, пожалуйста, о суде.*

– Вначале я хотел бы уточнить даты. Меня арестовали 28 августа 1987 г., но лишь в конце декабря, когда все допросы были закончены и обвинение сфабриковано, меня отвезли на встречу с дипломатами из французского посольства. Во время этой встречи, на которой присутствовали различные афганские чины, было решено, что я смогу выбрать своего адвоката. 4 января судья представил мне «моего» адвоката, предупредив, что мне предстоит защищать мою голову. Адвокат оказался человеком элегантным и молчаливым. Я спросил его, признает ли афганское правительство линию Дюрана в ка-

честве границы между Пакистаном и Афганистаном. Этот вопрос его озаботил, и я оценил элегантность его молчания. Тогда я отклонил этого адвоката, объяснив, что предпочитаю найти адвоката сам и платить ему из своего кармана. Но этого не случилось. Меня «судили» 6 января, на закрытом судебном заседании, без права вызвать свидетелей. Вел заседание тот самый судья, который не захотел даже уточнить, является ли лежащая перед ним книга кодексом (он барабанил по ней пальцами в знак негодования), и если да, то кодексом, принятым после переворота или до него. На суде я впервые после ареста встретился с моими афганскими помощниками – ассистентом и переводчиком. Они просили милосердия у суда, ссылаясь на политику национального примирения, и получили по 16 лет заключения каждый. Я же был обвинен в шпионаже, терроризме, торговле оружием и подстрекательстве к насилию. И хотя я опротестовал все эти обвинения, мне дали 10 лет. Замечу, что западных дипломатов все же допустили на оглашение приговора.

– *Вы провели заключение в одиночке?*

– Вначале афганское КГБ предоставило мне возможность немного остыть после страстей процесса. Меня на 15 суток посадили в изолятор размером в 4 кв. м., где было 8 градусов тепла. Но затем меня перевели в блок номер три тюрьмы Пул-и-шархи, в камеру для иностранцев. Это была клетка размером в 80 кв. м., в которой содержалось 65 человек. Нары в два этажа, два туалета, коридор для прогулок вокруг клетки. Большинство заключенных были крестьяне, жители пограничных с Афганистаном сел, в основном пакистанцы и иранцы, хотя был один турок, один палестинец, один тунисец. Их физическое состояние было страшным. На многих видны были следы пыток и побоев. Были люди, которым многократно, сантиметр за сантиметром, вырезали кожу. Одного разбил паралич после пытки электричеством – переусердствовали с дозой. Другого оскопили ненароком – вот ведь ткани-то какие хрупкие! О переломанных костях не стоит и упоминать – это вещь совершенно тривиальная. Ни переломы, ни другие болезни там не лечат – незадолго до моего появления двое больных умерло от туберкулеза, а один – от аппендицита. Поскольку главный врач тюрьмы неоднократно заявлял заключенным, что они – скоты, заключенные особенно и не рвутся на прием к ветеринарам. Человек пятнадцать заклю-

ченных в моей камере давно уже впали в совершенное безумие. Они больше не помнят ни своего имени, ни своего подданства, некоторые не могут уже ни есть, ни справлять нужду самостоятельно. Большинство этих несчастных подписали под пытками признания и ждут обещанного им в обмен на признания освобождения. Некоторые ждут этого освобождения уже по десять лет, а чтобы они были потерпевшей, им время от времени ломают кости.

– *А в чем эти несчастные «признались»?*

– Афганские власти вынудили их подписать под пыткой признания в том, что они – пакистанские или иранские агенты. Ведь афганское правительство всегда утверждало, что советское вторжение в Афганистан было вызвано иностранным вмешательством в афганские дела. Я совершил в качестве нейтрального обозревателя девять поездок в Афганистан. В общей сложности, за последние десять лет я провёл в Афганистане три года. И я утверждаю, что никогда не встречал какого-либо, кроме советского, иностранного военного подразделения в этой стране. Мне случалось встречать французских врачей, которые приезжали, чтобы оказать медицинскую помощь населению, пострадавшему от бомбежек. Мне случалось встречать иностранных журналистов, которые приезжали в Афганистан, чтобы заниматься своим ремеслом. Я встречал отдельных иранских наблюдателей. Но, повторяю, я никогда не встречал ни иностранной воинской части, ни даже отдельных солдат-иностранцев. Поэтому я думаю, что кабульский режим пытался использовать моих соседей по камере как доказательство для своих ложных утверждений.

– *А есть ли у вас какое-то рациональное объяснение вашему собственному аресту? Еще одно «доказательство» иностранного вмешательства?*

– Лежа на нарах в камере, я много об этом размышлял. Ведь, кроме меня, за решеткой, в одной со мной камере, вскоре оказался еще один западный журналист, итальянец Фаусто Билославо. И у меня создалось впечатление, что наши аресты были не случайностью, а скорее, хорошо спланированной акцией. Действительно, зачем афганское правительство в период интенсивных международных переговоров, добиваясь признания, устраивает фальсифицированные судебные про-

цессы над двумя западными журналистами, приговаривая их соответственно к 10 и 7 годам тюремного заключения? Зачем нас посадили в камеру с другими заключенными, где мы были свидетелями того, что режим делал с людьми на протяжении десяти лет? Ведь очевидно было, что выйдя на свободу, мы будем говорить, писать о функционировании безумной афганской юстиции, об ужасах тюремной жизни. Я думаю, что аресты и Фаусто Билославо, и мой были подстроены советскими специалистами, которые предложили афганцам арестовать нас. Аргументация при этом могла быть примерно следующей. Во-первых, нужно отвадить западных журналистов ездить в Афганистан и информировать Запад о реальностях так называемой политики национального примирения. Во-вторых, можно впоследствии использовать переговоры об освобождении журналистов для косвенного признания Францией и Италией кабульского режима. Но это – аргументы для афганцев. А какова истинная подоплека нашего ареста, это совсем другое дело. Тут надо понять, что вообще произошло в Афганистане. Горбачев решил вывести советские войска из Афганистана, ибо афганская авантюра обошлась Советскому Союзу очень дорого и вышла боком. Его влияние в странах Третьего мира упало. Он не способен даже использовать исчезновение американского влияния в Иране. Ослабли и компартии Запада. Попросту говоря, в 1979 г. СССР совершил интервенцию, чтобы поддержать падающий режим и ликвидировать не устраивавшего его диктатора. Сейчас он покидает страну с рушащимся режимом, во главе которой стоит кровавый шут Наджибулла. Это – полное фиаско. Советские руководители не имеют привычки брать на себя историческую ответственность за ошибки своих предшественников. Горбачев сможет произвести чистку вокруг себя, устранив непосредственных виновников вторжения. Но ему нужны виновные и с афганской стороны. У него уже есть бывший глава афганского государства, Бабрак Кармаль. Но я думаю, что он выбрал в качестве козла отпущения самого черного персонажа этого печального периода, президента Наджибуллу, бывшего главу секретных служб.

– Я все-таки не совсем понимаю, каким образом ваш арест вписывается в тот советский контекст, о котором вы говорите...

– Для меня это очевидно. Наджибулла был поставлен главой Кхада в эпоху Брежнева. Наджибуллу поддерживали советские консерваторы. А ведь Наджибулла, «товарищ Наджиб», как его называют приближенные, это – самый грязный, самый зловещий, самый черный человек, какого только можно найти в Афганистане. Я думаю, что если два западных журналиста провели несколько месяцев в кабульской тюрьме в компании жертв Кхада, т. е. Наджибуллы, то это было сделано для того, чтобы дать им возможность впоследствии выступить с показаниями, рассказать правду об афганских застенках. Возможно, наши свидетельства помогут Горбачеву устранить Наджибуллу в Афганистане, а заодно кое-кого в собственном окружении. Я лично был бы рад оказать ему такую услугу.

– *Вы думаете, что падение Наджибуллы не за горами?*

– Вообще-то, Наджибулла – большой стратег. Я лично с большим интересом слежу за его карьерой. Интересно, что этот организатор тайной полиции, Кхада, руководитель заплечных дел мастеров, – врач по профессии. Времена меняются, и Наджибулла вместе с ними. Вскоре из президента он вполне может стать аятоллой, чтобы увенчать свое недавнее и неожиданное обращение в ислам. Во время последнего рамадана Наджибулла издал декрет, согласно которому каждый житель, нарушающий дневной пост, будет подвергнут публичному палочному наказанию. К аппарату репрессий, позаимствованному у Сталина, добавляются теперь новые меры, почерпнутые в исламском фундаментализме. И это на подступах XXI века!

– *А чем было вызвано ваше освобождение?*

– С одной стороны, за меня боролась во Франции группа друзей и коллег, которые перевернули горы, чтобы добиться моего освобождения. Сыграла роль и решимость французского правительства не делать уступок Наджибулле. Было, вероятно, и советское давление, как по тем причинам, которые я упоминал, так из общих соображений. Ведь Советский Союз выказывает желание открытости по отношению к внешнему миру. Советские представители участвуют в различных конференциях, симпозиумах, встречах, совещаниях, часто на очень высоком уровне. И советским товарищам, наверное, нелегко было оправдывать своих афганских союзников, которые держат западных журналистов в

тюрьмах в то время, когда Советский Союз вводит у себя свободу прессы.

– *Вы совершили много поездок по Афганистану. Что вы можете рассказать о роли и о поведении там советской армии?*

– Советская армия в Афганистане никогда не была наступательной армией. Она участвовала иногда в больших операциях по оцеплению провинций и отдельных районов, но она никогда не занималась систематическим преследованием банд муджахиддинов. Ей было важно лишь контролировать территорию отдельных стратегически важных районов, в особенности вокруг больших городов, чтобы обеспечить афганскому правительству контроль внутри этих городов. Наступательным оружием советской армии была лишь авиация, которая систематически бомбила афганские деревни. Я думаю, что в советском присутствии в Афганистане можно различить три этапа. Три первых года интервенции ушли на то, чтобы очистить некоторые районы от жителей, вынуждая их к эмиграции, делая из них беженцев. Нужно было создать в некоторых районах, в особенности вокруг Кабула, пустоту. Это был первый период, основным инструментом которого была авиация. Обстрелы и бомбардировки приводили к многочисленным жертвам среди гражданского населения, в то время как отряды сопротивления, которые скрывались в горах, практически не страдали. Второй этап состоял, в основном, в инфильтрации гражданского населения осведомителями и тайными агентами Кхада, и в этом афганскому КГБ помогало КГБ советское, при активной поддержке советской армии. Этой подрывной (или антиподрывной – смотря с какой стороны ты находишься) деятельностью занимались специализированные советские группы и отряды. А армия лишь иногда наносила сильные удары, которые должны были оказывать психологическое воздействие там, где это было необходимо. Но мне кажется, что с 83-го по 86-й год не было систематических бомбежек деревень советской авиацией. После 86-го года начинается третий этап – поиски политического урегулирования. Деревня к тому времени уже была пронизана агентами Кхада, движение сопротивления изолировано в горах. Но чтобы прийти к политическому решению, Советскому Союзу нужен был хорошо организованный афганский режим. А ни режим Бабрака Кармаля, ни режим Наджибуллы не организованы политически,

там слишком много противоречий, слишком много оппозиции даже внутри правительства. Эта оппозиция либо этническая, либо связанная с интересами отдельных кланов. Поэтому правительству не удастся иметь какую-либо последовательную политику. Мне кажется, что политическое решение афганской проблемы уже проваливается, так как Советский Союз не может рассчитывать на стабильность этого общества. Да и Наджибулла, как я уже говорил, неприемлем как лидер афганского народа. Этот нынешний глава государства взывает к национальному примирению, но это последний человек, к голосу которого афганский народ мог бы прислушаться для осуществления такой политики. Ведь этот создатель и шеф Кхада сажал, пытал и убивал. Он – одиозная фигура для всех афганцев.

– *Каким же видится вам будущее Афганистана?*

– Мне кажется, что Афганистан – неуправляемая страна. С одной стороны, афганцы не испытывают чувства национальной принадлежности. Они привязаны к своей этнической группе, к родной деревне. Редко можно встретить афганца, мыслящего в терминах национальных, государственных. Будущее Афганистана будет крайне трудным, если будет продолжаться противоборство между крайними тенденциями, если коммунисты Халка и Паршама будут бороться с экстремистами Лизби Ислами Гульбуддина. Тогда в стране по-прежнему будет литься кровь. Нужно дать возможность умеренным элементам, будь они социалистической или исламской ориентации, установить диалог, прийти к взаимопониманию. Нужно держать экстремистов с двух сторон подальше от поля боя.

– *Как получилось, что вы так заинтересовались Афганистаном?*

– У меня есть интерес к Третьему миру в целом. Я ведь родился во Вьетнаме, в семье французского военного. В молодости, уже будучи профессиональным журналистом, работал на Филиппинах, в Анголе. Но к Афганистану, до советского вторжения, особого интереса не было. В первый раз я поехал туда через неделю после ввода советских войск. Я сразу влюбился в страну, в ее пейзаж, горы, свет, контраст между суровостью скал и изобилием рек. Мне очень нравятся афганцы. Они – простые и гостеприимные люди, но гражданская война, советское вторжение, инфильтрация агентами Кхада изменили их характер. Они стали замкнутыми, боязливymi,

недоверчивыми. Это – самобытная цивилизация, которой грозит исчезновение.

– А как вы относитесь к Советскому Союзу?

– Без особого интереса и без особой симпатии. Никогда там не был.

Вела интервью Галина Келлерман

Читайте в следующем номере «Континента»

Проза:

**Георгий Владимов,
Василий Агафонов, Феликс Кандель**

Поэзия:

**Юрий Колкер, Наталья Захаревич,
Генрих Сапгир**

Публицистика:

**Леонид Плющ,
Наталья Горбаневская, Ганс Нолль**

МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ ЛОСЕНКОВ

7 июля, на 61-м году жизни, скоропостижно скончался Михаил Сергеевич Лосенков.

Родившись в Белоруссии, в трудовой крестьянской семье, Михаил Сергеевич сполна хлебнул выпавшее на



его долю «счастливое детство»: отца сослали, мать с тремя маленькими детьми, на зиму глядя – в чем были – выгнали из избы... Пришлось скитаться под чужой фамилией, часто меняя место жительства, под постоянной угрозой «разоблачения». Затем – немецкая оккупация, во время которой, тринадцатилетним мальчиком, Михаил Сергеевич был вывезен на работы в Германию (как «остарбайтер»). Разлука с родиной оказалась – навсегда, но горячая любовь к России, к родному народу, боль за горькую судьбу

русского крестьянства никогда не затухали в его душе.

Может быть, «университеты жизни» и в самом деле – лучшие «университеты», а может быть, просто Михаил Сергеевич принадлежал к редкой, но все еще не переведшейся на Руси породе «самородков», – человек разносторонних интересов, обширных познаний, внимательный и интересный собеседник, он был также мастер на все руки, а руки у него и вправду были, что называется, «золотые». Прямой, открытый, огромной душевной чистоты и щедрости человек, всегда готовый помочь людям, он был в то же время глубоко принципиален, любая несправедливость вызывала в нем резкий и незамедлительный протест.

С момента основания «Континента» он был не только большим другом нашего журнала, но и принимал самое непосредственное участие в выпуске его в свет: набор всех 56 номеров сделан или самим Михаилом Сергеевичем, или под его непосредственным руководством.

Родным и близким Михаила Сергеевича выражаем наше глубокое соболезнование.

«Континент»

Условия подписки на журнал «КОНТИНЕНТ»

На один год – сорок нем. марок; на шесть месяцев –
двадцать нем. марок.

Цена одного номера – двенадцать нем. марок.

Пересылка за счет подписчика.

Подписка может быть оформлена в генеральном
представительстве «Континента» по адресу:

A. Neimanis · Buchvertrieb
8000 München 40 · Bauerstraße 28 · Germany

а также у корреспондентов журнала (адреса на второй
странице обложки) или у представителей «Ассоциа-
ции друзей «Континента»:

США: Вост. побережье – Э. Штейн (E. Sztein),
594 Chestnut Ridge Road
Orange, CT. 06477, USA

Генеральное представительство
«КОНТИНЕНТА»
A. NEIMANIS BUCHVERTRIEB
8000 München 40 · Bauerstr. 28 · Germany

КОНТИНЕНТ

Годовая подписка
(4 номера)

Желаю оформить подписку на 1 год (4 номера),
начиная с №.....

Имя:

Адрес:

.....

.....

Оплату произвожу:

приложенным чеком почтовым переводом
через банк

Платеж и заполненный талон просим направлять:

A. NEIMANIS BUCHVERTRIEB

Bauerstr. 28, 8000 München 40, West Germany

Bankkonto: Bayerische Vereinsbank München Nr. 6304630

Postscheckkonto: München 147391-804



K

ДЕНЬ ДЕЙСТВИЙ В ЗАЩИТУ НАРОДА РУМЫНИИ

*«Замерзнем ли мы насмерть или нас
расстреляют – судьба одна и та же».*

Год тому назад, 15 ноября 1987 года, рабочие Брашова вышли на улицы, протестуя против голода, холода, репрессий и культа личности.

В течение многих лет Чаушеску, который сам себя называет «Кондукатор» («Вождь»), ведет борьбу против собственного народа. С никогда прежде не виданной разрушительной силой он приступил к сметению с лица земли 8.000 деревень. Их жителей принуждают переселиться в бараки. Правительство Чаушеску насильем отнимает у людей их наследственное культурное достояние и ведет страну к экологической катастрофе. Другой пример презрения этого правительства к человеческому достоинству – государственный приказ «производить» детей...

Все это происходит в Центральной Европе, но многие европейские политики и правительства взирают на это, никак не реагируя.

Мы предлагаем провести 15 ноября на Востоке и на Западе ДЕНЬ ДЕЙСТВИЙ В ЗАЩИТУ НАРОДА РУМЫНИИ. Мы призываем организовать демонстрации, создать информационные пункты, направить обращения к правительствам разных стран, письма протеста в румынские посольства, провести сбор подписей под петициями и другие акции, чтобы пробудить людей во всем мире, показав им человеческую нищету, характерную для сегодняшней жизни Румынии. Мы требуем выразить международное осуждение правительства Чаушеску.

*Герхардт Чейка, Хельмут Фрауэндорфер,
Мари-Луизе Линдеман, Герта Мюллер, Вильям
Тоток, Рихард Вагнер, Элизабет Цилла*

Берлин

Проходившая в Кракове 25-28 августа Международная конференция прав человека поддержала этот призыв. Редакция и редколлегия «Континента» полностью присоединяются к призыву этнических немцев, бывших граждан Румынии, и надеются, что 15 ноября в разных странах мира, в том числе в Советском Союзе, станет днем протеста против диктатуры Чаушеску.

СНОВА ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ!

Заявление Интернационала Сопротивления

Восторженным апологетам, как на Западе, так и на Востоке преподан хороший урок: диктатор Чили генерал Пиночет объявил об амнистии политическим эмигрантам. Напомним также, что и до этого в этой стране уже существовали легальная оппозиция, альтернативные средства массовой информации, включая телевидение, а свободная экономика и беспрепятственный въезд и выезд туда и обратно считались правовой нормой.

Не питая симпатий ни к вышеозначенному генералу и ни к каким, даже самым либеральным диктатурам вообще и всецело поддерживая борьбу мировой и внутренней общественности за представительную демократию в Чили, мы, тем не менее, считаем себя вправе обратиться сегодня к той же общественности, горячо аплодирующей сегодня горбачевской «перестройке»: определите же наконец стандарты, по которым вы судите об объеме и качестве демократии!

Почему большой чилийский поэт, лауреат Нобелевской премии Пабло Неруда умирает у себя на родине и в своей постели, а большие русские художники слова и тоже нобелевцы Иосиф Бродский и Александр Солженицын до сих пор находятся в изгнании?

Почему Генеральный секретарь чилийской компартии Луис Корвалан уже пакует чемоданы для возвращения на родину, а когда-то обмененный на него советскими властями один из лидеров нашего правозащитного движения Владимир Буковский не может получить въездной визы даже в Польшу?

Почему каждый чилиец, южноафриканец любого цвета и южнокореец может выехать из страны когда захочет, не встречая никаких помех со стороны своих властей, а рядовому советскому гражданину, за исключением нескольких групп населения (евреев, армян и немцев Поволжья, да и то с большими ограничениями) это так же невозможно сейчас, как и при Сталине?

Духовное мародерство советской пропагандистской машины, использующей сегодня в своих целях произведения уничтоженных или затравленных ею же мастеров русской культуры, не может и не должно, на наш взгляд, оправдать отсутствие в Советском Союзе тех прав и свобод, которые провозглашены в Международной декларации прав человека, подписанной в том числе и самим Советским Союзом.

Перед лицом этой декларации чилийские и советские граждане равны!